



Александр *Малиновский*

собрание сочинений
том VI



собрание
сочинений
VI

Голоса на обочине
Дом над Волгой
Свирель запела на мосту
За тучами чистое небо
Мысли на ходу



Александр Малиновский

**Собрание
сочинений
в 7-ми томах**

Том шестой

Российский писатель

2019

Малиновский А.С.

М19 Собрание сочинений. В 7-ми т. Т. 6. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2019. — 572 с.

ISBN 978-5-91642-194-1

ISBN 978-5-91642-200-9 (6 том)

Настоящее собрание сочинений является наиболее полным изданием замечательного русского писателя, известного учёного, крупного производственного руководителя Александра Станиславовича Малиновского.

Александр Станиславович Малиновский родился в 1944 году в с. Утёвка Нефтегорского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер химик-технолог» и прошёл путь от рабочего до генерального директора крупных нефтехимических заводов.

Доктор технических наук. Заслуженный изобретатель России. Член Союза писателей России. Автор более тридцати книг прозы и поэзии.

Награждён медалями Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Лауреат всероссийских литературных премий «Русская повесть», имени А. Толстого, имени П. Ершова, имени И. Шмелёва, имени Э. Володина. Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства. Награждён Почётным знаком «За труд во благо земли Самарской».

ISBN 978-5-91642-194-1

ISBN 978-5-91642-200-9 (6 том)

© Малиновская Л.П., 2019.

Голоса на обочине

Голоса

...Совсем седой старик. Сидит, как и в прошлый наш разговор, на разлапистом пне. У ног — широченная Волга. Мы уже несколько раз с ним говорили. Образование у него, как он сказал, ниже среднего. Мыслит всерьёз и сосредоточенно. Может, как раз благодаря отсутствию этого самого среднего образования...

— Тебе самому-то сколько? Седой уж... — встретил он меня вопросом, будто мы и не прерывали вчерашний наш разговор.

— За шестьдесят, — отвечаю.

— Вот так! Тожа, значит, маешься! Попал в тот круг, где вопросов больше, чем ответов... Говоришь, что хотел бы пройти с каким-то своим зеркалом по увечной нашей дороге?.. По которой бредём все мы... И услышать отразившиеся голоса и мысли?.. Что ж... Каждому своё... Что это за зеркало такое?.. Мне внук, когда последний раз из города приезжал, сказывал, что где-то читал, мол, человеку отпущено для жизни по норме шестьдесят лет. Так мудрецы на Памире считают! Не все. В одном месте где-то, высоко в горах.

— Что-то маловато, — засомневался я, присаживаясь рядом на массивный, вывернутый из песка корень.

— И я сказал ему, что больно уж вобрез. Я слышал другое. Он разъяснил: до шестидесяти лет человек должен успеть всё, что положено ему в жизни. Понять всё, разложить по полочкам...

— Не скучно ли тем, кто всё понял? До дна исчерпал. Интерес исчезнет!.. И сколько тех, кому за шестьдесят лет! Тут как? — вырвалось у меня.

— Как?! Всё определено, — отвечает бодро и, кажется, не лукавя. — Вот таким как мы с тобой — им отведено, кому сколько дополнительно ещё годков! Чтоб попыхтели ночами на подушке. Помучались, раз вовремя-то не осмыслили. Мне вот уже за восемьдесят. Как я маюсь! И не только по ночам... Думаешь, что седые волосы только от мудрости? Чуток ошибаешься...

Я намеренно молчу. Мне интересны слова старика — не мои.

Он продолжает:

— Вот ты сам — наглядный пример! Что-то понять хочешь, а всё вдогонку! Чтоб оправдаться?.. Хочешь, а не торопишься... Время тянешь? Выбираешь, с какой скоростью двигаться?.. Хитришь?! Чтоб ещё добавили?.. Знаешь про этих горцев?

Говорит так — и не взять в толк: намеренно меня морочит? Либо так простодушен? Лица не видать — одни глаза. Остальное — седые космы волос. И глаза-то! Словно растворены синью волжского водного и небесного простора. Теряешься в них... И этот его голос...

...Отойду от старика, в сторонку от скрипучего голоса по кромке влажного волжского бережка... Чтоб помолчать... подумать одному. Отдохнуть от нависших вопросов... А не получается... Звучат голоса! Из всей моей жизни. И прошлой, и настоящей... Голоса тех, кого знал. Кого обидел ненароком, кто меня не понял... Во мне ли в одном такое многоголосье? Каждому в свой час... И своё... И нет разницы: в степи ли, в горах ли ты бредёшь... Или, как я, — по берегу великой, притихшей в осеннем ознобе реки...

Грешница

Она говорит, будто причитает:

— И что же я наделала?... Не знаю, зачем вам всё это говорю, для чего? Я в храме сколько раз уж молилась... И прощения просила. А легче не делается... И куда мне податься теперь? С такой-то моей бедой... Всё было устраивалось у моего сына. Про себя-то уж не говорю... Про себя перестала и думать... Но нет, на втором курсе медицинского училища сын заерепенился: «Не по мне это! Нищая профессия! Уйду в строительный техникум!» Ушёл. Не учился, а делал только вид. Не знал, чем заняться.

А тут пособили: сел на иглу. Колоться стал. Наркоман! Мой Владька — наркоман! Всё казалось, что эта напасть хоть и рядом, но где-то в стороне, а тут...

Ума не приложу. И так, и эдак: ни в какую... Учёбу забросил окончательно.

Когда муж спивался, а потом отравился палёной водкой — я прозевала. Винула себя... А тут! Развила деятельность!.. У меня военком знакомый. Несколько раз пивявки ему ставила.

— Помогите, Юрий Петрович, — завопила безудержно, — пропадает парень! Знаю, что непутёвый! Год уж не учится, только числится студентом, и вас обманывает. В армии одно спасение!

А ему уж двадцатый год, Владиславу-то. Забрали! Год прослужил. Слава Богу, как все! Выправился.

Я настояла, чтоб оставили служить контрактником. Успокоилась! А тут: хлоп! Избил он молоденького солдатика. Да так, что суд будет теперь. Инвалидность получил солдатик этот. От наркоты сына увела, а в тюрьму толкнула...

Не грешница я, а преступница... На себя по-другому взглянула. Я-то?.. Сама-то?.. От меня идёт всё!.. Я три аборта делала, муж жив был, думала, знаю, что делаю, к чему нищету плодить... А слепой оказалась... Тяжело было в девяностых: муж совсем остался без работы. А я врач — хоть плачь! Безденежье... Но как-то надо было... Что наделала!

Как прижало, тогда только и поняла... Этого тяну из трясины, а сама три невинные души загубила по глупости своей...

Если хоть один бы из них хорошим человеком стал, мне бы оправдание было за то, что живу! Глядишь, было бы к кому прислониться. А так... кому я нужна?..

...На мне всё висит это! На одной... И не замолить мне грех свой...

Рай в отдельно взятой семье

Вылет самолёта рейсом «Москва-Самара» откладывался несколько раз. Непогода!

Уже четвёртый час маюсь в зале ожидания аэропорта «Внуково». Рядом семейная чета. Тоже самарские, точнее из области. Она — солидная, крепко поначалу видно скроенная дама. Теперь ходит с палкой, подволакивая левую ногу. Директор сельской школы. Зовут Зинаидой Васильевной.

Он — худощавый, подвижный. Как подросток, в отличии от своей жены всё куда-то готов сорваться. Но жизненное пространство в зале ожидания ограничено. Компенсирует этот недостаток говором. Сбивчивым, непоследовательным, но простодушно-доверительным. Жена включается в разговор вескими короткими фразами. То ли они соскучились по землякам, то ли так устроены оба.

Возвращаются из Марианских Лазней после лечения. Обоим за пятьдесят. Про болячки мы, кажется, уже наговорились. И Дмитрий как-то было даже заскучал, исчерпав тему.

Но встрепенулся, когда я спросил:

— Часто бываете в Лазнях? Недёшево.

— Часто! — удивился Дмитрий. — Первый раз!

...Жили в Казахстане. Пришла пора ехать в Россию. А куда? На голое место. Ни работы, ни жилья. Хотел к себе на родину, в Казань, но жена вот в свою рязань утянула — в Самару. Первые два года челночничал. Торговал часами, чем только не торговал... Вымотался... Желудок я тогда посадил. Мотался с часами этими...

...Уехали в район к дяде моей Зины. Нашли халупу, где жить. Кроликов разводили, потом свиней... Выращивал капусту, морковь, картошку. Морока.

Как повезло мне механиком устроиться к одному местному предпринимателю, легче стало дышать... Вся автотранспортная техника на мне теперь. А Зина стала директором школы.

— Вы же говорили, что она бухгалтер по образованию?

— Ну да. Сначала бухгалтером в школе, а потом школой командовать стала. Ну, шеф мой, он авторитет в районе, помог, конечно... А что вообще-то? В школе главное: учёт, бухгалтерию поставить как надо. А учителя своё дело знают!

— Если б не Ася, был бы ты здесь во Внуково? Механик, директор!

— Да, да, — с готовностью подхватил Дмитрий, — дочь удачно вышла замуж! Она окончила школу с отличием, потом плановый институт с красным дипломом. Но это бы ничего! Поехала когда на практику в Швейцарию, познакомилась с немцем. Поженились. Теперь она живёт в Швейцарии. Два языка знает — немецкий и английский. Это заслуга Зины вот. Немец — активный такой! Купили нам путёвки в Чехию. Такое увидеть! Заграница! — кивнул на сумку. — Она приезжала к нам туда, Ася. Привезла компьютер. Себе новый купила. Это, конечно, всё благодаря Зине. Она тянула её на золотую медаль в школе. Всё положили и для учёбы в городе... Снимали квартиру ей. Я через два дня за 150 километров ездил, возил ей еду: мать готовила. Только учись! И вот результат! Живёт теперь в собственной квартире в Швейцарии. Это после нашей деревни!

Нам повезло! Жизнь удалась, можно сказать! Взлёт! За дочерью и сын потянулся. Такая же методика. В школе мать держала в руках руль. Потом я! А кто, кроме нас самих? От армии я его отмазал. В аспирантуру заочную оформили. Выложился, конечно. Всё удачно! А что? Он и в институте отличник. Уже съездил на стажировку в Германию. Предлагают остаться работать. Они оба, и дочь, и сын, учили немецкий ещё в школе.

Заметив, очевидно, некоторую мою раздумчивость при таком его рассказе, повторил вновь с напором:

— А что? Если государство так к кадрам относится, то кто должен? Он отличник! Ему дорожку надо давать!..

— Дмитрий, а помнишь? — говорю я. — В наше время, в 60-70-х годах ещё, если в армию не брали, как бы дефектным считался. И девчонки на таких по-другому смотрели!..

— Помню, как же не помню. Сам на флот рвался безудержно! На море хотелось после наших степей. Но — не судьба!..

Он было воодушевился, начав вспоминать о службе, но... вдруг смолк. Прошёлся туда-сюда вдоль ряда кресел неровной своей походкой, видно, борясь с чем-то в себе. Произнёс, остановившись:

— Это раньше! Так было. А ещё как было? Подзабыли!.. Вот Карловы Вары... Я их, только когда служил, видел. Возили нас, солдатиков, на экскурсию. И всю жизнь потом их вспоминал, как чудо! Когда б мне такое ещё увидеть?! А тут мы с Зиной сели в Лазнях на поезд, и через тридцать минут вот они — Карловы Вары! Жизнь удалась! Натерпелись! Намыкались, но удалась! Когда бы я мог махнуть за границу?! И дети мои когда?!

В этом его «когда» было и удивление, и досада, и... сразу не скажешь, что ещё...

— Рай в отдельно взятой семье? — невольно вырвалось у меня.

Он вперился в меня жгучим взглядом. Видно было, что механизмы в голове заработали ускоренно, но жена опередила:

— А что? В отдельной семье? В каждой семье упираться надо! Тогда и толк... Кто мешает?

«Какой толк? О чём она? Если так, то надо всем упереться и... всем уехать?! — язвил во мне мой маленький язычок. — А кто останется?»

А большим языком сказал, не имея никакого желания обидеть своих собеседников, может, даже наоборот:

— Не каждый так может, как в вашей семье...

— Ну тогда какие претензии? — развёл руками Дмитрий.

Я молчал. «Претензии!» Действительно: какие претензии?..

...Радоваться бы безоглядно за них, за такую слаженную семью. Да что-то, что не сразу выразить словом, удерживает...

Мстительница

Унылое это дело — сидеть перед кабинками пенсионного фонда и ждать своей очереди. Чисто, уютно. Электронное табло высвечивает номер очередного посетителя. Всё чинно и упорядочено. Но народу...

...Рядом две старушки. Совсем пожилые. Ведут беседу. Ближняя ко мне, остроносенькая, лет за восемьдесят, божий одуванчик, рассказывает:

— Теперь, когда моих всех давно нет уже, даже внучки, взялась я изучать и восстанавливать свою родословную. Много чего интересного! Как мы умудрялись ничего не знать! Прислали на мой запрос из Перми, что прадед мой, Михаил Леонтьевич, был крупный предприниматель и купец. В революцию отобрали у него много чего. Лошадей только около сотни. Коров, овец, имущества — на двух листах перечень. А в конце, представляешь, указано, что забрали пуд золота.

— И что? — её собеседница, крупная, с мясистым носом, с трудом уместающаяся в кресле женщина, смотрит через толстые стёкла очков иронично. — Обещали пару гнедых с тарантасом вернуть? И грамм сто золота?

— Я об этом и не помышляю, — говорит «одуванчик». — Другое придумала! Я отомщу! Стыд! Сижу на такой пенсии!

Собеседница её повернулась к говорившей всем корпусом. Да так, что кресло под ней колыхнулось из стороны в сторону. Поинтересовалась:

— Как же ты отомстишь?

— А вот так! Возьму три миллиона рублей в кредит в государственном банке. И раздам студентам. Они у соседки моей живут. Насмотрелась. Без ничевошеньки маются.

— А дальше?

— Что дальше? Возьму — отдам студентам! И помру. Взятки с меня гладки!

Соседка громко удивилась:

— Голубка дряхлая моя, кто ж тебе даст-то? Три миллиона! У тебя ж поручителей нет! Это раз! Кто поручится? Второе: нужен залог! А твоя однокомнатная хрущёвка — кому нужна?

— Не дадут? — спокойно удивилась «голубка».

— Не дадут! — последовал уверенный ответ.

Наступила было значительная пауза, но «голубка» встрепетнулась и пролепетала, будто прошелестела маленькими и лёгкими крылышками:

— Тогда я приму свои категорические меры! Отомщу всё равно! За всех!

— Какие такие меры?

— Буду как можно дольше жить! И пусть маются со мной — платят мне мою законную пенсию. Для меня оскорбительно маленькую, а для них — сверхнепосильную!

— Не надорвались бы, — скороговоркойотреагировала соседка и забежала суетливо взглядом по ряду светящихся электронных табло, боясь пропустить свою очередь.

«Голубка» сидела неподвижно. Глядя остановившимся взглядом поверх голов рядом сидящих.

Что она видела? И о чём думала? Наверняка не о злосчастном пуде золота печалилась. Скорее, о том, чему нет цены, нет измерения: о загубленных в лихие години жизнях печалилась...

Петька-здвездочёт

На носу учебный год. Начали съезжаться в интернат его шумные воспитанники. Среди них неприметный четвероклассник Петька. Новенький.

Вечером — отбой. А Петьки нет! Ушёл из интерната? Куда ушёл? ЧП! Обыскали все помещения. Нет Петьки! Слышу какой-то шум на верху здания интерната. Я — к пожарной лестнице! По лестнице — наверх, к потолку! Вот он — люк! Не закрыт. Я — на чердак! С чердака — на крышу! А там, вот он: сидит на шифере Петька. И смотрит...

— Ты чего тут?

— Марь Ивановна, какая тут красота! Интересно так! Вот, посмотрите, — и тычет пальцем в небо.

У него и в голове нет мыслей о том, в каком я состоянии.

— Смотрите! Вон лес, а за ним горы... А за ними что? И что за горизонтом? Это ж так интересно!

Я вытянула шею, смотрю.

— В нашем посёлке все дома одноэтажные, а здесь! Как здорово! Я не ожидал такого... Думал, скукота будет в интернате.

Встал, схватил меня за руку:

— Смотрите, одна звезда за другой гонится!

Смотрю. И правда: две таких крупных звезды на небе! Летят вместе вниз. Гляжу и не могу оторваться: завораживает.

— Марь Ивановна, темно ведь как! Они, наверное, разбились? Их не стало... А осколки куда подевались? Марь Ивановна? Их кто-то там за горами подберёт? Уже четыре звезды так упали. Как вы думаете, у нас что-то похожее на тунгусский метеорит может пролететь? Вот бы!

Вопросы сыплются, как горох. У меня вся злость пропала. Вместе с ним смотрю на небо, как впервые вижу... Стыдно стало отчего-то, будто стала взрослой и предала что-то в себе, а он... обезоружил меня, поставил на место.

...Посидели мы, посмотрели. Прижавшись ко мне, согрелся под боком Петька. Стал сонным.

...Начали спускаться вниз. Спустились. Народ нас ждёт. Успокоились, пошли спать.

На другой день я распорядилась закрыть лаз на замок. Петя такими грустными глазами стал на меня смотреть. И я сдаюсь... Полезет ещё по пожарной лестнице.

Вместе с ним украдкой несколько раз потом поднимались на крышу. Я трубу раздобыла... Наблюдали за звёздами, за небом. Он так много хотел знать! Я ему помогала книжки по астрономии доставать. А он несколько раз доклады делал для ребят. Важный такой... Поход с ребятами на крышу делали. Его все так и звали — звездочёт.

...Родители его переехали в Ульяновск, и наш звездочёт вместе с ними.

...А мне грустно так стало, будто во второй раз с детством своим простилась.

На обочине

Опять этот старик на берегу Волги. Мы с ним говорим не один уже раз.

Вернее говорил-то больше он. Моё дело — слушать.

— Зовут меня Иваном Сергеевичем, как Тургенева, — сказал он мне сегодня. — Про вас я узнал. Вы книжки пишете. Мне про то пастух коровий Володя сказал. У него есть одна ваша, тоненькая такая.

«Вот почему, — отметил я про себя, — он назвал меня впервые на «вы»».

...И сегодня в разговоре старик часто повторялся, как и прежде. Видно по всему, что постоянно думает над тем, что говорит. Пытается выбраться из плена, а всё ж не по силам.

Одному не по силам, вот опять попался ему я...

Но от меня большая ли помощь?..

А он, кажется, на меня и не надеется:

— Говорил, что тоже силишься понять жизнь? Такую какая есть, какой она стала. И почему она такая? Определена граница, двух твоих институтов не хватит... Понял ли я, что такое жизнь, в свои восемьдесят лет? А как её успеешь понять, когда будто в одну дверь вошёл, а в другую тотчас вышел!.. — он оказывается помнил наши разговоры дословно. — Написать хочешь повесть о простом человеке? Но ведь была уже «Повесть о настоящем человеке»? По-другому хочешь сказать? Ну-ну...

Старик было смолк. Но его тут же толкнуло изнутри, он встряхнул большой белой головой:

— У нас на магистрали, на большаке сейчас кто? Скажи мне? — он перешёл, не заметив на «ты». — Молчишь! А я отвечаю! Не сразу, потерпи.

Встал, чуть прошёлся, разминая ноги. Остановился около меня, заговорил нервно:

— Жизнь наша — Россия! Без России мы никто! А какой Россия стала?.. Помнишь, у Шукшина кино было? Там один мужик начитался Гоголя и придавил себя вопросом: «Если Россия — птица-тройка. И мчится, как птица, то кто на тройке? Ответь мне?» Так, по-моему, спрашивал? Михаил Ульянов, ну, который играл этого дошлого мужика. Вон когда ещё накрепко мы... И домчались такими до конца двадцатого века.

Перенесла Россия нанесённый удар, переживём и нынешние беды... А пока у нас на самом виду Бога не ведающие люди. Торгаши! Разворовывают, растаскивают всё, что могут. По алчности. Не моргнув глазом, считая это за доблесть, успех любой ценой! И сколько тех, кто от безысходности, от нужды переступил черту?! Копошатся... Многие на обочине оказались. Те, которые не торгуют ни ворованным, никаким... Мильёны таких!.. Трудятся как и раньше. Или доживают своё, кто стар. И ненужным оказался... Если их и видят пока, то смотрят на них, как на дефектных каких... Вот тебе и матерьял для второго тома «Мёртвых душ». Бери его прямо из жизни. Черпай по полной... Только душу не выстуди...

Весна в интернате

В наш интернат брали из больших семей и где не было одного родителя.

Без интерната, не знаю, что бы из меня получилось в жизни... У мамы нас четверо, она неграмотная...

В интернате были свиньи, коровы, огороды. Одежда всегда у всех аккуратная. Я до интерната никогда не носила туфли, откуда им взяться? А тут одели, обули нас. Всё как положено. Научили шить. За выходные я могла сшить два сарафанчика. Во как!

Кормили хорошо. Полдник. Сыр, масло, пельмени сами делали. А нас — около трёхсот человек. Дядя Коля поваром был, такой добрый. А жена его Зина — завхоз. Они часто брали меня к себе на выходные. Люди такие сердечные. Хоть и хорошо было в интернате, а в семью хотелось...

...Нас родители не брали на лето домой. Нечем было кормить. Зато походы какие! На всю жизнь в памяти остались...

У меня, кроме походов и рисования, ещё одно увлечение было. Перед самыми окнами интерната был лесок: старые тополя, клёны, три огромных ясеня. А вдоль этого леска посажены молодые деревья, рядком. Я до сих пор хорошо помню. Слева направо: две сосёнки, клён, потом вяз, совсем от него недалеко — дубок, затем — три черёмухи (одна за одной), два куста сирени. И, наконец, последняя в ряду — ива. Такая кустистая и развесистая. Плакучая.

Как я любила возиться с этими деревцами! Завела дневник наблюдений и старалась заносить в него всё примечательное. Тогда ведь не было ещё ни телевизоров, ни магнитофонов, ни сотовых телефонов, как теперь. Свободными были...

Книги и природа!.. Экологически чистое детство! Так теперь я скажу.

Помню, весна пришла. Да такая скорая! К апрелю сильно разогрело. Лето! Весь апрель солнечный! И только к самому концу похолодало. Пошли дожди, да с грозами!

Промыло всё весенним дождичком. Чистенько так стало. И небо ясное. Мы дня за три артелью весь лесок почистили, вырубку организовали. Красота! И... скукожились! Что же это мы? В леске-то обычно соловьи в чащобе распевают, а теперь всё поредело. Прилетят ли певцы наши? Прилетели! В ночь на первое мая, в третьем часу запел первый соловей. Да так звонко! Как я проснулась, сама не знаю. Будто кто толкнул меня. Распахнула окно... сказка!..

Выскочила я через окно в соловьиную ночь к сизой весенней зелени, освещённой луной, и не могла успокоиться. Смотрела на луну, на всё вокруг, ставшее под вязкой прохладой неба неузнаваемым, и готова была разрыдаться, сама не зная от чего. Станный свет луны, её многозначительное молчание и торжественность говорили о чём-то таком важном, чего днём мы не замечаем, не чувствуем... Лунный свет будто давал сигнал того, что скоро дано мне будет понять сердцем...

До конца соловьиной ночи я так и не смогла уснуть... Как я в те годы любила весну! За то, что она приносила простор зелёного мира, море тепла, свободу светло-голубого, прорвавшегося из зимних холодов, утреннего неба... Приносила тревожное ожидание чего-то неясного, смутного, обещающего такое, чего в твоей жизни ещё не было, но непременно должно быть... Весенний свет вершил во мне какую-то важную для меня работу.

...Первые дни мая. Солнце парит крепко. А зайдёшь в тенёчек — холодно так! Земля от зимы ещё не отошла. Держит холод.

...Всякое дерево по-своему оживает в такое время. Сосёнки хоть и зелёные, а обновления особого не чувствуется, кончики ветвей украсились мутовками, но всё сдержанно, суховато...

Другое дело — разрогатившийся клён. Весь покрыт листвою, совсем летней! У вяза — своё. Толстый уже, почти в руку внизу, стоит с чуть ожившими почками. Еле-еле проглядывает из них тугая зелень.

А дубочек, чуть потоньше вяза, совсем будто неживой: почки набухают, а никакой зелени. Стоит стройный, повыше вяза, не похожий на своих сородичей в леске. Ему Колька Таликин уже два года обрезает боковые ветки, и он тянется вверх. Стройнее всех!

— Я сделаю так, чтобы он был тонким и высоким, как тополь! — заявляет.

— Зачем? — спрашиваю Кольку.

— Мне интересно.

У черёмухи уже висят фонарики, но белые только наполовину. К кончику такой фонарик сходит на конце маленькими, уменьшающимися в диаметре шариками. В каждом из них проглядывает цветок.

...Цветочки, если взять в руки, уже едва уловимо источают свой удивительный запах. Не то, что цветки сирени, которые пока тёмные ещё совсем и пахнут только одной зеленью.

Зато плакучая ива — царевна на всю округу. Её тонкие ветки свисают вниз, образуя девичью причёску. И каждая веточка, кроме изящных, тонких и узких листиков, украшена золотистыми серёжками. Их очень много, серёжек этих! Присмотришься и увидишь, что едва ли не из каждой почки, выпустившей свой листочек, выскочила и золотистая, извивающаяся, мохнатая, похожая на тонкую гусеницу, серёжка.

К иве нестерпимо хочется подойти и потрогать её или что-нибудь сказать ей. Но подойти очень близко не так-то просто. Около неё, вокруг, зеленеют всю ландыши. Боязно ступить ногой... Нигде нет, а под ивой столько их, ландышей! Мраморных ландышевых колокольчиков ещё нет. Но, кажется, если проспичь, придёшь утром попозже, а они вот уже позванивают хрустальным, холодноватым звоном.

У вишни, которая в мой рост, цветки тугие и кругленькие. Вот-вот стрелнут бело-розовыми бутончиками... Любопытно так!

В лес весна приходит раньше, чем куда-либо. Потому и тянешься к нему. Ждёшь чуда...

Весна вся соткана из ожидания.

...А кругом столько забот и игр! Надо побывать на холмах, поиграть в салки. Мальчишки гурьбой выливают сусликов... То тут, то там гуртуются...

...Теплынь! Девчата в майках. Одно только... мальчишки начали щупать девчат. Какая зазеваается... схватит до боли раз, другой... и убежит тут же... Девчонки идут жаловаться к Вере Ивановне. А она успокаивает, как может: «Мальчишки растут, и вы растёте. Ничего у вас тут вот не было, а теперь... Что это у вас за бугорки растут? Как почечки по весне... Им, мальчишкам, интересно».

...Были у нас две девочки-близнецы: Лида и Таня. Их никто не различал. Заставили Лиду косички носить, а Тане короткую стрижку определили. Лиды уже нет. А с Таней я списалась недавно, она в тех краях так и живёт. «Озера, в котором мы с ребятами ловили раков и тут же в большом ведре варили, — пищет, — уже давно нет. Так, болотце осталось... не узнать... Ни раков, ни ежевики нет. Того дома, в котором интернат был, тоже нет. Кафе и бензозаправка теперь там».

А те, наши деревья, сообщает Татьяна, стоят. Вымахали! Больше пятидесяти лет минуло. Хочется съездить, посмотреть...

Но с моими-то ногами как теперь?..

Враги

Перед самой смертью дед мой рассказывал, как каялся:
«Прибыл и к нам уполномоченный в 37-ом году.

— От вас должно быть три врага народа, — заявляет.

— Да как это? У нас нет таких!..

— В соседней Лобачёвке пятерых арестовали, а у вас вдвое больше народу и никого нет? — говорит и смотрит поверх наших голов. — Не вникнете в ситуацию, будем разбираться с вами лично. Укрывательство — дело куда как серьёзное!..

Уехал уполномоченный.

Надо что-то делать... Сидим, думаем. Я — председатель сельсовета и ещё двое из активистов. Пётр Конкин — из бывших балтийских моряков, безрукий. И этот, Кандауров Сашу-ня, вёрткий такой...

Кандауров говорит:

— Давайте Кичигина: у него отец, чтобы в гражданскую Чапаеву не давать коня, загнал животине в копыто гвоздь.

Пётр Конкин вскинулся:

— Это ж твой отец, Сашуня, загнал коню гвоздь, мне рассказывали...

— Ну, мой, не мой! Их обоих уже нет. Чего ты хочешь? В Сибирь?

Молчит Конкин. Понял, кто перед ним.

А Кандауров дальше:

— Второй — Ванька Лашманкин. Он в колхозе украл гужи, чтобы валенки подшивать.

— Было это? — спрашиваю.

— А ты проверь теперь! — отвечает.

Вижу, Конкин какой-то другой стал. Лицо багровое. Потное. Переживает, что ли? Проникся ответственностью.

Говорит бывший матросик:

— Третьим пусть будет Мотькин Захар. Ходит, смотрит и всё время молчит! А вижу, ненавидит нас. Этот точно — контра. От него всего можно ждать, затаившийся враг! В церковь ходит за пятнадцать вёрст в Петряевку.

...Ещё двух подобрали. Пятерых в общей сложности. На двоих последних не стали пока искать провинность. Написали на бумажках фамилии. Скатали и бросили в картуз. Жребий чтоб тянуть. Сашуня Кандауров запустил ручонку и вытащил бумажки с первыми тремя кандидатами, которым мы определили вину.

Какое-то даже облегчение наступило: не надо на тех двоих чего-то там писать. Всё в аккурат: трое есть! Так и определились.

Приехал уполномоченный. Поблагодарил за бдительность и уехал.

Никто из троих, которых следом забрали, в нашу Осиновку потом не вернулся...»

Как сусликов...

Добираемся с женой из Галича в Москву. Попутчик в купе пожилой, уступчивый. Предложил моей жене нижнюю полку. Часто выходит курить, когда возвращается, дышать в купе становится тяжелее. Сам говорить не начинает, а на разговор

идёт, но не сразу... Я же, почувствовав за сдержанностью нелёгкую судьбу, исподволь пытаюсь его разговорить.

Рассказывает:

— Наступили девяностые. Шахта стала убыточной. Я — горный мастер, брат — начальник участка. Оба работаем на одной шахте. У нас в городе многие так. Предприятие — градообразующее. Шахту закрыли. И сразу залили водой. Нас, как сусликов, вылили из шахты. Кто сразу задохнулся, кто, отдышавшись, пополз в сторону... Директор наш, всего мужику пятьдесят лет, ходил темнее тучи. Недолго ходил. Инфаркт — и не стало его.

— Что же, — спрашиваю, — совсем негде было устроиться на работу?

— Нас сколько таких? — усмехнулся. — По такой специальности, как у нас с братом, горный инженер, негде. Да и по какой другой — тоже.

Мне сорок два года, ему — тридцать пять. Зарабатывали до того хорошо. У меня выходило около четырёхсот рублей в месяц. И вдруг на обочине, как вы говорите, оказались. Что-то скопилось раньше. Первое время жили. Мать: «Только б не было войны». А что ей остаётся говорить больше?.. Она вроде не видит, что война-то уже идёт. Выкашивает на ходу нашего брата...

А тут ещё дефолт обрушился. Окаянные дни! И у меня, и у брата всё сгорело в сбербанке. Брат запил по-чёрному. Недолго это длилось, месяца три. Хватанул палёной водки и сгорел в больнице. Полметра кишок вырезали, а всё едино — не выцарапался.

— Как же вы выживали? — спрашиваю.

— Как? У матери огородишко. Он спасал. У неё ноги никудышные — куда я от неё поеду? У моего дружка, тоже горного мастера, только с другого участка — инфаркт. Похоронил я его. На свои. Сначала я запил. Только чувствую: моя очередь настаёт... Обидно...

Устроился на лесоповал обрубщиком. Платили не шибко, но нам не до жиру. Насмотрелся в тайге и натерпелся. Когда до пенсии дожил (она у меня льготная, в пятьдесят лет), как-то вздохнул. Ну, в смысле — хоть какие-то деньги. А так-то лёгкие после шахты никудышные...

Теперь уж, когда за шестьдесят, ничего, кажется, не надо. Перегорел на выживании. Ничего не интересно. Разве это жизнь? Мамы давно нет. Никому не нужен. Уже и не на обочине, а не знай где... Вот только внучка... Свет в окошке. К ней на недельку в Ярославль еду... Сына второй год уж нет...

Он смолк. Мне хотелось спросить что-нибудь про сына. Но мельком взглянул на собеседника, и стало неловко. Столько в выражении его глаз было боли...

А он, словно услышав мои мысли, только-то и бросил:

— Война продолжается...

Не опохмелил

Как идёт, значит, мимо нас сапожник Сидоркин Матвей, так отцу моему:

— Илларионыч, ставь бутылку самогона, опохмели! Добром прощу! Туды-т, растуды!

— Дак я непьющий, сам знаешь!

— Опять непьющий? Вчера так заявлял: непьющий! Сегодня? Сколько можно? Чураешься ты нас, бедноты, Илларион... И подозрительный очень. В хоре церковном поёшь... Молишься... Раскулачим мы тебя, вот увидишь, как дойдёт очередь до нашего села...

— На всё воля Божья, — смиренно так отвечает тятка, — но самогона у меня нет... Тем более для тебя.

«Может, меж них и ещё в чём-то разногласия, — думаю я, — были. Кто теперь знает?»

А я, десятилетний малец, смотрю на Матвея — щуплого с жиденькой бородёнкой мужичка, потом на родителя — крепкого, с огромными, пудовыми кулаками, и никак не верю! Мне даже смешно! Как этот слабосильный человек может осилить моего папаню — раскулачить?

У нас в то время частенько сходилась народ в селе на кулачные бои. Конец на конец! Бились усердно по своим правилам, я несколько раз видел кровавые сопли на снегу. Папаня мой в кулачках не участвовал. Я не видел, как он бьётся. Но всё равно не верилось, что его победит такой как Матвей Сидоркин. Никакого раскулачивания мы ещё в селе не знали, и угрозу дядьки Матвея я связывал вот с этой дракой на кулаках.

Но пришло время. И прибежала тётка Маня — двоюродная сестра папы:

— Всё, Илларион, завтра планируют у нас начать раскулачивать. Муж Гриша сказал. Он от Сидоркина узнал.

— И почто так всполошилась? — говорит папа.

— Дак ты первый в списке! — отвечает.

— Не может такого быть, — уверенно возражает родитель, — у нас одна лошадь всего, одна корова. Да лобогрейка...

— Эт так, но они уж бумагу составили. До революции, мол, у вас было десять лошадей, десять коров, два батрака, земли сколько-то много... У них эта, разнарядка, сколько семей раскулачивать. Говорят, ты — замаскированный враг, затаился только! Так вот! Родители твои мироеды были.

— Что же делать?

— Вот меня Гриша и послал предупредить! Он говорит, будто есть такой порядок: если главы семейства нет на месте, то раскулачивают без высылки. Просто отбирают всё... вместе с домом. Один выход: бежать тебе надо! И себя, и детишек спасёшь.

...Папа ушёл в ночь на станцию Грачёвка. С одной котомкой за плечами. А нас утром раскулачивали. Всё подчистую отобрали. И нас всех вытряхнули из дома, как из кошёлки цыплят. Помню почему-то, как мама моя не отдавала горшок с большим цветком. Упёрлась! Паршивец Матвей рвал его из рук мамы моей, матерился до потолка, горшок-то и грохнулся мне на ногу. Пальцы отбил сильно. Я орать, а мама схватила Матвея за бородёнку да как звезданёт правой-то рукой ему в урыльник. Что началось тут! Пыль столбом!

...Папа в Самаре сначала конюхом работал, потом сторожем где-то, ещё кем-то. Вернулся домой. Сидоркина уже не было в живых. Допился.

Пришёл папа, а его и не трогают! Схлынуло вроде всё. Забыли про него или как?.. Нет, потом вспомнили. Вызывали. Проверяли. А что с нас возьмёшь? Всё, что можно, уже отобрали тогда, живём в землянке. Куда уж глубже в землю вгонять... В могилку разве?

Так папу и не забрали, оказался ненужным, что ли?.. Ему уже за пятьдесят было...

Светлое будущее

Не понимаю, почему я должен называть 60-70-е годы застойными? Столько тогда было построено! Я в этом водовороте был. На моих глазах такое вершилось. И моими руками кое-что тоже...

После техникума — на буровую! Не сразу всё давалось. Но вот я — буровой мастер!

Приглашают в партком:

— Тебе надо быть в партии. Ты энергичен, грамотен. Рабочие за тебя горой! Ни к чему быть в последних рядах. В передние шагай! Коммунизм строим!

...Сел писать заявление. А как писать? Непонятно было, какой он — коммунизм. Но я всей душой! Как все! Кругом не глупее меня! Тогда так хотелось знать: какое оно, наше светлое будущее? Написал: «Хочу быть в первых рядах строителей светлого будущего». С искренним желанием написал. И продолжал бурить, то есть строить светлое будущее. Как мог!

Мы бурили! И там, наверху... тоже бурили! И набурили! Чего теперь строим — не понять! Но в одном продвинулся: я теперь на пенсии. Подрабатываю в коммунальном хозяйстве дворником. Три тысячи платят да моих пенсионных пять. Вот оно, моё светлое будущее. Когда-то не знал, какое оно. Теперь знаю!

Сказал бедняк...

Идём с моей случайной попутчицей вдоль порядка кособоких нежилых избёнок к чудом ещё сохранившемуся магазину. Я за хлебом. Она за спичками. Она бывший преподаватель. Школу закрыли оттого, что некого учить. Продолжая наш вчерашний разговор, произносит:

— Привезли, что ли, утром спички? Слов нет. Хозяин-то вторую неделю как запил.

— Я слышал, что когда-то тут более-менее был приличный колхоз. Даже не верится теперь?.. — говорю, а сам всё смотрю на завалившиеся тёмные мазанки.

— Моя мама лет двадцать проработала в этом колхозе. То поварихой, то прицеппицей, а то дояркой. Умела она говорить коротко. Могла обронить как ненароком:

— Так, сказал бедняк, хорошо в колхозе жить! А сам и заплакал...

Давно уже нет в живых её.

Не удержался, спрашиваю:

— А что бы вы сказали сейчас о нашей жизни? В наши лихие девяностые?

— О теперешней? Как мы живём? — подняв на меня усталые глаза, спросила удивлённо и недоверчиво. — Не видите разве? Я не могу сказать так как мама... Хоть и пограмотней вроде...

— Вы же учитель. И, кажется, историк?

— Нет уж, Бог миловал, я преподавала математику. Просите, чтоб я сказала о таком... Слов нужных нет, говорила уже... А слюны не хватит...

Сказала так и изменилась в лице. Сама, видимо, за свою оценку, за жизнь свою испугалась... Не до конца ещё, видать, разуверилась.

Молитва

Как живу? Молюсь! Каждый день в молитвах. Последняя надежда осталась. Выйду на берег Волги, как сейчас, а то прямо на серёдку её. Одна стою среди снегов. Надеюсь, так одну меня, в отрыве от людей, ангелы мои или Боженька быстрее услышат. Последнее время, чтоб облегчить им меня определить, так и шепчу: «Водовозова я. Мария Алексеевна, живу в России, в посёлке Гранном Самарской губернии, улица такая-то, дом такой-то. Помогите! Приберите моего муженька! Со всем невоготу. Уже и не плачу...

...Муж Николай вконец из рук Божьих выпал. Теперь ведь ни парткомов, ни нормальных завкомов нет. Вот товарищеские суды были... Как какой заерепенится, от жены к другой сиганёт, его раз... и на место... Кто детей растить будет?.. Нищету разводить?! Правильно — неправильно, а порядку больше было.

Хотя что я плету? Какие теперь товарищеские суды? Заводы-то юлдыкнулись. И наш тожа... Который год уже стоит...

Как уволился Николай, так и начал куролесить. Спервачка он только пил...

Я вначале соседей стеснялась. Не в обычай, чтоб хуже, чем у людей было. А теперь соседи-то тоже все пьют. Некого стесняться...

Как быть? Пьёт! А на что пить? Пенсию ещё не успел зарабатывать. И у меня нет. Вначале телевизор пропил. Потом швейную машинку «Зингер». Её отец мой из Германии привёз, военный был. Он пьёт и из дому всё тащит, а тут зять Василий, как без привычного дела остался, на наркоте сел. Дочь Ньюра бессловесная. Терпела, терпела. В двух магазинах убирала, да ещё у дачников тут... Девчонок-то надо содержать! Надорвалась. Одни стропила у неё остались. Худющая. Лежит в больнице с сердцем. И войны нет, а косит смертушка. Выйдет ли из больницы? А Василия вторую неделю нигде нет. Я думаю, скорей всего, утонул: вон польня-то на Волге какая. Его уж разок вытаскивали. Я дочери не говорю. Куда ей? Не выдержит.

А мой теперь по мелочам начал. Босоножки младшенькой внучки утащил. Вчера схватилась: куртки дочерней нет. А ну как её выпишут из больницы. Вот и молю Бога. Прибрал бы он мужа мово к себе, по-доброму. Без меня. Ведь всё равно жилец никакой. Он уже ничего не может ни по хозяйству, нигде. Руки трясутся, одно на уме... Молитву творю! Уберёт бы меня Спаситель от греха. А то пришибу его. Чтоб спаси Настю с Леной. На дочь-то какая надежда, если и выйдет из больницы... Одна я у внучек опора... Хорошо обе учатся, самостоятельно всё. Лена — круглая отличница.

А мой трясун уже к холодильнику примеривается. Мямлит, что отвезти надо его в ремонт. Я знаю, какой у него на уме ремонт. Они с соседом, таким же как он, уже отремонтировали один. Полина теперь без холодильника, погреб у них обвалился. А у нас совсем нет. Стараюсь из дома не уходить надолго, но разве уследишь?

Молюсь... молюсь...

Устала. Приготовила молоточек. Только тюкнуть осталось по затылку...

Спокойно и отрешённо пощипывая у только что купленной в поселковом магазинчике буханки хлеба жёсткую краюшку, повторила снова: «Только тюкнуть осталось...»

И так она это сказала, ещё раз спокойно, так обыденно... А мне показалось после её слов, что небо рухнет сейчас на нас

обугленным пологом... Что и эта женщина, и две её внучки, которых я никогда не видел, и я... и те, двое бедолаг мужичков, которые как бы уже и не в этой жизни, оказались в адовом кругу. И круг этот очерчен жёстко и неумолимо. Мы теперь в кругу, где едва мерцает грань между добром и злом...

Возникли в смешавшемся сознании, как истлевшие, полусторевшие стропилины когда-то добротного дома, слова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». И о ней ведь, Марии Алексеевне, слова эти сказаны. Как издёвка они звучат в наши дни...

— Что вы, Мария Алексеевна, — не находя нужных слов, говорю я, — даже подумать об этом... грешно...

— А что? — отзывается обречённо. — Не радость, конечно. А разве не грех — две души загубить разом, двух девочек по миру пустить. На мне всё сошлось. Мне решение принимать. Вот и молюсь: Бог дал, пусть он и возьмёт его... Без меня... Пожалеет мне... И пожалеет нас всех...

Она повторяет уже сказанное. И я понимаю, что слова эти из её молитвы... Она с ними сроднилась.

...Мы стоим на берегу Волги, у крохотного продовольственного магазинчика — посреди неохватного вселенского простора. И глядя на эту, совсем почти незнакомую мне женщину, я чувствую свою чудовищную неспособность что-либо существенное предпринять, чтобы помочь ей выбраться из этого адского круга. Не чувствую в себе нужных для этого сил.

И невольно молюсь. Шепчу малодушно: «Господи. Убереги и сохрани! Отведи беду... По её ли грехам ей такое?!»

Эпоха не та...

Сходи вон в тот здоровенный кирпичный дом на том порядке, к Мотькину. Наберись ума. У него у одного такой домина в нашем посёлке. Мимо не пройдёшь... Он, кажется, понял жизнь. По-своему. Когда я в школе тутошней учителем труда работал, он у меня в учениках был. Мотькин один, как я ни бился, нормальную табуретку на уроках труда сделать не мог. Не хотел!

— И зачем, говорит, мне это? Когда за деньги всё купить можно? Так проживу!...

И верно ведь: живёт, ничего делать не умея. Кроме денег! Бабки рубить, толкует, надо в городе, а дышать приезжать сюда, в посёлок на берег Волги!

...Я с ним недавно калякал, тоже про жизнь, как с тобой...

«Жизнь, — говорит, — это эпидемия, распространяемая половым путём! Не успеешь своё взять вовремя, останешься ни с чем! На каждого сколько надо! А нас уже семь миллиардов ртов. Вот если бы до миллиарда было, тогда другое дело... А то от одного метана задохнёмся...»

...Он книжек-то не читает, я знаю. Где-то подцепил это, услышал и гнёт, как своё... Реактивный, на лету, словно блесну, хватает, когда дело касается наживы... Один он так из поселковых вознёсся. Дети в Англии учатся, жена живёт в Карловых Варах. Как? Откуда такое племя взялось?!

Хотя... его дед счетоводом ещё в колхозе был, помню. Отец — бухгалтером вот уж в наше время. Только и считали. Цифру уважали! А чтоб руками?..

...То ли мы не умеем считать? Или не так считаем, как они: «Тебе... мне-мне, ещё мне!» Цифра нас всех и съест!

Его сосед, старик Лунёв, который совсем ещё недавно жив был, тоже сокрушался:

— Эпоха не та! Ничего не поделаешь, — говорил.

А сам всё понять что-то хотел, больше, чем мог... Так и помер...

Рассказ хирурга Голубева

Я тогда служил в Забайкалье. До армии успел поработать немного медбратом. Готовил себя к учёбе на врача, к спасению человечества от болезней, не менее того! Что могло быть лучше этой мечты. И папа, и мама мои были врачами. Один мой дед проработал сельским врачом всю жизнь. Известный был коstopрав, между прочим.

Но я не об этом. Я о первой моей любви...

Не было у меня никакой любви до армии. Не встречался ни с кем ещё. Работая медбратом, видел всё больше грустное. Светлое, полагал, впереди! У меня в то время даже усы ещё не росли.

Бунина любил очень, прозу его... Появился у меня его чептрёхтомник. С него всё началось. Стихи писал, но скрывал

ото всех. Совсем ещё не знал, какой я, но знал, что хочу быть хирургом. И надеялся в армии набраться кое-какого опыта, служить шёл с охотой.

И вот я попал в армейскую жизнь. Наш военный городок совсем маленький был. Медпунктом в нём заведовал прапорщик Водолазов, полусонный такой всегда. Одной таблеткой лечил от всего. Ну, если что серьёзное, сразу везли в другой военный городок, в госпиталь, где штаб дивизии...

Всё у меня шло поначалу размеренно и сносно. Мои способности медбрата сразу как-то все признали. Если что, обрацались ко мне с вывихами, порезами, нарывами всякими. По-настоящему-то я как бы стал заведовать медпунктом, негласно так. Легенды поползли по городку: кому и как я здорово помог.

...Офицеров было у нас пятеро, трое с жёнами. Жили они на территории городка, чуть в сторонке от наших казарм. Там офицерское общежитие было.

Выделялся среди офицеров один особенно... И наружностью, и поведением. Худой, черноволосый такой. Старлей. Походка у него была какая-то... вертлявая. Глаза чёрные и так глубоко спрятаны под мохнатыми бровями...

Я его про себя называл Грушницким. Сам не знаю почему... Так-то его фамилия Лисовский была.

Настырный! Как вопьётся в кого, до посинения может довести. Его и офицеры не любили. Такие, наверное, до генералов и дальше вырастают... Безудержный!.. Узнать бы, какой и где он сейчас, хотя теперь-то уж, может, ни к чему?

...И вот приехала к этому Лисовскому жена. Лена. Совсем молоденькая. Но, как потом выяснилось, на три года старше меня. Она училась в педагогическом на четвёртом курсе. В Саратове. В городе, где я родился и вырос. Это мне как-то сразу запало в душу. Я теперь рассказываю легко, потому что не о главном говорю, о второстепенном...

О главном? Я и сейчас не смогу сказать, что со мной случилось. Появление Лены меня ввергло в смятение... Что это было? Любовь? Не знаю. Она мне стала сниться с первого дня, как её увидел.

Там недалеко от офицерского общежития было кафе. Называлось оно «Солдатская чайная». Мы туда с ребятами забе-

гали. Когда она встречалась мне, я делался деревянным. Она, кажется, поняла про меня что-то, и у неё на лице появлялась такая... полуулыбка при встрече...

Настал день, когда мы впервые поприветствовали друг друга при встрече. Она сказала мне как-то прожигающе просто: «Здравствуй!» Как я обрадовался, что шёл один! Это только мне одному так было сказано! Она прошелестела тихо и невесомо мимо меня, а я только-то всего глупо поднял молча руку. Будто честь отдал...

Она ходила в первые дни по городку больше в белом платье, которое просвечивалось на летнем солнце почти насквозь. Зачем она его надевала?! Я зажмурился. Не смел смотреть, а солдатики-ребята оборачивались, глядя ей вслед... Иногда отпускали резкие словечки. Безобидные. И не очень. Я внутренне негодовал: как они смеют?! Я успокоился, только когда увидел её в плотной тёмно-вишнёвой юбке и в розовой кофточке. Получилось такое вишнёвое пятно на нашем серо-зелёном армейском поле. Лицо у неё было особенное. Такое родное, знакомое с детства... Очень похожее на лицо моей мамы. И глаза такие же светло-голубые. Как у мамы!

Мы начали при встрече вскоре обмениваться короткими фразами. Но я чувствовал уже, что этим просто так для меня наше знакомство не закончится. То, что происходило во мне, — не удержишь, не утаишь! А вокруг столько глаз... И этот её... Лисовский!

Он стал смотреть на меня при встречах, не мигая. Длинный, похожий на удава... Они были такие разные. Муж и жена... А я совсем мальчишка! Взял и положил Лене на подоконник букетик ромашек, крадучись, в сумерках... И записочку приткнул в приоткрытое окошко. И получил от неё что-то вроде обидной выволочки на следующий день: «Алёшенька, не надо больше. Я скоро уеду, и всё у тебя пройдёт... Ты просто ещё ребёнок. Чистый и невинный. Для всех, Боже мой, то, что происходит, так... нехорошо. Молодая офицерская жена и солдатик... Будь взрослым... прощу! Я боюсь... Он на всё способен».

Я слушал её, и мне казалось, что мы это не мы, а персонажи какого-то старинного романа... И не понять: глупого или какого. И про мужа сказала, как про средневекового злодея. Напугать меня хочет? Ещё пару недель назад мы не могли ска-

зять друг другу целиком фразу, а сейчас она назвала меня Алёшенькой и говорила о таком, что у меня голова шла кругом. И мы прятались во время этого разговора от посторонних глаз за длинной стеной общежития. Под окнами. Мы были заговорщиками, сообщниками... Нас уже объединяло нечто. Я перестал спокойно спать...

Теперь я писал стихи не только ночами. Весь был погружён в нервный стихотворный плен. Я понимал, она скоро уедет. И то, что её скоро не будет здесь, ещё больше меня волновало.

В глубине сознания мерцало: «Вот Петрарка, Лаура!.. Другие времена? Пусть я не гений! Конечно, не гений в поэзии. Но как я чувствую! Какое во мне сокровище! И никому этого не надо?!»

...Я вложил в конверт три стихотворения, написанные накануне, и начертал письмо. В нём я уверял её, что для меня самое главное — иметь возможность называть её солнышком. Что я счастлив уже тем, что люблю! Только пусть солнышко будет каждый день. Пусть для неё это не имеет никакого значения, но я благодарен ей за то, что со мной происходит... И пусть я жалок в её глазах... пусть! Мне всё равно!..

Послание своё я вложил, как и прежде, в щель между рамой и карнизом её окна. Романтическое, наивное время было. И какое бесценное!

...Она не ответила на моё письмо. Ни письменно, ни устно. Я и тогда полагал, а теперь почти уверен, что письма этого она не видела. Попало оно в руки Лисовскому.

Дальше случилось то, что раздавило меня...

Дня два я Лёну не видел, даже издали. И вот наступил тот день, вернее вечер... Прошёл ливень. Течёт со всех крыш. Ливня уже и нет, а идёт дождь. И вокруг тёмная мокрая мгла.

Прибегает посылный в казарму:

— Голубев! Срочно в медпункт!

— Что? — спрашиваю. — У Сидорчука осложнения?

— Нет, гной весь вышел, уже и рана затягивается. Он ходил сегодня к Водолазову. А тот: «Чё, говорит, ходишь, если к лучшему?»

— Кто же?

— Лисовский этот! С женой.

...Когда я вошёл в медпункт, Лисовские были там. Лена сидела на кушетке, старлей у стола. Я не успел ничего сказать.

— Лена, раздевайся! — стальным голосом произнёс Лисовский.

— Женя, — голос у неё с надрывом, — может, всё-таки не надо?.. Не здесь! В госпиталь?

— В какой госпиталь? — металл в голосе его звенел.

Я посмотрел на Лену. Лицо измучено, необычно бледное.

— У Лены, возможно, температура, — попытался вмешаться я.

— Да, тридцать девять! Вот поэтому здесь всё и сделаем. У неё истерика была. Куда ей такой ехать?

— Жаропонижающее принимали? — спрашиваю.

— Только что, — последовал ответ Лисовского.

— А Водолазов где?

— Я его выставил! Не хватало, чтоб завтра весь городок хихикал. Ты — другое дело. Тем более — уникам. По крайней мере так говорят.

Наступило молчание. Потом он вновь scomандовал:

— Я сказал! Раздевайся! Сколько ждать?! Мы же договорились, — обрушился он на жену.

— Отвернитесь! Оба! — отозвалась почти истерично Лена.

Я стал смотреть в окно. Лихорадочно пытаюсь понять происходящее и необычно волнуюсь. При мне раздевалась женщина. Такого со мной ещё не было.

— Мне холодно, — послышался голос Лены.

Я повернулся. Она лежала на кушетке в одном бюстгалтере, вытянувшись на спине. Я не мог смотреть. Меня слепило её большое, будто восковое, тело. Лена казалась мне здесь, в небольшой, тускло освещённой комнате, античной богиней. Не скульптурной, нет. Вся наполненная живым теплом!

«Богиня» шмыгнула носом. Я молча подал ей, чтобы укрылась, простынь.

«Но как я буду делать? Это для меня впервые», — крутилось в голове.

— Товарищ старший лейтенант, я никогда аборт не делал.

— Какой аборт?! — взорвался Лисовский.

Он выхватил из кобуры пистолет.

— Эскулап! Тоже мне... Смотри! Там другое... Внутри!

...Я подошёл вплотную к кушетке. Убрал с ног Лены простынь... И склонился над развилкой её длинных ног.

Было темновато. Невольно поднял голову...

Лисовский, поняв меня, опередил:

— Вон же! Справа настольная лампа, включи и пододвинь!
Я повиновался.

Когда трогал лампу, с тумбочки упали на пол узенькие розовые женские плавки. Меня дёрнуло, будто током.

...Кажется, я начал терять координацию движений. Я впервые видел перед собой так откровенно обнажённое женское тело.

Лена смотрела, не мигая, в потолок. Боясь встретиться с ней взглядом, я невольно пошатнулся в сторону. Лена догадалась закрыть глаза.

...Лампу я включил, но этого было мало. Мне надо было... Я почувствовал, что весь мокрый. Лоб, меж лопаток... А главное — руки, повлажнили ладони... Я не мог произнести нужные слова...

— Мне надо, ей надо... — мямлил я.

И тут Лисовский чётко, безоговорочным тоном распорядился:

— Солнышко, надо ножки...

«Солнышко!» — повторилось в моём сознании. Меня обдало жаром. Он так назвал её специально? Он потешается надо мной? Над нами? Получается, он читал моё письмо к Лене. Он намеренно не повёз её в госпиталь? Решил меня высечь! Или её? Я был унижен им. Оба с Леной унижены.

Но Лена причём? Ей надо помочь! Это из-за меня всё!

...Но что от меня требуется? На какой-то миг я перестал видеть. Потом будто с глаз моих сняли пелену. Я упёрся взглядом в пистолет Лисовского, который лежал на столе...

«Сейчас схвачу! И всю обойму — в него! И в себя!» Я перестал себя ощущать, я был в невесомости... А может, на грани безумия!

Лисовский перехватил мой взгляд, взял пистолет и вложил его в кобуру.

Он подошёл к кушетке. Встав у Лены в изголовье, руками взял сверху её под колени. Приподнял ей ноги, потянув их на себя. Развёл свои руки с зажатými в них ногами в стороны.

— Ну! Долго ждать? — он смотрел на меня своими дикими глазами.

Я вновь склонился над Леной.

— Я помогу, — проговорила она.

Её длинные пальцы скользнули вниз живота. Там они невольно на миг соприкоснулись с моими...

...Внутри, не сразу различимый, сидел, впившись накрепко в мягкую розовую тёплую человечью плоть, клещ. Он уже явно распух от крови. Был не тёмный, а несколько посветлевший. Вокруг него покраснение и отёк.

Я взял пинцет и скальпель...

...Когда всё было сделано, я опустился на стул у окна и одеревенело упёрся взглядом в одну точку в темноте палисадника. Отстранённо, будто издалека, слышал, как Лена одевалась.

— Не энцефалитный? — произнёс Лисовский. Не называя меня никак. Словно я послушно управляемый робот.

— Не знаю. Надо смотреть врачу-специалисту. Я его выкрутил полностью вместе с хоботком, но зараза могла пойти в кровь. Время терять ни к чему.

— Лёша, прости.

Я вздрогнул.

Лена стояла почти вплотную ко мне:

— Лёшенька, прости меня! — повторила она бесцветным голосом.

Я тогда не понимал и сейчас тоже: за что она просила прощения? За то, что было в медпункте? Или за другое?.. И понимала ли она сама, о чём просила?

Так мне до обидного дежурным показалось это её «прости». Данью вежливости, что ли... Или она так боялась рядом стоявшего Лисовского?

К тому времени я уже начал догадываться, как одинок в своей жизни человек... И с моей впечатлительностью столько мне ещё впереди предстоит всякого.

...Они ушли. Так захотелось куда-нибудь убежать. Но куда? Может, к Байкалу? Но где он?!

Продолжая сидеть у окна, я плакал... В голову вползла спасительная мысль: сейчас найду чего-нибудь и траванусь. Я... обрадовался этой мысли. Всему сразу развязка... я не выдержу моей такой будущей жизни... Я не готов к ней... И никогда не буду готов с такой моей нервной организацией...

С шумом ввалился Водолазов, задев у порога ведро.

— Лёх, что стряслось-то у них? Долго так!

— Да, заноза была, — с усилием собирая себя в одно целое, ответил я.

— У кого?

— У Лены в пятке.

— У тебя лицо в слезах! — хохотнул он.

Я нашёлся:

— От нашатыря. Она в обморок падала, а я... пролил...

— Добегалась! Они вдвоём с женой начальника части всё шастали вдоль Оськина оврага. То им грибы, то ещё чего!.. Теперь, гляжу, еле идёт. На плече муженька повисла, полуживая. Маменькина дочка, одним словом... От занозы — в обморок?!

Он ещё что-то сказал. И хохотнул. Мне было не до него.

* * *

Больше Лены я не видел. На другой день Лисовский отвёз её в госпиталь, оттуда через пару дней проводил в Саратов. Об этом, ухмыляясь, сказал мне всё тот же Водолазов.

Лисовский вёл себя со мной так, будто вообще ничего не было. Не замечал меня, делал вид...

А потом его перевели куда-то в другую часть... Он — не знаю где, она — тоже. И живы ли?..

Меня-то уже точно нет прежнего...

...Хирургом я стал. Циником тоже... Это — профессиональное. Возвышенной и чище, чем с Леной, у меня потом уже ни с одной из моих женщин отношений не было...

Столько перегорело во мне тогда в одном коротком замыкании...

Правда

Спрашиваешь: страшно на фронте было, по правде? А как же не страшно? Живой, чай! Но когда опасность, некогда вроде и бояться. Начинаешь действовать, делать то, чему учили. Опять же по своей сноровке...

Правда — она то колючая, а то совсем не знаешь, как к ней подступиться...

...Помню миномётный обстрел, в первые дни, когда на передовую попал... Фриц как начал лупить! Мы врассыпную. Ещё и испугаться не успели...

Рядом ложбинка какая-то была, небольшая. Я — в неё. И тут же на меня ещё трое сверху. Придавили, дышать нечем. Я было задыхаться начал, рваться кверху. А тут мысль прожгла: «Стоп! Я так жив буду, прикрыли меня ребята собой...» Затаился... Даже как бы обрадовался... повезло... Съёжился, чтоб ничего не торчало...

...Смолкли взрывы. Двое, которые на мне лежали, — оба раненые, а тот, что сверху них, — мёртвый. Вот оно как... И стыдно, и вроде вины-то моей нет.

Санитары раненых и убитых подбирают, а я сижу целёхонький. И так не по себе...

Коля Меченый

Дружку моему Николаю на передовой не повезло спервоначала. При бомбёжке, смешно сказать, оторвало осколком ему краешек левой ноздри. А когда миномётный осколок надорвал ему мочку правого уха, ребята попритихли. Только нет-нет, да назовут его меж собой «Меченым». И правда ведь: меченый. У нас в селе так овец метят перед тем, как в стадо пускать, — ухо надрезают.

...А Николай стал настороженным каким-то. Задумчивым. Заметив, что ребята около него стараются долго не задерживаться, странно усмеялся только...

...А тут идём втроём по нейтральной полосе. Вне зоны обстрела миномётов. И ему по нужде потребовалось, по лёгкой. Всего-то метров на десять отошёл от нас в реденькие кустики. И вдруг — как ахнет! Прямо в эти кустики. Поднялись и к нему. Голову у Николая, как лемехом, срезало. Лежат: отдельно он, отдельно голова его...

Пристрелочный, что ли, был выстрел, либо шальной снаряд этот. Больше-то не последовало. Всего один-единственный.

...Будто почувял Колька и вовремя отошёл от нас — беду отвёл. На себя взял... Или совпадение?.. Как хочешь думай...

Такой случай

— Стали нас принимать всем классом в октябрюта. А я отказываюсь. Не хочу.

Наша учительница Нина Ивановна внушает мне:

— Не волнуйся, я говорила с твоим отцом. Он тебе разрешает быть октябрёнком.

— Нет, — говорю, — пусть он об этом сам мне скажет!

И ушёл домой. Остальных Нина Ивановна повела во двор на площадку.

Шёл из школы и не мог понять, как мой отец священник мог разрешить такое. Значит, тогда Бога нет?

Оказалось, что отец ничего не знает. Моя учительница с ним не говорила.

На другой день я подложил ей кнопку на стул. Она сразу догадалась, что это моя проделка. Стала при всех меня стыдить. Что мне оставалось делать? Я сказал, что она врунья! В присутствии всего класса заявил.

Она оставила меня после урока одного и стала бить по спине, по рукам. Получилось так, что я ударился локтем о дверцу голландки, и у меня потекла кровь. Она, опомнившись, крепко испугалась. Выбежала из класса, оставив меня одного. Если бы не кровь, досталось бы мне больше...

Она скрыла всё. И я ничего никому не сказал.

...Прошло более тридцати лет. В храме после службы подходит ко мне старушка:

— Батюшка, вы меня не узнаете?

— Нет, — говорю, — не припоминаю.

— А я узнала вас. Я Нина Ивановна — ваша первая учительница. Помните приём в октябрюта?

Тут-то я всё и вспомнил. Она рассказала о себе:

— Приехала я к младшей сестре, которая недавно стала жить в вашем городе. А она говорит: пойдём со мной в наш храм на службу, у нас такой батюшка!.. Один раз пришла, второй... Сегодня вот решила подойти, открыться... Судьба моя оказалась тяжёлой. Всякое было. Больно уж я нетерпеливая была во всём... Упорная... А разума... Живу давно одна, дети разъехались — и как и не было их... Слава Богу, встретила вас! Хочу попросить прощения. Снимите давний грех мой с души!

Я и раньше-то, как постарше стала, очень себя корила за свой тот давний поступок, но к кому с этим пойдёшь?.. Время-то... А я не такая сильная, как вы...

...Как всё переменялось вокруг, одиноко стало. В церковь-то и потянуло... Всё хотелось потом узнать, где вы? Слышать-то слыхала, что настоятелем стали... А где? И тут такой случай!

«Ты такая нам не нужна...»

Я тогда медсестрой работала в больничке с отказными больными детьми. До перестройки ещё.

Узнали, что я собираюсь за верующего, сына священника, замуж выходить, стали «пужать» меня. Что только не говорили! «Он тебя ночами будет заставлять молиться. Истязать будет постами!»

Я упёрлась.

Тогда мне сказали, что я такая в больнице не нужна! Могу изуродовать слабые детские души. Что надо мне уходить, другую работу искать...

Я и ушла.

Пожились мы с Алёшей и уехали жить в другой город. Замужем я уже около тридцати лет. И дети есть, и внуки...

Где теперь те люди, где те детки, за которыми я ухаживала? Неужто без веры живут? Беспокойно за них...

Сержант

Дело было в начале восьмидесятых. Получил я сержанта и прибыл, куда направили. В первый же день вызывает меня в красный уголок замполит.

Вхожу. Сидит он и ещё три офицера. Все смотрят на меня, как на музейный экспонат.

Замполит спрашивает:

— Ты как к нам попал?

Отвечаю:

— Это вопрос не ко мне!

Майор повёл головой из стороны в сторону, явно недовольный ответом, и вновь задаёт вопрос:

— Но ты понимаешь, что тебе у нас служить нельзя?

- Почему? — спрашиваю.
— Ты же верующий. В Бога веришь.
— Одно другому не мешает, — отвечаю.

Он своё:

- У нас же ракетные войска!!!

Замполит привстал над красным сукном. Видно, что разговор для него необычный. Но глаза ленивые такие...

- И что с того, что ракетные? — говорю.

Майор вышел из-за стола, подошёл сначала ко мне, потом зачем-то к окну. Со значением посмотрел через оконное стекло в просторное небо. Вернул взгляд в мою сторону. И сказал наигранно, с усмешкой:

— А вдруг Бог даст тебе команду нажать кнопку и выпустить ракету? Или ещё чего такое? Что будешь делать?

Я искренне удивился таким словам его. Спрашиваю:

— Товарищ майор! И вы тоже верите в Бога? Верите, что такая команда может поступить?

Он опешил от такого вопроса. Подошёл к столу, сел. Лицо оживилось, сделалось красным. Молчит. И остальные офицеры молчат. Не ожидали такого...

...После этого разговора никто со мной из офицеров не затевал беседу о вере. А замполит, как мне показалось, внутренне заужал меня.

...И среди солдат потом много раз попадал я под каверзные вопросы. И каждый раз ответ находился вовремя.

Будто кто помогал мне в этом...

С голода не пухну...

Когда началась наша всеобщая «прихватизация», и я попал под её каток.

Я — главный инженер главка. Под началом до двух десятков заводов. Что началось вокруг и около: голова кругом! Терпел, не зная, что делать.

...Пошёл на подпись поток передаточных ведомостей на оборудование по остаточной стоимости. Заводы готовили к передаче в частные руки. Схватился за голову: стоимости смехотворно занижены. Три ведомости подписал, больше не мог. Перестал спать ночами. Иду к начальнику главка:

— Виктор Аркадьевич, это ж грабёж государства, народа. Понимаем ли, что творим? Будто не заводы готовят к передаче, а колхозные слесарки!

— Там понимают, — показывает пальцем над головой начальник.

— Но почему я должен это подписывать?

— А кто? — спрашивает. — Не я же! Ты отвечаешь за оборудование, ты — технический директор. Там, — опять показывает на потолок, — всё согласовано. Понял?

Я всё понял. И написал заявление об уходе. Никаких бумаг больше подписывать не стал. Это последняя была. Так я стал безработным.

А механизм по лишению состояния ста сорока миллионов россиян ладился на глазах, а мы обескураженно все молча взирали. Приватизация!..

Вначале было обесценено громадное богатство Советского Союза. Затем население было поставлено в такое положение, в котором оно готово было, вынуждено любую собственность обменивать на хлеб, молоко и так далее. Есть что-то надо было... И любой протест против такого ограбления всего народа был в то время невозможен...

...Так в течение всего нескольких лет появились собственники нефтяных, металлургических, химических гигантов...

И теперь утверждения, с таким усердием внушаемые нам, что план и государственная собственность, — самое главное препятствие эффективного развития нашей страны, разбились опять же на наших глазах о личные интересы жирующих на народном богатстве.

Поворот к капитализму для нас, россиян, оказался чудовищным откатом назад. Мы сползли к недоразвитому капитализму...

...Почему об этом молчат? Неужели я умнее всех! Быть того не может!.. Тогда в чём же дело?..

...Вместо столицы оказался я за Уралом. Но никто меня не тронул. Долго, правда, не работал. Кругом красные флажки. Теперь-то работаю. Глава фирмёшки одной. Проектными делами занимаюсь. И по прежнему профилю работы, и не совсем... Но с голоду не пухну. Сердечко вот только теперь...

Чернослив в шоколаде

Я зашёл в отделение почты у нас во дворе и, кажется, в неудачное для меня время. А, может, наоборот... Где б услышал такое?.. Оказывается, сегодня день выдачи пенсии. Мне всего-то нужен почтовый конверт. Народу битком... И до окончания обеденного перерыва около двадцати минут. Все спокойно ждут момента начала выдачи денег. Идёт неспешный разговор. Я притулился у косяка, почувствовав интересное. Начало разговора я не слышал. Захватил, видимо, середину его.

Рассказывает интеллигентного вида пожилая женщина. Мне она показалась похожей на бывшую учительницу.

— Ну что мне делать? Болезнь есть болезнь, надо прорваться к этому доктору. А я никуда никогда не прорывалась. Тем более так! Но всё ж решилась. За меня договорились. Меня доктор примет. Мне только осталось, как сказали, обязательно купить солидную коробку шоколадных конфет. Боже мой, коробку-то конфет я купила, большущую такую. «Чернослив в шоколаде» называется. Сама никогда не пробовала такой. Сто семьдесят два рубчика стоила эта моя взятка. Пакет пластиковый большущий дома еле подобрала. Сама иду в поликлинику, а всё думаю: «Боже мой, как же это я буду, старушенция такая, взятку давать? Ведь это ж... он же на государственной работе...» А за спиной, над ухом всё вдогонку усмешка моего зятя: «Ну что вы, Серафима Илиодоровна, уже какой год как перестройка! А вы всё по каким-то махровым принципам живёте! Давно пора перестроиться! А то не выживете так...»

Иду. Под мышкой, как крыло самолёта, пакет такой большой с конфетами. Ветер на улице. Сумка парусит, я спотыкаюсь. И трушу... «А вдруг оскорбится? Мужик ведь! А я, какая-никакая, всё ж таки дама! Он же, наверное, в нашей нормальной школе учился. Доктор медицины, в любом случае не меньше меня, училки-пенсионерки, получает? Выставит за дверь ещё! Позорю!.. В общем, иду, интеллигентка тощая, комплекую всю... Но, как велел зять, держу курс на перестройку: а то и впрямь... не выживешь теперь...»

Не помню в подробностях, как я вошла в кабинет. А он, доктор, высокий такой, представительный. А у меня своё: «Неужели такие сейчас берут? Думала, какой-нибудь прыщавый будет,

с наглым лицом...» Опыта у меня в этом деле никакого... Не обучены мы...

Как давать-то, думаю, с какими словами? Он чужое вдруг брать не будет, я ведь за работу, которую ему оплачивают, буду совать этот чернослив, будь он неладен!..

— Что же вы, проходите ближе к столу! — говорит и смотрит доктор не на меня, а куда-то мимо... Сам весь лицом смуглый, породистый такой. Лет сорока.

«Ну прям не доктор, — думаю, — а чернослив в шоколаде».

Шагнула я к столу... Не знаю, как у меня вырвалось:

— Доктор, тут вот вам...

И не успела я сама до конца вытащить из пакета коробку, как он ловко хватя её! И не сумела я ничего: ни договорить, ни сесть ещё, он — шась! И за ширмочку, за занавеску — двумя быстрыми шажками, как в цирке. Отренированно!.. Как между прочим. Легко так. А я вспотела вся... Меня больше всего поразило, как он шустро всё. Ну, думаю, такие как мы, верно, обречены на вымирание. Динозавры. Эта перестройка для таких вот, как этот...

Очередь молчала, внимательно слушая.

— И что, помог он вам? — с явным сомнением спросила дама у подоконника.

— Ну, где ж помог-то? Ещё раза три ходила с такими же коробками и поболее... И к нему, и к другим... Толку-то?!

...Окошечко на выдаче открылось, белокурая женщина лениво что-то сказала. Очередь колыхнулась и вновь замерла, зашелестели слова присутствующих. Но уже без внимания к рассказчице, которая повернулась к окошку.

Я вышел на улицу.

Митька-интеллигент

Говоришь, интеллигенция спасёт нас? Спорить не буду, может, и так...

...А я вот на прошлой неделе в своё село наведывался. Братеньник рассказывал про Митьку-интеллигента. Есть в нашем конце такой. С детства чудачит. Лет под тридцать ему. Когда в себе, на народ, ну там в магазин, аптеку... ещё куда, обязательно выходит в шляпе и с авторучкой на груди в кармашке слева,

будь он в пиджаке ли, в рубашке ли... Солидно держится. Это когда он в себе, а бывает иначе...

В тот день мать заставила его огурцы полить. Он вроде в себе был в этот момент, просветление у него какое-то... Огород у Косяковых к речке спускается, у самой воды. Пошёл поливать.

Надо же! Соседка вздумала искупаться. Искупалась, вышла без ничегошеньки на берег, а он у кусточков стоит, Митька-то. Смотрит.

Дарья ему:

— Чё лупишься? Не видел никогда бабу голяком? Не знаешь, что делать?

Пошутила она так... Ага...

«Что делать?» Он, Митька-то, нахохлившись, коршуном и бросился на неё. Замкнуло в нём что-то... Стал кусать её за плечи, за грудь, за другие места. Кожа клочьями... Повалил и всё зубами, зубами её...

...Никогда не знал, что делать? Знал да забыл? Или что ещё у него?..

Сбежался народ. Еле отбили Дарью от Митьки-интеллигента!..

Курильщики

Никак не могли меня мать с отцом заставить бросить курить. Я и сам был не против, но... Сам с собой совладать не мог.

...А тут гуртуются около Ванькова палисадника парни. Курят. Пасха! Солнечно так. Все нарядные и весёлые. Меня зовут к себе. Свернули и мне «козью ножку» из газеты. Я закурил. Стою фасонисто, дымлю.

Вдруг как жахнет! Они, паразиты, в махорку добавили мне пороху! Вот как! Брови мне опалило. Лицо в копоти всё. Сделали мне «козью морду».

Пошёл я отмываться к бочке с водой. А вослед мне Колька Лобастый, здоровенный парень, лет уж около двадцати ему было:

— Не сердчай, Костя! Отец твой, Гордей, больно уж сокрушался, что куришь. Пособить просил, отвадить тебя. Дал нам на всех махорки авансом... порох мы сами нашли. Мы и пособили. Старших слушаться надо!

Все стоят, смеются — и кто курит, и кто не курит...

...Может, то, что бросил курить, спасло мне жизнь.

Когда уж был в плену в Норвегии у немцев, строили мы железную дорогу. Взрывали скалы и делали площадку для шпал. Поскольку работа тяжёлая, нас как-то ещё кормили. В день давали двести пятьдесят граммов баланды, в основном из брюквы, часто нечищеной, сто пятьдесят граммов хлеба, около пятнадцати граммов маргарина и обязательно... одну сигарету.

Те, кто некурящие, скрывали это. Свою сигарету отдавали за маргарин курящим. Получалась у них двойная порция маргарина. Так и я поступал, некурящий. Тому, кто не курил, получалось, хоть что-то попадало в организм из жиров, они ещё как-то держались.

А курильщики быстро сдавали, у них двойная порция отравы получалась...

Как таскать камни, когда еле ноги передвигаешь? Когда смотрит на тебя охранник, стараешься двигаться с камнем в руках. Как только отвернётся, останавливаешься передохнуть. Надо было уметь вовремя начать движение, когда охранник вновь посмотрит в твою сторону. Не всем удавалось это...

Охрана в этом лагере не зверствовала особо. Вольнонаёмные у немцев были, из местных. За свой паёк служили. Помогали бедолагам по-своему... Грузили, которым не по силам была работа, на посудину человек по тридцать-сорок, выплывали чуток в море и сбрасывали. Помогали, как они говорили, отправиться на морской курорт. В основном курильщикам...

...Разных помощников повидал я на своём веку.

План

Отец мой рассказывал:

— Была одна такая, больно уж активная, из комитета бедноты в нашем селе, Веруня. Руководила раскулачиванием. У нас-то в селе вроде норму выполнили, так она в соседних сёлах помогала. Привела подводы с раскулаченными-то в Кирсановку, недалеко от нашего села. Там у них вроде сборного пункта было. Идёт вдоль повозок, а там бабы, ребятишки, зарёванные, всякие... Шагает так, больно-то не глядя на людей. А тут поднимает глаза, на подводу-то: её мать, отец, младшие сестрёнки, братишка сидят...

— А вы как тут оказались? У нас же одна лошадь...

— Дак, дочка, раскулачили нас... — отвечает отец. — Пока ты раскулачивала на стороне, нас тоже того... под одну гребёнку. Дали, проговорился сопляк этот, Стёпка Синицын, какой-то дополнительный план, мы и попали в него! Как вот Сарайкины с Мошниными, Зотов, Корней Остроухов...

Подарочек

Замаялась я совсем. Никак не думала, что так всё обернётся. Со мной ведь что случилось?

Лет десять назад у чалдонки этой, Анфисы, муж погиб. Мы тогда в одном ЖКО работали. Поехал он на аварию, а у них там колодец канализационный и ухнул. Двое из них провалились под землю. Её Михаил обварился сильно. От ожогов в больнице умер.

...И времени-то прошло совсем ничего, а она мово Николая и присмотрела. Как бычка на верёвочке, увела от меня к себе. Может, у них и раньше что-то было. Она видная, чёрненькая такая. И оторви — да брось...

Квартира хоть и Николая, а он махнул рукой: «У Анфисы своя двухкомнатная и ребёнок один только». Ушёл, ничего не взял.

Остались мы с дочкой одни. Сначала-то я тужила очень, потом смирилась. А года-то идут. Они оба перевелись на другое место работы. Мне уже и не за тридцать, а пошло за сорок пять... Возраст бабий такой... Хвори, какие положены с возрастом, какие не положены... всё в кучу.

А врач-то и говорит: «Нормальная вам супружеская жизнь нужна, а у вас её нет, вот и проблемы... Думайте!...»

Хорошо сказать: «Думайте!...»

...Стала я потихоньку молиться. Просить ангелов небесных, чтоб муженька хоть какого-никакого помогли мне обрести... Молили чтоб за меня... Про бывшего-то своего Николая я и думать сто лет перестала...

И, наверное, либо грешна в чём-то сильно, либо что не так сказала в просьбе своей? Али они что напутали в списках своих каких. Помочь-то помогли, но как?!

Возвращаюсь 8 марта с работы, а у моего подъезда мой бывший муженёк Николай сидит. Смирненько так, на лавочке. Рядышком какая-никакая его одежонка кучкой. Улыбается дет-

ской такой невинной улыбкой, никому... так, всем сразу. А мне передавали раньше, что у него с головой что-то стало. Ну, эта болезнь, я всё путаю название: когда мозги отказываются работать... Анфиса так его закружила, что ли? Или что. Она безудержная, с ней вместе быть — с рельсов съедешь... Пил он сильно...

Что делать? И тут она не по-людски, Анфиса-то, с издёвкой... Подарочек, мол, прими...

Взяла я его вещи и повела в квартиру. Квартира-то его, ему принадлежит, Анфиса знает, что не выгону. Попользовалась муженьком моим и... вернула... Больно, видать, я сильно просила, что тоже негоже... И не только своего ангела-хранителя просила. Ко всем взывала. Они и постарались. И, признаюсь, ничего хорошего-то Анфисе не желала. Разлучница ведь...

...И началось у меня... Он же совсем как маленький ребёнок — не понимает, что, когда, где... Только иногда голова работает... и тут же провал. В больнице нашей больше трёх дней не держат таких.

Дочка приезжала к нам, не смогла неделю прожить вместе. То нервничает, то ревёт.

Я из дома стараюсь надолго не уходить, одного боюсь его оставлять...

На той неделе вздумала с ним съездить на экскурсию. Группа собралась, погрузились в автобус. А он не соображает же...

Неожиданность с ним случилась тут же, в автобусе. Как младенец... Дышать стало нечем... Кто шумит, кто, заткнув нос, молчит деликатно. Но таких мало. Что делать? Выдворили нас из автобуса. Морока.

Как быть дальше? Выхода не вижу... И жалко его...

Белый теплоход

Захотелось глотнуть чистого кислорода, и я нырнул с городской самарской улицы в художественный салон, что на Молодогвардейской. Не успел в зале сделать и трёх шагов, как передо мной возник человек:

— Ба! Вот уж не ожидал! Сколько не виделись!

Смотрю с удивлением на говорящего. Невысокого роста, опрятно, хорошо одет... Вот лицо... Лицо бомжа... опухшее, щетинистое, выцветшие глаза...

— Ты не гляди: я завязал с прошлым. У меня теперь дел невпроворот! А ты? Твои вещи здесь есть? Я ценил тебя. И очень...

Он явно путал меня с кем-то. Пытаюсь разрулить ситуацию:

— Я не занимаюсь...

Не даёт договорить. Происходящее похоже на какую-то интермедию. Или розыгрыш...

— Знаю, знаю! Мне говорили, что ты забросил всё... Но какие были наши фотовыставки! Помнишь: одна за другой! В Нижнем Новгороде?! В Саранске!!!

Слава Богу, думаю, хоть кое-что прояснилось. Оказывается, он и я — фотохудожники. А он как будто чем-то только что подзаряжён, не стоит на месте. Ходит вокруг меня. И по-свойски мне:

— Ничего, Борис, я это тоже перенёс, пережил! Творческий спад, запой... известно всё...

«...Меня он называет Борисом, а мне и спросить, как его имя, уже как бы неудобно», — неуклюже сообщаю про себя.

А он вводит меня в курс дела:

— Ты помнишь, — он называет какую-то фамилию, я не расслышал, скороговоркой, как если бы мы все были давними корешами, — он же у меня в Ширяево последние два года жил. Сначала я его козьим молоком отпаивал. У матери моей коза была. Ну и... кормили его. У него же ничего не было. И он как бы никто. Эти мастодонты из Союза художников близко его к себе не подпускали.

И тут началось. С год он работал неистово. Набросился на работу, как с цепи! Не по-человечески. Только спал, остальное время писал. И этого... ни грамма. Я ему только овощи таскал, молоко. Мясо совсем не ел. Всё у нас заставлял в пятистеннике картинами.

...А потом враз уехал. В конце 90-х в Германию, а после оказался в Австралии. Картины забрал с собой.

И хоп! В Австралии стал самым известным художником. Выставки, репродукции... Разбогател! Он мне писал об этом, а я не верил... Как поверишь?

Я слушаю худого, с вывернутой вовнутрь левой рукой человека и нахожусь в смятении: что всё-таки это — розыгрыш, блажь? И почему со мной? Но отойти от говорящего не могу.

Доверительный тон, наше, по его мнению, общее прошлое к чему-то меня обязывают...

А его захлёстывает случившееся:

— ...Но годы... И эта жизнь его, когда бедствовал... Короче, не стало полтора года назад Анатолия. А родственников у него почти нет... Опять: хоп! Оставил мне по завещанию наследство — три миллиона евро и двадцать картин. Таким оказался Анатолий! А мне уже и деньги не нужны. Чувствую: недолговечен я... Куда их? Туда, где все будем, даже ржавого гвоздя не возмёшь. Ну, съездил в Сидней этот, где он жил. Голубые горы. Пляж Менли. Всё замечательно! Но у меня другое. Сколько мне осталось жить? Ну, не более пяти лет... Из них около года понадобилось, чтобы с наследством всё оформить. Тягомотина!

...Я слушаю сказочника, как я его про себя назвал, и жду, чем всё это кончится. И не хочется, чтобы сказка разрушилась, как песочный замок... И... ну, есть же границы фантазии?

— Как-то с пользой надо бы распорядиться деньгами-то, — говорю, желая увидеть, как он будет продолжать сочинять...

— А я распоряжусь! — отвечает. — Хочу успеть (если заслужил), успеть построить на эти деньги в селе Ширяево детский дом. И купить для дома белый теплоход. Волга-то, вот она, рядом... Пусть ребятишки радуются!

Этими последними словами он меня совсем обезоружил. И покори! Стало совестно за моё неверие.

— А почему обязательно белый? — глуповато уточняю улыбаясь.

— Так хочется! С детства мечтал плавать на таком по Волге капитаном. Да, видишь, рука у меня после перелома какая... Ты же знаешь эту мою историю.

Взгляд его остановился на мне. Пронизывающий такой... После некоторой паузы сказал убито:

— Но время! Время летит! Успеть надо сделать что-то настоящее! Ты же хорошо маслом писал когда-то. Что фотография?! Вот! — он разжал поднятый до уровня своего подбородка кулак: — Время, как вода сквозь пальцы! Время пожрёт всё! Помнишь Державина? «Река времён в своём теченье // Уносит все дела людей...» А искусство вечно!

Смолк. Передохнул. И призывно уже:

— Напиши холст «Время и мы». Чтоб много было белого и голубого! Это тебе будет не «Чёрный квадрат» Малевича! Это совсем другое!.. Ты смог бы!

...Когда он ушёл, я спросил работника салона, сидящего за столом у компьютера:

— Кто это?

— А что?

— Да, чумовой какой-то. Так мне показалось.

— Не знай какой, но он заказал для одной из школ в подарок три картины, каждая более пяти тысяч стоит. Сказал, завтра приедут — заберут. Вон в сторонке стоят, оплаченные...

— А можно фамилию его узнать?

— К чему вам? — холодно-то отреагировал работник.

— Ну так! Загляните в базу данных, — я кивнул на компьютер. И получил своё:

— Зачем это? Он сказал, чтоб было всё конфиденциально. И кто вы такой?..

Сиреневые колокольчики

Я тогда уже пятый год вдовой жила. Сыновей попереженила давно. Разъехались они. Живу одна, шестой десяток пошёл...

Всё бы ничего, но дом на отшибе в посёлке. Боязно порой одной-то.

И по хозяйству без мужика не так ладно всё, как могло быть...

Вот меня и познакомил с Леонтием муж моей двоюродной сестры Миша. В детском садике, где я когда-то нянечкой работала, они оба стихи читали ребятишкам. Сошлись мы с Леонтием. Я с самого начала условие поставила: только не пить! Не хочу на старости в пьянке жить. Леонтий условие принял.

Старательным таким Леонтий-то оказался. Перед домом у калитки площадочку вымостил. Осенью все яблони обрезал, какие старые очень — совсем спилил. И в доме светлей стало, и во дворе. И так порядок постоянно наводил во всём. Чистюля. Каждый вечер, как спать лечь, ноги обязательно моет. Иной раз, если в доме моль увидит, не успокоится, пока не прихлопнет. Но временами срывался и запивал. Замыкало что-то в нём. Плакал пьяный. Мало совсем о себе рассказывал. «Нечего, —

говорил, — вспомнить. А как что вспомнишь, голова болеть начинается...»

У него случай был. Как он говорил, работал сварщиком на электростанции и упал с высоты, с тридцати метров аж...

Падал, говорил, как-то поэтапно. Цеплялся за что-то несколько раз, то там, то тут, одеждой. Ну и получил сотрясение мозга, руку сломал, два ребра.

...Деньги мы не делили. Он приносит свою пенсию, кладёт в шкаф на полку. Я приношу — на ту же полку кладу. Соседка моя, Нюра Мижавова, позавидовала: «Везёт: третий мужик у тебя». Она всему завидует.

Знала бы, как мне дались первые два. Помучилась. Она недавно дом-то рядом купила. Издалека откуда-то.

Я всю жизнь то нянечкой, то воспитательницей в детских садиках проработала.

На пенсию ушла, а всё около детсада «Мишки», тут у меня через дорогу. Кружусь. Там помогу, там что-нибудь по мелочи... Вот его стихи, Леонтия-то, раздавала. Читали деткам, очень нравились.

...А через год у Леонтия книжка целая вышла для детей. Было в ней одно стихотворение, где мне очень нравились две строчки:

*Вечно солнышку светить,
Если будем всех любить!*

Это стихотворение называется «Сиреневые колокольчики». Оно и о природе, и о войне. Мы-то в детстве с подружками так любили по весне ходить за этими сиреневыми колокольчиками. Лес-то рядом совсем.

До сих пор вспоминаю эти денёчки. Иной раз во сне колокольчики приснятся — и позванивают из детства!..

...А тут как обухом по голове. Не придумать страшнее. Миша рассказывал мне: приглашают председателя ихней областной организации писателей в обком партии и спрашивают:

— Вы кого печатаете? Фашистского пособника! Гестаповского палача!

Оказывается, на Леонтия пришла бумага из соседней области. А в ней такое... свихнуться можно. По ней Леонтий родился и жил до войны в Поволжье, по соседству с немецкой коло-

нией. С детства знал немецкий язык. Когда началась война, его определили в армию переводчиком. Он и попал в плен.

Немцы зачислили его в эту, в зондеркоманду. Потом направили в Грецию, в команду, которая занималась уничтожением греческих партизан.

Расстреливали целыми семьями. Детей бросали живыми в костёр. И во всём этом, получалось, Леонтий — прямой участник.

После войны за то, что был в услужении у немцев, Леонтий отсидел десять лет.

Приехал сюда и жил на квартире у одной старушки в посёлке, недалеко от города.

Незаметно жил, пока не начал писать стихи и печататься. Вот как!

...Председатель-то пригласил потом Леонтия к себе в кабинет, спрашивает напрямую:

— Служил у немцев?

— Служил, — отвечает Леонтий.

— В расстрелах участвовал?

— Вам же бумагу прислали. Что спрашивать? — так вроде Леонтий отвечал. Мне Миша рассказывал.

Председатель долго тоже не стал разговаривать:

— Ну, раз эдак, то вот что скажу: стихи запретить писать вам никто не сможет. Но печатать мы вас не будем. Точка!

Я говорю брату Мише:

— Как же так? Каратель, и такие стихи хорошие? Не верится.

А он мне:

— Талант — он как чирый! Может и на заднице выскочить!

А тут утечка произошла. По посёлку про Леонтия слухок пошёл...

Что же делать? Как быть? Ума не приложу: полицай в моём доме? Жить-то как вместилах?

Леонтий-то пропал сразу. Не появлялся у меня. Всё решилось враз. Пришла домой — его вещей нет. Туда-сюда. На столе записка: «Уехал. Прости».

И всё! Куда? Чего?

Он даже деньги в шкафу не тронул. Вот ведь?..

...Я до сих пор не могу его представить палачом. Слово-то какое? К нему не идёт...

Вот умом допускаю: документы есть. И всякое другое... Сидел опять же... Судили...

А сердцем никак. Не принимает сердце... А вдруг ошибка? Не соединяется во мне всё в одно целое. С этим теперь и живу...

Недавно ездила к той старушке, у которой он жил до меня. Может, думаю, что узнаю о нём. Увижу.

«Нет, — шамкает хозяйка, — как съехал в тот раз, больше его не видала. А ты кем ему приходишься? — спрашивает. — У него, сердешного, ведь никого, как знаю, не было».

Дожить до весны!..

Говоришь, в голодные годы твой дед с семьёй уехал в Сибирь, и потому все они остались живы? Случалось и такое... Только с нашей-то семьёй по-другому было. Если б только с нашей...

— Вы хорошо помните те годы? — спрашиваю.

Лицо старика трогает вялое подобие усмешки:

— Ещё бы! В памяти такие зарубы остались...

— Могли бы рассказать? — спрашиваю.

— Мог бы, только не сейчас. Неважно себя чувствую после операции. Недели через две, может быть...

* * *

...Старик рассказывал несколько вечеров. Я редко перебивал его вопросами. То, что я услышал от него, сидя вместе с ним в скверике во дворе, меня выбило из равновесия. Я несколько дней приходил в себя. Не мог ничем заняться сосредоточенно, пока не понял, что надо услышанное записать. Перенести на бумагу. Не мог носить в себе...

...Рассказ его я, как сумел, сгруппировал, удалил из него повторы... Нигде и ничего от себя... Местами опустил подробности, которые показались мне невероятно дикими... Всплывали в памяти отрывочные сведения из архивных документов. Но передо мной был живой свидетель...

«Видишь ли, в некоторых уездах Самарской губернии в 1920 году не выпало ни одного дождя. Поля и луга на глазах выгорали. Появились полчища саранчи.

Уже в 20-м году у нас в деревне начали есть жёлуди. Ели их пока наполовину с мукой, потом с мякиной, лебедой. Ещё с репейником этим.

...И 21-й год оказался таким же засушливым. Так много стало пожаров. Горели леса, горели деревни вокруг. А тут холера! Тогда говорили, что она пришла из города. Наступил форменный мор.

Мой родитель с зятем Николаем поехали в Уральск на двух подводах за продуктами. Они не вернулись живыми. Нашли их убиенными, когда, значит, они уже возвращались. Недалёко нашли, тут, за околицей. Лошадей увели. Продукты пропали тоже...

Я догадывался, кто это свершил, седёлку нашу опознал. Но куда с этим? Пришибут только...

...Все, кто мог, к концу 21-го года гужом потянулись кто куда. Кто на скрипучих телегах, кто в кибитках, кто как... Мимо нашей деревни день и ночь шумели повозки, мычали коровы, тянулись верблюды...

Плач детский и стон взрослых слышались отовсюду.

Пошло страшное воровство. У кого корову, у кого овцу уведут со двора. И зарежут.

И нашенские уезжали.

Мама у нас года три уж как умерла. Вдвоём мы с сестрой Настёной остались. А она на сносях. Вот-вот родит. Куда мне деваться из деревни? Всё на меня легло, на двенадцатилетнего парнишку.

А мор продолжал косить народишко. Ели корни и камыш. Разные мослы, которые много лет валялись в пыли, начали сушить и тереть. Получалась костная мука. Ели речной ил, глину...

Так было и у нас, и в других местах. Дети и взрослые ежедневно ползли в помещение сельсовета с милостью дать хлеба. Кто высохший, как скелет, кто до безобразия опухший.

С наступлением холодов ни травы, ни корней не стало. Поели почти всех собак и кошек. Ели всё, что казалось съедобным.

Тут уж начали вымирать целыми семьями. Обезумевшие родители бросали замерзать своих детей на морозе в поле.

Пока земля не замёрзла, как-то ещё хоронили. И то не везде. Уцелевшие, одичавшие собаки растаскивали трупы. В нашей

деревне умирало человек по шесть в день. Маленькие дети от голода грызли себе ручонки. Их связывали.

Начали есть древесные опилки, размальывали ветки молодняка. Спасало не надолго. Болели и мёрзли.

...Тут зачали воровать трупы с могилок. Перестали приносить умерших детей на кладбище, оставляли для еды.

Я раньше читал тогда, что людей едят. Но это там где-то, за семи морями, а тут у нас...

Меня спасали мои ноги. Я был бегун. Утащу что-нибудь съесть! И лови меня!.. А как обессилел, плохо стало.

Разок срезал у Родичевых в сельнице гужи у хомута, а они не поддаются. Сколькo ни варил, ни в какую... Твёрдые и хомутом пахнут.

Другое дело, когда у них отелилась корова. Место, ну этот, послед, они повесили на переруб в сарае. Я его и умыкнул. С мясцом мы оказались с Настёной. Но когда это было? Чуть не год назад ещё.

Бояться я начал, когда плохо стал двигаться. Как бы не прибили. Доступным оказался...

...Разок брата Зуйкины пожаловали разбираться. Я у них из погребницы меж делом капкан стибрил. Придёт весна, думаю, вдруг суслики ещё остались...

...Уже сумерки наступили. Они к мазанке нашей направились. Один из них с лопатой. А я уже давно почувствовал, что они меня пасут. Перебрался ночевать в сарайчик. Пока братья в избе были, я ползком к Дунькиному оврагу. А сил-то нет, как раньша... Ткнулся в кусты сирени на полпути передохнуть. Эта сиреневая кулишка и спасла меня. Лежу и вижу перед носом два черепа человеческих и кости разные. Вспомнил, как летом ещё отца с сыном Кичайкиных здесь видел брошенными. Они это.

Мне бы вскочить, да — к оврагу! А не могу, прижало к земле... Всё же скатился я под уклон и поколтыхал, подальше от дома.

Настёну они не тронули.

А вскоре старший из братьев Зуйкиных отравился, не знай чем...

* * *

...А тут роды у Настёны. Сосед Степан принимал. Кому жа ещё? Все, кто рядом, немощные.

Пуповину дядька Степан резал отцовским сапожным ножом.

...Настёна умерла после родов как-то быстро. Отвезли мы её со Степаном в амбар. Земля уж как железная была. В амбаре том складывали людей до весны, когда земля оттаёт.

Через неделю после матери умерла и девочка. Как ей жить? Я её одной водой с ложечки кормил. Не знал, что делать, советоваться не с кем. Степан тожа помер.

— Как помер? — спрашиваешь.

Расскажу.

В соседнем селе утром толпа голодных, человек в сорок, подвезла на салазках к дому волостного председателя разрубленный труп, взятый из такого же как у нас амбара. И потребовала хлеба. Заявили твёрдо: если не будет исполнено их требование, они съедят и самого председателя.

Труп члены совета у толпы отобрали.

Что повляило, не знай!.. Только и у нас вскоре, и у них стали раздавать кукурузу. Говорили, навроде того, американскую. По четыре кило на человека дали. Вот Степан и наелся досыта. Закупорка получилась у него. Живот и лопнул.

А со мной-то как было?

Как раз повезло мне. У Сироткиных солдаты стояли. Я у одного в мешке кусочек сальца и нашарил. С кукурузой его ел. Эта вот смазка спасла меня.

К тому времени я уже знал, что нельзя много есть костной муки. Нельзя употреблять овчину. Был опыт...

* * *

...Надо девочку хоронить, как положено. А как? Пойду, думаю, к дядьке Илье в соседнюю деревню. Они с отцом когда-то знали. Вместе их призывали на войну с германцем. Он вернулся в село потом с простреленной рукой. Это уже было в гражданскую.

«Может, повезёт чем поживиться у них, а может, по дороге где?» — так я думал.

Дотащился до села, а без толку. Все у них еле двигаются. Топят одну избу поочерёдно с соседями на пять дворов. Где на-топят, туда и сходятся греться. Лежат вповалку, еле живые. Дядьки Ильи дома нет.

Что оказалось-то?

Когда стало совсем нечего есть, они съели умершую у них квартирантку из Грачёвки, кажется, Ручникова фамилия её была. Когда съели, дядька Илья послал свою бабу в совет, чтобы она, значит, сказала, что едят человеческое мясо. Сделал так, чтобы его двух ребятишек приписали к общественной столовой. Увезли дядьку Илью в Самару.

Очень он просил дать ему хоть какую-нибудь работу. Говорил, везите хоть куда, только чтоб можно капельку какую заработать детишкам из еды. Он умел работать.

У него ещё в 20-м году было крепкое хозяйство: пять лошадей, три коровы, овцы. Две лошади увели белые, потом в засуху двух съели волки. Остальное сами проели.

* * *

Когда я возвращался домой, решил сходить к нашей родственнице Агафье. Она на дальнем конце улицы жила.

Иду, значит, к Агафье и оглядываюсь. Боязно. Она малость чокнутая была. И это ещё... двусбруйная, то есть ну... и баба, и мужик — так говорили.

Я её у нас в доме раза два видел. Лицо мужичье, а так навряде женщина... Её больше Агафоном звали, промеж собой-то.

Иду по переулку как могу. А пороша выпала. Светло так! И никаких следов на снегу.

Ну, ладно, думаю, кошек и собак поели. Но люди-то должны остаться, хоть сколько-то... Неужто никого?..

...Я ещё в сенях насторожился. Запах...

А как открыл дверь: дух мясных щей волной ударил в ноздри. Смотрю, в печке огонёк сверкает. Агафья с ухватом стоит.

— Проходи, проходи, сродничек! Давненько тебя не видела. С чем пожаловал, Ванечка?

Разговорчивая такая...

Она спрашивает, а я молчу. Одно на уме: «Откуда у неё мясо? Неужто она?..»

Не знаю, что делать! Говорить с ней или удрать сразу. Страх обуял...

— Вот сейчас щец налью, тогда и расскажешь.

И достаёт хозяйка глиняную чашку с отбитыми краями, тёмную такую.

Я еле выдавливаю из себя, не подходя к столу:

— Настя родила и скончалась. Теперича девочка её померла. Племянница моя. Похоронить бы надо.

— Похоронить? — быстро переспрашивает Агафья. И поворачивается ко мне всем лицом. Глаза у неё пустые. Ничего, рона, в них нет, прозрачные...

— Привези её мне, — говорит.

— Зачем? — вырвалось у меня.

Ни с того, ни с чего лицо её, не лицо, а небритый гаденький урыльник с редкими чёрными усами, затряслось в едком мне смехе:

— Затем, что ребятёнки вкуснее. Уж я-то знаю!.. Скажет тожа: похоронить, — пустые её глаза, обращённые в меня, её мерзкий дребезжащий голос лишили меня последних сил.

Я попятился в сенцы и вывалился на улицу.

Не помню, как пришёл домой.

...Потом-то у тех, кто переступил черту, вроде Агафьи, лица, я заметил, становились, как у неё, — урыльниками. Да и жили они опосля совсем недолго... Хотя и голод уже малость отступил.

* * *

...Решил я отвезти девочку на салазках в этот покойницкий амбар, где и Настёна. Недалеко совсем.

...Привёз кое-как. Замка на двери нет. Взобрался на порог. Что я увидел?.. Трупы лежали и штабелями, как дрова, и... как попало.

Сеструху я нашёл быстро. Она распласталась вдоль бревенчатой стены. С левой ноги её, начиная от бедра, кусками была срезана вся мякоть. Отсечены обе груди. Многие были искалечены, не токмо она...

Как я тогда не сошёл с ума, не ведаю.

...Чтобы девочку не достали и не утащили, я, как мог, за несколько приёмов, распихал в середине амбара тела и опустил её на самый пол. Потом прикрыл, чем мог.

Голова соображала тупо. Когда, шатаясь из стороны в сторону, шёл домой, дал себе слово, что обязательно доживу до весны и захороню Настёну с дочкой у нас в огороде. На виду, чтобы, значит, не раскопали...

Эта вот задача, которую я себе определил, может, и помогла мне выжить тогда.

* * *

...Пришла весна 22-го года. Сиреневые почки за огородом набухли, вот-вот распустятся...

Народ иссох за зиму. Кто как, кто на четвереньках, стали выползать на полянки. Ели любую зелень, любую травку, которая попадалась...

Некоторые тут же, померев, валялись.

...Я, как мог, поволокся к амбару. Два раза падал, лежал подолгу. Набравшись сил, вставал и снова колтыхал.

...Трупов в амбаре было уже меньше, чем зимой. Растащили. Настёна лежала теперь в углу, ближе к выходу. Видать, собирались утащить, дак не успели. У неё не было правой ноги совсем.

Девочку я не нашёл, как ни старался...

* * *

...Тут вскоре тех, которые в амбаре уцелели, власти захоронили. И Настёну тоже. По улицам собирали тех, которые из-под снега, значит...

Девочку-то я тогда не назвал никак. Теперь вот, когда помню в церкви всех, кого знал, её без имени называю... Просто девочкой.

Хоронили из амбара прямо на наших задах, где эти самые кусты сирени, которые когда-то укрыли меня.

И сейчас эта сирень на своём месте. Последний раз я там лет десять назад был. Удивительное дело: чахленькая эта сирень жива, цветёт себе. А столько людей, когда-то розовощёких, рослых, деловых, разных, не стало. Как ветром выдуло, унесло. Теперь всех уж и не вспомнить.

...Как так случилось, что живу я более уже девяноста лет? На каких таких дрожжах?

Те, кто народился потом в нашей деревне и живут теперь, в большинстве не ведают, что там случилось... И мало интересуются.

И надо ли знать, как всё было?

Но ты вот спросил.

...Мыслимо ли, чтобы такое случилось ещё?

Озорник

Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь? Всё равно скучно сидеть в этом аквариуме. Не скоро дождёшься своей очереди. Я потихоньку, чтобы этих старушек болезных не разбудить. Не думал, что по поликлиникам буду бегать. Было это давно, ещё в первые годы перестройки, когда я работал директором большого завода. Тогда ещё завод был крепок. Итак, провожу я приём по личным вопросам. Он у меня по понедельникам два раза в месяц был: так легче этот страстный день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать, разбив всё своё терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку — ведь идут со всем, что наболело, — под конец приёма, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старьёй знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь! Он на моё пятидесятилетие тогда огромный астраханский арбуз принёс.

— И танцевал лезгинку, да?

— Во, во, он самый! всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная была: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях. Я ж, окончив институт, чёрт те дери, выдвинулся. Теперь у меня в активе два инфаркта, а он и сейчас танцует. Ну ладно, ближе к истории.

Он, понизив голос, продолжал:

— Входит, значит, он и: «Вот, — кладёт мне на стол заявление. — Прошу материальной помощи, поиздержался», — поясняет. «Что так? — спрашиваю. — Не мог запросто зайти, в обычное время?» — «Не мог, — говорит, — пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой. Для неё и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила. Лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть...» Ну я, замороженный напрочь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две

минимальные заводские зарплаты согласно Положению». Он берёт заявление и быстро уходит.

И уже потом, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Чёрт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил ещё только вышел из подъезда и идёт через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, внимательно так посмотрел на меня и вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат». — «Что, — шумлю, — за чертовщина! Иди сюда в кабинет, объясни. Бабу твою жалко!» Заходит, сукин кот, садится и подчёркнуто вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живём мы по-разному?» — «Как так?» — спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, — сам себе он отвечает, — а у меня географическая карта мира. Смекаешь, разница какая?» — «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище соображал: карта мира на стене над кроватью». — «Ну и что? — реву я. — Что?» — «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан — Арктика! Внизу соответственно — Антарктика. Вечные льды! Смекаешь?» — и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как новый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю!» — «Ну как же? В такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дражайшей супруги ни были — они всегда аккурат во льдах. А там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая! — он схватился руками за голову и стал её качать сокрушённо. — Жуть какая, а?» — «Что ты городишь? Причём здесь это?» — «Причём, причём! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, сгубила ноженьки свои! Верно ведь?» — сказанул... и выскользнул из кабинета... до следующего своего фокуса.

Серая сонька

В Чёрновке был завод верёвок, а Сонька этому заводу принадлежала. Лошадь старая была очень. Плохо уже видела.

Её и решили пустить на колбасу. Но наши поселковые упростили отдать её нам — молоко возить.

И возили. Собирали с окрестных деревень и доставляли на молокозавод. Этот завод был тут, на старых графских развалинах.

Сонька в посёлке у каждого во дворе жила поочерёдно. Всем принадлежала.

Когда у нас жила — у меня наступал праздник. Хлеба нарежу, солью посыплю — лошадушка моя и ходит за мной, как на верёвочке, ждёт, когда дам ей.

У моего папы Звезда Героя была, именнные часы за храбрость. Он был на войне наводчиком. Разворотило ему левое плечо снарядом, а он выжил. Комиссовали его.

Во время войны работал он на заводе в Самаре. То кузнецом, то трактористом. Ночью самолёты вывозит с завода, а днём кузнецом работает. Домой неделями не появлялся. Тогда так работали.

Выдохся. После войны стал трудиться, где верёвки делали. У нас в посёлке.

Как и Сонька, быстро слепнуть начал. У него с войны контузия была. Обоим досталось в жизни. Сонька папу нашего больше, чем меня, любила. Так любила, без хлеба с солью. Он ей и упряжь ремонтировал, и телегу лёгонькую такую приспособил.

В пятидесятые годы сахара у нас не было. Откуда ему взяться? Папа посылал меня за мёдом на пасеку к своему дядьке Винокурову. Мы ему с Сонькой молока, а он нам — мёду.

До пасеки больше семи километров дороги, чуть не половина — лесом. А я с Сонькой не боялась в лесу. Не знай — почему? С ней как дома везде...

Когда проезжали мимо молокозавода, Сонька всегда оставалась. По привычке ждала, когда фляги порожние принесут. Такая обязательная.

...Школа у нас была километров за пять от посёлка. После занятий за нами чаще всех приезжал мой папа.

А один раз, февраль был, метелица, занятия отменили. Нас отпустили. А я не стала ждать, когда за нами папаня приедет. Чего ждать целый день? Одна и умыкнула домой из школы.

Папа с Сонькой прибыли за нами, а меня нет. Домой, говорят, ушла. Вернулись они домой, а меня и там нет. Что делать? Поехали двое слепых искать одну неумную.

А я в метель сбилась с дороги. Пошла в степь, в сторону от посёлка...

Папа рассказывал: «...Уже совсем было надежду потеряли. Не знай, что и делать? Голоса уж нет кричать... Сил самому идти нету. И Сонька выдохлась, вижу...»

Долго они маялись в метель эту.

...А тут она, Сонька-то, свернула с дороги и, как могла, пошла полев. Чуть не по брюхо в снегу. Подошла к заснеженному бугорку и остановилась. Отец подходит, а это я сижу. Уже никакая.

Спасла меня Сонька!

Дальнобойщик

Что, блин, рассусоливать? Любовь — любовь!.. Если она есть, то есть! А нету — ищи ветра в поле.

Я — дальнобойщик. Вернулся домой, а она мне подарочек приготовила:

— Всё, Коля, не нужны мне никакие твои денежки. Не жена я тебе больше. Ушла от тебя, с другим живу. Мне муж нужен, а не эти твои: приехал-уехал. Как морячка. На фига мне твои подарки, квартира?

Сгоряча разговоры разговаривать начал, а потом думаю: «А мне на фига это, если она уже полгода с другим живёт?» Половину вещичек своих к нему перетащила, а я и не заметил.

Ушёл сам, без скандала. Квартиру оставил: с ней же наш сын Ванька. У меня вторая однокомнатная есть. Небольшая, правда, но... перетрусь.

Запил было сначала. Один же! Что делать?

Скоро в рейс снова, как быть? Задача! Думал, думал — ничего путного в голову не идёт. Мне что? В сорок лет по дискотекам подругу искать? Или в клуб «Кому за 30», в нафталине копать? Не для меня. Один мой приятель по Интернету себе нашел подружку — приехала такая горилла, еле через месяц выпроводил.

Ничего не придумал я. А тут из магазина с продуктами выхожу, смотрю: очередь на троллейбус. Ага, приличная такая очередь на остановке. Жмутся все, холодно. Одни женщины, как будто кто нарочно так сделал для меня.

Мысль у меня высеклась. Подошёл к середине очереди и бабахнул прямой наводкой, открытым текстом:

— Женщины, дорогуши! Посмотрите на меня: ну я ж нормальный! Руки, ноги — всё при мне, не дефектный какой! Зарабатываю неплохо. Выпиваю так себе: от случая к случаю. Есть недостаток: рейсы длинные, надолго уезжаю. Но это же профессия! Мужики работать надо!

— Чё тебе надо-то, сердешный? — спрашивают из толпы.

— Жена нужна, — отвечаю, — искать некогда мне: через два дня в рейс. Кто смелая — соглашайтесь!

— А прежняя где? — спрашивают.

— Нету, не выдержала моей профессии! Ушла. А квартира есть, — отвечаю. — Бить женщин не умею. Не гуляю.

Какая-то пухленькая дамочка объявила то ли в насмешку, то ли всерьёз:

— Бабоньки, так это ж почти идеальный жених!

В толпе засмеялись, так, по-доброму. И тут вышла одна, невысокого роста, черноглазая:

— Я согласна.

И мы пошли ко мне. Как пришли — так и живём. Маша разведённая была. Расписались, обвенчались. Судьба.

Сыну Егору полтора уже. За вторым пошла, УЗИ подтвердило. Всё по науке. Решили Ванькой назвать. Так Маша хочет. Не могу возражать. У меня два сына Ваньки будут. А!

Такая она — любовь-морковь.

Жених

Поздним рейсом прилетел из Москвы. Взял такси, еду в Самару. Шофёр с виду симпатичный такой, разговорились. Рассказывает:

— Шесть лет как приехал из Бишкека с русской девушкой в Саратов, где живёт её мать. Денег на двоих — двести долларов. Намеревались начать семейную жизнь, сняли квартиру. Хозяйка сварливая, квартира двухкомнатная. В одной — она, в другой — мы. Недолго выдержали. Уехал с Надеждой в Калининград. Но жилья нет, снова маета по квартирам. Она не выдержала, уехала домой к матери. И я не задержался, махнул в Самару.

Работаю вот таксистом. Единственный способ устроить жизнь — найти женщину лет тридцати пяти-сорока с квартирой. Знаю, таких немало, но они ходят где-то... Трудно встретиться.

У хозяйки дочь есть. Ей тридцать лет. Бухгалтер. Но молчунья. Полгода знакомы — не пойму, что в ней сидит?..

Начал в фитнес-клуб ходить, вот таксистом работаю: может, через клиентов познакомлюсь. Нет у меня опыта в таких делах. Когда молодым был, меня выбирали. Я тогда в оркестре играл: проблем не было... А теперь застопорило.

...Недавно познакомился с одной: она с деньгами. Муж умер. Пустила в свой богатенький круг. Но мне сорок, ей — пятьдесят. Несерьёзно.

Так время и идёт.

Вчера взял билет в Бишкек. Мама написала, что приглядела мне невесту... А вдруг?..

Увлечённый

Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки, седовласый и грузный профессор Дамаскин.

...Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.

Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действие. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.

Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!

Остановившись на миг, профессор вопрошает:

— Сам процесс понятен? Суть его?..

Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:

— Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете что такое?

И, не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.

— Уловили главное! — уверенно восклицает лектор. — Молодцы!

...Когда лекция закончилась и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом — признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.

— Послушай, а причём всё-таки карбюратор?

— А что вы хотите? Вот чудачки! Мы два последних выходов с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале всё не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял... Когда он разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.

Зайка серенький

Мне семьдесят пять лет этой осенью будет. Кому нынче она интересна, жизнь моя? Тебе, говоришь? Ты свою-то слушал мать, когда жива была? То-то и оно... спохватился...

* * *

...Раньше-то я многое помнила, а теперь выветривается. Больше из детства застряло в голове. Иногда прям живые картинки перед глазами... Вот одна из них. Было давно, а будто вчера...

...Мама сунула в полотняный мешочек бутылку молока с газетной затычкой, два яичка, спичечный коробок с солью, хлеба: «Отнеси, Кать, отцу, мне неколи: на ферму к коровам надо».

Иду себе вдоль бровки просяного поля. Оглядываюсь, не забываю, назад. Так мама мне наказала, чтоб лошадь не задавила, как Миньку Сорокина. Он маленький был, четвёртый год ему шёл, а я уж не такая. Мне пять лет! Над головой, не знай где, жаворонки звенят, высоко! А из-под ног куропатки то и дело: фыр-фыр. Мне уж и пугаться надоело, правда! Жизнь — сплошной праздник! Радуюсь иду! А тут: заяц. Сидит в меже. И не убегает. Наверное, понял, что я маленькая и нечего меня бояться. И так он мне понравился! Он маленький, и я тоже безвредная. Уши у него длинные, с чёрными кончиками. А сам весь бурый с рыжеватым оттенком, голова и часть спины за ней — тёмненькие. Хочется рукой погладить.

Сидит себе и продолжает глядеть на меня своими красно-то-коричневыми глазёнками, обведёнными белыми кольцами.

И я на него смотрю, глаз не могу оторвать. Такое живое чудо!
И как домашний!

...Надо же: я уронила сумку на землю. Дёрнулась за ней — зайка и скакнул в сторону. Смотрю кругом. Как и не бывало его... Села на траву и реву, дурашка, в голос. Такое горе!

Папа подходит:

— Катюха, ты чего? Неужто опять волки пробегали?

— Нет, — отвечаю, — не волки! Зайка серенький ускакал!

— И что же ты плачешь? Вставай, пойдём. Там тенёк у меня есть. Давай обед-то мне, понесу.

...Мы идём с отцом к его стану. Вся моя пятерня в папиной широкой шершавой ладони. Папа такой большой и надёжный... А я продолжаю всё равно плакать. И сама не знаю, почему плачу. Не могу остановиться. Заливаюсь...

...Иду и словно сердцем чувую, что не будет у меня больше такой... светлой моей печали... не хочется с ней расставаться...

Всё впереди будет оглушительным и страшным. На другой день объявят, что началась война. Папу в первые же месяцы войны ранят, и он вернётся без ноги. Братика Володю убьют через полгода, а потом и другого братика Серёжу убьют. И мама от такого горя станет никакая... сердечницей.

...Плакала я тогда, шагая вдоль просяного поля, будто прощалась с детством, в пять-то годков своих...

Колода

Одно время папа с мамой держали гусей. Мороки с ними!..

Один гусак, мы его звали Гошей за то, что он всех громче кричал «го-го-го», был совсем особенный. Своей жизнью жил... Летом он улетал в другие деревни, а осенью возвращался и приводил с собой к нам во двор чужих гусей. «Добытчик», — смеялся папа.

Мужики, конечно, ругались. Грозилась застрелить Гошу. В одну осень он не вернулся. Исполнили, видать, мужики свою угрозу. Так папа горевал о Гоше. Он его уважал за его такой независимый нрав и за умение летать...

...Гонять гусей на озеро было моей заботой. Намаялась я с ними.

...Когда резали гусей, хранили мясо в погребе. Набивали его весной снегом и льдом, а сверху — опилки. Когда их не было,

стелили ржаную солому. Гусятину солили. Я не могла есть солонину, вообще гусятину. Так за лето к гусям привыкала, каждого знала. Разговаривала с ними. И в погреб не могла спускаться за молоком или ещё за чем-либо, когда мама попросит... Сама-то она не могла...

...Папа пожалел меня. Перестал держать гусей. На овец переключился. А я и с ними подружилась, с барашками. Они забавные. Не шипят, не гогочут громко. Тоже доверчивые, особенно маленькие когда...

Я по осени места себе не находила. Блеяли они, когда их из стада забирали, так жалобно. Точно знали, что с ними скоро будет, с наступлением осенних холодов, когда их начинали резать на мясо. Себе, на рынок...

Папа со мной и так уж, и сяк, а я только плачу...

«Вот графинечка-то у нас растёт, — досадовал он в сердцах, — достанется тебе в жизни».

Неудобная я была. Как колода поперёк дороги. Угадал отец: намыкалась я со своим характером за свою жизнь потом, когда мамы с папой не стало...

Куда денешься?

Середина 60-х годов. Я после техникума в колхозе работаю агрономом. Весенняя посевная. Из района поступила команда сеять кукурузу. Ходим который день с председателем понурые. Михаил Кириллыч зовёт меня в кабинет. Вхожу, сажусь.

— Ну что? — говорит председатель. — Надо принимать решение. Кроме угроз, последние дни из района ничего нет.

— Дак, — говорю, — не послушаемся — в тюрьме будем, а послушаемся, засеём кукурузой — без кормов останемся!

— Делать-то что? — спрашивает.

Молчу. Всё вроде бы уже сказала.

Входит секретарь наш партийный. Фронтвик. Бывший агроном наш, только без образования. И без руки. Сел на подоконник. Мы с председателем молчим.

— Что в молчанку-то играете? И меня сейчас отчитали по телефону. Кто-то донёс, что тянем с посевной. Сроки уходят!.. Куда денешься...

Я вся напряжинилась, вцепилась пальцами в край стола... Вот-вот взорвусь, молодая!

А секретарь попыхтел-попыхтел беломориной своей вонючей, прокашлялся и... говорит, глухо так:

— Неужто у нас своей головы нет?

И на меня смотрит:

— Как, Мельникова, есть головы у нас?

— Есть, — говорит Михаил Кириллыч, — только тюрьмой пахнет...

А секретарь ему обыденно так:

— Коли посадят, отсидим. Хуже всех, что ли? Будем считать, что этот вопрос мы обкашляли и приняли решение.

Такого я никак не ожидала. Так вот просто!

...Решили мы засеять одну полосу, что вдоль дороги из района, которая на виду, кукурузой. А всё остальное — клеверами. Клевера на полях колхоза «Новая жизнь» всегда хорошие были.

Я нетерпеливая была. Напереживалась...

А колхоз за пятьдесят километров от райцентра. Никто и не узнал толком о нашем поступке.

Подошла пора уборки урожая. Все, кто посеял кукурузу, остались без кормов, а у нас такая удача! Соседи, которые с кукурузой связались, явились к нам с протянутой рукой.

— Удачливая ты, — похваливал меня потом Михаил Кириллыч, — повезло нам, что ты у нас такая! Нам стыдно было мужикам, труса праздновать у тебя на глазах.

Шутил, конечно.

— А я какая? Никакая ещё... Я невысеянную кукурузу, семенную, всю на остатках показала, как есть. Ничего не думала.

К концу года районная балансовая комиссия заработала. И возник вопрос: откуда у нас излишки кукурузы? Подсудное дело. Пришлось сознаться: куда денешься?

Комсомольский вожак

Лежу у хозяйки на печи. Простыла, грею пятки. А тут приходят и говорят:

— Вот, Кать, тебе комсомольский билет! Ты теперь комсомолка!

— Как так? — свесив ноги с печи, спрашиваю.

— А так! — отвечают ребята снизу. — Ты агроном наш, специалист — тебе надо!

А чуть позже, я ещё от простуды не избавилась, объявляют:

— Будешь нашим секретарём. Нам вожак нужен. Ты такая крепкая и разумная. Больше никому! Завтра будет комсомольское собрание.

— Да как же? Я не знаю, как это!

— Дело покажет как, — говорит наш партийный секретарь.

...И так помогло мне это в работе! Только комсомольцы и выручали. С песнями, прибаутками... За пять-девять километров в ночь приходили, на токах работали. Каждое зёрнышко берегли.

Наш колхоз передовой был. Так молодёжь гордилась этим!..

Церковь Михаила Архангела

Приехал к нам Андрей Петрович, председатель из Михайловки, и говорит:

— Давай-ка к нам агрономом. У нас дел! Как раз для тебя. С твоей-то энергией... Наше село не твоя деревенька Сухановка, районное... Опять же освобождается двухкомнатная квартира — считай, она твоя.

...Приехали, значит, мы к ним в Михайловку. Мне нравилось это село. Все трактористы — мужики хорошие, деловые. На полях порядок.

Пошли посмотреть гараж, где трактора да комбайны стоят. А гараж этот в церкви разместили.

Я как зашла! Там гул, дым синий. Матерком мужики перебрасываются. У меня сразу с головой что-то... Как же это я смогу так? В церкви-то? Хоть и неверующая, комсомолка, а не по себе стало...

Вышли на улицу. И тут старушка какая-то, как привидение... У стен красно-кирпичных... Смотрит... И лик у неё иконный... глядит на меня глазами моей давно умершей богомольной бабушки Прасковьи. И будто насквозь меня пронзает. Молча...

Андрей Петрович мне:

— Ты что? На тебе лица нет. Плохо со здоровьем?

А я ничего сказать не могу толком...

...Отказалась я тогда от предложения Андрея Петровича. Бог с ней, думаю, с квартирой. Поживём в однокомнатной.

...А теперь церковь Михаила Архангела восстановили. Красивая такая! И снаружи, и внутри! Народ потянулся ото-всюду. И я помолиться прихожу. И у меня на душе благодать. Как хорошо-то, что я не согласилась тогда... Кто-то меня предостерег...

Может, и живу долго поэтому?

Норма высева

Я теперь комсомольский вожак! Вокруг меня всё чаще молодняк. Все друг за дружку!

Наступили сроки сеять озимые. Мы всё по нормам высева развесили. Кому сколько надо ржи, на каждую сеялку раздали. И провели посевную.

А тут — нате вам! Ко мне с арестом. Будто мы засеяли сверх нормы, и теперь зерна не хватает. Моя вина, агронома! Начали разбираться, я стою на своём: всё по норме. Парни за меня: вместе, мол, развешивали зерно, тогда всех нас арестовывайте! Коллективный документ написали. Провели органы обыск. И нашли у нашего счетовода припрятанные мешки с зерном. Всё открылось. Счетовод получил по заслугам. А дружки-то остались, с которыми половину зерна он успел пропить...

Заведующий отделением, фамилия-то у него какая была — Молотов, стал сживать меня. Подсунул сначала такой мотоцикл, что я вся измучилась с ним на полях. На себе таскала.

Это бы ладно. Вижу, делает явные приписки в нарядах на вывоз навоза на поля, мёртвые души в нарядах... Сказала ему — как уж извивается: мол, замотался, то да сё... А сам втихую воюет против меня.

Когда мотоцикл стал совсем никакой, выделили мне лошадь. Да такую норовистую! Несколько раз она меня сбрасывала. Лежала я без сознания. Я потом домой с полей приходила пешком, еле живая. Сказала директору о приписках, не выдержала. А об издевательствах с мотоциклом и лошадью — молчок, не говорю. Гордая была. Думаю, как-нибудь утрясётся.

А он мне:

— Бери моего Вороного, остальным я позанимаюсь. А то совсем убьёшься, с кем мне работать? С этими «молотобойцами»?

Оказывается, он видел творившееся безобразие. Терпел до какого-то им определённого момента.

А Вороной! Слов нет! Чёрный! Носочки белые и звездочка на голове белая. Высокий такой. Когда подходила садиться, он сам приседал. Так мы сдружились! Я его и не привязывала. Сяду в седло, на пробу, ребята кнутом машут, а он ни с места, пока я знак не дам! Никогда сам в галоп не переходил. И ни разу не уронил меня.

Ревела я, когда уезжала работать в другое село. От людей такой доброты не видела.

Выбор

Мама моя против была, чтоб я за Алёшу замуж выходила. Тракторист всего-то.

А Андрей! С высшим образованием, агроном! И умница! Заслал он сватов, а я ни в какую. Упёрлась!

Мать корила:

— Смотри, девка, против судьбы идёшь! Что с того, что твой Алёшка и высок, и голубоглаз? С лица воду не пить!

...Прошло столько уж лет!..

Мой Алёша как трактористом был, так им и остался. А Андрей стал мэром города, а потом и главой всего нашего района. Он у нас наполовину сельский, район-то. Когда перемены начались, Алёшке моему пахать нечего стало, слесарем в ЖКХ устроился. Потом попивать начал... Пошло сокращение...

Тут уж мама моя есть меня начала:

— Говорила тебе! Теперь вот близок локоток, да не укусишь! Недостигаемая вершина, — это она про Андрея. — А твой-то даже в слесарях не удержался...

А мне беспокойно как-то стало, не по себе. Уж больно богатеь быстро стали некоторые. И Андрей богатеньким стал, тоже так быстренько. Мой Алёшка-то попивает, вроде как ущербный какой стал. То почести, уважение — лучший механизатор района, а то — никто?..

...А тут сначала старшего сына мэра нашего убили, он весь в бизнесе был. И маслобойка у него, и пекарня, и землю всю

по паям этим скупил. Стал на ней зерновые сеять. Но это ладно: на этой, его теперь, земле были когда-то нефтяниками закрыты буровые. А когда открыли их заново и принялись нефть качать, начали платить аренду ему за землю. Деньги задарма потекли вместе с нефтью... Много чего этот вёрткий его сын крутил. Докрутился вот...

А потом Андрея, главу нашего района, посадили.

Вот тебе и судьба.

Все злорадствовали по поводу Андрея. А мне жалко его было. Тужила и об Алёшке, и об Андрее. Ведь оба какие были, а? Неиспорченные... Один красавец, другой умница. Комсомольским секретарём был. Родители его — чтоб чужое взять? Да никогда! А вот что получилось...

Вышла бы за Андрея, может, у всех судьба была бы другая?! И у Алёшки... Он знал, что Андрей сватал меня. На его глазах вырос до начальника всего района, видел. Переживал молча...

Хотя, что я плету: судьба другая! Кто я?.. Что я могу изменить?..

Говорят: «Кому что суждено». В такое времечко жить довелось...

А всё равно тягостно, вина какая-то на мне...

Барсик

Звонит мне сестра из Богородского и говорит:

— Помер у нас тут бомж, остался от него один котёнок, чёрный с белым. Может, привезу тебе, у меня-то уж три?

— Ну, привези, — отвечаю. — Скучно одной-то.

Она и привезла: как с концлагеря. Худющий — ужас! И грязный. Отмыла, расчесала я бедолагу. Понесла в туалет, сказала: тут писать, тут другое делать. Строго так распорядилась, а сама не особо верю, что в пользу. А, батюшки! Он так всё послушно и начал делать, как велела!.. А от бомжа! Я обомлела прямо...

...Хозяин звал его Душманом. А я стала называть Барсиком. Спит и спит! Настолько, видать, настрадался при бомже-то. Отъедается. Но я слежу: постепенно чтоб... Тёпленькой водичкой пою. А он поест, попьёт и под ванну спрячется. Там коротает своё время, я не помеха его режиму.

Пришло время, стал он хоть куда. И мурлычит, и лижет меня. Куда я, туда и он!..

Последнее время недомогала я, а тут ноги ещё! И гудят, и немеют...

И вдруг замечаю: силы ко мне возвращаются. Откуда? От него?!

Приехала я в Богородское. Отец Дмитрий жалуется:

— Крысы одолели. Так много их, помоги найти хорошую кошку.

А где её такую найти? Чтоб против крыс! Не всякая...

...Когда засобиралась снова в Богородское, нечаянно подумала про Барсика. Он такой исполнительный! Попробую. А он уж вырос, мышей начал гонять вовсю.

...Несу его в сумке через плечо в Богородское. Замяукал жалобно. До конца я сумку распахнула, он на обочине сходил в туалет и опять — прыг на место, в сумку. Диву даюсь! Умница какой! Кому расскажи — не поверят, что у меня такой кот-товарищ!

Принесла его к бабушке и говорю Барсику моему:

— Вот теперь твой хозяин, послужи ему! Чтоб не стыдно было мне за тебя.

Говорю, а сама думаю: что калякаю, нашлась приказчица!.. В уме ли?

А Барсик сидит смирненько и внимательно смотрит на меня... Безобидный такой!

Уехала я, а в Богородском началось!..

Бабушка звонит мне:

— Кого ты мне привезла? Дикого барса! Он таскает крыс мне прямо к кровати. Беседу провёл с ним, начал приносить к порогу! Со всего прихода несёт...

...Месяца два Барсик пробыл в Богородском. Лисы всех кошек поели, а его не тронули. Он сильнее их оказался!.. Как порядок навёл, я и забрала его опять к себе.

Белые сапожки

Как набралось у меня чуть поболее пяти тысяч, поехала в город на барахолку. Сапоги надо было купить к зиме самой, да внучке куртёшку какую. Большая уж, двенадцать скоро, а из одежки ничего путного нет...

Присмотрела у одной сапоги. Беленькие такие, кожаные. Понравились мне. И совсем почти не одёванные. И просит вроде недорого. Сама-то, похоже, не от хорошей жизни продаёт. Видно, что не торгашка. Глаза грустные-грустные. Стала мерить я сапоги-то, а сумка мотается, мешает. А положить куда? Тут ещё жмутся рядом какие-то ребята, лет по пятнадцать...

— На, — говорю ей, — подержи сумку, там деньжат на трое твоих сапог! — и отдаю ей, неумёха.

А сама копошусь, копошусь... Левый сапог в подъёме малость жмёт... Носки на мне толстоватые... Так-то, может, ничего?.. «Возьму», — думаю.

Поднимаю голову, а её нет с моей сумкой-то. Как ветром сдунуло. Умыкнула мои денежки. Ах, батюшки! Туда-сюда... Ребята эти ржут надо мной!

...Всю дороженьку до дома сама не своя была. Неужто так как она можно поступать! Такая на вид своя, а воровка?!

Приехала домой. Вхожу в избу, а муж Алексей, жив был ещё, говорит:

— Что ж ты, голова, на рынок-то без денег поехала?

Смотрю, а мой кошелёк на столе лежит. Забыла его, так я तो-ропилась. Показываю с глупым видом мужу сапоги, а он ничего понять не может. Пришла в себя, рассказала, как дело было.

И не по себе так! Это ведь я нагрешила, я сунула ей в руки пустую сумку, а сказала, что с деньгами. Она и соблазнилась... А не сунула бы... У неё глаза-то добрые... Как это всё вместе?.. Сильно опечалена она была, что-то прижало крепко её...

Алексей-то помалкивает мой. А пришедший Василий, шабёр напротив, в своей манере шутит:

— Катерина! Не прикидывайся овечкой. Жалеешь её. А она знаешь, как про тебя думает?

— Как? — спрашиваю.

— Матёрая ты, думает она, аферистка! А кто же? За так, вернее за старую холщовую, причём совершенно пустую сумку, получила сапоги! Добытчица ты! У тебя всё отработано было. Название этому — махинация!

Мне так не по себе, а он ещё тут...

Вытолкала его во двор, он только лыбится... Его-то спровадила, а сапожки стоят. Нарядные такие. Радоваться бы... Но... как укор.

Поеду, думаю, на рынок, отвезу сапоги ей, может, передумала продавать. Либо деньги отдам. Всякое в жизни бывает. Коль беда у неё — теперь ещё горше ей...

И у меня были денёчки... Чужое не брала, а не доведись кому такое...

...Два раза на рынок ездила. Нет её! И не видел её никто больше там. Спрашивала я. Как сквозь землю провалилась.

Неужто я её подвела под новую какую беду?..

Голубенький платочек

Как я с будущим моим мужем познакомилась? Обыкновенно.

Это была моя первая посевная после окончания техникума. В Усманке. Жила я тогда у бабы Зои. Вдвоём квартировали с девочкой зоотехником. Ещё моложе меня была, Варей звали. Баба Зоя так хорошо нас кормила! И приглядывала за нами, как за своими дочками.

Послали сына нашей хозяйки сеять пшеницу. Он трактористом был. Лёшей звать, год как из армии пришёл. Жил он с матерью в другой половине пятистенки. Думаю, дай-ка проверю, как у них там в поле дела. Самой всё хотелось видеть, знать, потрогать... Я как агроном — первая в ответе.

...Пришла на место-то, а они и не начинали сеять. Лёша — никакой, спит пьяный на мешках с семенами. Трактор по одну сторону дороги, сеялки — по другую. Две сеяльщицы истомились ждать, когда он проснётся. Не знаю, что делать. Ах, бабюшки ты мои!.. За день надо засеять четырнадцать гектаров по норме. А тут клин в девятнадцать гектаров. И уже вторая половина дня! Попыталась разбудить Лёшу. Куда там...

— Что с ним случилось? — спрашиваю. — Вроде парень-то ничего...

— Девчонка его Зинка, — говорят, — связалась тут с одним приезжим, он узнал вот только сегодня...

Ситуация!

Мы в техникуме трактор немножко изучали, даже катались чуток. Взяла и завела. Не с первого раза. Я — в кабинку, бабы по моей команде — к сеялкам.

...Засеяли мы за ночь все девятнадцать гектаров! Я всё старалась в конце загона на поворотах поаккуратнее, чтоб огре-

хов не было, ровненько чтоб... И чтоб трактор, миленький, не заглох. Радость-то какая! Сама!

Лёша только под утро проснулся. Извиняться начал.

А я каждое утро потом на этот клин у дороги бегала: взойдёт пшеничка или нет? На седьмой день всходы появились. И огрехов особых нет. Чудо! Сеяла-то впервые, да ночью ещё...

Я про Лёшину пьянку никому не сказала. А то бы его выгнали с работы. А тут премию объявили в колхозе за самые хорошие посевы. Лёше дали первую. Он купил и подарил мне платок. Хороший такой, голубенький! Так мне нравился голубой цвет... И молодая, и всё моё ещё впереди!..

Никто ничего так и не узнал о нашей с ним посевной. Лёша потом часто мне помогал. Безотказным оказался.

И настало время, когда он пригласил меня в клубе на танец. А потом впервые проводил до дома.

Варя смеялась:

— К себе домой провожает! Чудно!

...А в сентябре мы сыграли свадьбу, стали с Алёшей мужем и женой...

...Я на днях ездила в район. Не утерпела, попросила свернуть... Сходила на свои первые поля и на этот клин тоже... Прощлась в бурьяне по пояс...

Вернулась к машине, а меня спрашивают:

— Ты что, бабуль?

— А что? — говорю.

— У тебя вся куртка в репьях и лицо в слезах?..

Чилижные веники

Овдовела я в середине девяностых. Как всё случилось, спрашиваешь?

У мужа Мити ни работы, ни пенсии нет. Что-то надо делать? Вспомнил он давнее семейное ремесло. Родители его, кроме работы в рыбацкой артели, жали и вязали чилижные веники. Продавали в городе на разных предприятиях. Но то было раньше. А сейчас? И заводов-то тех, которые работают, — раз-два и обчёлся... На боку всё. Не до веников.

Съездил он туда, сюда. На две машины веников договорился. Мол, купят... Тридцать рублей за веник... деньги!..

Ну вот.

Всё лето мы жали чилигу за Самаркой. Напротив Песков. Чилига — ой да ну! Её ж там никто не трогал лет десять...

Люблю я работать на природе, с детства люблю. Это от родителей моих. Особенно, конечно, летом люблю. Река и небо летом! Разве это не чудо?!

Я часто мучаюсь, что не умею сказать то, что чувствую. Митя-то, мужик, много не говорит. А я и хочу сказать, и нету у меня нужных слов...

После избы, двора, вечных забот: то огород, то то, то сё... И вдруг: река! Мне всегда казалось, что не будь рек, не было бы людей. Люди часто забывают о реках, о родниках. А для меня едино всё.

И небо! Как будто само по себе свободное от всего! И в то же время оно — всему основа! Самое главное — оно, небо высокое! И ты под ним становишься больше: оно тебя поднимает.

Я Мите сказала разок об этом. Он назвал меня чудачкой. Я и не стала больше говорить...

Так вот про веники.

Работалось в охотку.

Договорился-то Митя на две, а взяли одну машину. В сентябре отвёз он машину веников. А вторую — ни в какую... Пообещали взять весной только.

Куда деваться, весной так весной...

Остались наши веники зимовать в лесу за Самаркой. И в голову мы не брали, что с ними что-нибудь случиться может. Кому они нужны?

Приходим весной, ещё по льду через Самарку, а веников и нет. Куча золы вместо них.

Кому же это так они мешали? Неужто не видно: труд какой? И не может быть, чтоб ребяташки похулиганили. Нету их, ребяташек, теперь в лесу. В селе-то нет.

Жалковали мы с Митей сильно.

А тут Клавдия, старшая сестра Петянихи, говорит мне:

— Есть у меня особая молитвочка. Дам тебе её. Читай на ночь месяц, каждый день. Виновник и объявится.

— А как он объявится? — удивляюсь.

— Сама увидишь, — отвечает.

Чудно вроде. А послушалась я.

Начала читать каждый день молитву эту. Интересно. Больше месяца прошло. Я и верить перестала. И читаю уж через раз, когда спохвачусь только.

И тут случилось!

Явился ни с того ни с чего дальний, седьмая вода на киселе, родственник Мити — сын Коли Комулятора — Степан. Они одногодки с моим.

Я во дворе была. Митя возился в мастерской своей. Как стоял посередине двора, так и сказал, разведя руками, Степан-то:

— Ты того, Настя, прости меня.

— Чего это, — спрашиваю, — вдруг?

Невдомёк мне было, о чём он.

— Чего-чего? Уж догадалась, чай, давно! — громко так вскричал. Его будто изнутри закорёжило.

— Стёпа, скажи, зачем пришёл-то? — спрашиваю. А сама думаю: перепил, что ли, вчера? Сто лет у нас не был.

— Я это, того... — бормочет втихую. А потом как брякнет на весь двор: — Ну, я! Я поджёт эти ваши веники! Будь они прокляты! От зависти всё! Сорвался...

— А, батюшки! — я и рот распахнула. Обомлела. Онемела. — Как жеть, свой же? Родственники...

— Замучился я с собой. Прости!

Митя мой слышал всё из мастерской-то. Вышел он. В руки ему черенок от лопаты попался. Как хлобыстнёт, эдак как-то быстро черенком по голове Степана. Тот и брыкнулся на землю. Сам не ожидал Митя такого от себя. Стоим оба растерянные.

И началось тут.

То да сё...

У Степана сотрясение мозга, да какое-то особенное. Лежит в больнице в райцентре.

А мово Митю под суд было отдавать хотели. Но Степан бумагу подписал, что прощает его. Опять же — родственник, Степан-то. Учли и это.

Степан лечится. А Митя запил. Я истерзалась вся. Никогда такого не было. Напасть словно какая. Хужей нет пьющего в доме. Один лежит в больнице, а другой пьёт напропалую.

А тут из города один мужик привёз водку. Дёшево быстренько с машины продал. И уехал. Не из того спирта водка оказалась. Четверо померли. Мой Митя первый.

Всё порушилось у меня без Мити. Слов нет. И хотя дочь уж взрослая, замужем, а жизнь моя никакой стала.

Бесповоротно всё пропало.

Мужа похоронила, а Степан — вон он, живёхонький. Возненавидела я его. Всё моё поломал он.

...Через год, как у Степана жена умерла, пришёл он ко мне свататься. Вот что удумал!

Я, говорит, всю жизнь тебя люблю. Просто Минька опередил меня после армии. А тут я оказался свидетелем при вашей росписи. Куда мне деваться? Тогда первый раз не выдержал.

Я и вспомнила, как он напился на свадьбе нашей. В дым! А потом вывалился из-за стола и в баньке у родителей выстрелил себе из ружья в висок. Промашка вышла. Шрам только на всю жизнь оставил. Говорили тогда: «Чего только по пьяни не бывает».

Забылось всё как-то. Свадьба пела и плясала!

А потом денёчки, года заплясали-замелькали! Как листочки на кухне от календаря.

— Неужто, правда? — говорю. — До седых волос не забыл.

— Нет, — говорит. — Наоборот даже. Терзало меня всё это! Я Митю уважал даже. Но своя-то жизнь? Я на отшибе оказался...

— А Маруся твоя? А дети?

— А что они? Дал зарок забыть тебя. И пошло потом механически всё. Я слово держу своё... Женился, нарожали... Но жизнь-то моя! Как снятое молоко она! А теперь? Марьи нет, Мити нет. Светлая им память. Неплохими людьми были... Дети твои и мои взрослые. И те, и эти живут отдельно. Мы с тобой — как вольные студенты. Заново можно начать! Решайся!

Гляжу на него и диву даюсь. Как так можно говорить, думать даже об этом?..

— Что ты, говорю, Степан? Ошелапутил? У нас детям по двадцать лет. Стыдно!..

— Одно другому не мешает, — говорит. — У них своя теперь жизнь, у нас своя будет. Может, мы и родим ещё ребёночка, не старые ведь.

Меня от такого его разговора аж в жар бросило. Слов не стало. Столько изуродовано, а он про любовь свою какую-то!

— Уходи! — говорю. — С глаз долой уходи! Со своей любовью.

Тороплюсь так говорить, а сама глаза его вижу. Печальные. Не злые. Виноватые глаза...

А всё равно остановиться не могу:

— Над нами тут смеяться будут. Никчёмная твоя любовь. Никому от неё добра нет. И не будет! В Воронеж зовёшь, уехать отсюда. Не по годам нашим это.

Он грустно так смотрит на меня... И ничего не говорит...

А я себя виноватой начинаю чувствовать. За что мне всё это, за какие грехи? Не понять мне... Успокоюсь... Не виноватая я!

...А тут ударило в голову: я ему жизнь искалечила. Из-за меня в его жизни многого не доставало.

Он потом, когда ещё раз приходил, всё также грустно смотрел на меня. И слушал молча...

А мне уж, чувствую, жалко его стало.

...Боялась: ещё раз придёт, не выдержу его молчания.

Не пришёл. Продал он всё и уехал, не попрощавшись. В Воронеж к сыну.

И зачем уехал?

Говорят, будто не хуже там, в Воронеже. Не как у нас, теплее... Но ведь чужая сторона?

...А может, нашёл там сын ему какую?.. Вот бы...

Так легче мне думать.

Больше недели без лёгкого

Не любитель я по врачам бегать. А тут вышел на пенсию. Не прошло и года, и... как мешок развязался: одна болячка за другой. То это, то другое... Раньше не было такого...

Подался к участковому терапевту.

— Голубчик, — говорит он мне, — а что же вы флюорографию два года уже не проходили? Непорядок!

Дал направление мне.

Пошёл делать флюорографию. Делов-то, думаю... Вон Сергеичу, он на год раньше меня ушёл на пенсию, так ему шланг глотать приписали и ещё кое-что такое, о чём говорить не хочется. Гемоглобин понизился... Лицо стало серое...

Пришёл. Сделали снимок.

— Сегодня, — говорят, — после 14:00 в карманчике на стене в коридоре будут результаты. А лучше приходите завтра.

«Не пожар, — думаю, — по два раза бегать на день в поликлинику».

Явился на другой день, а в кармашке-то на стенке на мою букву «к» бумажки про меня и нет.

«Вот те на, — думаю, — то заверяют, что после 14:00 будет готово всё, а то «после дождичка в четверг»?»

Захожу в кабинет, объясняю, как умею.

Врач говорит:

— Сейчас выйдет к вам медсестра, подождите в коридоре.

Жду.

Нескоро медсестра вышла, но я не возмущаюсь. Неудобно. Кто я? Пенсионер всего лишь! Всем кажется, времени у таких как я — прорва! А его совсем не хватает, времени-то. Поскольку все дела начали делаться медленнее, чем раньше, раза в три. И сам не пойму, почему это так... Ну ладно, это другая тема...

Выходит молоденькая такая медсестра, востроглазенькая. Смышлёная на вид-то. И говорит мне:

— И давно так у вас?

— Как? — спрашиваю.

— Ну, правое лёгкое ваше — сплошное тёмное пятно.

— Нет, — говорю, — в первый раз слышу об этом.

А сам заволновался. Сплошное тёмное пятно! «Ничего себе, — думаю, — вышел на пенсию, дождался заслуженного отдыха?!»

Чувствую, вспотел аж.

Молчим оба.

— Вы присядьте, — говорит. — А то у вас лицо изменилось.

— Да постою я, — говорю. А сам в какой-то невесомости трепыхаюсь. Как подвешенный за одно лёгкое.

И тут она задала такой вопрос, который враз всё поставил на своё место:

— А левое лёгкое когда у вас вырезали? — запросто так с моей грудной клеткой обращается.

Опустился я из невесомости на твёрдое. Враз понял, что меня с кем-то перепутали. Даже юмор у меня прорезался. Говорю:

— Девочка моя, мне никогда операций на лёгком не делали. И напивался я, чтоб не помнить себя, только два раза. Когда в училище ещё был. Не могли вырезать, чтоб я не знал, не в памяти находился.

Она плечиками так значительно пожимает. Личико серьёзное. Я ей:

— А давайте посмотрим! Шрамы должны остаться.

Нашёлся. Тоже мне.

И начал задирать рубаху.

— Ясненько, ясненько с вами, — говорит. — Подождите. Я скоро вернусь.

И ушла в кабинет с поджатыми губками.

Вышла ко мне сестра уже возрастом постарше.

— Знаете, — говорит, — можете прийти дня через два? Мы разберёмся с вами.

— Чего разбираться-то? — спрашиваю. — Вот он я! Вот мои лёгкие. Дышу нормально. Сделайте ещё раз снимок. И все дела!

Задумалась сестричка:

— Нет, у нас свой порядок, — говорит внушительно так, не грубо. Наоборот, как-то ласково даже. Будто я в психбольнице и меня как пациента давно уже здесь все знают, свой я у них.

Выждал я эти два дня. Спокойно выждал. А что волноваться-то? Лёгкие на месте у меня! Вот, правда, затемнение в одном, но это же наверняка ошибка! Они же ошиблись с другим лёгким: его мне не вырезали. А с другой стороны, думаю: вырезать-то не вырезали, но пятно-то могло и появиться. Мало ли таких случаев было...

Пришёл снова к кабинету флюорографии.

Долго ко мне не выходили.

Потом всё же вышла. Та, которая постарше и позадумчивее. И говорит прямо с ходу, не дав мне поздороваться:

— Знаете, у нас батарею отопления прорвало. Бумаги затопило. Приходите через неделю. Мы тогда разберёмся.

Опять это «разберёмся».

И смотрит в упор. Глаза бесстыжие. Видно, что придумала с батареей.

Я направился в кабинет.

— Вы куда?

— К врачу, сколько можно?..

— Он на пятиминутке.

— Правда, что ли? — чувствую, начинаю заводиться. — А батарея на месте? — интересуюсь.

— Какая?

— Как какая? Та, что лопнула! — говорю.

— А что, проверить хотите? Тоже, инспектор!

— Не инспектор я, а сантехником работал, — отвечаю. Но вижу: не прорваться.

Махнул я рукой. И вышел.

Как хорошо оказаться на улице, на свежем воздухе! Где нет монотонных белых халатов. Где всё пестрит жизнью!..

Прожил я, если верить врачам, ещё неделю без одного лёгкого. Ничего, выдержали нервишки.

Прибыл в больничку. Вышел ко мне уже сам доктор.

Протягивает мне бумажку:

— Извините, товарищ Коровин, неувязка получилась. Перепутали тут малость. С лёгкими у вас всё нормально.

А мне и говорить-то ничего не хочется. Молча сунул бумажку в карман — и на улицу из этой клетки.

Там посмотрел. И ещё раз подивился. Уже написанному.

Они дали мне ту бумажку, в которой было отмечено, что у меня одного лёгкого нет, а в другом — затемнение. То есть ту же самую. Только всё прежнее в ней перечёркнуто жирно крест-накрест. И штамп красуется с угла на угол: «Изменений в лёгких нет». Не удосужились даже переписать.

Стою и думаю: «Неужели они не понимают, что выдали свидетельство своей такой неряшливой работы? И не стыдно? И не боятся выглядеть такими?»

Это свидетельство о глупости я с усмешкой вклеил в свою медицинскую карту.

Как положено, так и сделал!

А вообще-то ей место в соответствующем музее...

Огурчики с пупырышками

На свою дачку я обычно добираюсь по дороге вдоль Волги.

В свой сезон здесь на обочине пожилые люди торгуют кто помидорчиками, кто огурчиками, земляникой, малиной. Песчаная почва, обилие света, справа дыхание Волги, слева — огромный массив озёр!

Всё это способствует тому, что урожай тутошние дачники начинают собирать на полторы-две недели раньше, чем в удалении от Волги.

Иногда я останавливаюсь, чтобы что-нибудь прикупить. Вот и сегодня подошёл к покрытому рыжеватой, выцветшей клеёнкой столу.

Здесь — то, что мне надо: молоденькие с пупыршками огурчики. Старик за столом поднял щетинистое с розовыми нездоровыми пятнами лицо. Я невольно сжался.

Передо мной был Иван Горохов.

«Сколько ж мы не виделись, — мелькнуло в голове. — Лет тридцать? Не менее...»

— Иван, — невольно вырвалось у меня. — Ты?

Иван был выпивши. И не слегка. Глянув на меня пустыми глазами, спросил:

— Сколько надо?

И потянулся к огурцам.

— Иван! — вновь повторил я, не веря ещё, что вижу перед собой человека, с которым прожил бок о бок когда-то три года в рабочем общежитии. Потом работал с ним в одном цехе на заводе. Я — слесарем. Он — токарем, да каким. Лет в тридцать Горох стал орденоносцем.

Он привстал над столом. Но тут же опустилс я вновь на толстенный обрезок доски, покоившийся на двух чурбаках. Да не совсем удачно опустилс я. Повело его в сторону. Наконец, сбалансировав, оказался над столом. Сел. Не надеясь на ноги.

— Сашка! Ты! Эх, ты! Как так? Вот те на! — он ещё что-то произносил в этом духе. Но, будто протрезвев, сказал в следующий момент довольно внятно: — Рад, что ты жив! Это для таких как мы с тобой сейчас редкость! Хотя какая это жизнь? Может, у тебя другая, а у меня она — торговая... Сам видишь. Я торгоаш! Продаю вот эти: пур... пыр... пупырчики.

Он попытался встать. Это ему не удалось.

— Тебе сколько махнуть? Три кило? Сейчас. Хоть полпуда... бесплатно... только скажи!

— Потом, Иван! Потом. Давай поговорим.

— А что говорить? — он облокотился обеими руками о стол. И принял подобие вертикального положения. Произнёс тускло: — Я слышал, что ты тут где-то приобрёл дачку. А где? Думаю, увижу. А нет и нет...

— Давно тут? — спрашиваю.

— Дачка-то давно. А я второй сезон. Привезли меня сюда сын да моя. Она и сейчас как самолёт. Здесь тебе, говорят, санаторий будет. Волга, воздух! И при деле! Только торгуй! А мы на грядках будем все. Лихо? У меня орден Ленина. Лучший токарь в объединении! И торгуй огурцами? А? Зигзаг удачи! — он говорил громко. Две молодки, томящиеся рядом с банками солений, начали смотреть в нашу сторону. — А по-другому? Только эта дачка и спасает нас. Сын без работы. Моя пенсия как у студента стипендия.

— Что ж? — соглашаюсь. — Жить-то надо! У других и этого нет.

— Надо! — воскликнул. — Но разве так, — он, кажется, протрезвел. Встал над столом. Ткнул меня пальцем в грудь: — Скажи, что мужику важно в жизни?

— Смотря в каком возрасте, — отвечаю, догадываясь, о чём он.

Перекрывая хихиканье оживившихся молодок, Иван пронёс, глядя на меня уже знакомым мне твёрдым взглядом:

— Мужику серьёзное дело необходимо. В любое время. Крепкое дело в жизни! На этом жизнь его держится. И страна держится! Тебе ли это говорить?

— И интерес к нему таких вот, — он мотнул головой в сторону, — молодок будет тогда. А так что?

Я слушаю молча. И радуюсь за Ивана. Начинаю его узнавать таким, каким он был раньше. Напористым.

— Не будет этого у рабочего человека — превратимся все скопом в пыль.

Он замолчал, нахохлившись.

Глядя на меня из-под мохнатых бровей, сказал:

— Ты не смотри на меня так! Сегодня сороковины. С утра помянул.

— Кто-нибудь из родственников? — спросил я.

— Родственников, — повторил, как эхо, Иван, — ты помнишь Лёшку Каткова?

— Спросил тоже! — встрепенулся я. — Как не помнить нашего Жана Марэ?

— Нашего маленького Жана Марэ, так мы его звали, — поправил Иван.

— Да, да, — подхватываю я. — Красавец! Как Марэ. Только миниатюрный. Небольшого роста. Ладненький! Занимался шахматами, фехтованием.

— Носил рубашки, перекрашенные в чёрный или красный цвет. Обязательно причёска «канадка» и поднятый воротничок рубахи, — улыбается Иван.

— И брюки узкие, — продолжаю я.

Меня останавливает его сухое:

— Похоронил я его.

— Да что ж такое? Как? Он же моложе нас с тобой... И не пил совсем? Отличный компрессорщик-ремонтник.

— А я пил? Ну как сейчас, пил? Некогда было... Тут какая история. Ты-то в Саратов уехал, а мы здесь осели накрепко. У него не всё получалось с его мечтой. Три дочери — одна за одной. А сына нет! Он решил не сдаваться. «Мне сын нужен! — твердил. — Порода надо улучшить! Рослый сын... Найду красивую, какую мне надо, и попробую...»

— И что?

— Что! В Новополоцк набирали бригаду на пуск завода. Он и подался вместе со всеми. Все-то в основном за квартирами ехали, а он со своей целью.

— Семью взял с собой?

— Конечно, нет. Зачем на данном этапе? И надо же! Подобрал себе пару. Мария чуть не на голову его выше. А симпатичная!

Загогулина вышла: родила она ему двойню — Ваню да Маню. Малость перестарался Алёшка. Как вернулся в прежнюю семью, скрывать ничего не стал. Ольга-то взбрыкнула вначале. Но что поделать? Одной с девками оставаться непросто. Стал он жить на две семьи.

Перевёз новополоцких потом сюда, к нам. У Марии была квартира однокомнатная, от бабушки осталась. Сумели помянуть. Чего стоили ему заботы о двух семьях, я знал. Но парень стойкий. То в рыбацких артелях на Волге подрабатывал, то с дикой бригадой сварщиком калымил. Дети были ухожены. Все. А тут как раз нас всех предали. Заводы стали рушиться. Всё вокруг закачалось, зашаталось. Разве мог он такое предвидеть? Наш стратег, Алексей? Совестьливый был — не просто ему было. За что только он ни брался! Лишь бы копейку добыть.

Подолгу в отъездах был. Челночничал поболее года. Я любил его. Первый друг! По мелочам, как мог, помогал. Тогда, в середине девяностых, у нас ещё теплиц не было. Сын позже развернулся. Нас, середняков, из седла вышибли, дошла очередь до молодняка. Наркоту запустили.

А сын его, Игорь, подросток. Красавец. Опыт удался! Парни на ой-да ну! Под два метра ростом! Лёшкина мечта! Поступил, значит, Игорь в техникум. И тут же на первом курсе: беда!

Может, он и раньше кололся, кто знает? Нашли его в подъезде, помер вроде бы от передозировки. А кто его знает, как было дело?

Алексей чёрный стал от беды этой! Надсадился.

Ты скажи. Вот, если б работал завод, глядишь, коллектив как-то помог бы! Потом на глазах у других полегче всё ж... А тут! Считаю в одиночку...

Если государству не нужны токари, компрессорщики — долго оно протянет? Государство такое? На огурцах?

Неужто я умнее тех, кто нами рулит? Не может быть! Значит, дело не в уме? Тогда в чём же? Вопрос! Мой сын — котельщик. А у них на ТЭЦ из двенадцати котлов всего два в работе. Как? Поувольняли многих.

— А Алексей? — спрашиваю. — Что дальше было с ним? Неужели спился?

— Здоровье малость пошатнулось, а голова-то у него всегда светлая была. Последние полгода на городском рынке за деньги давал сеанс одновременной игры в шахматы. В один день после игры, когда домой пошёл, там же, около рынка у пельменной, догнали его трое щелкопёров. Потребовали деньги. С угрозами. Не знали, на кого напоролись. У него видок-то был уже не того. Но характер! Он двоих мигом на асфальт положил, а третий — стервец — пырнул ножичком под ребро. Судили их потом. Алёшки не стало.

Не стало нашего Жана Марэ. Невмоготу мне. Будто с ним вся молодость ушла, без него жизнь тусклая стала... Таковую жизнь нам подпустили — людоедку! И молодых, и не очень — всех под одну гребёнку косит...

Он достал из кармана куртки ополовиненную бутылку водки. Из другого кармана — стакан. С маху налил полстакана. Протянул мне.

— Давай за дружка нашего!

Я закрутил головой:

— Иван, я ж за рулём!

Он молча вылил остальное из бутылки в стакан. Без слов выпил. Дёрнувшись, проговорил, глядя перед собой в одну точку на столе:

— И за Лёшу, и за всё, что все мы потеряли.

Он замолчал, и я молчал. Всё было сказано.

Его опять повело.

— Столько огурцов, Иван! Закуси. Нельзя так.

Он глянул на меня чужим, отстранённым взглядом:

— Забери их! Все забери! Без денег. У меня мешок большой есть. Опротивели они мне!..

— С тебя ж твои спросят, — неловко пошутил я, — где, скажут, выручка?

— Я их ненавижу, огурцы эти! И себя вместе с ними. Я себя пупырешком чувствую никчёмным на этой... голый заднице нашего незаконнорожденного капитализма. Увидел тебя — стыдно стало.

— Иван, — непонятно зачем спросил я. — А ты знаешь, кем оказался любимец нашего Алексея, Жан Марэ?

— Кем?

— Ну писали же...

— А, а, — неопределённо мотнул рукой Иван. — Может, это враньё всё...

Он попытался пододвинуть большую эмалированную кастрюлю с огурцами к краю стола. Не рассчитал. Кастрюля скользнула и рухнула вниз. Отборные, один к одному, огурцы, упруго отскакивая друг от друга, полетели в придорожную пыль.

Я было нагнулся за огурцами. Он остановил:

— Зачем из пыли? Завтра приедешь с хорошей сумкой, наберём прямо в теплице.

Выйдя из-за стола, он начал давить непослушными ногами кучу огурцов. С остервенением.

— Я их видеть не могу!

Лицо его исказила брезгливая гримаса.

Торгующие соленьями девицы смотрели на это действие, как на бесплатный спектакль. Не каждый день такое бывает!..

— Вот набрался мужик! С самого утра! — прозвучало над моим ухом.

Я оглянулся. За моей спиной стоял крепкий парень лет тридцати, розовощёкий такой, с толстой золотой цепью на шее.

— Говорят, пенсионеры мрут от голода. Пенсии им не хватает. А этот молоток! Нашёл свою жилу! Его товар — его право! Слова были сказаны громко.

— Не сговорились в цене? Чем за бесценок, лучше так! Закон капиталистов — держать цену, иначе останешься без прибыли.

Зря он это говорил, не подумавши...

Голос Ивана прозвучал твёрдо:

— Чего ты лопочешь? Откуда только вы берётесь такие мордастые?..

Он подобрал увесистую кастрюлю с земли и, откинув правую руку вместе с кастрюлей, как это делают при метании связки гранат под гусеницы вражеского танка, собранно пошёл на парня.

— Иду на реванш! — прозвучало в воздухе. — За Алёшку, за всё остальное...

Мне едва удалось схватить Ивана за руку со злосчастной таторой и оттеснить в сторону.

Схватки поколений не произошло.

* * *

...Вот уже и осень на исходе, а я с того случая с пузырьчатыми огурчиками ни разу больше по этой удобной дороге не ездил на свою дачу. Сворачиваю чуть раньше.

Подчиняюсь установке жены: «Зачем и ему, и тебе лишний раз сердце рвать? Мало ль тебе недели, которую ты в провёл больнице после той вашей встречи? Не молодой уже...»

Сундук с приданым

Моя бабушка Вера рассказывала:

«Жили мы в Могилёвской области тогда с родителями, под Бобруйском. Бедно жили. Лён выращивали. Я всё время сидела за куделью. Пряли, ткали. Готовила себе приданое. Так заведено было. Целый сундук приготовила приданого.

А тогда часто пожары были. Мы три раза горели. Ваня сватал меня два раза. Мои родители против. Он хоть и хороший плотник был, но из бедных. В нищете жили.

А тут — пожар. Наш дом полыхает. Мечутся все, а что сделаешь?

Тут Иван:

— Отдадите за меня Веру, вытаску сундук с приданным!

Сдались родители мои.

Иван облил себя водой и кинулся в дом. Вытащил сундук.

Что делать? Вышла за Ивана. Судьба.

Ушла жить к нему. Так заведено было. Да и дом наш сгорел почти весь, перед самой войной еле-еле восстановили потом.

А у Ивана сестра и два младших брата. Места там нет. Отвели уголок в сенях. Пол глиняный. Сыро. Там прошла наша первая ночь.

Заболела я воспалением лёгких.

Как выцарапалась, сама не знаю. Все удивлялись...»

Везучий

...Ещё бабушка говорила, что немцы постоянно боялись подорваться в лесу на партизанских минах. Впрягали в повозки наших мужиков и гнали их по дорогам. Многие подрывались, а мой дедушка Иван три раза тащил телегу по таким дорогам и ни разу не попал под взрыв.

Везучий?! Но как судьба сложилась... Не успел он уйти к партизанам, его и призвали на службу немцы.

Один раз поставили его охранять мост. И придрался немец. Не понравилось тому что-то, начал кричать на деда Ивана. И дед горячий был... Влепил ему с маху оплеуху.

Думали, расстреляют. Нет. Забрали в плен. Отправили в Германию.

К концу войны, когда уж и надежда пропала на возвращение его, в дом бабушки зашла цыганка.

— Дай хоть что-нибудь, хозяйка!

А бабушка моя только-только из леса пришла. За сушняком для печи ходила. Уже осень, рассказывала, наступила. Снег выпал, а она босиком: обуви никакой.

Набрала вязанку, а тут волки! Цепочкой. И с этой стороны, и с этой... Опустила она вязанку свою на мёрзлую землю. И давай молиться. Молилась неистово. Стояла на одном месте. Никуда! И молилась...

Прошли волки цепочкой мимо неё, чуть не по босым ногам прямо её. Не тронули!

Ну вот, бабушка Вера у печки возится, спешит разжечь дрова. Ребятишкам холодно. Отвечает в сердцах откуда нивесть явившейся цыганке:

— Что я тебе дам? Одни ребятишки, видишь, в доме. И муж в плену. Жив ли, не ведаю...

Посмотрела на неё внимательно цыганка и говорит:

— А стакан воды дашь?

Подала бабушка стакан с водой.

— Давай теперь две нитки, — молвит цыганка, — гадать буду на твоего мужа. Не утонут нитки в стакане с водой — вернётся твой суженый.

Положила она крестиком две нитки в стакан с водой. Потрясла им. А нитки-то и не тонут!

— Ну, вот! Жди своего мужа, — говорит гадалка, — а я пошла своей дорогой. Везучий он у тебя, муж твой. Как и ты сегодня у смерти на краю была...

Откуда она могла про волков знать? Бабушка никому не рассказывала...

Сверкнула глазами гадалка и ушла.

* * *

Не соврала цыганка. Вернулся мой дед из плена.

Как вернулся? В 46-м только заскочил на минутку в дом и дальше — в Сибирь.

Когда освободили их американцы, он отказался ехать в Америку. Только на Родину! На Родине-то и отсидел десять лет. Не роптал, знал, что виноват — в плену был, работал у немцев...

...Как освободился, направили на добычу серы под Самарой, в Алексеевку. Вскоре переехала к нему и моя бабушка с детьми.

Ивана Адамовича уважали на работе. Он многое умел делать руками. Бабушка говорила:

— Был он уже лысый, худощав, с четырёхзначным номером на руке, полученным в немецком концлагере.

В мае семидесятого ловили уголовников, сбежавших из тюрьмы на Кряже. В это время дед ехал из Алексеевки в областной центр. По чистой случайности он забыл взять с собой документы. Ничего с собой не было, кроме лагерного номера на руке. Его арестовали.

На этот раз он оказался не таким везучим, как в молодости. Бабушка, моя мама и я были в это время в Могилёве. Соседи рассказывали, что на третий день после отсутствия он вернулся домой и на глазах у них с буханкой хлеба в одной руке и ключом от входной двери в другой рухнул около порога. Сердце не выдержало.

Мы приехали, не ведая ни о чём.

Прямо на похороны.

«Какие песни тогда были...»

...Мой дед по отцу Михаил ушёл на войну вместе с нашими наступающими. Натерпелись от немцев. Среди тех, которые у нас на постое были во время оккупации, разные попадались. Пересказывать всё — долгая история.

Среди них был один — Хольт. То ли имя, то ли фамилия такая, не скажу. Бабушка говорила, что он был не злой. Водились среди них и такие. Так вот мой дед, когда заняли Берлин, встретил этого самого Хольта на улице в гражданском. Они сразу узнали друг друга. Немец испугался сильно, думал, его сразу, на месте расстреляют.

А обернулось по-другому. Вот как: пригласил немец к себе домой моего деда. И они за столом сидели, разговаривали. Сколько — не знаю.

Вышел от немца мой дед с чемоданом подарков и патефоном подмышкой, с двумя пластинками. Патефон этот, бабушка потом вспоминала, долго у них был. Танцевали под него. Говорила, что на одной из пластинок была наша песня «Катюша».

Часто повторяла:

— Какие песни тогда были!

А я после её рассказов не могу кино про войну смотреть.

До сих пор.

Выключаю телевизор. Или ухожу в другую комнату.

Рафаэль

Я видел его несколько раз издали, около кортежей с новобрачными. А тут мы столкнулись с ним лицом к лицу на лестнице, поднимающейся на площадь, украшенную храмом с золочёными куполами.

Небольшого росточка, широкий в плечах. Одет не то чтобы опрятно, но в соответствии с наступившими заморозками. Стёганая фуфайка, заячья шапка и крепкие массивные ботинки.

И улыбка: приветливая вроде... но заставляющая невольно вздрогнуть. Отчего — сразу не скажешь..

...Он остановился от меня метрах в трёх и произнёс непринуждённо:

— Здравствуйте.

— Добрый день, — невольно отозвался я, попав под зонтик неожиданной доброжелательности. Захотелось узнать: кто он, откуда?

Сам не ожидая, по-свойски спросил:

— Давно здесь?

Тут же подумал, что он скорее всего не расположен говорить. Будет просить денег.

Я ошибся, он ответил охотно.

«К чему это? — думалось мне. — Ему надо от меня чего-то большего?»

— И давно, и недавно. С осени. Как освободился, — звучал его бархатный голос.

— Сидели?

— Сидел.

Я не понимал, удобно ли спрашивать его о личной жизни вот так, всуе, тем более не зная даже его имени.

— Меня зовут Рафаэль, — сказал он. И добавил мягко спокойным голосом: — Отсидел два приличных срока.

— Сколько же вам сейчас? — невольно вырвалось у меня.

— Сорок, — последовал ответ. — Третий месяц на свободе.

Таких собеседников у меня ещё не было. Мне хотелось продолжить разговор, но я был зажат. Я, что называется, оторопел.

Передо мной стоял человек с голубыми, ясными глазами, ясной речью и улыбался улыбкой не преступника, а... Я не знал, как это определить...

— Работаете? — спросил я.

— Нет, где ж мне работать? Видите, у меня нога отдавлена, хромаю. И возраст не пенсионный.

Странно, мы стояли на лестнице друг против друга. Разговор на ходу, на бегу. И в то же время о таком неподъёмном, как мне казалось. И всё говорилось моим собеседником свободно, обыденно... Монотонно.

— В первое-то время, как освободился, хотел в зону вновь вернуться. Ну нигде не приткнуться. На что жить? Где жить? Думаю, украду что-нибудь в магазине. Или надёжнее: кого-либо пёрну ножичком легонько, чтоб, значит, засудили... Я и дамочку одну уже приметил. Она с работы всё в одиночку ходила, тут по переулку, где я под металлическим гаражом ночевал. Там свора собак жила, но их всех отстреляли... Я один остался.

Дамочка куда-то подевалась. А тут я к храму вот этому прибил... Перебрался...

— А ночуете где?

— В туалете, он большой, вон, под горой. Подземный.

— А на что живёте?

— Подают кто сколько. На площадке, видите, постоянно люди к храму подъезжают. Тем более молодожёны когда...

Взглянул как-то даже иронично:

— Вы-то немножко дадите мне?

Я достал и протянул ему пятидесятирублёвую купюру.

Он принял её молча, как бы между прочим.

— У меня семьдесят-восемьдесят рублей в день набирается. Батюшка разрешил мне бывать у храма. Потом женщины в храме пирожки дают. А то насобираю денежек, пойду пельменей куплю. Они, женщины, мне сварят.

— А если холода прижмут крепко, тогда как?

Он ответил деловито:

— Дак страна у нас большая. Есть места, где потеплее... А я человек маленький. Приткнусь где-нибудь... Храмов теперь немало...

Уже когда направился вверх по лестнице, остановился, спросил:

— Нет ли какой одёжки старой, тюфяка? В туалете плитка холодная.

Я сказал, что посмотрю. На дачке кое-что есть.

Дня через три съездил на дачу, прихватил крепенький ненужный мне матрац, совсем уж старенький, выцветший спальный мешок давних моих студенческих лет. Ещё кое-что по мелочи.

Зашел в храм. Рафаэля не было. Разговорился с церковным сторожем.

— Он куда-то подевался. С ним это бывает. Через пару дней объявится... Человек непростой.

— Так думаете?

— Не думаю, знаю. Он за двойное убийство сидел.

— Как так?

— Отца его посадили на большой срок. Мать была беременная Рафаэлем. Родила и подбросила его в школу. Воспитывался без матери. Из интерната вышел, на втором году зарезал сверстника. Посадили на десять лет. В зоне убил охранника — ещё добавили десятку.

Я был в смятении.

— Он же такой кроткий?!

— Какой есть... Судьба выпала такая...

...По дороге из храма я всё думал о Рафаэле.

«Как я буду после того, что узнал, с ним разговаривать? Имя какое: Рафаэль!» — роились растрёпанные мысли.

«Мадонна Рафаэлевская — символ, гимн жизни...

Он ведь говорил мне, что сидел долго. Я не спросил, за что сидел? Как у него так всё случилось?..»

...Пытаюсь забыть. Успокоюсь вроде. Но отчего мне так не по себе. Вновь всплыли слова сторожа: «Судьба выпала такая...» Судьба? А сам он? Неужто всё у человека зависит только от случайно выпавшей карты?

Эта его тихая улыбка, неторопливый говор? И две загубленные им жизни?.. Как всё соединить? И всё рядом?! По одной лестнице ходим. Всё как из Средневековья... А век-то компьютеров? Вновь возвращаюсь к тому, что не знаю, как буду разговаривать теперь при встрече с Рафаэлем. И о чём говорить?..

Я обещал ему матрац... Надо передать бы обещанное... Или не стоит теперь?.. Пригревать под боком?.. После того, что узнал?..

...Рафаэль так и не появился.

Матрац и спальник до сих пор лежат в углу моего гаража...

Забуду о встрече на лестнице. А то встряхнусь: «Подался Рафаэль туда, где потеплее?.. Или ходит здесь, в нашем городе, поджидает жертву... Крещенские морозы скоро...»

Заклинило

Уборка на носу, а я клиноремни для автотракторной техники не могу достать. Хоть тресни!

Что делать?

Пришёл в который раз к Петру Гордеичу.

Морщим лбы оба с председателем колхоза. А что толку?!

А тут Влас Иванович, наш скотник, входит. Прислушался к разговору нашему. Заморгал часто так бесцветными глазами и говорит:

— Так скоро же сессия районного совета. Племяшка моя Настёна собирается в райцентр, пыняешь...

— И что? — спрашиваю.

— Что! Давайте ей поручим. Два мужика не сделают, а она смогёт. Фигура: депутат от народа!

— Ну, ты голова, Влас Иванович, — подхватил Гордеич. — Как я не сообразил? И ведь там, на сессии, сам Макар Ильич Скорохватов — начальник областной сельхозтехники будет! Вот ему при народе и задачку поставить!

А нашу Настёну в первый раз полгода назад в депутаты выбрали. Ну, как обычно, пришла разнарядка: дать кандидатуру в депутаты. Колхоз-то передовой!

И неперемьные условия: чтоб женщину, чтоб была симпатичная, без среднего образования, не старше тридцати лет. Хорошо бы доярку или свиарку. Ну, это обычно так.

Мы прикинули: наша Настёна подходит по всем статьям. Всё в ней в аккурат для такого депутата, как требуют. Не урод вроде. Свиаркой работала, теперь коровами управляет.

Но маленькая заковыка у неё есть. Она вроде бы и ничего, но гундосит, и это... местами дырки у неё в голове. Ага... Не сразу порой у неё шестерёнки, шарики в голове начинают работать.

Молчаливая к тому же. Разгон нужен немалый. Но уж ежели разойдётся, то нужна дистанция! Тормозной путь немаленький...

И это ещё: матерок у неё в разговоре порой выскакивает. Тут на общем дворе это вроде бы даже подмога. Рычаг. А там как с этим? Но раз уж честь нам такая оказана, как не дать? Других-то кандидатур нет, а Настёна в работе — ломовая лошадь. Выбрали Анастасию Карповну в депутаты в тот раз.

...Решились всё-таки мы вопрос о ремнях поручить поднять на сессии нашей Настёне.

Пригласил её Пётр Гордеич на инструктаж.

— Трактор К-700, — говорит он ей, — без клиноремней — это как мужик, к примеру, тот же начальник областной сельхозтехники, Макар Ильич, у которого из брюк вынули ремень. Ему ни туда, ни сюда, а его заставляют бежать, поняла?

— Поняла, — отвечает Настёна, — чё ж я мужиков, что ли, не видела?

— Я про трактора и комбайны, — уточняет на всякий случай председатель. — С мужиками потом разберёмся. Нам ремни нужны?

— Ясно всё, — чётко отвечает Настёна, — без ремней, как без штанов.

— Во, во! — с опаской соглашается председатель. И озирается. Поехала Настёна на сессию.

Потом нам рассказывали.

...Вышла наш депутат к трибуне и прямо к начальнику сельхозтехники:

— Уважаемый наш, Макар Ильич! Вот вы сидите в президиуме, бляха-муха! И с виду, и так навроде неплохой человек... А по делу если?.. Сидите... вместе со всеми, расплющили зады, животами кольшите... А нам какво? У нас социалистическое соревнование! Встречный план! А трактора и комбайны на приколе. По вашей вине, между прочим!

Здоровенный, лысый Макар Ильич сначала дёрнулся, как заведённый трактор, потом попытался своим тонким голосом что-то сказать. Но смолк, будто солярка кончилась под натиском Настёны. Её понесло без остановки. Как на дрожках мчит:

— Вот пообрезать у вас пуговицы на штанах, выдернуть ремни и заставить бежать стометровку, что будет? Или хотя бы махнуть по этому помещению, где сидим все! Слабо!

Председательствующий попытался её остановить:

— Анастасия Карповна, вопрос понятен. Мы в рабочем порядке рассмотрим.

— «Рассмотрим», меня мужики ждут в Лопатино. Все без ремней. То исть трактора у них без штанов... Тьфу ты! Запутали вы меня. На это все тут мастера!.. Ё... ё... моё! Сколько вас тут! А в поле вас не видать чтой-та!

...Это было её первое и последнее выступление. Последнее потому, что нашему председателю строго-настрога запретили Настёну отпускать на сессии райсовета. А Пётр Гордеич был человек исполнительный.

Про ремни спрашиваете? Да мы к уборочной всё, что надо, тогда получили. Даже с запасом!

Такая она, Настёна, деловая!

Земляк

Под Сызранью дело было. Отец мой на заводе работал. Там добывали и перерабатывали горючие сланцы. И сейчас ихтиол получают: мазь такая лечебная. Многие знают.

Отец сызмальства на заводе работал. А главным инженером при нём был друг его, дядя Саня, то исть Александр Маркин. Оба они с тысяча девятьсот третьего. Вместе росли на одной улице. Их отцы были осмотрщиками вагонов тогда. Только он окончил индустриальный институт и воспарил, стал главным инженером нашего завода, потом директором. А отец мой после училища всю жизнь, считай, на одной должности — в токарях. А он химик! Они продолжали знатья. Свои жа!

Ну вот, перед войной забрали дядю Саню в Москву руководить уже сланцами всей страны. Ему и сорока ещё не было.

Потом ушёл на фронт. Отца-то забраковали: нога у него, вишь, с детства вывернута. А тут приезжает на побывку дядя Саня, значит, к своим, на родину. Изменился, конечно, а всё равно свой!..

Я его с Валерием Чкаловым сравнивал, обоих их видел. И по фотографиям, и так довелось. Волгари! Похожи друг на дружку. Ну, родные родными. И друзья... Всех дядя Саня обошёл, со многими, с кем хотел, повидался. И — на завод.

Два дня и со специалистами, и вообще со многими встречался, ходил, смотрел. Уж и не начальник теперь на заводе, а всё едино. Все уважительно к нему относятся.

Перед отъездом в Москву поехал он в Самару, в Куйбышев, то исть. По делам каким-то. Он потом рассказывал так отцу моему, ну, примерно:

— Еду, — говорит, — кругом народ всякий, разный. И вши! Ползают с одного пассажира на другого. С чемоданов на узлы всякие. Некуда от них деться. Маются все. Целый поезд вшей...

Думал, только в окопах так. Насмотрелся: на передовой вши заели нашего брата-солдатика. До крови расчёсывали себя. Зуд, немоготу. Иной, не стерпев, выскакивал из окопа, потеряв разум от зуда, и... попадал под пулю. Живые мишени.

...Сижу, — говорит, — в вагоне, наблюдаю, как вши копошатся, и... спохватываюсь: меня-то они не трогают! С чего бы это?

Вначале не понял, что к чему.

А поразмыслив, потом сообразил, что едет он прямо с завода в той же одежде, в которой был. А она пропахла ароматами заводской продукции. Её-то и боятся насекомые. Так получается!

Нашёл он стеклянную банку, набрал в неё вшей этих. Случай, как с Ньютоном. Только тому яблоко упало на голову, а тут вша эта...

Вернулся на завод и проверил он свою догадку в заводской лаборатории. Всё подтвердилось: от мази, которую они там готовили с химиками, вши бегут. А какие околевают тут же.

Уехал в Москву. А вскоре завод стал в бочках грузить эту серную мазь на фронт. Целыми партиями. Стратегическое оружие, не иначе! Во спасение наших солдатиков. Во как! Какой молодчина, земляя наш!

Опосля в каждом поезде стояла бочка с этой мазью. В обязательном порядке.

Вот поразмысли. Левша, конечно, — великий талант! Аглицким мастерам нос утёр: блоху ихнюю подковал. Но ведь и забава это!..

А тут дядя Саня столько народу нашего от мук спас.

Ты книжки пишешь. Вот и упомяни про эту историю. Чтоб знали... Не только Левшу... А и про нашего земляка из Съзра-ни, Александра Маркина!

Некоторые сочиняют. Шут с ними. А ты напиши дельное. Как было!

Арбуз для мамы

Помню, погнали нас, школьников, на уборку арбузов.

День сентябрьский, а жарко. Умаялись. К вечеру — уже никакие. Стали ребята перед отъездом домой подворовывать арбузы. Откатывали в посадку, кто как мог...

А я не решалась никак. Не в обычай было чужое брать.

А так хотелось привезти маме подарок. Она болела бруцеллёзом и лежала в лёжку.

Я подошла к бригадиру тётке Паше Борисовой, она жила на нашей улице. Знала, что мы с мамой мыкаемся без папы, который с войны не вернулся. Знала, что мама болеет. Подошла к ней и молчу.

— Ты чего столбом стоишь? Каланча какая, язык проглотила?

Я решилась. Мне показалась, что она не откажет:

— Тётя Паш, можно взять маленький арбузик для мамы. Она хворает сильно.

Спросила и получила своё:

— Чего ещё? Много вас таких! Арбузик ей! Придумала!

Шофёр дядя Коля, который знал мою маму, повернулся так к ней:

— Дай ты для Нюры арбуз, она ж безотказная в колхозе. Положи девчонке в сумку.

— Нет, не позволено! И всё тут, — стояла бригадир на своём. И я пошла к машине, чтоб дядя Коля не нервничал.

...А когда уже ехали на машине домой, посмотрим, впереди нас тётя Паша разогнала лошадь так, что телега опрокинулась. Целая куча украденных ею арбузов выскочила из-под сена, и они оказались на дороге. И покатались в пыль.

Тётя Паша упала с телеги. Колёса переломали ей обе ноги. Как она кричала, когда мы её в кузов грузовика несли!

Больше уже потом нигде она не работала. А вскоре померла.

Вот такая история.

Что хочешь, то и думай...

Страшно становится

Случай какой со мной был!

Не видела б сама, не поверила.

Наварила я щей. А так получилось, что все мои разъехались разом. Есть некому. Пошла к Нюре, соседке, через пять дворов. Те, которые рядом, пустыют. Она тоже со своими в город подалась. Выбрасывать просто так жалко, щи-то. В погреб с моими ногами доступа нет. Решила отнести на помойку собакам. Во что-нибудь налью, думаю. Нашла посудину и налила.

Тут же бегут они, собаки. Штук пять. Я отскочила. А среди них вожак, что ли, большой такой, как телёнок.

Каждый из них подбежал и мордой в лоханку со щами. Толкают друг друга. Тут же вдруг из подворотни дома Неверовых, он который год пустует, выбежали ещё две собаки. Взлохмаченные, худые. Жмутся друг к другу, как ребячёнки какие... али бомжи эти...

Который вроде вожака как рывкнет на тех, кто щи хлебать начал, они и отпрянули. А эти две-то стали быстро есть из посудыны.

Псы, что раньше на щи набросились было, стояли теперь рядом. Смотрели только...

Когда щей осталось мало, вожак энтот ткнул лоханку мордой, те две отошли, а отстранённые собаки бросились снова к щам и долизали их. Во как!

Дивовалась я.

Они, собаки, как люди, что ли? Сочувствуют промеж собой?..

Хотя что я говорю? «Сочувствуют»?!. Где теперь это? Днём с огнём...

На той неделе приехали какие-то ушлые ночью на машине. У Марфушки погрузили поросёнка её. И ищи их, людей этих...

Вот я и говорю: сколько Марфуша лебеды да жирнухи¹ попарила для поросёнка-то...

Ладно труды такие положила, сама, хорошо, цела осталась. Хоть так...

Страшно становится...

¹ Жирнуха — вид сорной травы.

С бугра всё видно...

Мама, я и мой брат Витька сажаем на Ваньковом бугре картошку. С бугра так хорошо видно вокруг. Вон наша школа, вон Вовки Кудряшкина голубятня. А немного сбочь, конечно, поболее, чем голубятня, но не сильно — наша саманная изба. Второй год после войны. Живём впроголодь. Был бы жив отец! А так надежда только на картошку.

— Беги, — говорит мама, — домой. Набери полведра картошки в погреб, а то кончается. Надо этот клин посадить до конца.

Я не рад такой команде.

До дома не близко. Да ещё по такой жаре. Очень хочется есть. В животе бурчит.

— Ты побыстрей, — говорит мама, — а то тут как на сковороде, прижухнем под солнцем.

...Бегу, а сам хватаю на ходу щепочки разные, прутики для огня. У меня при упоминании мамы о сковородке созрел план. Там, в погребнице, в ларе должна быть мука. Как прибегу домой, поджарю на сковородке её с водой и съем. Невмоготу терпеть.

Так и сделал. Таганок у нас всегда стоял на загнетке в печи. Водрузил на него закопчённую сковородку с водой, насыпал муки, которую еле намёл на дне ларя ладошками. В мизинец под ноготь от доски влезла, чёрная, тоненькая, как ниточка, заноза, но мне до неё — потом. Развёл огонёк. Радуюсь. Вспомнил: «А картошка-то?» Пока, думаю, мука поджаривается, наберу семян. Метнулся в погреб. Всё шеметом, вприпрыжку делаю.

Вернулся к таганку, мука где прижарилась, где как мясо. Некогда уж. Огонёк потух. Собрал я ложкой в миску моюстряпню. И во двор!

Доедаю на ходу, зажав в горсти то ли блин, то ли тесто. Не утолил голод, а только раздражил. И пальцы вымазал.

Когда прибежал, мама спрашивает:

— Что так долго? Картошку, что ли, варил?

— Не, — отвечаю, — не варил.

— Ну как же? Дым из нашей трубы шёл. С бугра всё видно.

Я обернулся, а там и вправду наша труба торчит, в сторонке так. Ни с чьей не спутаешь.

Растерялся я, вообразив, какой я маленький перед мамой, перед этой горой, с которой всё видно. Совсем таракашка. Упав духом, чувствую своё ничтожество, признаюсь:

- Я муку жарил.
- Как же ты её жарил, если она кончилась? Придумываешь...
- Наскрёб, — говорю.

И не смотрю на маму. И на Витьку тоже не смотрю. Стыдно. Как предатель какой...

А тут поднял глаза, а у мамы лицо не строгое, не сердитое. Печальное лицо, как у Богородицы в нашей церкви.

Заплакал я, сам не знаю отчего. Как сейчас помню. Стою и мизинец с занозой зубами тереблю, машинально.

- Чего у тебя там? — спрашивает мама.
- Так, заноза от ларя, — отвечаю.
- Иди сюда, — говорит мама.

Я покорно подхожу, думая, что получу оплеуху.

А мама отстёгивает на груди от своей кофты булавку и начинает вынимать у меня из пальца занозу.

- А то загноится, — говорит она, — деловуха ты моя.

Мама касается виском моей головы. Я остро чувствую из-под светлого платка запас её сухих льняных волос... И от пережитого ли, от прикосновения ли маминых тёплых рук, не сказать, от чего, напрочь забываю про голод...

В автобусе

Едва автобус тронулся, пожилая женщина, потом из её разговора я понял, что ей за семьдесят, начала говорить по сотовому телефону. Довольно громко, бодрым голосом и с ясной логикой. Не обращая на соседей никакого внимания.

— Настя, я к тебе сегодня не приеду. Ну, обещала, а не получится...

Еду сначала в больницу к внуку, а потом в школу, где он учится. Понимаешь, учитель физкультуры выгнал их на лыжах раздетых. Дима был в тонком трико. Слёг теперь. С его-то большими почками, в мороз двадцатиградусный... Сегодня, когда с утра узнала, дочери говорю: что ж у них там в школе дурдом, что ли?! Ведь ты справку о его болезни относила! Классный руководитель и школьный врач знают?

— Что я могу сделать с ними? — отвечает. — Все только мычат. А мальчишка в больнице.

Вот и поеду, Настя, я в эту школу. В лицо скажу, что они нелюди! Сама за себя не постоишь, кто поможет? Теперь такое время!.. Это ж прямо круговая напасть какая-то!.. Куда ни кинь...

Выхожу сегодня из своей квартиры, закрываю дверь. Копошусь, замок стал заедать, не сразу ключ выдернешь. Смотрю: сосед, вот он! Нарисовался. Прапорщиком служит, а то и дело прибегает домой переодетый в штатское, да не просто, а в женское. Куртка, как у меня, зелёнькая. На голове шапочка вязаная.

Подрабатывает где-то по два-три дня в неделю, на стройке. А служба идёт! На кого-то он спихнул дела-то свои! Иль нет их у него?..

Вот тебе и Сердюков или там Зурабов какой! В них, что ли, в одних причина? В начальниках? А мы-то где? Мы-то кем стали?

Полиция, ФСБ... Эти с бандитами борются... Хоть как-то, а борются. А с такими вот бандитами, как эти в школе, сосед? Кому с ними бороться?

Их, знаешь, сколько теперь? «Сбережение народа... Национальная идея...» Надо ещё каждому быть человеком!

Их вот таких в школах, в армии, в больницах как к порядку привести? Какими силами? Ну, какими? Каждый чудит по своему. Одному государству не под силу против таких! Приеду в школу, посмотрю на чудо-учителей... Поговорю. А то и за волосы оттаскаю!

Царюю

Приехала из Самары к соседке моей Дарье Межавовой золотка её, Клавой зовут.

Несколько раз прошла мимо. Я в огороде копаюсь. А тут остановилась. Заговорила. То да сё, а потом:

— Царюешь ты, баб Зоя!

— Как это? — спрашиваю. — Слово-то какое?!

— А так! Под окнами цельная плантация с картошкой. Соток на десять. Да на задах не менее пяти с огурцами, капустой и всякой всячиной...

— И что? — говорю.

— А то, что у нас в городе на асфальте редиска не растёт. И зарплата такая, что когу на похмелку не хватает.

— Завидуешь, значит? — спрашиваю.

Она молчит. Я ей:

— А я, Клава, как поработаю часа два, особенно на солнце, так потом в мазанке лежу столько же. Прихожу в себя от такой плантации. Мне семьдесят первый годок пошёл. Не девка чать...

— Всё равно царюешь! — настаивает Клавдия. — Ведь, чай, зимой твои дети-то в городе и с картошкой, и с капустой. Верно? Всё отсюда! От тебя зависят.

— Не без этого, — отвечаю.

— Во, во!

Это мне её «во-во»!

Говорю:

— Раз такая разумная, то переезжай сюда. Вон в доме Каревых никого не стало. Огородище какой пустует! А там около леса вообще выгон цельный. И скотины-то вокруг нет. Сажай сколько хочешь! Поболее мово.

Молчит, как не ей говорю.

Покудахтала ещё малость и подалась в магазин.

Она ушла, а я думаю: а ведь не напрасно она так говорит. Царюю я. Видит Бог, царюю. Что бы я делала без этих трудов, без землицы? Кто я без этого? Гольтьба. А так... царюю...

В лунную ночь

Я тогда пэтэушником был. В 60-х годах аж прошлого века.

Учился на токаря.

И вот разок на октябрьские праздники поехал я домой в деревню.

Попутка шла до Фёдоровки. До дома надо ещё около десяти километров пёхом добираться.

Доехал я до Фёдоровки, которая на большаке, где-то около полуночи. Ещё не менее двух часов надо шагать. Дело привычное. Дошёл до Суходольской. Она у нас в один порядок вытянутая. Слева от неё овраг.

Иду, значит, я меж оврагом и улицей. Слева, где овраг, на отшибе избёнка была. Старуха скрюченная в ней обитала. Неумывакина её фамилия. У нас все звали её Неумоихой.

В деревне говорили, что вроде бы она то в свинью превращается, то в чёрную кошку. Ловили её, а никак не удавалось разоблачить. Вот всё вроде: и свинья лишняя не знай откуда взялась, и старухи дома нет... А раз: и ничего такого нет. Всё, как надо, в один миг... И свинья пропала, и старуха на месте.

Это мне сразу всё вспомнилось, как только пошёл я вдоль оврага.

А я Гоголя начитался. «Вечера на хуторе близ Диканьки», помните? Мастер он был на такие дела!.. Эх и писатель!

...Ну вот, иду. И такая на меня жуть страшная напала. Откуда? Раньше-то вроде ничего?

А тут полнолуние. И тишина! Мёртвая! И свет сверху струится лунный. Как на кладбище. Так и кажется, что кто-то сейчас руку костлявую протянет... И всё тебе! Каюк!

Почему тишина?

Обычно собака залает то на одном конце, то на другом. То кошка мяукнет...

А тут молчок. Будто всё вымерло.

Чем дальше в конец наш иду, тем темнее и страшнее. А остановиться не могу... Мысль опять же возникает: если не идти, то что делать?

Назад — и в Фёдоровку? Кому я там нужен?

Смотрю, из оврага поднимается белый, нет, седой, шар! Как чья-то огромная голова. И плывёт эта голова прямо на меня. И пасть такая огромная у неё. И никакого туловища у этого чудища нет. Или его не видно? Замаскировано всё. Всё обволакивается лунным, похожим на топлёное молоко, светом. У меня зашевелились волосы на голове. До сих пор помню эту жуть!

Больше со мной за всю жизнь такого никогда не было. Чтоб волосы фуражку поднимали...

Думаю: «Надо засвистеть!»

Пробую, а никак! Губы мои ссохлись, не раздеру их! В полумороке стою, а шар мимо меня плывёт уже. И дальше так, к избушке Неумоихи подался.

Что оказалось-то? Соображаю: туман в овраге густой такой. Ключья его отрываются и поднимаются вверх из оврага... Просвечиваются лунным светом... Страшно. И стыдно за себя...

...Подошёл я к своему дому никакой.

Опять же необычная тишина во дворе. Дико!

Дворняги Полкана не слышно.

Трогаю кольцо у калитки.

Металлическое звяканье в ответ. Тишина мёртвая. Двор будто затаился.

«Живы ли родители?» — думаю.

Появляется отец из сеней. Тихо так, как привидение. Без звука, без света.

Когда вместе вошли в избу, упал я на лавку.

— Есть будешь, сынок? — слышу голос родителя.

А у меня всё перед глазами как в тумане.

И седая голова отца, и этот шар из оврага... всё слилось в единое. И поплыло куда-то. И я со всем вместе плыву, но придавленный такой тяжестью невообразимой...

Какое есть? Уснул, не раздеваясь, на лавке.

Утром спрашиваю:

— Пап, что в деревне у нас?

— А что?

— Ну, мёртвая она? Никаких признаков жизни. Голосов нет, собак не слышно. Света нет.

— Трансформатор забарахлил, ноне днём обещали дать свет, — отвечает. — Да, чай, ночью спят все. Предупреждение было про электричество. А собак мы постреляли.

— Как так? — опешил я.

— А как у Сидоровых их Пегая взбесилась, покусала некоторых собак и ребятишек, мы и стрельнули всех. Заодно и кошек.

— И Полкана?

— Она его первого укусила. Куда деваться?.. Врачи из райцентра приезжали. Сегодня, сказывали, снова будут. Мы тебе писали, чтоб пока погодил с приездом. Или не дошло письмо-то?

Сактировали

Промаялся я своё в госпитале.

Подошёл срок, когда надо решать, что со мной делать.

А у меня, кроме ранений рук и ног, лёгкие никудышные. Когда сбили поздней осенью, самолёт упал в болото. Долго выходил к своим по холодной воде...

Про таких, кому осталось жить столько, сколько надо времени, чтобы доехать домой на собственные похороны, мы проеж себя говорили: «подлежит активированию».

Вот и мне выправили бумажки. И поехал я домой на Волгу. Война только что закончилась. Радость какая! А я еду умирать. И знаю об этом.

В вагоне духота, курят. К окну ближе не прорвёшься. Подступила дикая тошнота. Теряя сознание, выбрался в тамбур. Пошла сильная рвота. Отхаркивался окровавленными шмотками. Мне кажется, из меня вышла половина моих гнилых лёгких. Не знаю, как это может быть и что из меня летело...

Но только наступило облегчение.

...Не сразу я начал дома выправляться.

Какой на дворе год наступил?

Даже не верится. Мне девяносто! Тогда в госпитале рановато меня сактировали! Как говорил наш ротный старшина: «раз на раз не приходится».

Кинемеханик Гниломёдов

Когда я вошёл в уютный небольшой дворик своего нового знакомого Николая Петровича, хозяин его, подставив под голубенький дребезжащий рукомойник у крыльца седую со всклокоченными волосами голову, ловил последние струи воды.

Ещё и не полдень, а солнце нещадно палит. Духота неимоверная.

Кто жил в степных наших заволжских местах, знает, что это такое...

Поздоровкались.

В разговоре Николай Петрович неутомим. Я не удивился, что он с ходу продолжил наш с ним вчерашний диалог.

Ему, кажется, и духота не помеха.

Промокая лицо коротким цветным утирником, излагает свои мысли довольно ясно. Много в его рассуждениях не ново. Но я не могу уйти от прямого смысла его слов. Не тороплюсь даже мысленно упрекнуть в банальности. Ловлю обжигающую суть сказанного.

Если говорит так, значит, пришло время. Голос его негромок:

— Столько жизнью повидал, понаблюдал на своём веку. И в кино, пока киномехаником работаю в клубе, и так... Жизнь — как заряженная киноплёнкой бобина. Вначале, когда она едва початая, мы торопим её. Хотим, чтобы крутилась быстрее. Скачут кадры, как в детстве золотые денёчки... Потом разгон берёт она сама. Плавно, кажется, бесконечно так будет. Мелькают лица, города, годы, много чего...

...Вращаясь, бобина, кажется, убывает незаметно, однако ж со второй половины уже не удержиимо... Потом стремительно! Пока на экране не появится: «Конец».

И тут уж всё: освобождай места для другого кина! Захлопают сиденья, зашаркают ноги... На выход!..

Он глянул из-под ломких бровей на меня взглядом чистым и ясным. Только-то и сказал спокойно:

— И я вот приготовился... да что уж?.. готов... на выход!..

Я было хотел возразить, уйти от такого разговора, когда сразу и обо всём. Приехал-то я на две недели в село с одной целью. Для задуманной документальной повести добрать недостающих подробностей, освежить полузабытое. А тут...

При первом знакомстве подарил я ему свою книжечку с короткими рассказами. И попал на эти вот разговоры.

«Надо терпеть, — думаю, — так бывает при первом знакомстве. Потом уравнивается».

...На фоне обветшалого белесого штaketника, висевшего наискосок от сеней до сарайчика серого постельного белья, показался он мне на миг древним греческим мыслителем. Холодовато-гипсовым и скучноватым...

«Не так начинается день у меня, — досадовал я мысленно, — лучше бы пройти потихоньку мимо ворот его и — на Самарку! Окунуться в прохладную водицу...»

Но уйти от разговора почему-то не решаюсь. Ведёт хозяин меня тихим голосом за собой, как бычка на верёвочке.

Мы переместились уже в сени. Уселись за стол. Хозяйка принесла чайник и большие жёлтые бокалы.

Наблюдая, как я разливаю чай, Гниломёдов размышляет вслух:

— Это ж надо, ведь всю жизнь крутил в клубе кино! Столько всего пересмотрел. Думал, много так знаю. Книжки мало читал. Хватало экрана. А тут Дуся, сестра, ремонт с ребятами

своими затеяла... Ну и привезла целую тележку книг к нам в предбанник.

— Топи! — говорит. Отслужили своё.

А там и Грибоедов, и Тютчев, и Толстой, и Шолохов. Как так можно? Баню книгами топить?!

Начал читать. И голова кругом. Невежда я! Да какой! И сколько таких! Тьма тьмущая! Толчок они мне дали, эти книги из предбанника!

Книга и кино — несравнимые вещи!

Вот возьми Пьера Безухова, Андрея Болконского, которых в кино играют Бондарчук и Тихонов! Я их так всех любил! И героев, и артистов.

Но сделал я для себя открытие: кино в сравнении с книгой — доска! Ведь сколько они, оказывается, о жизни думают и говорят в книгах: Безухов и Болконский! И как думают! Как говорят! А в кино: один процент всего! Остальное — картинки!

Промеж книгой и кино — пропасть! Читать надо было бы с ранних лет! Жалко упущенного...

Сижу, слушаю Николая Петровича и жалею:

«Не мне бы, — думаю, — слышать такое, а нашим с ним внукам, может, отлепились бы от телевизоров, а так...»

А Гниломёдов своё:

— На той неделе поехал в Самару на крытый рынок. Что надо, ничего для меня не нашлось.

А тут иду вдоль стены рынка, с улицы, там, где палатки стоят. Гляжу, в сторонке прямо на асфальте потрепанный такой мужичок книжки разложил. Торгует. Много так книг у него. Стопками, рядами выложены.

Слева от него лежат солидные тома! Читаю: Токкерей, Диккенс; наши: Ключевский, Тургенев, Юлиан Семёнов... много всякого. Каждая толстая книга пять рублей стоит!

А рядом лежат тоненькие. Но какие! Грибоедов «Горе от ума», Некрасов «Стихотворения», Тютчев «Стихотворения», Крылов «Басни». Эти дешевле: рубль за штуку. Смехота да и только!

— Не стыдно, — говорю, — за такую цену продавать?

— А ты продай дороже! Ухарь нашёлся.

Сморчок такой, а свысока разговаривает. Дело своё знает. Сейчас много разных специалистов развелось.

— Подойди к любой свалке, — продолжает, — там такого товара! И за «так» не надо никому.

И прав он. Я знаю это. А противлюсь своему такому знанию. Набрал я на полста рублей охапку целую.

«Не в одном нашем селе, — думаю, — такое творится. В городе — то же самое».

А то стыдно было как-то за село. И тут же ужаснулся другой своей мыслью: чему радуюсь? Значит, вся страна такая. Это ж куда мы все идём?

Ты-то, Александр, думал об этом?

— Куда от этого деться? Думал, — отвечаю.

— И что?

— Это больная тема. Давайте оставим на завтра, меня, наверное, жена уже разыскивает.

— Тогда на вот, на дорожку. Не торопись. Жена обязана ждать.

И протягивает лист из ученической тетради.

— Что это?

— Стихи. Утром спускался в погреб за молоком, посетило.

— А что? — спрашиваю. — Холодильника в доме нет?

— Есть, но мне сноровистее в погребе. Как слезу туда: красота! Здесь мозги плавятся, а там у меня выше плюс пятнадцати не бывает. Представляешь, как слезу туда, так у меня стихи там рождаются. Народу никого, как в параллельном мире каком. Суety тоже нет. Я даже часто предлог ищу, чтобы побыть в погребе.

— А свет? — спрашиваю.

— У меня свечка там на бочке в блюде стоит. И бумага лежит, и карандаш. Как кабинет! Полсотни стихотворений написал. Полка с книгами образовалась. Мне из погреба видней. Пищу сейчас одну вещь...

Он взглянул на меня оценивающе:

— Сродни шекспировской!

Я взял протянутый листок.

Начал вслух читать стихи:

В чём наша суть? Куда идём? Я вновь и вновь,

Как юноша, терзаюсь по ночам:

Наш путь по-прежнему не ведом нам.

Слабеет дружба, растворяется любовь...

*Что остаётся? Пред дыханьем ядерной зимы,
Пред вечностью? Невольно озираешься: кто мы?*

*Быть может, смысл всему рождается
в космической дали?*

Он в пыль стирается в пути.

Его нам не понять с Земли.

Когда прочёл, он спросил величаво:

— Как?

— Омара Хайяма читали? — спрашиваю.

— Ну вот! И вы туда же! Читал. И Хайяма! И Фета! И причём тут это? Вот! Опять стихами заговорил! Жена талдычит, она бухгалтер. Авторитет в своей конторе: «Гниломёдов, — говорит, — в тебе, как в твоей фамилии, всего намешано. Хватит уж, почудил за жизнь. Теперь это вот! Графоман ведь! Графоман! А хочешь в гении?»

Чепуховину городит. Какой гений? Вон она, простая вода в раковинке! Обычная вода! А как она появилась, отчего? Как постарел, так и поглупел. На многое не знаю ответов. Куда ни кинь, во всём тайна! Что такое небо, космос! Всё по воле Создателя? Может! А как возник Создатель? Раньше не задавал таких вопросов. И сходил за умного.

Это ей подруги наговорили про Хайяма, про гения. От невежества. Мне что? Псевдоним, что ли, братъ? «Гниломёдов» ей не нравится!

— Но не очень ново, — осторожно пытаюсь вставить слово.

— Не ново! — он по-молодому дёрнулся. — «Не ново», «было!» А где было? С кем? Со мной такое впервые! И опять же, твой Омар Хайям в погребке писал? Нет! То-то! Он учёный был, при царском дворе служил. Киномехаником не был, это — да! Успел опять же раньше нас родиться... и сказать раньше... Мне бы его образование! А! Что бы было?! Я поздно себя открыл! Вот в чём промашка! Можно сказать, не промашка, а драма жизни! Не торопись судить, ещё раз прочитай вдумчиво, дома! Вообрази, что не я это написал. Кто-то другой, незнакомый и далёкий... Дело-то какое? Надо узнать себя, успеть. Сегодня живёшь, а завтра раз — и нет тебя... бобина кончилась...

...Домой я уходил не только с этим стихотворением. Вручил он мне на суд недавно законченную рукопись своей сатириче-

ской, как он сказал, повести. Обнаружив тем самым устойчивую заинтересованность в нашем с ним общении.

Задание не из простых, учитывая наши дружеские с ним отношения. Знаю, как непросто делать свои суждения о рукописях близких знакомых.

Вспомнилась его усмешка: «Мне из погребка видней».

Ночной рейд

Зачем наговариваешь лишнего? Мол, сатрапы, гаишники эти!..

Есть, конечно! Но и свои они ребята. Как есть свои. Понятные.

Вот послушай.

Еду я как-то на своём «жигуле» в первом часу ночи. Тороплюсь! Улица пустынная. Никого. Ни машин, ни людей. Один.

На перекрёстке красный свет загорелся. Ну, что? Глупо время терять!

Проскочил! И только свернул налево: вот они, нарисовались, сатрапы эти. Двое, блин.

Остановили.

Взял старшина мои документы и, не глядя, радостно так:

— Нарушаем!

— Так ночь, — говорю, — глухая. Ни души. Было бы днём, — лепечу своё.

Старшина зычным голосом:

— Правила движения на круглые сутки написаны! Вопросы есть?

Ну, какие тут вопросы? Прав старшина.

— Просьба, — говорю, — есть. Отпустите. Первый раз такое. Поспать хотелось успеть. Завтра с утра в смену.

— Первый — не первый, гадать не будем! И штрафовать торопиться не будем! Погодим, раз просишь! Ты вот подбрось нас в отделение. Там видно будет.

Повёз я их. Куда деваться?

Велели подождать малость. И ушли.

Жду. Пока ждал, дал себе зарок: сроду на красный больше не поеду. Урок получил.

Вернулись они. Торопятся. Уже втроём. С капитаном.

Капитан здоровый такой, пухлый. Усики рыженькие на по-
росячем рыльце. Ну, весь свой, как мой старший дядька Во-
лодя. Только тот пониже ростом.

Как я понял из разговора: у них, видишь ли, рейд был по
городу.

— Развези, — говорит старшина, — по домам. И будешь сво-
боден. Сам понимаешь: отдохнуть надо, утром — к восьми.

Понимать-то я понимаю, но... Куда, блин, деваться? Повёз.

На первом же перекрёстке красный свет загорелся. Я по
тормозам. Стою.

— У тебя что, бензин кончился? — удивился капитан. Голос
у него бабий, визгливый. От такого хорошего не жди...

— Но ведь красный горит, — говорю.

— Так третий час ночи! Ни души вокруг! Гони, спать охо-
та... — капитан уже не удивляется. Он гневится!

— А как же правила движения? — говорю. — Они же на кру-
глые сутки!

— Ну и мямля! Не понимает ситуации, — нахмутив белёдые
брови, скороговоркой продолжает своё капитан.

И к старшине:

— Где вы такого подцепили? Вечно что-нибудь!.. То понос, то
золотуха! Накажу вас обоих!

Я включил скорость.

Приказ

Будто записано где про меня, что живым мне вернуться с
войны.

Сколько раз на волоске жизнь моя висела, а вот, поди ж ты,
как всё оборачивалось каждый раз.

Вот такой случай был.

Тянули мы связь. Команда, чтоб к девятнадцати ноль-ноль
она была. Хоть застрелись! Идёт обстрел со стороны немцев.
Наелись мы грязи. Впереди — столбик какой-то, около полу-
метра, ну чуть поболе. Дальше через полсотни шагов куст тем-
неет.

Ваня Орешкин не дополз с проводом до того столбика, лежит. Завалился на спину, подвернув под себя ногу. Наповал сразил фриц.

Наш лейтенантик молодой с мелкой такой головой и большим кадыком командует:

— Захаркин, вперёд!

Захаркин дополз до облезлого столбика. Да расслабился, приподнялся малость и тут же ткнулся, как котёнок, лицом под этот столбик. Раскинул циркулем в разные стороны длинные ноги.

Лейтенант звонко и неумело выругался.

«Всё, — думаю, — очередь моя. Конец! Лежать мне через пять минут там же... Сейчас этот лейтенантик укажет на меня. Приказ не выполнять нельзя. Расстрел. Это мы уже слышали от него не раз...»

Я сжался весь. Слышу свою фамилию:

— Погудин!.. Совсем оробел?!

Я дёрнулся.

И тут невесть откуда возникает капитан. Раза в два старше нашего решительного командира.

— Отставить, — голос сиплый такой, в глазах дикая тоска. Видать, навоевался уже, насмотрелся.

— Лейтенант, ты что? Сдурел?! — кричит. — Видно же, что снайпер работает! А ты, салага...

— Товарищ капитан! Я не потерплю! При бойцах!.. У меня приказ! Связь должна быть! Погудин, — нервно вскинулся лейтенант, — чего ждёшь?

И схватился за кобуру.

— Отставить, — прохрипел капитан. — Команду повторно давать не буду.

В его руке был пистолет.

— Шлёпну тебя, лейтенант. Как пособника немцев. Как врага народа!

— Что вы несёте? — лейтенант заикался.

— Ты по дури истребляешь личный состав! — жёстко выкрикнул капитан.

Белый кадык лейтенанта заходил под подбородком:

— А что бы вы делали на моём месте? Вчера мы полёвку тащили по земле. А эта связь дивизионная. Я должен протянуть

её надёжно. А где тут что взять, вот столбик попался... Кругом топь...

— Бросай провод по земле, вон, по овражку в обход. А ночью вернётесь, если надо, что-нибудь придумаете! Моя батарея рядом тут. Ты понял?

Он развернулся, и мы увидели у него на груди звезду Героя.

Я заметил, как вытянулся во весь рост наш длиннющий худой лейтенант.

...Эдак вот. В тот день и на следующий из нашей команды никто не погиб.

Верните мне мужа...

Сижу в зале ожидания Казанского вокзала. Рядом двое пассажиров ведут неспешный разговор. Вернее тот, который значительно старше, рассказывает, а другой, помоложе, больше слушает. Мы перезнакомились. Я среди них не чужой уже. Рассказал своё, теперь слушаю.

— Начало восьмидесятых годов. Только-только меня назначили директором огромного нефтехимического завода. А мне и сорока ещё нет. Тогда такое нечасто было. Но у меня так сложилось. От слесаря вырос до директора завода. Не миновал ни одной серьёзной должностной ступеньки. В ту пору это очень ценилось. По сути было системой.

Я смотрю на рассказчика, слушаю его глуховатый внушительный голос и проникаюсь доверием к каждому слову. Попутчик его, Серёжа, слушает внимательно. Я понимаю: для него то, что он слышит, необычно. Его не было ещё в то время, о котором речь.

Спрашивает:

— Михаил Алексеевич, если не перескакивали через ступеньки, значит, готовы были руководить? Хоть и молодой?..

— Опыт работы в производстве был, но вот чтобы активно решать судьбы людские... Давай тогда кое-что расскажу, коли интересно.

Чуть помолчав, заговорил раздумчиво:

— Работая техническим специалистом, привык к определённому кругу обязанностей, а тут... размытый, необъятный круг хлопот и забот. Завод — как государство в государстве.

Кроме чисто производственной деятельности, двадцати пяти основных цехов, ещё на балансе около ста пятиквартирных жилых дома, жилищно-коммунальный отдел с численностью в четыреста человек, строительство хозяйственным способом, то есть своими силами, жилья для заводчан по 30-40 квартир в год. Гаражи, дачи, подсобное хозяйство на селе, восемь детских садиков, музыкальная школа, дворец пионеров, профилакторий, туристическая база на Волге — всего сразу не перечтёшь!..

И не только надо построить, содержать всё это, обеспечить бесперебойную работу, но и... распределить жильё и услуги так, чтобы не было особых обид... Иначе разбирательство будет неминуемо: либо в профкоме, либо в моём кабинете.

Рассказываю, чтобы у вас, молодняка, хоть какое-то представление было о том времени.

Помню один из первых моих приёмов работников завода по личным вопросам.

Надо ведь, пришёл на приём бригадир слесарей Василий Егорыч Рябинин. А у него ордена за труд. Уважаемый на заводе человек. Я с ним когда-то работал, под его началом в бригаде.

Вопрос ещё тот у бригадира. Рассказывает:

— Когда-то получил квартиру на заводе, трёхкомнатную. Всё было нормально. Но сын женился. Родилась двойня, радости через край.

Пока моя жена была жива, всё как-то по-человечески было. Хоть и две женщины на кухне, а войны не было. Какая война? Всё на себе жена несла, все заботы по готовке, по постирушке. Умерла она. И началось! Дошло до того, что готовить еду стали отдельно. Так сноха захотела. Сам стирать себе начал.

А тут перепутал кастрюли, и сноха отчитала, как школьница.

Рассказывает Василий Егорыч, губы у него дрожат.

— Сащ, — говорит он мне, — я ж ничего сделать не в силах. Только ты можешь, завод — то есть.

Шмыгает носом, того гляди расплачется герой труда.

— Дайте мне самую маленькую комнатку где-нибудь, полгода до пенсии осталось. Или даже койку в общежитии — согласен. А то выйду на пенсию — никто мне уже не поможет. Стыдно просить, а куда мне деваться?

Сидим, чешем затылки. Что делать? Нету на поверхности решения вопроса. Ни под какие льготы не подходит бригадир Рябинин. Потому как уже получал в своё время на заводе квартиру.

— Ладно, — говорю, — Василь Егорыч, — дай нам недельки две на проработку вопроса.

Вышел он. Не успели мы вздохнуть свободно, входит бывший диспетчер гаража Мария Василенко. Энергичная, розовощёкая. Моя ровесница, чуть даже помоложе. Села за стол притихшая, непривычно сдержанная.

— Слушаем вас, Мария Петровна, — говорю ей академично. — Что у вас?

— Вот именно, у нас. У нашей семьи!

На глазах её — слёзы. А я слёз не могу видеть, никак...

— Ну что вы, Мария Петровна? Говорите по сути, — голос председателя заводского профсоюзного комитета, кажется, её успокаивает. — Говорите, какая проблема?

— Проблема такая! — нервно произносит Мария Петровна и бухает: — Муж у меня — сволочь!

Воцаряется тишина.

Первым подаёт голос секретарь парткома:

— И что теперь?

— Верните мне мужа!

— Откуда вернуть? — наводит мосты секретарь.

— Оттуда. Он ушёл к другой. К этой, Элеоноре Заплаткиной, заведующей нашей заводской столовой.

Мы невольно с профсоюзным боссом Лидией Петровной переглядываемся. Её кадры столовой. Она в ответе. Такой у нас с ней уговор.

— Ну, если он сволочь, то стоит ли?.. — подаёт голос Лидия Петровна.

Мария её перебивает:

— Вы пока бездетная, а мне как жить одной с двумя погодками? Я их ещё только в детский садик вожу. Детей надо растить, а он!.. Как я одна? Не подниму... Я и в день перевелась работать, убираюсь в гараже, специально из-за них. Ни родителей, ни родственников нет рядом. Мы оба из Ульяновской области приехали. Буду на каждый приём приходить, пока не вернёте мне мужа!

Рассказчик смолк, а я спросил:

— Вернули?

— Конечно, вернули. Не дали детям бедствовать.

— А как?

— Так! Мало рычагов, что ли? Этот её Виктор в очереди на повышение разряда стоял. А какое ему повышение в таком случае? Второе: Заплаткина ждала расширения своего жилья. Стояла в очереди на получение двухкомнатной. Ну и будет ждать ещё пятилетку, не менее — так ей и сказано было! Я ж говорю: завод был как государство в государстве. Рычагов воздействия хватало!

— Да, своеобразное государство. Не то, что нынешнее, — подал голос Сергей.

— А что? Когда кругом безотцовщина, лучше, что ли?

— Нет, конечно, но...

— Но... Мотай на ус. Без рычагов управления куда приедем?.. Какое-никакое, а оно было, местное самоуправление. И порядок был...

— Да уж, скорее, не самоуправление, а самоуправство, — возражает Сергей.

И тут же получает:

— Да, и это есть, но... Я только говорю, как было. У вас теперь своё...

...Видишь ли, у меня, когда я работал ещё начальником цеха, был заместитель, невзрачный на вид мужичок, а толк в нём был. Когда кто-нибудь начинал на что-то наводить критику, он тихо так и ядовито спрашивал: а сам-то ты что предлагаешь? Где выход? Коль знаешь, скажи, а лучше — сделай!.. Что тебе надо: рукавицы, ключи, калькулятор? А по-теперешнему времени он бы ещё добавил: компьютер?

На, бери и действуй!..

...Объявили посадку на поезд «Москва-Оренбург». Мы попрощались. И они направились на перрон.

Мне было жалко прерванного разговора.

Хотел бы я оказаться попутчиком Михаила Алексеевича.

Чужая жизнь, а будто моя... О многом бы можно было поговорить в дальней дороге. Разбередило.

Я ведь тоже из того времени...

Обида

— За что сидел-то?

Как сказать? Жить хотел.

В сорок седьмом по ночам в очередях за хлебом стояли. Встанешь в четвёртом часу и бежишь в магазин. По полбуханки в одни руки давали. Чтоб поболее взять, приводили с собой ребятишек. На них тоже давали. Некоторых мальцов-то по несколько раз туда-сюда гоняли из конца очереди в голову. Чтоб могли, кто попросит дополнительную порцию, получить.

А всё одно не хватало. Спасать надо детинят!

У меня трое, у Митяя Колобова — двое. Решили мы на току похозяйничать. Знали, как сделать.

Набрали, вернее намели, пшеницы килограммов по двадцать. С пылью вперемешку. Дома, решили, веять будем. Не здесь же! И понесли поклажу в мешках домой.

Ночью по полю идём. А до села около десяти вёрст. Взяли напрямки, без дороги. Непросто получилось по бездорожью-то. Оба задохлецы. Я после ранения на фронте, а он отоцал крепко.

Но Митяй помоложе всё-таки. И покрепче. Останавливались через каждые метров сто. Как сползёт мешок у меня с плеч, он вернётся, подмогнёт одной рукой. Другой рукой держит свой мешок.

Умаялся он со мной.

Дошли до его дома. Темно ещё, но уже коровы мычат во дворах. Скоро Захар Чуносый стадо погонит по большой улице.

Поправил напоследок Митяй мне мешок.

— Дойдёшь? — спрашивает.

— Куда деваться, — отвечаю.

И я пошёл. Метров триста надо преодолеть. Здоровый-то был бы, ерунда! А так...

Как сползёт мешок с плеча, я и маюсь. Неспособный сразу поднять.

Приловчился всё же. Располовинил зерно в мешке и меж половинок этих голову просунул. По-пластунски под поклажу эту подлез.

А уже стадо идёт коровье. Светает. Я вдоль порядка хромаю с ворованной пшеницей.

Ну, думаю, ежели застукают, лет десять — не меньше дадут. Что будет с ребятишками? Сам-то ладно.

Последние метры до дома преодолевал на карачках, по-другому сил не было...

Около палисадника потерял сознание. Подобрали меня, да не свои.

Получили мы с Миней по заслугам нашим. Как я и полагал. На то она и власть.

Отсидели.

Миня с тех пор предателем меня числит. Будто я его сдал.

«Сам попался, зачем других выдавать», — так корил он меня.

Если бы так!..

Из-за его только ребятёнок, чтоб сохранились, не выдал бы.

Ещё в поле кто-то следил за нами, как мы с мешками колтыхались. Это я потом понял.

Сначала Миня перестал со мной знаться, потом вся его родня. Опосля — внуки, хотя уже и не знают, поди, про наши дела...

Я как баран клеймённый оказался.

Они на меня обижаются, а я на них нет.

Хотя и мог бы.

Прапорщик Старостин

Как развалили Советский Союз, служба стала невыносимой. Я тогда в Намангане служил во внутренних войсках. Пошло массовое дезертирство. Ребята из республик говорят:

— Мы присягу России не принимали. Кому служить?

Прямо в «парадке» уезжали по домам.

Докладываю командиру, что у меня уже пятнадцать парадных солдатских форм — некомплект. Он только руками разводит:

— Что я могу сделать? За ребятами родители приезжают. Просят, настаивают, чтоб в парадной. Как-нибудь выкрутимся. Ты вот следи, чтоб автоматы в сохранности были. Форму спишем, во всяком случае возмещать придётся. Но если пропадёт хоть один автомат, лет пять получишь.

Кончилось тем, что написал я рапорт. Психанул. Заклинило. И назад ни шагу!

Куда податься? Поехал туда, откуда призывали. Под Самару. Из родных — только младший брат.

Долго рассказывать, как прилеплялся к новой жизни. Не легко. Ладно б был один, а то жена. Двое пацанов, дочка. Ещё школьники. Кое-как расселились у брата. А тут повезло с работой, устроился сторожем в бывший совхоз, где занимаются овощами.

Лето. Ящики с помидорами, огурцами под открытым небом, в поле. В первую же неделю — ситуация. Смеркалось уже. И вдруг заурчал уазик. Подъехал к моей будке. Выходят из него трое офицеров. Два старших лейтенанта и капитан. Лётчики! Я сразу-то и не понял, с какой целью этот десант высадился. Форма на них сидит отменно. Молодые все! Загляденье! А лица пасмурные, скучные... Мнутя. Ничего не говорят. Смотрят то на меня, то на ящики с овощами.

— Здравствуйте, отец! — подал голос капитан. Рослый такой симпатяга, глаза голубые, добрые.

— Здорово живёте! — отвечаю. И опять молчим.

В общем, оказалось, что они который месяц без зарплаты.

— Понимаешь, стыдно, отец, ехать домой ни с чем. Дома голодные все. У всех у нас семьи, — мямлит капитан.

Милостыню просят офицеры, а не умеют...

И так мне неловко стало, будто это мои все помидоры и огурцы. Я будто куркуль какой! А они — нищета.

— Да, свой я, — говорю. — Всё понятно, как дважды два. Я полгода только как демобилизовался. Прапорщик. Насмотрелся. А здесь неделю всего работаю.

Лица у всех посветлели. И мне легче.

— Берите, — говорю, — раз такое дело, по ящичку огурцов и помидоров на каждого. Чего там!..

Опечили они:

— Не поместятся у нас.

— Поместятся, — говорю, — своя ноша не тянет.

Погрузили, что смогли. Чёрненький старлей опомнился:

— А как же вы?

— А что я? — спрашиваю.

— Ну, начальство накажет! Из-за нас работу можете потерять. Давайте мы вас свяжем. Силой как бы провизию взяли, спросу с вас меньше будет!

— Да ладно! Выкручусь, — говорю. — Связывать ещё. Вы офицеры. Держите марку. А то похоже будет и вправду на грабёж. Вам это надо?

Уехали они. Я нашёл пустые ящики. Кое-откуда переложил, вроде как не придерёшься.

Сошло с рук.

Когда уезжали они, грустно мне стало. Смотрел на них и завидовал. Вот хоть и бедствуют, а летают! Несмотря ни на что! Верят, что поправятся дела. Как без армии?.. Характеры! И молодость! А я? Сковырнулся. Мне уж не под силу такое...

...Они потом ещё два раза приезжали. Последний раз с бутылкой. Добрый народ, свой. Называли наши проделки «операцией «Ы».

Поболее полугода прошло.

Поехал я по кой-каким делам в областной центр. Вот, в середине апреля. Иду по Матросова между старых деревянных домов. Смотрю, во дворе в закутке фирмочка «Шиномонтаж». Копошится народ возле тачек. Горячий сезон — меняют зимние шины на летние. Один-то в синем чумазом комбинезоне показался знакомым.

Подошёл.

Ё-моё! Капитан тот самый, симпатяга.

Окликнул я его:

— Женя, неужто ты?!

Я так его раньше не называл. А тут... по-отцовски... От волнения, что ли?

— Владимир Иванович, дорогой!

И обниматься ко мне.

...То да сё... Разговариваем стоим. Рады друг дружке. Как однополчане.

— А небо? — задаю самый главный вопрос. И боюсь ответа.

— Служу, но полётов-то нет совсем, — отвечает. — Горючки нема. Договорился вот с начальством — по вечерам подрабатываю. У меня ж, знаешь, двое пацанов растут.

— Ну, а как старлей Николай? Павел как? — решаюсь спросить, увильнув от выпавшего из рук капитана колеса. — Весёлые ребята!

— Николай? — на посеревшем лице бывшие когда-то голубые глаза отдавали теперь холодной сталью. — Горячая голова Николай, застрелился зимой.

— Как так?

— Просто. Не выдержал.

— А Павел? Он-то?

— С Павлом своя история. Стал пить и дебоширить. С кулаками на командира попёр... Тот, правда, стоил того... Списали от греха подальше Павла. Уехал он к другу в Находку. Пока без семьи. Обещал написать, как приедет. Ни одного письма не было. Я боюсь: доехал ли? Жив ли? Дорога такая длинная. А он не в небе, среди людей! Выдержал ли? Не расшибся бы. В небе проще.

Замолчал.

Поглядел на меня тускло:

— Ты, Владимир Иванович, если что, тачку надо твою посмотреть либо колёса отбалансировать, поменять — пригоняй! Всё без задержки сделаю... в любое время.

— Что балансировать-то? У меня во дворе из механизмов только лопата пока да вилы! Вот у коровы разве дойки отбалансировать? — так отвечаю. — Корову с братом купили в лето. Да тёлочку ещё. Попробуем молоко с творогом на продажу пустить. Кругом же заливные луга! Пойдёт дело — расширяться будем. Такие мои выражи. Пожиже ваших.

...Написал я ему на пачке сигарет свой телефон, на всякий случай.

И как-то быстренько попрощались мы. Даже неловко мне. Потом-то понял, отчего я торопился. Беспомощными нас видеть не мог.

Всех!..

Когда вышел со двора и пошёл вдоль домов, такой гнев нашёл. Сжатые пальцы в кулаках заболели... А позже такое опустошение внутри себя почувствовал. Плохо стало. Чего только не повидал, а тут втихую... в бараний рог нас...

...Горячая волна по рукам и ногам пошла. Она и лишила меня последних сил.

Сел на какую-ту дряхлую скамейку и... не поверишь ли, заплакал... Это я-то? Впервые за последние лет сорок заплакал.

Бомж

Я терпеть не могла бомжей этих. Бры!.. Запах один...

А тут стала бегать к массажистке Верочке. Пока она мою, непонятно по какой причине увеличивающуюся печень поглаживает, разговоры разговариваем.

Толкует мне:

— Нельзя такой резкой быть! «Не терплю, смотреть не могу». Не годится так. Всё, что вокруг нас, всё смысл имеет. Всё имеет право быть...

— Как это? — говорю.

— А так.

И рассказывает мне притчу не притчу, сказочку красивую такую. Она массаж делает по китайским да индийским методикам. Аюрведическим этим. Была и в Китае, и в Индии. Наслушалась там...

Ну вот, по её словам, вроде бы идут двое: учитель и совсем молодой ученик. Учитель весь в белом...

Дело было где-то на Востоке. В Индии или где-то ещё... я не очень вникала в её говорильню. Раз твоё дело, думаю, руками работать — ну так и работай, языком-то чё?

— Ну, идут они, — рассказывает Вера, — а тут бомж в болоте валяется. Грязный, взлохмаченный. Молодой-то сторонкой обходит болото, запачкаться боится. А учитель, который весь в белом, подходит к бомжу, а тот уже еле живой, едва дышит. Мог и захлебнуться.

Берёт учитель его на руки и, весь заляпанный грязью, выносит на сухое место.

— Учитель! — восклицает ученик. — Вы весь в грязи! Разве стоит этот опустившийся человек, чтобы вы так поступали.

— Стоит, — отвечает учитель. — Ибо он, этот несчастный человек, показывает нам: до чего может прийти каждый из нас, если на всё махнуть рукой. Раз это есть — это знак! Не каждому он виден...

Ну, рассказала и рассказала она, Вера, эту историю...

«Руками-то работает, а язык свободен, — думаю. — Пусть забавляется».

...А тут иду дня через три по Садовой. Не иду — бегу! К начальнику с отчётом. Опозываю. Через газон зелёный та-

кой напрямком дёрнулась к автобусу. Заскочила. Уж двери закрываются — а тут бомж! Лицо: как жёлтая усохшая тыква, фуфайка не то в мазуте, не то не знай в чём... Пахнет. Я когда бежала, видела его: шёл вдоль газона. Руками, как большими непослушными рачьими клешнями, двери он затормозил с улицы, бормочет:

— Это, пыняешь, смотри что?! — и показывает на мои ноги. А автобус уже дёрнулся.

Смотрю и глазам не верю. Вся моя левая нога ниже колена обмотана толстенной леской. Ну, вот какими рыбачат мужики. Только уж больно толстая она. И уходит эта леска туда, к газону. Концом-то другим она привязана к низенькой чугунной ограде, через которую я махнула, торопясь к автобусу.

Автобус тормознули, я вышла, стала выпутываться из лески. Представляешь, если б автобус тронулся? Ногу б либо оторвало, либо перерезало. Я же была в автобусе.

То ли ребятишки что мудрили с леской, то ли кто собачку привязывал так. А я, видать, наступила в спутанный этот клубок сама...

Стою одна. И всё не приду в себя, как сообразила, что могло бы быть, если б не этот бомж... Туда-сюда, а его и след простыл...

Посмотри на меня! Я ведь не дура какая! А как это всё понять? Всё одно к одному. И кто меня так пожалел? Рази только бомж один?

Придумал

В армии я начал курить.

Вернулся на гражданку, маме одно огорчение. Так она хотела, чтобы я бросил это дело.

Я и сам был не против. Но как?

Прошло какое-то время. И я придумал!

Дал друзьям своим слово, что бросаю. И если не сдержу, прыгну со второго этажа. На спор! Придумал такое. Зная, что на глазах друзей отступить не решусь. И повеселел.

...Не выдержал, закурил. Пришлось прыгать. Сломал ногу.

Выздоровел, вновь пробовал бросить курить. Даже во сне боролся с собой.

Сплю и вижу сон: курю вовсю...

Курю, а сам думаю: надо проснуться быстрее, я же не должен курить!

Проснусь, а во рту тяжёлый запах от курева... Было такое. ...Снова дал слово: брошу, а если нарушу обещание, прыгну уже с третьего этажа.

Так и заявил друзьям своим. Сжѐг мосты за спиной.

И бросил! Уже полгода не курю. Третий этаж всё-таки.

Струсил, а не переживаю.

Страховой случай

Поехал я к приятелю в деревню в гости на новенькой своей «Ладе-Калине». И попал в историю.

Выехал с его двора задом и дал резковато влево, а там поодаль торчал остаток от давних футбольных ворот — труба металлическая, чуть не метр высотой.

Когда подъезжал к дому, я её не видел, а тут на выезде нащёл...

Обновил свою покупку: аккуратно так к бамперу приложился. Вмятина получилась ровная. Сделай вторую похожую на другой стороне — можно подумать: дизайн такой...

Расстроился, конечно. Но — сам виноват. Куда и кому пожалуешься?

Приехав домой, на следующий день позвонил страховому агенту. Надо с чего-то начинать.

— Марина (я и имя её помнил ещё, страховал-то две недели назад), Марина, я машину стукнул. Признаюсь: сам виноват. Никого рядом не было.

И далее про бампер и прочее рассказываю ей.

— ГАИ вызывали? — спрашивает.

— Ну, какое ГАИ, — отвечаю, — за сорок километров от райцентра. Да и поздно уже было, десять вечера, а мне до города пилить ещё поболее 100 километров.

— Ну, ничего. Это дело знакомое, — заверяет, — страховой случай. Но нужна справка ГАИ о дорожно-транспортном происшествии.

— Поскольку я сам виноват, — говорю, — сколько фирма компенсирует — и ладно. Может, без ГАИ?

— Нет, так не пойдёт. Это большие мне заморочки. Нужна справка. Сделаем, как надо.

— А как надо?

— Просто. Поставьте свою «Ладу» где-нибудь на улице или во дворе. И вызывайте представителей страховой фирмы и ГАИ. Я их телефоны вам писала, когда договор оформляла. Скажете, что кто-то стукнул, когда вы куда-то уходили... И все дела!

— Марина, ну это ж подлог?

— Какой подлог? Обычная практика. Не вы первый! Договорились? А иначе езжайте в свою деревню эту. С утра ставьте машину, где стукнули её и вызывайте ГАИ. Привозите бумагу.

— Марина, это такая морока!..

— Ну вот, опять двадцать пять! Вы деньги получить хотите? Я не знал, что отвечать. Она отключила сотовый.

На другой день я снова ей позвонил:

— Марина, я так не могу, я...

— Михал Михалыч, ну вы прям чистюля какой-то. С вами пирога не испечёшь... Вот геморрой тоже. Не могу...

Разговор вновь закончился ничем.

У меня в ушах звенел её голос: «...С вами пирога не испечёшь».

...Я решил поставить машину около «Главпродукта», знаешь, за зданием цирка. На ровненькой такой площадочке. Всё чинчинарём. Бей не хочу! И простор — хоть с разгона тарань...

Машины поставил, а звонить в страховую фирму и ГАИ не тороплюсь.

Пошёл за чем-то в магазин. Постоял в колбасном отделе. Зашёл тут же в чебуречную. Съел чебурек с рыбой. Что ещё делать? С мясом, что ли, съесть?

Хватит, думаю, тянуть резину. Решаться надо! Собрался с духом и позвонил.

Первыми, через полчаса примерно, приехали двое парней из страхового агентства. Деловые такие. Сосредоточенные. Всё, что надо им, потрогали, посмотрели не раз. Сфотографировали. И стали что-то писать, сидя в машине.

И тут подъехала машина ГАИ.

Шустро так из неё выскочил молоденький лейтенантик и сходу крепко ударил ногой по бамперу в том самом месте, где была эта, будь она неладной, вмятина.

— Кто научил? — спросил резко меня лейтенант.

Я даже сначала не понял вопроса.

Из машины вышел его напарник, капитан. Встал рядом. Лейтенант повторил свой вопрос:

— Кто научил?

— Меня ударили. Вот тут, — мямлил я, — когда...

— Когда? — напирал лейтенант.

— Да вот, пока ходил в колбасный отдел, — продолжал я.

— Если б его ударили здесь, то на асфальте под машиной были бы отлетевшие сухие комки грязи. Их нет! Их нет и внутри на бампере, а то бы они отвалились от удара моей ноги! Мудрецы!

Лейтенант всё это говорил капитану, не обращая на меня никакого внимания. Меня будто и не было. Я ничего не значил для него.

Капитан флегматично молчал.

— Поехали, — махнул рукой лейтенант. — Нам тут нечего делать.

И гаишники уехали.

Глядя им вслед, я даже позавидовал лейтенанту: какой молодец, знает своё дело!

— Вот тут надо ознакомиться и расписаться, — подали голос ребята из агентства, сидящие в машине.

Я сел к ним в машину.

— Понимаете, я вовсе... когда...

— Нас это не касается. Наше дело другое...

Я, не глядя, подписал листочки.

— А дальше что? — спросил их.

— Дальше со своим агентом по страховке работайте.

Я вышел из машины. Они уехали.

— И чем всё это закончилось? — спросил я Михаила.

— Чем закончилось? — нервно хохотнул он. — Кто его знает?.. Ещё не закончилось... Сегодня позвонил Марине.

— Приезжайте завтра, я уже в курсе, — отвечает металлическим голосом. — С вами, действительно, каши не сварить. Простое дело, а вы...

Что мне ей отвечать?

У неё то пироги, то каша какая-то...

Нарвался на стряпуху.

Солдат

Помню давний разговор из детства.

Был День Победы. После митинга на сельской площади около школы народ стал расходиться по домам. Зот Иванович зашёл к нам, узнав от своей дочки Веры — моей одноклассницы, что у меня есть книга Сергея Смирнова «Брестская крепость». Я книгу ему дал.

— Не задержу долго, — говорил Дзот Иванович, так его называли у нас в селе, — я быстро читаю. Интересно! Я бывал в тех краях. Довелось.

Он сидел в нашей горнице. Огромный и внушительный. От его наград на широченной груди было празднично и торжественно. Частица великой Победы перенеслась в нашу избу. У моего отца боевых наград не было.

— Скажи, Зот, как так могло получиться? Только без обиды. Ты же с первого дня войны должен бы переметнуться к немцам? — спросил мой отец.

— Почему так? — спокойно спросил Зот.

— Ну, как! Отбыл срок как кулак в Сибири, не знай за что. Только вернулся и — на фронт. Со всеми.

— И что же?

— Что же? Два ордена Славы, медалей сколько. За что получил? За что воевал?

— Как за что? За нас с вами воевал. Куда я должен был переметнуться? Куда бежать? Здесь мои дети. За огородом под крестами дед лежит, мать. А там что? Куда ты мне указываешь?..

— Ну как что? — не сразу нашёлся мой отец.

— Там для меня пустота, — чеканно ответил наш гость.

У Зота не было законченного среднего образования. И не был он ни на фронте, ни после политработником, куда ему?..

Был он русским человеком, вынужденно ставшим в суровое время солдатом. И по-крестьянски исполнившим с тихим мужеством свой долг. Как необходимую работу.

Так я сейчас мыслю. А тогда: эта ссылка его в Сибирь и фронтовые боевые награды?.. Они долго не давали мне успокоиться.

Не сходились концы с концами...

Случай с механиком Кудашовым

Семидесятые годы.

Перестройки и не видать ещё, а тоже чудес хватало.

Я тогда механиком в колхозе работал. Маялись мы от нехватки запчастей. Второй день, как собачонка, бегаю в областном центре. Толку никакого. Ноль — результат! Ни ремней, ни подшипников.

И вот иду по Молодогвардейской, понурый. Поднимаю голову — как наваждение какое: идёт навстречу старший лейтенант автомобильных войск. А я служил в таких. Знаю, как их снабжают. Сам не знаю, как так получилось, руку к виску:

— Разрешите обратиться, товарищ командир?

Смотрит он на меня насмешливо.

— Слушаю, — говорит.

— Извините, — говорю, — вы откуда родом? Из села или как?

— Зачем вам знать?

— Надо! — говорю. А сам чувствую, как чудно я выгляжу с вопросами своими. Но меня несёт, подталкивает безнадёга...

— Надо категорически! — повторяю.

— Ну, раз надо! Сельский, — говорит, — я. Кулешовский. Мать дояркой была, отец — трактористом.

Я аж подпрыгнул на асфальте от таких обстоятельств.

— Вопросы ещё есть? — спрашивает.

— Один, — говорю, — остался. Но самый главный. И вы должны меня понять!

Ну и выложил я ему свои заботы.

Он стоит, молчит. Смотрит внимательно.

— Вы должны понять! Загубим урожай! Нечем убирать. Рапорта требуют, а нечем убирать, — почти кричу уже. Одно и то же.

Прохожие оборачиваются на мой крик.

— Что народ пугаешь? — говорит лейтенант. — Пойдём со мной. Время есть?

— Да рази тут вопрос в этом? Мне нельзя домой без запчастей возвращаться!

— Понял, — говорит служивый. — У меня отец такой был.

Прибыли мы в часть. У меня голова кругом. Оказался он начальником склада автозапчастей. Иду меж стеллажей, глаза того гляди из орбит вылетят. Такого я не ожидал.

Начал я бегать туда-сюда: это есть, это есть!.. И это есть!.. Рехнуться можно!

— Ты вот что, — говорит Юрий Иванович, так звать лейтенанта, — успокойся. Побереги себя! Говори, что тебе надо. Конкретно, по пунктам.

Я достаю свою портянку с перечнем. Чудеса! Всё, что надо, есть!

У меня с собой чековая книжка была. Отобрали, отложили.

Озираюсь. Не верится, что всё целое будет, дожждётся меня...

Успокоился только на второй день, когда забрал всё и помчал в своё Виловатое.

Вспоминал вслух сказки...

Мой дед Михаил так рассказывал про войну:

— Вошли в деревню, а её только что немцы разбомбили. Ни единого дома целого не осталось. Всё сторело. Обошли — ни одной живой души.

...А тут на отшибе, ближе к овражку, банька стоит, целёхонькая. Саня заскочил в неё и кричит из предбанника:

— Ребя, вода ещё теплая в бочке. И кусок мыла!

Мы оживились. Надо же! И колодец близёхонько. Воду разбавить... подогреть можно... Решили мы тормознуться. «Догоним своих, — думали, — делов-то на полчаса».

Об этом мало как-то теперь говорят, но на передовой вошь после германца — враг номер один была. Иные расчёсывали себя до крови.

Набрали мы деревяшек, подтопили баньку.

Дым столбом из трубы. Как пароход наша банька!

Разделись, вчетвером толпимся голяком. Кто в баньке, кто в предбанничке.

А тут гул над головами.

Саня уже с полатей крикнул мне:

— Вась, глянь, наши, что ли? Уже пошли на подмогу?

Выскочил я наружу в чём мать родила. А он, зверина, прямо на нас напрямик прёт. Фашист! Заорал я, ещё не поняв до конца, что может случиться:

— Немцы!

Не знаю, услышали мой крик в баньке, не ли? Неведомо мне. Взрывной волной отбросило меня к колодцу, ударило головой о срубовину. Сколько пролежал без сознания, трудно сказать.

Очнулся. От баньки и от ребят одни куски вокруг бесформенные. Как я с ума не сошёл — не знаю.

Что мог, собрал. Прикопал в воронке... А сам мычу, речь пропала...

Метнулся догонять своих в чём мать родила.

Зелень ел разную. Нарвал лопухов и вязовой корой навязал их к поясу. Прикрылся так, но это потом.

Несколько раз терял сознание. Ударился-то я крепко головой.

Почему-то боялся, что потеряю сознание надолго и не смогу говорить вообще. Тогда уж конец. А так верил, что доберусь до своих. Говорил вслух, чтоб удержать память и речь. Когда детские стишки, которые знал, все рассказал, стал вспоминать вслух сказки...

...Не пропал всё-таки. На третьи сутки подобрала.

Допросили. Поверили. И роту потом я свою отыскал.

Долги наши

Как же ты живёшь на одну пенсию? Говоришь: болячки-то не дают уже работать.

— Как-как? А как издавна повелось. По присказке, чай, слышал...

— Какой присказке?

— Какой? Такой! «Живу: долги возвращаю, сам живу. Да в долг ещё даю».

— Как это?

— А так вот. Родителям помогаю — это возврат долгов, себе оставляю, да детям, которые без работы остались. Даю. Авось когда вернут.

— Какая ж у тебя пенсия?

— А какая б ни была! По-другому как? Конешна, на своих сотках, как могу, корячусь. Может, ты придумал что-то новое?

Партизанка

Старая уже совсем. Лицо морщинистое, фигурка щупленькая. В чём душа держится, а голос не постарел. Или, вернее сказать, далеко отстал от общего дряхления его хозяйки.

Сидит на приёме к врачу, а не похоже. Будто зашла к подружкам, соскучилась...

Только хихиканье в очереди притихло, она заговорила вновь. И так легко, доверительно:

— Вот, говорят, при Советской власти у нас секса не было. Неправда всё это. Иначе б вымерли давно все...

Был секс! Но какой?!

Все строили коммунизм. Когда? Всеобщий напряг! Кино, радио, газеты не отвлекали от главного, от этого всеобщего строительства. Наоборот, совсем наоборот. Везде призыв — только вперёд!

А мы совестливые! Неудобно было, чтоб, когда все строят! Притом круглые сутки! По вахтам, по сменам... Как же в рабочее-то время? Это сейчас, когда ничего не строим, можно... Но... Всё позволено... И... неинтересно...

В Германии легализовали проституцию... В Норвегии?! Скукота! Прелесть пропала, игры нет... больше бизнеса... Никуда не годится!.. А мы партизанили молча, втихую... В этом, знаете ли, было даже что-то такое-эдакое... — она неопределённо повтерела растопыренными пальчиками перед своим лицом.

Слушающие её очерредники на приём к врачу каждый по своему реагирует на такие слова: кто со снисходительной улыбкой, кто с удивлением, кто как...

Её не устраивает такой разнобой!

Она, кажется, искренне удивляется непониманию очевидного:

— Никакая я не чумовая, со всеми вместе была, но... И никакого у меня в голове нет ералаша. В здравом уме я... Скажете, не так было? И я вот перед вами! Живой свидетель! Партизанили. Неистребимо и повсеместно...

И не поймёшь, придуривается она либо нет? И зачем ей это надо? Сама толком, очевидно, не знает...

Что-то ещё, видно, осталось в ней оттуда, из молодости, такое и не даёт смириться ей до сих пор со старостью, с унылостью...

Этим её желанием прогнать унылость и оправдываю старушку.

...Слушаю «живую свидетельницу» и невольно думаю: посмотреть бы на неё молодую. Интересно, всё-таки какая она тогда была?..

Книгочей

— Вот возьми любое предприятие, любой заводик! Ни то, ни другое не может работать без технического паспорта.

Прежде чем пустить завод в работу, дать ему жизнь, должен быть составлен этот самый паспорт. А в нём указано, для чего создано это предприятие. По какой технологии оно будет работать. Какое опять же сырьё, реагенты потреблять будет. Какие отходы? Вред от него какой? Огромная предпроектная подготовка идёт! Экспертиза.

...И если паспорт не согласован с органами охраны окружающей среды, то предприятие нельзя запускать в работу.

Говоривший эти слова, сухопарый, с аккуратной седой бородкой, нездешнего вида человек, на минуту замолчал. Распорядительная заведующая библиотекой Софья Яковлевна, пользуясь паузой, просительным тоном произнесла:

— Василий Василич! У нас не производственное совещание, мы о литературе собрались поговорить.

— А я о чём? Софья Яковлевна?! Сами же говорили, нужна дискуссия, чтоб не сидели как воды в рот... Раскачать надо! Такая установка? А у меня как раз вопросы есть!

— Но вы ж про заводы опять свои?! Вчера отцу моему толковали про них...

— Это для разгону. Подожди! Не гони! В отца пошла. Тот торопыжка... Я говорю специально так, чтоб нагляднее было.

Теперь вопрос, раз подгоняешь: а у нас дела как обстоят? У человек? Говори! Молчишь! Плохо дела обстоят! Никакого порядка. Самотёк! Бюрократизм чистой воды. Как рождаются заводы, теперь немножко знаем. А вот родился человек?! Ему в свидетельство о рождении дату появления на свет — хлоп! Имя, отчество зафиксировали, и... живи! А для чего ты появился на свет, с какой целью? По каким законам

должен жить? Чего не должен переступить в настоящем? И в последующем? Кто это сказать или записать должен? Некому! Тебе вот, Софьюшка, много ли об этом говорили? Гонишь... Тоже мне...

— Ты больно глубоко это! Иль высоко берёшь, Василий! Воспарил, — не выдержал грузный белоголовый Иващенко. — Пожалей мово бывшего соседа, — он кивнул на меня. — У него и отец дельный мужик был. А вот теперь сын выбился в писатели. Дай ему сказать.

— Дак он должен говорить о том, что вот, к примеру, меня интересует на данном этапе. Направление надо дать.

— Ты с какого-то этапа сбежал что ли? Вроде давно уж у нас?! — попытался пошутить Иващенко.

— Поболее пяти лет как приехал. Но я тридцать лет после техникума на заводе проработал. Считаю, всю жизнь! Технар. Много знал. А как на пенсию вышел, перебрался в деревню — стал размышлять кое о чём: иная жизнь открылась. Через литературу в том числе.

Он неожиданно, взыскующе глянув на меня, спросил:

— У вас есть, товарищ писатель, какие свои мысли на затронутую мной тему? Книжки пишете, а сами определились в этих вопросах?

Я не успел ничего ответить, «на выручку» мне поспешил тот же Иващенко:

— Василий, знаем мы тебя. Хватит форсить перед писателем! Он наш, а ты, между прочим, пришлый!..

— Иван Иваныч, пусть говорит, — повернулся я к Иващенко, — мне интересно. И даже очень!

— Вишь, вот товарищу интересно. И мне тоже!.. Я первый раз живого писателя так вот вижу, разговариваю с ним. Есть резон порасспрашивать.

— Ты не с ним разговариваешь — сам с собой, — пробубнил уже примирительно Иван Иващенко.

Василий его уже не слушал. Его, очевидно, взбудрило моё одобрение. Он продолжал:

— Писателей называли в своё время инженерами человеческих душ! Много ли литература сконструировала стоящих человеческих душ? И что получилось? Изъянов сколько внесла? Придумывают наперегонки жизнь.

Говоривший стрельнул не по возрасту живо глазами на сидящих в зальчике. Все молчали. Это ему понравилось. Он поднял большой палец над головой и торжественно выдал:

— «Соври, но так, чтобы красиво было», — кому это на пользу?! И каждый среди писателей друг перед другом. Кто первой и главней! Кто ведущий, кто уже при жизни классик? Кто в первом ряду, а кто поодаль? От тщеславия здесь много, от гордыни за себя великого... Особенно промеж поэтов...

Энергия заблуждения — с ней так много можно наворочать! Аховое дело! Об этом думают писатели? — он глянул на меня с укоризной, как на малолетку.

Я слушаю, притихнув. Не тороплюсь отвечать говорящему, пока мой ответ не требуется. Этот Василь Василич мне сейчас напоминает одного из героев Шукшина, и не одного, пожалуй... И потом, сам я просил Софью Петровну, чтобы публика была на встрече читающей. Вот и получил.

— Василь Василич, как-то у тебя всё в общем. Нужны конкретные вопросы. Мы их и обсудим, — пытается всё же управлять ситуацией Софья Петровна.

— А у меня все мои мысли из конкретных вопросов и проистекают, — непотопляемо парирует выступающий. — Я вот взрослый давно, а до сих пор, к примеру, не пойму, за что Тургенев заставил Герасима утопить Муму? За какие такие великие проступки? Никто во дворе, и даже барыня, Герасиму этого не приказывали. Верно? Все ж помните про Муму?..

Надо было автору показать тёмную душу народа, его непредсказуемость — вот и придумал классик такое! Как же: антикрепостник! Я родился в деревне и долго в ней жил. Много кой-чего повидал. Но таких как Герасим? Не было таких у нас! Не топили животину, вот так, с досады. Либо с чего ещё...

— Василич, ну дали тебе простор в разговоре. Ты хоть уважаемого всеми писателя Тургенева не трогай. Раздухарился, — это подал вновь голос из своего дальнего угла Иващенко.

— Ладно, не будем о Тургеневе, — согласился выступающий, — он гений! Тогда вот «Матрёнин двор» писателя Солженицына. Классик — не классик? Пока не определили. Но величина!..

И слова-то у него Матрёна вымолвить не может, мычит, как у Тургенева Герасим. Таков народ русский у наших писателей.

Ладно: первый барин. Это я про Тургенева. Приехал из Баден-Бадена, уехал в Баден-Баден... Но Солженицын-то: учитель. Говорят, теперь его в школе изучают?

Вот так и учили нас сотни лет. И поболее... Вдалбливали, что народ наш тёмный, непредсказуем. Не ведаёт, что творит. Учили так с детства. Что этим достичь хотели?

Говоривший, увлечённый, вышел к столу, начал ходить вдоль него. Вид его был суров.

— А кто же тогда наши талантливые народные сказки сочинил? Кто придумал столько поговорок и пословиц? Глухонемые? Даль два тома поговорок насобирали. У него мать была немка, а отец, кажется, датчанин! Каково?! А мы своё не помним!

Говори тебе многократно, что ты свинья, пожалуй, захрюкаешь!.. Обвиняют тебя постоянно в тёмных грехах и во всяком таком прочем, обрезают-то и саданёшь помимо своей воли.

— Ты вот, Димитрий, — обратился он к сидящему в первом ряду человеку в ладной лоснящейся кожанке, — ты читал «Тупейного художника» Лескова Николая Степановича? Почитай! Не всё около телеящика киснуть вечерами. Вот кто антикрепостник! Лесков!

Почему нам в школе про одного говорили, а про другого, который правдивее сказал, ни слова? А? Неправильно это! Не шикайте на меня, знаю, что говорю. Десятый год на пенсии. Погрузился в литературу по уши. Мои университеты!.. И хочу к жизни нормальной воротиться опять, а никак уже. Гляжу на всё глазами оттуда, из литературы...

Молчавшая всё это время тётка Даша тоже сказала своё слово:

— Тебе б надо пенсию не по выработке вредного стажа дать в пятьдесят лет, а сызмальства. Тогда б разгону для твоей головы больше стало. А то от вредности заводской места в ней больно, видать, мало осталось. Много впихнул в себя, всё и перемешалось. Не устоялось. Будоражит тебя.

— Может быть. Всё может быть, — согласился, лишь только б не мешали говорить Василий Васильевич.

Я слушал, оторопел. Я не ожидал услышать такое в сельской библиотеке. Невольно смотрел в зал. Много таких ещё?

...Он было сел уже, но стремительно вновь встал, схватившись рукой за поясницу. Поморщился от боли.

— Я вот забыл было совсем. А подготовил ведь! Послушайте! Вынул из нагрудного кармана рубашки четвертушку бумаги, расправил. И, водрузив на переносицу подрагивающей рукой массивные очки, начал читать:

*От ликующих, празднующих,
Обагривших руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!*

— Вот! — он поднял глаза на присутствующих. Лицо его сделалось молодым. — совсем было я забыл о Некрасове! Задвинули сейчас его куда-то? Забыли!

— Не забыли, Василий, — пробасил старик в телогрейке. — Как же? Помним: «В лесу раздавался топор дровосека...»

— Смеёшься, — гневно отреагировал Василий Васильевич, — а он всех ближе был к народу. Голосом народа, его душой говорил. Немым народ не делал! Злобным — тоже! Совсем даже наоборот!.. В наше время такого бы нам человека! А то пишут каждый о себе. Себя нянчат. И скулят при этом. О народе забыли.

А если даже и вспомнят, то: народ сам по себе, автор сам по себе. В сторонке. Какое уж там сочувствие. Сострадание?.. Где оно?

Писателю надо больше сердце иметь, чтобы вмещало всю боль народную, а так...

Тех, кто вредоносно бумагу марают, надо вызывать на люди, на лобное место, чтоб отвечали за своё слово. Но откуда взяться такому, если каждый из нас мельчает?! Поднапишет, деньжат раздобудет — и в тираж! Самодеятельность какая?!

Он замолчал. Пристально, сняв очки, посмотрел на меня. Неожиданно по-детски улыбнулся, впервые за всё время. Прижав пятерню левой руки к груди, как-то даже театралью, видимо, от избытка чувств, произнёс:

— Я, конечно, ваших книг не читал. Взял из библиотеки, а не успел до нашей встречи.

— И хорошо, что не успел, — взглянув на меня, задорно выкрикнул Иващенко, — а то бы досталось. Раз уж Тургенева не пожалел! Костерил прошлый раз его за Муму. Мол, ни за что утопил...

И тут же получил ответ:

— Раз писатели говорят нам, что литература должна нести правду, то и читатели должны делать то же самое! Верно говорю? — подвижные густые его брови, отяжеляющие некрупное лицо, полезли наверх.

— Верно-то верно, — не хотел сдаваться Иващенко. — Только вот ты обещаешь прийти на подмогу, а не пришёл? Мы два дня восстанавливали завалившийся туалет. Библиотека без туалета? Это как? Говорить-то оно, конечно...

— Ну что ты говоришь? — в сердцах отозвался Василий Васильевич, — я неделю лежал. Радикулит свалил, а ты... Пришёл по просьбе сегодня. Я и сейчас не знаю, поднимусь ли завтра после этого...

Встала Софья Яковлевна и торжественным голосом, поверив, что Василий Васильевич на какое-то время выдохся, отчеканила:

— Дорогой наш Василий Васильевич, спасибо за содержательную лекцию. Это так неожиданно. А теперь, товарищи читатели, давайте представим слово нашему земляку писателю. И продолжим начатый уважаемым Василь Василычем такой серьёзный и необходимый разговор. Так же прямодушно, невзирая на лица!

Я встал и пошёл на «лобное место» — к столу, покрытому старым красным сукном.

Хоромины

Из наших-то никто в начальниках никогда не был. Разве вот я! Третий год начальствую, над коровами. В подчинении десять голов, наших, суходольских. Ничего, справляюсь. Тоже свой подход нужен к каждой. Иная блудница похуже человека...

Мы стоим в тени огромных осин. Жара под тридцать, а около воды да под укрытием отчего не поговорить. Тем более около недели не был на косе, не видел Владимира. И чувствую, рад он встрече нашей:

— Косил я все три последних дня в дальнем конце луговины, старший мой, Василий, вместо меня ходил за стадом.

Чтоб поддержать разговор, намеренно сомневаюсь:

— Так уж никто в начальниках и не был? Ни в одном поколении?

Посмотрел внимательно, будто соображал: всерьёз ли спрашиваю? Глаза на загоревшем до черноты лице зоркие, смотрят, не мигая, в упор:

— Соврал малость. Дед мой Влас Хоромин был начальником. Один день.

— Как это?

— Просто. Отец рассказывал.

Назначили деда моего, Власа, значит, завхозом в колхозе. Ну или избрали, а потом утвердили на правлении. Не знаю, как там у них в ту пору было. Начальником стал Влас Хоромин.

И вот идёт он в свой переулок, а навстречу ему одногодок его, с которым вместе воевали, Парфён. Хромает вдоль плетня.

— Ты чего, Парфён, у нас тут?

— Да, — отвечает, — ищу чего-нибудь. Вот повезло, в нашем конце ничего нет. А тут...

Глядит дед на дружка своего, а у него в руках пучёк лебеды.

У нас в то время говорили так: голод — это когда вообще нечего есть, а если можно лебеду раздобыть — это недоедание.

— Галю мою, помнишь, которая с твоим Петрухой в один день родилась, помнишь? Мы всё радовались: жених и невеста! — говорит Парфён.

— Как же не помню? Скажет тоже...

— Пухнет она от голоду, совсем ослабела, — молвит так Парфён, а сам за плетень держится. На ногах еле стоит, обессилел совсем.

Встрепенулся дед мой Влас:

— Туды-растуды! Давай я тебе четыре фунта пшена выпишу!

— Это как же? — вяло удивился Парфён.

— А так, у нас в колхозе припасено пшено, чтоб кормить мужиков, которые на уборке урожая будут работать. На стане кашеварить.

— А можно так? Пшено-то на дело? И как это ты выпишешь?

— Со вчерашнего дня я завхозом стал. Имею право выписывать.

— За так просто? — засомневался Парфён.

— Не за так! Трудодни ставят за работу, а потом в конце выдают на них что уродится. А тут наоборот: выдам, а потом отработаешь. Трудодень наоборот.

— А если я помру, к примеру? — спросил Парфён. — Вон Авдей. Тощий стал, иные пухнут, а он как доска. Как сидел на лавке, так и помер. Сидит, к плетню прислонившись, а не живой. Я уж такой почти, как Авдей.

— Молчи, тебе что наш председатель не раз говорил? Много лишних вопросов задаёшь. Понял? Помрёшь — другой разговор. Давай возврататься в контору.

...Выписал Влас сколько сказал пшена, и пошёл Парфён вдоль всего длинного порядка к себе домой. Пока шёл, просто-душно всем рассказывал что да как с пшеном-то.

И повалил народишко в контору к моему деду Власу. А председатель-то где-то был на стороне в это время. Выдавал Влас пшено не просто так, а по своему порядку. Под расписку, чтоб потом, когда надо, каждый отработал своё. И заструился из труб над домами дымок, оживились они.

...Сняли колхозного завхоза с такой серьёзной должности на другой же день. Не подошёл характером.

Все до сих пор такие Хоромины — слабохарактерные. Живут только своим делом, своими руками. Перестройка их не покалечила. Домишки у всех не ахти какие, не под железом и цвета шоколада, но крепенькие. Не в шоколаде живём, как некоторые особо шустрые...

...Доставшаяся дедова фамилия мне как добрая грамота. Помнит народ до сих пор про то пшено. Помнят деда. И меня заодно почитают.

Не все, конечно... Есть которые ухмыляются при встрече.

Грех

Мама моя молилась каждый день. И утром, и вечером. А я комсомолец! Сколько же, думаю, надо нагрешить, чтобы так молиться?

А когда маму мы схоронили, Захар Ребров остался после поминок во дворе, не уходит. Недолюбливал я его. Молчаливый такой. Всё что-то думает про своё, не со всеми...

Подсел ко мне. Сказал, не поднимая головы:

— Мать у тебя, Володя, святая была!

Я молчу, не знаю, в какую сторону разговор идёт. А он:

— В сорок седьмом увели мы с Фёдором Зуевым корову из «Заготскота». Контора такая за селом была.

Знали, что если попадёмся, двадцатник на двоих дадут точно. А что делать? У него трое ребятишек, у нас с Тоней — двое. Есть нечего. У меня руки вот нет. У него — одна нога. Вместо другой — деревяшка. Зато у каждого по ордену и медали там...

Животину надо расхетать. А где? И надо ведь, чтоб без чужого глаза! Решили всё это дело свершить у вас в подвале. Он большой. И дверь в него какая надо. У вас там кизяк хранился.

Пришли к Анне поздним вечером. Изложили задачу. Анна нам:

— Нет! И всё тут! Мужа посадили за два кармана пшеницы. Год уж как писем нет. А тут: корова!

Фёдор убеждает:

— Да пойми ты! У тебя Володька уже дистрофик, сама харкаешь кровью. Загнётеесь за зиму. Откуда помощь ждать? Мы тебя отблагодарим.

— И меня вместе с вами посадят, — отвечает, — как соучастницу. Лучше будет? Нашлись помощники! Век чужого не брала. Муж вот один раз попробовал...

— Ты пожалей и нас, — говорю ей. — Лучшего места, чем ваш подвал нет. А так? Попадёмся мы...

— У своих же украли, корова-то колхозная, — не сдаётся Анна, — грех-то какой!

— Нет, — говорит Фёдор, — гурт откель-то издалёка гонят.

Пожалела Анна нас.

...Управились мы с коровой в подвале под самое утро. Отходы и шкуру от беды подальше закопали в подвале. Выровняли пол. Выложили кизяк рядами, как было. Сошло.

Как-никак перезимовали мы. И ты вместе с нами. А так ещё неизвестно, был бы ты жив?..

С той зимы сильно набожной стала Анна. Виноватой больно себя чувствовала. И то, что отец твой не вернулся, считала карой за свой грех. Обходила меня при встрече стороной.

О себе не буду говорить, со мной всё ясно. Одно, может, оправдание моей жизни — сын Алёшка. Стал он главным инженером авиационного завода. Откуда у него что взялось?.. У нас-то с Марьей три класса на двоих, а тут... аэропланы!..

Бричка

Свекровь моя, царство ей небесное! Уж какая она голубка была, как она наших деток выхаживала!..

А то же вот... возраст наступил... за девяносто перевалило — сама как дитё малое стала. Втемяшилось в её голову, что надо вернуться ей домой, в деревню под Воронежем...

«Это что же? Я на могилке мамы и папы более десяти лет не была? Уехали мы, и всё как будто! Так и надо? А они там одни. Родни в живых никого».

...Каждый день сбивается на один и тот же разговор.

— У нас тут, слава богу, все одеты и обуты. Сыты. А они там заброшены...

...А тут мы пошли всей семьёй на кладбище, на родительские. У мово Володи все в одном краю лежат, под сиренью. Она у неухоженных могилочек остановится и в который уже раз:

— Наверно, детки их померли. Если б живыми были, рази б допустили такое? И крест скособочился, и лебеда эта...

Стоит и плачет, за всех одна. Зовём её — она не торопится. А рази слёз на всех хватит?

Сама не своя стала она после того похода. Задумчивая. И каждый день глаза на мокром месте. Всё продолжала сокрушаться:

— Как жеть так? Жили-жили родители. Жизнь свою положили на деток своих, а им некогда на могилки заглянуть? Ну, ладно, померли дети. Если эдак? Никого нет. Но это ж не всегда так? Кряду, одна к другой заброшены...

— Мама! Да не суди ты других! — говорю.

А она:

— И я вот? Живая! А что же родители мои лежат без заботы? Приутихла вроде бы со своими причитаниями на несколько дней. Мы вздохнули свободнее. А тут — на тебе! Собрала огромный куль своего добра. И объявила нам:

— Всё! Уезжаю я в родные места. Одна. Вас не дождёшься.

— Мам, — говорю, — ну как же ты? До Воронежа дорога — не на зады сходить! Одна-то?

А она мне своё, не придумаешь такое:

— За мной бричка приедет! Знаешь, как красиво нас с подружкой моей сердечной Дашей, бывальгча, мой отец на бричке

катал! Когда нам годков по десять было! С ветерком! По полевой дороге! Вокруг пшеничка золотая, а мы летим! Папа-ня молодой! И весёлый! И мы рядом хохотушки, обе-две! Как вспомню, и сейчас сердце заходится! Только вот не пропустить, когда бричка подъедет. Подмогните мне.

Мы с мужем переглядываемся только. Что тут поделаешь? Разные бывают болезни. Её выпала на старости лет такая.

Стала она по ночам колготиться:

— Володя, зашумело за окнами. Посмотри, бричка, видно, подъехала. За мной это!..

И смех, и грех! В третьем часу ночи... Бричка!..

И днём-то опять о том же. Рассказывает:

— Когда уже мне восемнадцать было, с Дашиным братом Серёжей далеко-далеко в поле уезжали на бричке, к Горюшину пруду. Дух захватывало! А потом война вдруг...

Я ждала его, а Серёжа, как забрали, так и не вернулся. Мы с его мамой, Верой Михайловной, часто вместе об нём плакали. Любила она меня. Вот так всё на головке моей волосы пригласивала, да...

Показывает, как приглаживала, а у самой рука не слушается, другой подмогает.

...Сидим за столом, обедаем. Она вдруг заспешит со своим кулем на крыльцо. Всё боялась, что бричка проскочит мимо.

Бывали дни, когда голова у неё становилась ясной. Но всё реже.

...Померещится тут. Духотища. Днём за тридцать градусов. Молодые-то как чумовые делаются.

— Володя, — говорю мужу, — ты бы перила какие-никакие приделал на крыльце, а то как бы чего не вышло. Вчера я её еле поймала, чуть не упала вместе с ней, высокогато ведь...

А он, муж-то, всё собирался только.

Прособирался.

Как накаркала я.

Упала мама с крыльца вместе со своим кулем, когда снова бричка ей померещилась.

Я-то полола на задах. Володя в своей мастерской возился.

Сломала она шейку бедра.

И умерла на десятый день.

Сердечко-то никудышное. А болело за всех.

Там, где капустные грядки...

С Карлом меня познакомила моя подруга Людмила в первый день моего приезда к ним. Она немка по корням, с Казахстана. Живёт теперь в Германии с мужем и свекровью лет уже пять.

Я всего-то прожила у них месяц, когда Карл предложил перебраться к нему. Пока так, а потом всё оформить официально. Я согласилась. А он устроил мне экзамен. Занудой оказался:

— Хлеба много не ешь, колбасы много не ешь! Воды много не расходуй.

Вода дорогая, по счётчику! Всё у него обосновано. Я, говорит, в партии «зелёных». Надо бороться за экономию мировых ресурсов. Это у вас в России пресной воды в одном Байкале на пятьдесят лет всему населению земного шара хватит. У нас по-другому. Неразумно просто так лить воду. Такой бережливый. Позеленеешь с ним.

А наши-то! Людка со своими проявляют русскую смекалку, без загибонов на зелёных. Когда жила у неё, захожу в ванную комнату, смотрю, ванна заполнена водой. Два ведра полные стоят. Из крана вода по капле булькает. Я прикрыла: на мозги действует, а она мне:

— Ты что? Это я воду так набираю: когда по капле, счётчик не успевает замерять. Наберу, потом расходую. На стирку, на унитаз...

До такого мой Карл не додумался, слабак! Но экономист тот ещё! Прямо Карл Маркс. Блокаду держит крепко: кругом вода, а я на лыжах.

Говорит:

— Помидоры не ешь, они вредны для печени.

Мне так говорит, а сам ест!..

Толкует мне:

— За тебя боюсь, ты у меня должна быть здоровой!

— Да не болит у меня печень, — говорю, — здоровая я!

— Но тебе рожать моих детей, — отвечает, — ты у меня с гарантией должна быть. Лучше перестраховаться! Как у русских: «Бережёного Бог бережёт».

Ничего себе, думаю, моя печень — одно, его — другое. Сама по себе?! Нудит и нудит.

...А тут говорит: «Вы, русские, не знаете меры. Вам ещё 500 лет до Европы шагать!» Ах, ты, думаю, европеец образованный! Сидишь в своём магазинчике, одну арифметику и изучил. Выручку свою пересчитывать. Что в магазине куплю, всё по чекам записывает. Сверяет.

Я Гёте томик купила, стихи. Великий Гёте! А он мне:

— Зачем? У моего брата есть эта книжка. Попросил бы на время для тебя. А так лишний расход! Другой раз предупреждай.

Вроде как и верно говорит. Но самой хочется купить.

А тут мне стало казаться, что дело в ином... придирки эти только внешнее...

У других как-то, кажется, по-другому сложилось. Моя подруга, не Люда, Ирочка, тоже за местного вышла. Нормально, всё ей муж разрешает. Но... правда, чувствуется напряжение. Разные! И надолго это... может, дети таких вот сравниваются меж собой...

...На себя по-другому стала смотреть... Тунеядка ведь! Меня, правда, думаю, не за что кормить. Ничегошеньки не делаю. Так, подмету вокруг магазинчика, а потом сиди целый день пыль с сувениров смахивай. Вся забота.

А я всегда работать хотела, учитель русского языка и литературы. Только не пришлось серьёзно нигде потрудиться. Как Коля военное училище окончил, так и начали мотаться по гарнизонам. Негде было преподавать. И детьми не обзавелись. А тут Чечня, Коли не стало. Вдова в двадцать пять лет...

...Зачем уезжают за границу? У каждого по-своему. Но многие — за нормальной работой, за нормальной зарплатой. Уйти от постоянного зуда, суеты и беспокойства: тем ли занимаешься, сумел ли воспользоваться новыми возможностями для успеха? Чаще всего успеха любой ценой. И успеха: денежного. Ибо любые другие успехи уже как бы не в счёт... Некому их оценить... С такими вот думами и жила. Бегло уже говорила на немецком, а думала на своём — на русском. И думала о нашем общем. О том, от чего уехала... Карл потихоньку расширил свой бизнес. У него стало уже три магазина.

...Время шло, а не случилось моего потаённого и особо желанного: хотелось семьи, хотелось ребёнка очень, а этого не было... Карл смирился, что у нас нет детей.

...Вся устойчивость, надёжность, которые меня окружали, стали терять свою ценность для меня.

...Оказалось, уйти на спокойную жизнь молодой и обеспеченной — не для меня. Не поработала в жизни, не понянчила детишек. Это жизнь разве? А мне уже скоро сорок! И так до пенсионного возраста?

Многое из того, что надо человеку, есть у них. Нам до этого, русским, далеко... Но комфортабельное пенсионерство мне стало казаться ужасным делом. Да и какая я пенсионерка?

...Пока не старая: сёрфинг, дайвинг, туризм, прочая сказочная жизнь... Не по мне эта перспектива оказалась. И не перспектива это вовсе. Не к чему стремиться! Нет цели!

Встал колом вопрос: зачем мне всё это — обеспеченное запланированное такое дожитие?

Видела многих наших, кто доволен тем, как устроились. А мне вот не повезло. Невезуча я!

Маялась долго, а решилась сразу. Думала, не даст мне Карл денег на дорогу домой. Дал.

...Приехала в Самару. И закружило меня!

Объявился мой одноклассник Василий. Как-то узнал он про мои дела. Сграбастал и не отпускает до сих пор. Вдовый.

Он в меня с пятого класса был влюблён. Я всё тогда «принца» ждала. А он такой мужик потом оказался. Нашу русскую поэзию лучше меня, учителя литературы, знает:

*Моё имя Василий,
Так должна понимать!
Моё имя с Россией
Хорошо рифмовать!*

Говорит, что эти стихи про него, про Василия Клюева написаны.

Он учитель физики, а работает дальнобойщиком. Приедет — уедет. Свиданья — расставанья! Совсем дурёхой стала от счастья.

Тут же взял кредит, купил для меня дом в деревне под Борском. Дом бревенчатый! Земли целых двадцать соток. Огород концом прямо к Самарке выходит. А вокруг сосны! По утрам в Самарке купаюсь. В ней вода без счётчика.

Теперь у меня помидор этих чуть не двести корней, да здорюющая теплица для огурцов. Соседки старушки помогают. Крутят, вертят банки. И себе, и мне. Поём часто вместе. Наши

русские песни. С сентября работаю в школе. Преподаю литературу. Что мне ещё надо? Ничего!

Вечером приду домой — не нагляжусь: сосны, жёлтенький песочек!

*Там, где капустные грядки
Алой зарёй поливает восход,
Кленёночек тоненький матке
Зелёное вымя сосёт!*

Такое в Мюнхенах разве увидишь!

*Хороша страна Германия,
А Россия лучше всех!*

Раньше-то, будто вне себя жила, а теперь вот вернулась.

— Что говоришь? Надолго ли это у меня? А посуди сама! Не сказала я тебе самого главного-то, подруга ты моя сердечная! Забеременела я. Вот так! Воздух тут у нас с Васей такой что ли?!

А ты говоришь: надолго ли?!

Косуля на красном снегу

Оказался я в этой рыбацкой компании, можно сказать, случайно. И, скорее всего, эта история не была бы рассказана, но мой приятель Алексей, пригласивший меня порыбачить, пустил среди своих друзей по кругу с месяц назад мою книжку рассказов. И теперь я чувствовал интерес ко мне. Не каждый день с писателем на рыбалку ходят.

Высоченный, со спокойными манерами, пенсионер Андрей Павлович пару раз терпеливо помогал распутывать мне «бороду». И каждый раз жалел, что не взял второй свой спиннинг с безынерционной катушкой. Сгодился бы для меня. Мою приверженность к старой инерционной он раскритиковал, но деликатно так, когда мы были одни. При этом называл меня только по отчеству, без имени. Он-то и начал, когда мы уселись вокруг котелка с наваристой ухой, свой рассказ.

— Владимир, мой сосед по даче, давно приглашал меня поохотиться на кабана. Я все отнекивался.

— Правильно! — подал голос самый молодой из нашей компании, Геннадий, и добавил смешливо, — мово другана, однова чуть не поддел хряк за одно место. Увернулся. Откажешься, пожалуй.

Все промолчали.

Умолк и Геннадий.

Андрей Павлович продолжил:

— Не очень-то мне нравилась его компании. У них какие-то свои дела с районными властями. Там бывшие заводские охотугодья огромнейшие. Теперь все распалось, но дичь и зверье есть. Друзья его молодые, азартные, а охотники никудышные. Никогда не занимались охотой. А теперь это как поветрие.

Накупили новые ружья. Владимир купил пятизарядную «вертикалку».

А я лет двадцать уже на охоту не хожу. Но ружье держу. Старенькая тулка двенадцатого калибра. Когда-то был страстный охотник. От запаха паленого пыжа и сейчас шалею.

Когда после сорока зрение стало садиться, уже не то стало. Какой стрелок, если мушки не видишь? В очках не привык никак. То потеют, то слетают.

Кое-что рассказывал Владимиру про охоту, он и привязался: поехали да поехали. А я, наверное, постарел изрядно. Не только из-за плохого зрения забросил охоту. Стыдно стало. Противоестественно выходить на живое с ружьем, да ещё многозарядным.

Ладно бы в голодный год, есть нечего, а то просто для забавы убивать...

— Зачем же, спрашивает, ружье держишь, если не ходишь на охоту?

— Так, чтобы было, — отвечаю, — я и оформил его без права ношения, только — хранения. Охотиться с ним не могу.

— Ладно, — смеется. — Кто нас проверять-то будет? Там в районе у нас все схвачено. Поехали, а то можно подумать, что кабана боишься.

Ну и загорелось во мне прежнее. Никогда на кабана не охотился. Зуд нашел.

Рассказчик встал, степенно прошелся к общей куче с рюкзаками. Начал рыться в своём. Вернулся с сигаретами.

Все выжидательно молчали.

Андрей Павлович уселся, не спеша, на прежнее место. Разговор продолжать не торопился. Было видно, что рассказывает не из желания удивить слушателей. Заново переживал случившееся.

— Ну, поехали с ними? — не выдержав, спросил Геннадий.

— Поехал, — отозвался рассказчик. — Добрались до домика егеря. Рядом два вагончика стоят. Из одного дым коромыслом. Рядом — снегоходы, сани. Лошади фыркают. Все основательно так.

...Сразу у них не заладилось. Отложили охоту на следующий день. Выяснилось, что лицензии на кабанов нет, завтра привезут на косулю. Мне стало не по себе. В косулю я стрелять не хотел. Ладно, думаю, как-нибудь от выстрела уклонюсь.

— Андрей Павлович, зачем же вообще ехали на охоту?

— Я же говорю: кабан не косуля. Сильный противник. Азарт возникает! Сила на силу!

— Да ладно вам! Какая сила? Вы с ружьем, а у него одни клыки... Не на равных...

— Оно, конечно, — стушевался рассказчик.

— Генка, не мешай, — урезонил его розовощекий Василий, — что ты как осенняя зелёная муха.

Андрей Павлович продолжил:

— Значит, отложили охоту на завтра, а что делать сегодня? Решено было посидеть, хорошенько поужинать. А до того пострелять. Говорят: у всех ружья новые, надо привыкать к ним.

Для меня было дико, когда начали палить по бутылкам. Видно стало окончательно, что за охотнички собрались. Тут-то я и пожалел, что согласился на поездку.

Влет ни в одну бутылку из них никто не попал. Привязались ко мне, что есть сил. Суют ружья. Сходил в вагончик за тулкой своей. Нельзя, думаю, опростоволоситься. Буду стрелять навскидку, как в чирков.

Ну, сшиб я подкинутые вверх одну за другой две пустые поллитровки. Всеобщее ликование. Пошли в тепло пить за моё здоровье. Как ребятишки. Вырвались на волю...

На следующий день кто на снегоходах, кто с загонщиками на санях двинули в дальний березняк. Разошлись по номерам.

Слева от меня, метрах в двадцати, совсем молоденький, но шустрый сынишка егеря, справа — Владимир. Меня поставили меж ними явно в надежде, что, если зверь выйдет здесь, я-то уж не подведу.

Начали гнать. Я снял предохранитель. Шум, гам, треск веток — загонщики приближались. Смотрю внимательно на отрывающуюся передо мной небольшую прогалину.

— Андрей Павлович, вы здесь? — послышался голос Владимира.

— А где же я должен быть? — отвечаю приглушенно.

— Что-то ничего нет.

— Жди, — отозвался. Чувствую, волнуется охотничек.

Загонщики, забирая левее, пошли мимо нас. Скоро их голоса стали еле слышны. Правая моя рука без перчатки замерзла. Я сунул её в карман куртки, оставив ружье в левой. Это заняло у меня доли минуты.

Только я это проделал, как хрустнула ветка. Мгновенно поднял лицо. Взрослая, прогонистая, удивительно грациозная самка легко, как при замедленной съемке, вальяжно в плавном прыжке появилась на самом краю поляны. Косуля от меня была метрах в пятнадцати. Даже не верилось. Она двигалась слева направо. Недоуменно, повернув голову, приостановилась и взглянула на меня. Я увидел её взгляд: доверчивый и невинный.

Не знаю, как все произошло. Охотничий инстинкт сработал: я прицелился чуть правее лопатки и нажал спусковой крючок. Как я потом благодарил судьбу! Моё ружье дало осечку. О втором выстреле я и не подумал.

Услышав щелчок, косуля так же, как и до того, словно это было домашнее существо, безбоязненно плавно скользнуло вправо.

Я опомнился от азарта и радостно смотрел на лесное чудо.

И тут прогремели один за другим два выстрела. Стрелял Владимир. Косуля рухнула на снег. Из разорванного горла била кровь. Голова её оказалась в красном снегу.

Я стоял, не двигаясь.

И к Владимиру пошёл не сразу. Дождался, когда у меня просохнут глаза.

Что-то уж больно долго стрелок не выходил к своей добыче. Когда я подошёл, он стоял, обняв обеими руками березу. Его сильно рвало. Ружье, ткнувшись дулом в рыхлый снег, лежало поодаль.

Я не успел с ним заговорить. На выстрел явились с большими санками помощники. Косулю погрузили. Повезли её, вольноч головою по дороге к нашему стану. Кровавая дорожка на белом снегу резала глаза. Владимир понуро шёл далеко сзади.

Он, не заходя в будку егеря, не поужинав, отправился один в село. Оттуда с оказией уехал домой.

Я потом узнал: охоту он забросил. Ружье продал.

— А вы, Андрей Павлович? — не удержался я.

— Что я? Отвез своё с дачи в городскую квартиру, закрыл в металлический ящик, как это положено по условиям хранения, и... все. — Он махнул рукой.

— Завязал — так завязал, чего жалеть-то? Я вот ни разу не стрелял ни в кого, — сказал Геннадий. И замолчал.

Нарушил тишину все тот же Андрей Павлович. Задумчиво обхватив обеими руками алюминиевую кружку с чаем, произнёс:

— У моего рассказа есть продолжение: после того случая я не мог забыть косулю. И тот красный снег на поляне... По ночам она мне начала сниться, сердешная. Взгляд её не мог забыть. Будто в кого из близких стрелял. Один раз проснулся в поту весь. Приснилось, что в себя ружье наставил. Будто не в неё стрелял: в себя. Мы в себя стреляем, понимаете? И косуля, и я, и вы — часть одной природы. Мы все имеем право на жизнь.

Геннадий внимательно, как школьник, смотрел на говорившего.

Опередил Геннадия все больше молчавший Василий:

— Ну ты, брат, даешь! Придумал. Надо же: «в себя стреляем»! Философия! Для писателя, — он мотнул чубатой головой в мою сторону, — что ли, стараешься? Сочиняешь! Если так начнет думать каждый, что будет? С голоду помрем!

— Да ну вас, я доверился, а вы... — Андрей Павлович встал, глухо обронил: — Дровишек пойду посмотрю...

И пошёл к реке. Там замер у воды. Его высокая сутулая фигура показалась похожей мне на большое дерево с сухой вершиной, которое стоит в затоне, недалеко от моего дачного домика. Это дерево одно на всю округу подпирает гнездо чуткой серой цапли. Я часто в бинокль наблюдаю, что и как там?..

— Как начнет русский человек философствовать, — произнёс Василий, так хоть помирай... — А надо жить! — Он посмотрел сразу на всех, заранее уверенный в правоте своих слов, в нашей поддержке, — верно ведь?

Мы молчали.

Мне б такого сына...

Я в «Оптику» полгода назад устроилась работать. Многое в новинку. А иное и нет...

Вот на той неделе приходит одна, молоденькая совсем:

— Можно, — спрашивает, — завтра приехать очки подобрать?

— Отчего ж нельзя, — отвечаю, — с утра приезжайте, работаем с девяти часов. А какие вам нужны очки?

— Ну, такие... совсем простенькие, чтоб без всякого эдакого. Дешёвенькие.

— Плюс или минус? — спрашиваю.

— А, вот приедем, тогда и разберёмся.

— Кому очки-то? — интересуюсь.

— Да, матери, — небрежно так на ходу, с порога уже, отвечает.

Вышла она. Я смотрю в окно и вижу: вальяжно так села она в большущую чёрную машину. Цаца! Сама за рулём. И покатила, приложив огромный такой сотовый телефон к левому уху. Когда успела заработать машину такую? И как? из-за руля не видно. Грустно мне стало. И жалко мать этой пичуги.

Я стою рядом в очереди и невольно слышу разговор двух этих средних лет, видно хорошо знакомых меж собой, женщин.

— Ну, так я и говорю, молодежь стала никудышная, — откликнулась высокая сутулая собеседница, — глаза бы на таких не смотрели.

— Ты послушай дальше. Разные они молодые-то. Как мы с тобой, разные. Я вот такая, как есть, а ты — худющая.

— И что? Причём это? — обиженно протянула «худющая»

— Ни при чём, конечно, — великодушно согласилась рассказчица. — Слушай: в тот же день вечером заходит парень. Одет просто. Видно из рабочих.

— Мне бы очки посмотреть?

— А какие?

— На левый глаз плюс четыре, на правый: плюс шесть. Межцентровое расстояние шестьдесят один сантиметр. Чтоб посимпатичнее и удобные. Неважно, что дорогие.

— У вас такое зрение? — удивилась я.

— Нет, это для мамы моей.

Молодец какой. Всё знает. Какие, чего? Как для себя! Но это не всё:

— Вы, — говорит, — когда я с мамой приду, не называйте вслух цену за очки. Чтоб она не волновалась зря. Напишите мне на бумажке цифирки, я оплачу.

И ушёл. Посмотрела в окно: идёт пешком к остановке. Ладенький такой! Позавидовала я его матери, мне б такого сына.

Погоня

Набродившись по жару, я расположился под старой ветлой близ узенькой высыхающей старицы. Редкие всплески доносились до меня. Стадо коров, разморенных июльским зноем и погрузившихся в воду, дремало.

Но вдруг вода в озере взбурлила, застоявшиеся буренки, вырывая ноги из тины, ринулись на берег. Струдившись, они взбили пыль на берегу и шарахнулись на бугор.

— Лось! — изумленно вскрикнул один из подпасков, очевидно, сынишка пастуха.

Я посмотрел в направлении, куда показывал подросток. Степенно неся горбоносую, увенчанную широкой чашей рогов голову, спускался к воде лось. Он был великолепен. Дикое дитя природы! Но всё-таки в этом заповедном звере как-то недоставало величия. Было похоже, что скрывался он от долгой, изнурительной погони. Но от кого мог бежать этот великан? Раздувающиеся его бока были мокрыми.

— Пашка, Генка, чего смотрите? Гони! — сипло громыхнул ещё не пришедший в себя от дремоты пастух.

И не успел я подойти, как ребяташки вскочили на одностанных низкорослых буланых лошадок и под залиvistый лай собачонки погнали к лосю. Тот, не дойдя до воды, метнулся, вскинув голову и, ускоряя бег, помчался по равнине к лесу, отгороженному широкой лентой пашни с молоденькими сосенками.

Поругиваясь, пастух начал собирать коров в кучу. С высоко-го берега старицы было видно, как, обогнув дальний её изгиб, лось отрывался от преследователей. А те, охваченные азартом погони, гнали всю галопом...

— Не случилось бы чего с ребятней, — забеспокоился пастух, — глупые ещё, заставил — и сам не рад. На-за-а-ад! — сложив рупором ладони, прокричал он. Но голос его тут же увяз в знойном воздухе.

В следующий момент лось резко повернул в сторону. Там, куда он направился, блеснуло на солнце кругленькое болотце. Лось, с разгону войдя в воду, нагнул голову. Видно было, что он жадно пил. Но что это? Выйдя из воды, зверь рухнул на землю...

— Хиляк попался, наверное сердечник, — выкрикнул радостно возбужденный Генка, старший сын пастуха, когда мы подошли к болоту.

Зверь был мёртв.

Было странно видеть, что дикая и, казалось, неуёмная сила рухнула так вот запросто, никчёмно.

— Папань, а рога ножовка возьмет? — Генка не мигая смотрит на отца.

— Да замолчи ты, — отмахнулся пастух.

Пашка сидит на траве молча, учащенно шмыгает носом. Стараются не поднимать головы...

День померк.

Было стыдно, что никто не сумел, не догадался остановить эту нелепую погоню.

Учительница

Белой рубашки у меня в детстве не было. Но зато было два старших брата. Я донашивал их одежду. Время послевоенное.

Первого сентября, готовясь идти в 4-ый класс, я одеваю единственную у нас светлую Лёшину рубаху, из которой он давно вырос. Мама помогает мне. Желая выправить складки, она дёрнула обеими руками за подол, рубашка и лопнула. Остался один воротник на моей шее. Выносились так. Что делать? Другие братнины рубахи все велики мне. и рукава у них на четверть моей руки длиннее. И тёмные они.

Взяла мама какую поменьше, но она совсем чёрная. Не долго думая, закатала рукава мне по локти. Вот такие бугры по?учились! В отчаянной решительности толкнула в дверь:

— Иди, а то опоздаешь!

Пришёл я в школу. Один такой: чёрный как грач среди го-монящей пестроты.

Ребята тычут в меня пальцами, показывают на мои руки с закатанными рукавами:

— Палач! Ванька палач!

Первым Петька Косоруков такое придумал. Я не ожидал от него. У меня кровь прилила к щекам. Чувствую, как горит лицо от обиды жгучей.

Наша Клавдия Васильевна посмотрела на класс, на меня, и командует:

— Субботин, иди к доске!

«И она тут ещё? — думаю, — зачем?»

Вышел я к доске. Улыбаюсь от растерянности.

Учительница говорит классу:

— Ребята, ну разве похож он на палача?! Посмотрите какой улыбочивый да румяный! Где вы видели таких палачей?

Все разом притихли. А она продолжает:

— Кто видел? Кто скажет? Поднимите руки!

Тишина в классе. В ответ ни звука.

— А вы говорите? Глупости всё это!

И таким же ровным, домашним голосом в мою сторону:

— Садись, Ванечка! Что без дела стоять?..

Грушенька

Так хотелось, чтобы в моём саду росли груши. И вот наконец-то я посадил две красавицы. Трехлетки. Крепенькие и стройные такие. Одна из них — Куйбышевская золотистая. Сорт другой до сих пор не знаю. Её подарил мой приятель, которого сорт мало интересовал. Хотелось сделать подарок, он и сделал. Мы стали звать второе деревце Грушенькой.

Было это лет десять тому назад. Теперь та, которую приобрел я, стала большим раскидистым деревом, со свисающими ветвями. Она плодовита. Её удлиненных, бутылочной формы, желтых с небольшим румянцем плодов так много, что кажется, их больше, чем листья. Ветви её свисают над головой, образуя зеленый навес. Под этим навесом мы поставили круглый столик и шесть стульев. Моим домашним нравится собираться здесь. На свежем воздухе да в надежном тенёчке — что может быть лучше?

А у Грушеньки судьба сложилась по-иному. Уже через два года она была выше меня. И немудрено. Близость Волги, обилие света, благодатная почва и своевременный полив вершили своё. Обрезая ветки, я старался, чтобы она, в отличие от своей

соседки, была стройной, не развесистой. Так мне захотелось. И деревце тянулось, отзываясь на такое моё желание.

...Как я ждал, когда деревца зацветут! Я в то время напряженно работал на заводе и вечерами, вырываясь на свою дачку, оттаивал в кругу своих зеленых подружек, в числе которых, кроме груши, были и яблоньки, и сливы.

Сильно начало тянуть к земле!

А вскоре случилась беда.

Я обнаружил у Грушеньки, на совсем небольшом расстоянии от земли, врезавшуюся в ствол синтетическую тонкую бечевку. Когда-то, сажая маленькое деревце, я привязал его к кольшку. Кольшек я потом убрал, а колечко из бечевки осталось. Груша продолжала расти, бечевка, окольцевав ствол, оказалась в её теле. Чуть припухшая в этом месте кора скрыла её от глаз. Петля, как острая пила, по окружности подрезала молодое тело.

Грушенька с самого начала её жизни в моём саду была обречена. И виновным в этой беде оказался я. Выдернуть бечевку я не смог, она глубоко сидела в древесном теле. Будь петля не из синтетического материала, она бы просто сгнила. Эта же оказалась смертоносной для дерева. Чем ствол становился толще и ветвистей выше петли, тем острее была опасность того, что деревце будет перерезано и та часть его, которая выше удавки, рухнет.

Я будто оказался около пораженного неизлечимой смертельной болезнью больного, готовый перенять у него боль и страдания. И не способный сделать это. Я не заметил, как стал, сидя рядом на скамейке, разговаривать с Грушенькой. Кого я утешал больше в такие минуты: себя или её? Сразу и не скажешь.

Роковое различие в диаметрах ствола деревца ниже удавки и выше неё за лето сильно усилилось. Сужение в месте перехвата становилось препятствием для роста Грушеньки. Ей не доставало соков земли. Я взял стамеску и в двух местах, углубившись в кору, перерезал бечеву, но результата это не дало.

В августе она начала желтеть и вскоре надломилась ровно по кольцевой канавке, очерченной бечевой. Все случилось так, как я в тихом отчаянии и предполагал.

Не трогая веток, не обрубая их, я целиком отнес деревце на кучу валежника в недалеком леске. Там Грушенька пролежала на виду до самого снега. Проходя мимо, я не мог спокойно смо-

треть на неё. Её стройное тело было видно издали. На темной куче валежника она странно мерцала матово-желтым неживым светом. Потом её занесло снегом.

Зимой я часто вспоминал Грушеньку, винил себя за досадную промашку.

А весной случилось чудо.

Из единственной почки на оставшемся невзрачном пеньке развился побег.

Я возрадовался! Появление побега было как бы моим неким оправданием и надеждой, что деревце все же вырастет, что я не загубил хрупкую жизнь. Не пресекалась веточка жизни...

За счет крепких родительских корней побег развивался бурно. Я усердно следил за кроной, едва успевая делать обрезку. Даже летом обрезал ветки, настолько Грушенька торопилась в росте.

Сильно меня беспокоило место сочленения старого ствола и нового. Была некая, по моему разумению, опасность в этом разветвлении. Ветром могло расщепить его.

Все образовалось само собой. Новый ствол так быстро рос, что на четвертый год пенечек пропал в крепком теле молодой груши. Оно его вобрало в себя. И в этом мне увиделся особый смысл.

В мае Грушенька зацвела.

Впереди было лето, и я задумал поменять трубу у баньки. Один из помогавших мне приятелей остушился на крыше и не удержал скользнувшую вниз металлическую лестницу. Она со всего маху обрушилась на Грушеньку.

Приятель тоже упал. Ему повезло: получил ушиб колена и легкий испуг. Грушеньку тяжелая лестница расщепила пополам. Половинки дерева повалились в разные стороны.

Когда я пришел в себя, ничего не оставалось делать, как спилить её, чуть ниже того места, где она раздвоилась. Место спила, большой такой белый пятак, замазал, как положено, садовым варом.

Я все надеялся, что будут побеги. Лето ещё впереди! Подходил к пеньку, на метр торчавшему из земли, и все высматривал: не появились ли? Мне так хотелось, чтобы именно Грушенька возродилась на этом месте. Другое дерево посадить? Я об этом не думал.

Но побегов так и не было.

Потом приехал из Москвы мой внук. Осенью мы сделали из сосновых желтеньких досочек в виде домика веселую кормушку для птиц. Поставили её на оставшийся от груши пенёк и прибили гвоздем. Получилось замечательно.

Прилетали в наш трактирчик подкрепиться и воробьи, и синицы, и даже прикочевавшие издалека, гонимые холодом, красивые свиристели. Радоваться бы! Внук и радовался! И не догадывался спросить: что это за пенёк, на котором так ладненько расположился птичий трактирчик?..

Не знал, что это груша. Он её никогда не видел. А я и на следующую весну все надеялся, что появятся побегии. Но этого не случилось.

Теперь, став с годами суеверным, я думаю: может зря мы приспособили кормушку на Грушеньке? Не поверили ей. В её возрождении усомнились. Лишив своей поддержки и веры — лишили её жизни. Все как у людей?!..

Или это у меня старческое?

Журавли

Это случилось со мной, когда я был ростом едва ли не вровень с моей одностволкой шестнадцатого калибра.

Дело было на вечерней зорьке. Помню, как было сумрачно и тихо. Лишь у крайней избы грудной ласкающий голос мерно разрезал податливый вечерний воздух. Звали чью-то запропавшую Звездочку. Но и этот голос затих.

Проскрипели неподалеку на молочной ферме выдавшие виды ворота, и все на некоторое время смолкло.

В селе, до которого от степного ильменька всего каких-то метров триста, текла своя вечерняя жизнь.

Заря кончалась, а уток не было.

И вдруг с вышины, где безраздельно властвовал один только звёздный, холодный свет, донёсся тревожный, тоскующий, удивительный звук. Казалось, кто-то на незнакомом языке кого-то звал за собой и в то же время прощался навсегда. И этот кто-то приближался ко мне. Голоса были уже, кажется, совсем рядом. Вот они — почти над головой! Там, где только что была одна Большая Медведица, распластался трепещущий клин.

«Журавли! Конечно же, журавли!» — упивался я своим открытием, забыв о ружье и махая им, как палкой.

Журавли сделали плавный полукруг над болотом, выровнялись и величаво потянулись в сторону утрюмо темнеющего леса. Их призывное картавое курлыкание смолкло.

Какая-то сила сорвала меня с болотной кочки. Они улетали! Я побежал за ними, замороженный сказочной, не перестающей литься с неба, мелодией. Потом, будто устыдившись чего-то, остановился. Вернулся к ружью, забытому на болотной кочке, и долго стоял, потрясённый. Я что-то потерял. Минуту назад я был богаче. С журавлями от меня оторвалось и улетело что-то большое и светлое, но что именно, мне мальчишке, понять было трудно.

С болота я ушёл поздно. Дома никому ничего не сказал и в саду под старой скрипучей яблоней долго пытался уснуть...

Много после этого случая провел я утренних и вечерних зорь на воде, но журавли не прилетали.

Позднее, став взрослым, я где-то прочитал, что журавли — это символ неуловимости человеческого счастья. Как верно!

«Так вот она, разгадка! — подумалось мне. — Значит, с тем, кто так сказал, было, может, то же самое, что и со мной в моём далёком детстве. Только он сумел выразить это словом... Так я думал тогда, в свои тридцать пять лет. Как я позавидовал ему...

...Теперь же, когда мне за семьдесят, я завидую уже тому мальчишке (то есть себе самому) в ильменьке. Столько у него было всего впереди ещё! Нерастраченного... неотлетевшего...

Крестик

В четвертом классе нас принимали в пионеры.

Наша учительница, недавно приехавшая к нам из города, красивая Клавдия Васильевна, подошла ко мне. И стала мне, стоявшему в ряду притихших ребят, повязывать красный галстук.

И, вдруг, она увидела у меня на шее крестик. Я замер. И руки учительницы замерли. Глаза наши встретились.

Взгляд у неё стал задумчивым. Её рука, как крыло большой белой птицы, коснулась моей головы. Тихо и мягко сказал мне одному:

— Не я, Ванечка, вешала тебе крестик. Не мне его и снимать. Скажи маме, что пионерам крестик носить не положено.

...Дома у печки, смахнув рукой, ладонью наружу, пот со лба, мама сказала:

— У нас в переднем углу иконка висит. Она кому навредила? Одно другому не мешает. У тебя такой же крестик, как и у меня на груди. Посмотри! Под единым Богом ходим.

Мамин иконный лик замерцал в полутьме нашей кухни передо мной совсем рядом. Мне стало стыдно дальше говорить что-либо...

... Загадка для меня и сегодня: откуда у молоденькой, только начинающей работать учительницы сказался такой душевный такт? Потом она лет через пять вышла замуж и уехала куда-то из нашего села.

Я стал драматическим артистом. Прошло пятьдесят лет. Все эти годы моя жизнь была связана с работой в театре. Снялся в нескольких кинофильмах.

В этом году на моём бенефисе в нашем театре на сцену вдруг поднимается пожилая дама с букетом цветов. Я сразу узнал свою первую учительницу Клавдию Васильевну. Она оказалась проездом в Самаре. Увидела афишу и прорвалась.

В зале более полутысячи зрителей. А она шепчет мне после поздравления, прямо на сцене. Так же тихо, как тогда в четвёртом классе при приёме в пионеры:

— Ванечка, ты с крестиком?

— Да! — отвечаю.

— Я тоже! — произносит она с прежней своей мягкой улыбкой, — с крестиком...

И я чувствую как нам хорошо обоим. Как тогда в детстве!.. И мир по-прежнему к нам добр.

Предприниматели

Перестройка заставила шевелиться многих. Вот и мы втроем: я, Дмитрий Петрович и Анатолий завели двух поросят в деревне. Нам удобно: с Анатолием работаем вместе, он мой коллега — учитель физкультуры, а Петрович — сосед, пенсионер, постоянный партнер по шахматам.

Сговорились с бабой Настей — дальней родственницей Анатолия, что она выращивает двух поросят. Одного нам, другого — себе. Дробленку достает для корма она, мы же для этого

поставляем ей водку. Договор дороже денег. Так многие делают. И вот ситуация: в начале ноября привет от бабки Насти, письменный: «Приезжайте, с дробленкой худо, председатель навел порядок. Хорошо, что на дворе холода уже, оттого можно резать скотину и забирать свою долю».

Собрались мы на летучку вечером у нашего подъезда.

— Ехать надо в субботу, — говорит Анатолий, — чего тянуть. Закономерный финиш.

— А как резать будем? — спрашиваю.

Оказалось, что с этим делом никто не знаком. Так, понаслышке кое-что знаем. Я предлагаю:

— Берем ружье, жикан и стреляем в ухо или чуть левее — это наверняка, также берем с собой баллон с пропаном и резак. Пропаном мы быстро опалим тушу.

— Не суетитесь, ружье, баллон. Миномет с собой возьмите — может, надежней будет. Венька Яшунин — академик в этом деле, я сбегаю к нему и все дела. Прощлый раз я ему бутылку дал — он обещал всё сделать, — уверенно заявил Анатолий.

На том и решили.

...Субботнее утро. Красота кругом. Ночью подморозило, но с утра дорогу уже подразвезло, поэтому едем на «Москвиче» Анатолия осторожно. Разговариваем о том, о сем, обо всем помаленьку.

— Дмитрий Петрович, — Анатолий с веселым прищуром смотрит на собеседника, — расскажи хоть, а то скучновато, как воевал, ну как вообще на войне... мне твоя старуха говорит, что ты крови видеть не можешь? На прошлые Октябрьские праздники был весь в орденах, а в этот раз наденешь?

Петрович тусклым взглядом посмотрел на говорившего и не спеша отреагировал:

— Тебе сразу на все вопросы отвечать или по порядку, как от микрофона на съезде?

— Давай, Петрович, без регламента, на все сразу.

— Если на все сразу, то скажу: война — не человеческое дело, а дьявольское. Я когда на фронт попал — мне было всего семнадцать лет... Так вот, идёт уже бой, мой первый. А я все не верю, что буду в другого человека стрелять. Не верю и все тут! И книги читал про войну, и в нормальной жизни я, вроде, все понимаю, а представить не могу.

— Ну и как, стрелял?

— Стрелял, несколько раз бесприцельно, а в человека — не довелось. И не знаю, смог бы я или нет. Я действительно кровь не выношу.

Он помолчал и виновато сказал:

— Вы уж тут, ребята, как-нибудь без меня... того, с поросенком. Я потом, когда палить, помогу...

— Ну, ты, Петрович, даешь, а с виду молоток. Откуда медали тогда?

Петрович, несколько не обидевшись, ответил не спеша:

— Так сколько потом праздников было, вот набралось.

Я впервые слышал от Петровича слова о войне, да ещё такие. Мы уже года два знали друг друга, когда-то съехались в один подъезд нового дома. Общались так: то в картишки перебросимся, то в шахматы. Никогда серьезно ни о чем и не говорили. Не знаю, как кому, а мне всегда казалось, что так легче общаться с соседями. Зачем в душу лезть?

Но Анатолий не может так. Он о самом сложном и больном готов напропалую, в упор, спросить и ждать ответа. Гвоздодёр — это его в 5-а как называли, так теперь вся школа и зовет.

— Ну, а кто же воевал? Не все же такие? — продолжал «дергать гвозди» физрук.

— Не все, были люди геройские.

— Были, — подхватил Анатолий, — были, но их давно нет. Они и погибали потому, что геройские.

— Может, так. Но мой дружок Николай Манохин — герой! И пока жив-здоров.

— Расскажи о нём.

— Нет, Анатолий, о нем долгий разговор, человек прошел на войне все, а после войны ещё и лагеря. Ворошить походя не хочется, вон уже и поворот на грунтовку, — отвечал Петрович.

Действительно, мы подъезжали к селу. Тут уже мне захотелось продолжить разговор:

— Дмитрий Петрович, если можно, о Манохине, коротко?

— Коротко? — переспросил наш собеседник. — Если коротко, то Николай — мой земляк, из Кинеля, вот он ничего не боялся. В начале 44-го года получил Героя Советского Союза, а через неделю гвардии рядовой Николай Манохин снял звезду Героя и положил на стол командиру полка.

— Добровольно?

— Нет, конечно. Наделал он шуму, будь здоров. Прошил автоматной очередью в упор в окопе своего старшину.

— Как так? — удивился Анатолий.

— А вот так, сволочь этот старшина был хорошая, измывался над ребятами. Те молчали до времени. Нарвался старшина на Николая. А на передовой свои законы. Ну, донесли сразу, нашелся такой среди нас. Манохин и не собирался оправдываться, хотя знал, что за это грозит вышка — командира своего застрелил. Но спасло то, что он Герой. Поснимали все награды — и на передовую. А ему, как черту, это и надо будто. Ничего не боялся.

— Сейчас где? — толкал рассказчика Анатолий.

— После войны вновь набедокурил в своём тресте с начальством. Припомнили сразу все. Теперь после гулаговской жизни чахнет потихоньку. О войне всего не скажешь. В душе многое поменялось.

Приехали.

И началась проза сельской жизни. Все наши надежды на Веньку Яшунина лопнули, едва мы ступили на порог. У Веньки оказался очередной запой-загул, и он третий день «лежал в лежку».

— Да что вы, в самделе, здоровенные мужики, — дивилась баба Настя, — и не сможете одолеть хряка, диво эко... ей-бо, — и она, укоризненно оглядывая нас, добавила: — Как вас жены ваши терпят, нагольная интеллигенция... связалась с вами... К жизни неспособные оказались...

Нам не хотелось выглядеть «неспособными к жизни», и мы деловито перебирали уже в который раз все варианты наших действий. Но баба Настя нас осчастливила:

— Т-п-ру, блудница, потерпи маленько, ишшо напужаешь моих городских.

Мы застыли в недоумении: она въехала во двор, сидя в фургоне, запряженном старой, очевидно, чуть моложе бабки Насти, буланой флегматичной кобылой, к которой бабкино обращение «блудница» явно показалось нам преувеличением. Мы почувствовали себя ещё более неуютно и не к месту в районе разворачивающихся событий.

Настасья Ильинична пояснила:

— Венька маленько очухался и сказал, что за поллитровку все спроворит, но токмо у себя во дворе. Никуда он не пойдет, если надо, везите порося к нему.

— Ну конечно, какой академик будет ходить по дворам с ножичком? Извольте подсуетиться, господа, — съязвил Анатолий.

Петрович флегматично посапывал над разобранным сепаратором на верандочке. Мне показалось, что он тем самым увиливает от наших хлопот.

Наш главнокомандующий уже действовала.

— Тебе на вот, Анатолий, веревку, готовься.

— К чему? — дурашливо спросил тот и накинул веревку себе на шею: — Ребята, репортаж с петлей на шее. Вас устраивает?

— Как только я выманю из клетки Борьку чашкой с дробленкой, не плошайте, мужики, вяжите его — и в фургон. — Баба Настя, казалось, начала сердиться на нас всерьёз.

Не буду говорить, что мы оправдали доверие бабы Насти своей сноровкой, но как-никак операцию «захват» исполнили. Правда, она стоила Анатолию заграничных брюк фирмы «Лемонти» — одна штанина снизу доверху была по шву разодрана, и теперь, когда Анатолий широко и воинственно шагал рядом с фургоном, эта штанина, как красно-зеленый флаг, развевалась за ним на осеннем ветру. Но Анатолия это не смущало, ведь мы все были приобщены к совершенно конкретному, хотя и непривычному делу. Это подтягивало нас. Из фургона доносилось похрюкивание Борьки, и нельзя было точно установить — было оно умиротворенное или угрожающее. Все — непривычно, и можно было ожидать всякой внезапности. Мы не расслаблялись.

Ворота, которые, очевидно, не открывали с времён Второй мировой, когда мы вынули железный мощный засов, осели и, оказавшись непомерно тяжелыми, оставляя жирный след в сырой земле, как циркуль, выписывали полукруг под нажимом двух довольно дюжих умельцев. Въехали во двор. Он был пустым. Цепь на двери в избу была заброшена на большое ржавое кольцо без замка, но весьма убедительно.

«Академик» появился из подвала. На Веньке была телогрейка, надетая прямо на синюю майку. Из кармана военных галифе торчала бутылка водки, заткнутая бумажной самодельной пробкой.

Во всем облике Веньки не было ничего необычного. Разве ж глаза — светло-голубые, ясные и как бы невидящие, обращенные в никуда. Странные глаза. Но к ним, наверное, здешние все привыкли уже.

— Давайте, мужики, вон туда, на ровненькое место сгружайте, я сейчас, — вялым голосом сказал Веня.

Мы, откинув задний борт, начали двигать вальяжного Борьку к краю. И тут произошло то, чего никак все мы, очевидно, и баба Настя, не ожидали.

Борька вдруг взвизгнул и стал судорожно биться в наших руках. Зафонтанировала кровь. Это тихонький и светленький наш Венька, невесть как оказавшийся в сутолоке у задка фургона, среди нас, неожиданно проворно, ловким коротким движением вогнал поросенку огромный нож под левую переднюю ногу и вращал его слева направо. Упавшая туша крепко придавила мне ногу, и я не сразу отозвался на вскрик бабки Насти. Когда же посмотрел вправо, увидел обмякшего Петровича, лежащего на голой земле с совершенно отрешенным лицом, обращенным в небо; левая рука его была вся в крови.

— Боже, его-то за что? — мелькнула несуразная мысль в тот момент событий, слипшихся в сознании воедино, когда захрипела кобыла и рванула упряжь на себя, когда Анатолий с перекошенным лицом бросился хватать её под уздцы, чтобы вывести на улицу.

— Нюра, Нюра, нашатырь давай, быстрее, обморок у мужика, — баба Настя кричала соседке, смотревшей через низкий забор это бесплатное кино, а сама уже брызгала проворно большой и темной ладонью воду из ведра в лицо Петровичу.

— Я же говорил, ребята, что не могу видеть кровь, — это были первые слова, которые произнёс виновато Петрович, чуть позже пришедший в себя.

Его повели к соседке Нюре отлеживаться, и на одно действующее лицо во дворе стало меньше.

— Ты что же не предупредил всех, начал резать без подготовки, спьяну, что ли? — Анатолий вцепился взглядом в Веньку.

— Дык ты что? Вы же сами просили, бабка Настя приходила раза два, — он деловито обтер травой нож и бросил его тут же

на скамейку, достал поллитровку, зубами вынул пробку и сделал два глотка.

— Не предупредил, без подготовки? — странные вопросы. Мне что, артподготовку надо было организовать, что ли? Мужики, это же поросенок, а не боевая точка противника.

— Венька, ты хулиган! — твердо и внятно произнёс Гвоздодер, распрямившись и встав во весь рост на своих пружинистых ногах.

Я понял, что в воздухе запахло горячим, и поторопился остудить атмосферу:

— Мужики, где солому брать?

— Да вон у фермы она. Идите и берите, сколько надо. Когда опалите поросенка, позовите меня, — великодушно простил нас Венька. Махнув рукой, он растворился в кустах акации на улице.

До фермы было километра полтора, и это обстоятельство меня всерьез удручало.

Но вернулась баба Настя, сказав, что Петрович пьет чай у соседки. Потихоньку разговаривает. На душе полегчало.

А, когда она скомандовала Анатолию садиться в фургон и ехать за соломой, чтоб разом привезти, сколько надо, все как-то встало на свои места.

От её зычного, крепкого голоса флегматичная кобылка пошла ходко, повинувшись волевой хозяйке, и вскоре они скрылись в дальнем переулке.

Я сидел на бревне около большой белой туши и, то ли в оправдание своё, то ли в оправдание всей нашей безалаберно устроенной жизни, думал о том времени, когда каждый человек научится всё-таки наконец делать своё дело, и оно будет, может быть, организовано как-то лучше, умнее, грамотнее, просто цивилизованнее, а не так глупо и бездарно, как сейчас. Может, мы все же перестроимся хоть когда-нибудь, чтобы делать все по-человечески, а?

В сосновом бору

...Когда я впервые оказалась в Бузулукском бору, я обомлела. Стоят недалеко одна от другой две сосны. Каждой за триста лет. Великанши! Они наверняка видели Толстого, Пушкина, которые бывали здесь, на бузулукской земле!

Совсем недавно я узнала, что здесь были родовые усадьбы Карамзиных, Державиных и, уж крайне показалось мне неожиданным, — Набоковых.

Недаром у меня дух захватывало, когда мы бродили то в окружении освещённых утренним солнцем гладкоствольных, будто облитых полудой сосен, то, когда оказывались в урёмной глуши, среди поверженных временем старовозрастных сосен-вековух, крепких, но уже лежащих, заставляющих остановиться и невольно замолчать.

* * *

В который раз по пружинистому насту из хвои, листьев, прелых и ломких стволов берёз возвращались мы с сыном к полюбившимся нам трёхсотлетним соснам...

Как возник Бузулукский бор? Как и кем посажены эти сосны? Я так ни от кого не смогла услышать, ни прочитать где... Штука ли: почти сто километров в длину и более сорока — в ширину: таков этот зелёный остров посреди голой степи...

...Мы потом вчетвером, с моими внучками, пытались обхватить одну из великанш-сосен — бесполезно!

Сын Коля всё говорил, что хотелось бы ему облететь на вертолёте Бузулукский бор. С высоты увидеть всё разом! А мне этого не надо. Что-то во мне противится вмешательству человека с техникой в животворный оазис. Инеродна она в нём.

...Этим прелым воздухом, прелестным своей неповторимостью, дышали Пушкин, Толстой. Их давнее присутствие не осталось бесследно. Оно в чём-то закреплено, как-то засвидетельствовано. И хранится...

...Около сорока дубов когда-то посадил здесь в неохватной широте своей деятельности великий Лев Толстой. Теперь эти дубы в живом заслоне из ста тысяч гектаров зелёного лесного братства стоят на пути степных суховеев...

...Как могло случиться, что наши деятельные нефтяники, обнаружив под бором нефть, ринулись разворачивать нефтепромысел?

И как хорошо, что вовремя одумались!.. Вовремя ли? Более ста пятидесяти скважен пробурили. Просеки прорубили в бору. Начали было нефть качать. Остановились. Законсервировали скважины.

А что дальше? Под сто тысяч гектаров сосняка положена мина замедленного действия?..

Когда мы поехали в прошлый раз на свидание к «нашим» соснам, наткнулись на законсервированные скважины. Бетон у иных потрескался — разваливается. Сочится нефть, пахнет газом. Ну как — рванёт? Сосняк кругом! Полыхнёт! И от векового величия — одни головёшки?..

Спешно поехали к местному начальству. Доложили о скважине.

— Мы в курсе дел, — говорили нам с серыми лицами. — Пытаемся, что можем, делать. Вы не первые, кто бьёт тревогу... Занимаемся... Но ни средств достаточных, ни техники...

...Год прошёл. Не полыхнуло в бору. Может, и правда, что-то дельное предприняли.

Выходит, что мы с Колей всего лишь назойливые пенсионеры?..

Мне в последнее время наши сосны-великаны начали сниться. Вновь хочется вернуться к ним. Постоять около безмолвных свидетелей...

С возрастом начинаешь особо остро понимать, что все мы дети природы. Она породила нас, отпустила на какое-то время от себя. Теперь вот терпеливо дожидается...

Корзина, полная яблок

Вспомнилась картинка из далёкого детства. Я сильно болел, простудился. Который уже день лежу в постели, на день перебираясь в прохладную, выложенную из самана, погребницу. Она на меня производит чарующее впечатление. За ларем я нашёл в первый же день почти новенькую книжку «Казачьи» Льва Толстого и, потрясённый красотой и яркостью открывшейся мне жизни, забываю про болезнь.

Вообще эта мазанка замечательная. Совсем недавно, забравшись на чердак под её ветхую крышу за сушеной густерой, я увидел неопределённой формы предмет, завернутый в изъеденный молью мешок. Потянул его на себя из-под разного деревянного хлама и обнаружил боевую винтовку. Потом с дедом я имел разговор и пообещал, что трогать винтовку не буду. Но я уверен: её там уже нет. Дед — человек мудрый, он обязательно сделает всё правильно. В этом я убеждался не раз...

...Вот слышались шаги во дворе, это идёт бабушка. Я это чувствую всегда, не зная, как объяснить. Она входит с небольшой корзиной, накрытой белым в горошек платком. Корзина полна яблок.

— На вот, гостинец тебе.

— Откуда, бабушка?

— Ешь, тебе не всё равно? Выздоровливай быстрее.

Она с напускным равнодушием глядит на меня. А я догадываюсь, откуда яблоки. Они — краденные! Если бы они были куплены, то их было бы два, ну три, не больше. Яблоки из Самары редко привозили, не на что было покупать. А здесь — целая корзина! Яблоки в нашем селе растут только у одного Светика — внука давно умершего бывшего земского врача. Но он скряга, никого никогда не угостит. Мы давно с другом Мишкой сговорились забраться к нему в сад. И не столько от желания поесть яблок, сколько от нелюбви к хозяину.

— Бабушка, они же...

У меня не поворачивается язык сказать главное слово.

— Сейчас не в этом дело. Ешь и поправляйся. Бог простит.

Она тоже не говорит главное слово. Я, боясь обидеть бабушку, беру антоновку и впиваюсь в неё зубами.

— Вот так-то, — тихо заключает бабушка.

Я хрумкаю яблоко и чувствую, что нас с бабушкой теперь связывает что-то тайное, о чём я никогда не скажу никому. И никогда не смогу плохо подумать о бабушке.

— Когда мой первый сыночек Петенька заболел сахарным диабетом, я его чем только не лечила, но не помогло... Не стало Петеньки.

Помолчала. Потом сама себе сказала:

— Бог простит.

Она придвинулась ко мне и погладила мою голову своей большой шершавой ладонью. Это для меня было неожиданностью. Я не помню, чтобы кто-то нас в детстве гладил по голове или целовал. Таков был уклад жизни. Нас никто никогда и не бил.

...Я лежал на старом, самодельном диване в окружении лаптей с мукой, пшеницей, в домовитом запахе луковых плетениц и овчин.

Свет пробивался в мою мазанку через крохотное оконце, которое я свободно мог закрыть своей фуражкой, что я ино-

гда и делал, погружаясь в блаженный волнующий прохладный мрак и тишину. Тишину иногда нарушали осмелевшие мыши, но шугать мне их не хотелось.

Залетевшая большая противная зелёная муха сходу запуталась у меня в изголовье в паучьих сетях, и я с нетерпением ждал развязки события. Я мог бы предотвратить кровавый исход, тем более мне не очень приглянулся шустрый изобретательный умелец-паук. Но мне нравилась роль стороннего созерцателя — в этом была своя прелесть. Не хотелось нарушать спокойствия этого царства паучье-мышьиного благополучия. А может, я так сильно ослаб от болезни...

Иногда в мазанку заходил мой весёлый дядька Сергей. Это он с ведома бабушки раздобыл яблоки.

Все эти дни дух антоновских яблок витал в мазанке попеременно с бабушкиными рассказами из её жизни, дедом Ерошкой, из новой книжки про казаков, моим дедом, пахнувшим всегда сеном, сетями, передающим приветы от Карего — старого мерина, моего друга, оставшегося на далёком лесном кордоне в Моховом.

Через неделю я выздоровел.

* * *

В первое же воскресенье я упросил деда и бабушку взять меня с собой на Утёвский базар. Я любил этот многошумный, разноцветный праздник. Там всегда происходили всякие неожиданные события. Случилось одно и в этот раз. На обратном пути, когда мы уже отъехали в своём громыхающем фургоне от базара метров сто, дедушка, что-то приметив на обочине в пыли, остановил лошадь, слез с фургона. Через минуту он вернулся к нам, держа в руках огромную пачку денег, кое-как завязанную в пропылившуюся серую косынку.

— Ванечка, это ж беда какая, потеряли...

— То, что потеряли, это точно, только вот, кто?

— Много? — бабушка протянула руку к свёртку. — Батюшки, да тут их ужас сколько! Убьются теперь до смерти от горя. Надо что-то делать!

— Кто сегодня коров да быков продавал, а? — Дед начал вспоминать: — Горюшины корову яловую продали, они ещё на базаре, Захар Гурьянов — быка полуторника приводил, но он

сидит у сапожника Митяя разговоры разговаривает, было несколько зувеских, но они по другой дороге должны ехать.

— Лукьян Янин, а? — Бабка, удивившись своей догадливости, обрадованно смотрит на нас.

— Ну, точно же, Лукьян с сыном Андреем быка продали! Вот неумехи. Поехали к ним, — согласился мой дед.

Когда мы подъехали к Яниным, они оба, отец и сын, выезжали со двора.

— Здорово, Лукьян, — дед приподнял над головой картуз. — Далёко ли собрался?

— Сам не знаю, куда! Деньги Андрей обронил, а где, не ведает.

— На, возьми твои деньги, — дед протянул серый свёрток.

Лукьян как-то даже внешне и не удивился. Взяв деньги, задумался, внимательно посмотрел на нас всех поочерёдно, хмыкнул и молча пошёл вглубь двора. Вскоре появился с чёрным вертлявым ягнёнком на руках.

— На, Иван, от души! У меня ещё есть. Такое дело!..

Но бабка моя опередила:

— Ваня не бери. Лукьян, спасибо тебе. Хороший ты мужик, но чужого нам не надо.

— Ну раз так, то хоть с поллитровкой-то приду вечером? Не прогонишь?

Ответил мой дед, легко засмеявшись?

— Не прогонит, не бойся. Я вступлюсь, так и быть.

И наш фургон загромыхал от Яниных ворот под заливистый лай соседской собачонки.

Дорогой мне вспомнились яблоки из чужого сада и писклявый ягнёнок Яниных.

А ночью приснилось будто этого ягнёнка мой друг Мишка на дворе Яниных держит на руках и пытается насильно кормить из огромной и высокой, как бочка-сорокауша, ивовой кошёлки яблоками. Ягнёнок мотает головой, яблоки отлетают на землю, а Мишка озорно кричит ему: «Дуралей!». Ягнёнок мекает в ответ что-то своё, а что не понять...

А потом мы будто бы погнались с Мишкой на велосипедах на Самарку.

На любимой мной длинной песчаной отмели, где пахнет красноталом, речными лопухами и янтарным крупным влажным песком, на отмели с загадочным названием «Платово» дед

Ерошка, давший мне пострелять из найденной мной винтовки, смеялся шумно и заразительно...

Я проснулся и мне стало весело и легко. Казалось, что весь мир наполнен моим выздоровлением...

Сомятник

...Едва я отошел от костра к воде, чтобы умыться, увидел рыбачка. Сидит себе на бревне у самого края завала посреди речки маленький круглолицый мужичок лет сорока. В соломенной шляпе, аккуратный такой. У ног его две удочки. А ниже — большой омут, который мы ещё вчера облюбовали для рыбалки. Место уж больно привлекательное. Приглушено урчат большие воронки, выдавая глубину.

Взяв спиннинг, стараясь не шуметь и не остушиться на скользких бревнах, подошёл к рыбачку.

Не успел я заговорить, как довольно толстый конец одной из его удочек ушёл под воду.

Не торопясь, рыбачок подсек. Не опасаясь обрыва, дотянулся до лесы и стал, как на мотовило, наматывать её на руку. Руки его были в кожаных потрепанных перчатках.

— Леска у меня один миллиметр толщиной, Ему не обрвать, — пояснил деловито.

Он подвел под рыбку большой самодельный черпак.

— Ловко вы его, — не удержался я. — Кэгэ на три будет.

— Будет, — прозвучал ответ.

Оказалось, что таких сомят у него в мешке, прижатом бревном, уже два.

— На вот, — он протянул несколько дождевых червей. — Насаживай прямо на тройник у блесны и бросай.

Я соорудил насадку и попробовал укрепить удилица меж бревен.

— Надежнее укрепи, утацит, — вполголоса посоветовал рыбаку.

Я послушался его.

Мы поймали по одному соменку. Он — такого же, как и предыдущий. Я — чуть меньше и рад был беспредельно.

Глубина ямы здесь, по его словам, до девяти метров. Приехал сюда на рыбалку Андрей на велосипеде из Сорочинска,

где гостит у матери. Живет и работает в Оренбурге. По профессии — сварщик.

— Не могу летом без Самарки, к матери и к Самарке каждый выходной почти приезжаю. Эти места мои, с детства.

Вскоре он стал собираться.

— Хватит. Клева больше не будет, я с пяти часов здесь.

Подошёл Юрий, с которым мы сплавляемся по реке в резиновых лодках.

— Рыбка-то есть? — спросил он, поигрывая красивым и, кажется, не опробованным ещё спиннингом.

Лицо его, заросшее густой рыжей щетиной, сейчас было самым примечательным в нем. Походил он на какого-то сказочного персонажа. Будто специально придумано неким художником и собранно воедино: тельняшка, ладненькая куртка, брюки защитного цвета и большие, явно великоватые кроссовки. Глаза — синие, большие, широко открытые. Они поражают своим детским светом.

Рыбачок, видимо, уже освоился, понял, что мы не опасны. Повернув голову от полиэтиленового шевелящегося мешка с рыбой, который он собирался завязывать, поинтересовался, будто не слышал вопроса

— Лицо... того... красное какое... ошпарил, что ли?

— Да видишь, — доверительно признался Юрий, — не было со мной такого раньше: комары и занозы полюбили меня. Пухнет лицо от укусов. Не бреюсь, все равно жалят. Голова от укусов страшно болеть начала.

— А мазь? — спросил Андрей.

— А что — мазь? Они к ней привыкли, зверюги!

— Попы поют над мертвыми, а комары — над живыми, — утешил Андрей.

Увидев мою добычу, которую я, держа на кукане, прятал за спиной, Юрий сделал круглые глаза:

— Ты поймал соменка?

— Да, вот сейчас.

Он уперся взглядом в шевелящийся мешок с рыбой.

— Ну, вы, мужики, даете!

Отложив в сторону спиннинг, он левой рукой поддерживал край мешка, правой тронул за ус одну из рыбин.

— На червя? — деловито спросил он.

Андрей не спеша ответил:

— На пучок дождевых, штуки три-четыре на двойник сажаю и — хорош! Первый раз, что ли, видишь сома так близко?

— Э-э-э, ошибаешься, молодой человек, — сказал Юрий и выпрямился, передав край мешка Андрею. — Я на Волге вырос! Обижаешь!

— Ну и что? Видел я некоторых. На Волге живут, а червяка на крючок не могут насадить. Один разок у моей мамы такой квартировал, только молоко козье пил да книжки читал. Шкет такой...

— На квок сома можешь ловить? — небрежно спросил Юрий.

— Слышал, но не довелось.

— А на воде живешь ещё. Деревня.

Парень не обиделся.

— Посмотреть бы, тогда, конечно...

— А зачем тебе, — вступил я. — У тебя и так все отработано. Без добычи, как я понял, не бываешь?

— Не-не, — возразил рыбак, — сам процесс тоже очень важен.

— Процесс вот какой, слушай... — Юрий, нащупав в разговоре своё место, преобразился с полуоборота: — Квок — это такая штука, которой лупят по воде для привлечения сома. Он думает, что его так зовут к завтраку его сородичи. А возможно, кумекает что-то другое — наукой не установлено. Но факт: идёт он на этот звук! Лодка должна быть деревянная, другие, резонируя, издают непривычные звуки, и сом пугается. Лупить надо так, чтобы лодка тряслась.

— А как квок сделать? — поинтересовался Андрей, закуривая и присаживаясь на лесину.

— Квок? — переспросил Юрий и молча потянула руку за сигаретой к Андрею.

Тот с готовностью подал курево. Потом ловко кинул коробку спичек, и Юрий так же ловко её поймал.

— Квок лучше купить, их сейчас продают. Конечно, «сомовку» можно сделать из чего угодно, хотя бы из надвое разрезанной пластиковой бутылки или стакана. Но самому сложно попасть на удачную конструкцию. Это что-то наподобие «ноу-хау».

— Сам-то рыбачил? — поинтересовался я осторожно.

— Жить на Волге и не рыбачить на сомов? Вы что, ребята! — удивился Юрий. И вдохновенно продолжал: — Рыбалки

лучше, чем в дельте Волги, нет. Там водится до шестидесяти видов рыб. Некоторым везет, я видел: на квок ловят сомов до десяти пудов весом.

Мы слушали. Он продолжал смаковать:

— Звук образуется при выходе квока из воды. Длина ножа квока должна быть не менее двухсот двадцати миллиметров, ширина — от двух до шести миллиметров, смотря из какого материала: дюраль или дерево.

— Ловить-то на наживку? — уточнял Андрей.

— Конечно, — подтвердил Юрий неторопливо. — Он же хватает все: от утят до червей, ты знаешь.

— И лягушек, — подсказал я.

— Во! Лягушка для него — лучше всего!

— Я попробую обязательно в этой яме на квок, — загорелся наш новый знакомый. — Нож у квока делать деревянный или металлический? — уточнял он, обращаясь к Юрию.

Основательность ответов Юрия меня изумляла.

— Если металлический, то лучше брать титан, а деревянный — березу.

— Юрий, — не утерпел я, — ты так много наговорил, а я не понял, как устроен квок.

— У костра за чаем растолкую, малограмотным, — пообещал новоявленный соматник.

«Странно, — думал я, когда мы, расставшись с Андреем, возвращались к костру. — Юрий так много знает, но порой обнаруживает удивительную непрактичность».

Вчера, вручая мне вентерь, который купил года два назад, он прочел мне целую лекцию о том, как его ставить.

Я спросил тогда:

— Юра, ты когда-нибудь сам это делал?

— Ты знаешь, — нисколько не смутившись, ответил он, — ни разу в жизни. Руки не доходили, но так хочется попробовать!

Врун

Едем с работы в вахтовом автобусе. Молчаливые. Уставшие все. И тут входит, уж недалечко от нашего посёлка, на остановке Василий Тершуков. Оживились некоторые. Знают: развеселый Василий, что-нибудь обязательно сейчас ловко со-

врёт. Напрополюю. Но складно и заразительно! И все от души будут смеяться. Откуда только он всё берёт?! Его все так и зовут: Вася-врун. Не обижается. Ему самому пресно жить без его баек.

Сел Василий. И молчит! Не в обычай как-то нам это?! Первой не выдержала я:

— Вась, соври что-нибудь. Для души!

Василий безмолствует. Только в окно смотри. Как и не он в роде.

— Вася? — вслед за мной просит подруга моя, Надя Карнаухова, — Ну, что-нибудь выдай, ты ж не собственник какой? Зажался...

— Да некогда мне тут с вами, — отзывается серым голосом Василий, — не до придумок. Вот видите с мешком еду. Самарка разлилась, затапливает склады в «Заготзерне». Стихия! А там сахар, окромя всего. Соли этой тонны... Того гляди поплывёт всё в Самарку. Решило начальство раздать бесплатно продукты. Лучше уж так, чем пропадать добру. Успеть бы мне к раздаче. Народ там нарасхват метёт всё!..

Сказал так и выпорхнул из автобуса. Лёгкий он на ноги. Едем мы дальше. Напряженная тишина в автобусе. Доехали до конечной остановки. Вышли из автобус, и... спохватились:

— Бабоньки, — возгласила Карнаухова, — а мы-то что же? Нам сахар не нужен что ли? И соль?

— Вот именно, — согласились все с ней. — В магазинах нет, а на складах гибнет!

... Захватили мы мешки, и айда пешочком вприпрыжку в «Заготзерно». А до него километра три с гаком.

Прибыли на склады, а там сущий аврал. Только совсем другое, не как Василий нарисовал нам.

Баржа пришла, надо пока большая вода, зерно срочно загрузить и отправить в Самару.

— А где же здесь раздают соль и сахар? — спрашиваем.

— Какая соль, какой сахар? У нас тут сроду их не было! — отвечают. — Вот баржу загрузить надо! А на погрузке людей не хватает. Вы как раз прибыли! Он обещал нам подмогнуть грузчиками, Василий-то. Мы не поверили было? Где собрать народ, после рабочего дня?.. А он не обманул. Аж десять человек прислал.

Куда нам деваться? Хлеб ведь! Разве можно спиной повернуться?! До темна грузили баржу. Вспомнилось, как в былые времена с родителями на току лопатили... Ой да ну!..

...Встретила Тершукова я на следующий день и спрашиваю:

— Василий, что же ты с нами так?

— Как? — спрашивает, — вы же сами просили: соври, да соври!.. Я из уважения не отказал.

Истоки

Устав от назойливых поклёвок мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу. Стоял конец августа.

На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.

В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда внимание моё привлекло странное светлое пятно.словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.

До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, и наконец понял: это же мальчишка. Совсем маленький мальчишка в белой рубашонке!

Но почему один в такой дали? До нашей Утёвки километра три, но ведь он идёт совсем в другую сторону, по направлению к поселку Красная Самарка, а до него совсем не близко.

Я стал с нетерпением ждать приближения мальчишки, гадая, пройдёт он стороной по круче или мы встретимся. В полусотне метров от меня он неожиданно вынырнул из кустов, шумно плюхнулся в речку, набрал в фуражку воды и, хватаясь за оголенные корни, влез на кручу. Встревоженный его долгим отсутствием, я стал внимательно всматриваться в кустарник. И, когда заметил синюю струйку дыма, не раздумывая, поторопился к нему.

В глубине леса, чумазый, сорвав с себя мокрую рубашку, он бил ею, не останавливаясь, со всего плеча, по шипящим змейкам огня, обжигая пятки, перепрыгивал с места на место. Вы-

сушенную за лето траву огонь пожирал со страшной быстротой. С десяток юрких огненных ящериц ускользали из леса на опушку, на простор.

...Когда с огнем было покончено и мы устало опустились на черную землю, он сказал:

— Деда Матвея работа, точно.

— Это которого же Матвея?

— Да нашего Самосада, сторожа с мельницы, он меня обогнал с удочками совсем недавно. От его самосада пожар...

Кого-кого, а Матвея Чурайкина, по прозвищу Самосад, я помнил. Многие из мужиков здешних курили самосад, но такого крепкого и ароматного ни у кого не было. Секретом владел старик, за что и был отмечен прозвищем.

Спускаясь к воде, украдкой я присматривался к мальчишке. Я узнал его: Лёнька — сынишка Трохина, бывшего бригадира тракторной бригады. Ему лет десять. Ладненькая фигурка, у пояса на ремне самодельный нож и старенькая сумка, в руках стеклянная банка. На загорелом подвижном лице сама озабоченность.

— Ну и куда путь держишь, путешественник?

Он тут же отозвался на вопрос вопросом:

— А откуда вы знаете, что я путешественник?

— Да уж видно по снаряжению.

— Бабка у меня в Крепости (так ещё у нас называют поселок Красная Самарка), мамка отпустила к ней в гости.

Он присел у воды, поставил банку на песок. Взглянув на неё, я понял, почему он так странно шёл по берегу — в банке были стрекозы.

— А что, не побоялась мамка тебя одного отпустить?

— Не-е, я же не в первый раз. — Он встал, собираясь уходить.

— Ну раз так, пойдём к лодке чай пить.

— Спасибо, дяденька, мне некогда, а еда у меня в сумке есть.

Так я и не смог с ним разговориться. Надев мокрую (в дороге высохнет) рубашку, он ушёл.

— А ведь нет никакой бабки у него в Крепости, — скорее догадался, чем припомнил я.

...Вечером, возвращаясь в село, я всё же решил проверить свою догадку и свернул к дому Трохиных, того самого

Трохина, которому когда-то колхозное начальство доверяло объезжать молодых лошадей, что он и проделывал самоотверженно, поражая нас какой-то своей нездешней ловкостью и лихостью.

У белёсых тесовых ворот, чертыхаясь, отрывисто что-то говоря жене, располневший Трохин садился на дрожавший мотоцикл.

Когда я подошёл, Ленькина мать пояснила:

— Опять поехал искать нашего путешественника. Вот наказание-то. Хоть не выпускай из дому. Вбил себе в голову составить карту всей нашей местности — и все тут. Вот теперь, говорят, вверх по речке ударился... Колумб доморощенный. Вы бы хоть зашли как-нибудь к нам, поговорили с ним. Может, вас послушает, у моего терпенья уже не хватает.

Что я мог ответить ей, если у меня у самого хранится собственноручно составленная в детстве карта речки, начиная от нашего села и до ближайшей деревеньки. Если нас самих с Трохиным в детстве, когда-то задумавших добратся до верховья к истокам речки и оттуда спуститься на плотах, вернули с полпути, не дав осуществить одно из самых сильных желаний детства — отыскать начало родной речушки, увидеть тот родничок где-нибудь в осоке или под валуном, который дает жизнь целой многошумной речке.

Минуло более пятидесяти лет с того времени. Столько наворочено теперь в нашей общей жизни, столько утрачено. Люди в плену своего смутного времени, а вот она, Ленькина мальчишеская душа жива! Выныривает из-под завалов двадцать первого века!..

...Истоки... Они и сейчас манят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве. Это и ветла у дороги, разбуженная серебряным звоном отбиваемой в утренней рани косы, и наша саманная беленая изба, в которой, взрослея, я впервые не смог заснуть майской короткой ночью от щемящего и неожиданно осознанного чувства жгучей связи, и с первыми крупными каплями дождя, упавшими в распахнутое окно, и с пьянящим настоем сирени в посвежевшем и мокром саду. И — многое-многое другое...

Часовня на набережной

Совсем недавно на Ленинградском спуске в Самаре установили скульптурную композицию по картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге». В честь 170-летия со дня рождения художника. Картина эта сейчас в Русском музее в Санкт-Петербурге, а эта вот композиция — у нас на Волге. На волжском ветерке, на раздолье.

Так захотелось посмотреть «Бурлаков».

С моими-то ногами не сразу решилась. Давление успокоилось, я и двинулась в свой поход. Согласно задуманному, доехала на автобусе до Струковского сада, малость в тенёчке передохнула и — к Волге пешочком.

Редко я бываю на нашей старой набережной, всё больше на 2-й очереди её под Маяковским спуском.

Всё мне понравилось! И сама помолодевшая набережная с её газонами и серовой плиткой, и неожиданно возникший бронзовый товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни», наконец-то добравшийся до Самары.

Трудновато было мне с моим росточком, но дотянулась и я до его отполированного множеством ладоней бронзового носа.

Постояла около «Бурлаков», невольно вспомнив нашу поездку с Колей в Ширяево.

И невольно пошла по направлению в сторону часовни в честь Митрополита Московского Алексия, небесного покровителя города Самары. Эта часовня, как и Иверский монастырь наш самарский, натерпелась. Сначала она была деревянной, это ещё до революции. Потом стала из красного кирпича с белокаменными украшениями и главкой на восьмигранном шатре.

Как повелось у нас, после революции её закрыли, разрушили. Потом восстановили. Это уже, кажется, в 1997 году. Почему помню год? Вторая внучка родилась в это лето. Когда собирали деньги на восстановление, я тоже приняла участие. И так, и сама внесла. Немного моих денег, но есть.

Не знаю, как для кого эта часовня, а я едва представляю, что где-то там, в глубине веков, аж в 1357 году Митрополит Алексий — друг и наставник преподобного Сергия Радонежского, воспитатель великого князя Дмитрия Донского останавли-

вался на этом месте на ночлег в скиту у монаха-отшельника вблизи Самарского урочища — у меня дыхание учащается. Митрополит ехал в Золотую Орду лечить от слепоты жену хана Тайдулу. Была жизнь, которую и представить теперь трудно.

Тогда-то святой Алексей и предрёк, что тут будет воздвигнут город великий, в котором просияет благочестие. И который никаким разрушениям подвергнут не будет.

И верно! Стоит Самара нетронутой, столько выдержав!

Как всё переплетено в истории нашей. И российской, и нашего самарского края...

...Пётр Алабин, Александр Свербеев, Митрополит Московский Алексей...

...Недавно совсем была я в Утёвке на родине иконописца Григория Журавлёва, который родившись без ног и рук, писал свои иконы, зажав кисть в зубах. Он стал теперь известным не только у нас. Многим дорого его имя.

Подумала я вот о чём после поездки в Утёвку в Храм Святой Троицы и после пешего моего недавнего похода по набережной: Григорий Журавлёв крепко связан со многими известными в городе именами. Голова города Самары Пётр Алабин в своей книге «Во имя Храма Спасителя» отмечал, что Журавлёв по просьбе нашего десятого самарского губернатора Александра Дмитриевича Свербеева написал для иконостаса в Самарский Кафедральный собор икону небесного покровителя города Самары Митрополита Московского Алексия. Икона эта сегодня, спустя более восьмидесяти лет после разрушения главного собора Самары, найдена.

Вот бы где-то около этой часовни поставить небольшой памятник Журавлёву. Как самарскому символу мужества в православной вере! Как примеру стойкости и веры в жизнь!

Есть хорошая фотография братьев Журавлёвых. Брат Афанасий, незаменимый его помощник, сидит на стуле, а Григорий Журавлёв стоит рядом.

Изобразить их в бронзе! Народ бы отозвался. И денег бы, глядишь, собрали. Много ли надо?.. А дело — благое!

Разговор с сыном

Пожар за ночь уничтожил два двора, легко расправившись с тесовыми крышами. И теперь на месте пятистенника Суховых стояла почерневшая от копоти печка да чуть на отшибе торчала невесть как уцелевшая скворечница с раскрытым пустым ртом.

Несмотря на ранний час, на куче хлама копошатся стайкой ребятишки. Чуть поодаль, около палисадника, на свежошкуренном осиновом бревне сидит дед Андрейка. С пшеничными прокуренными усами и большими шишковатыми руками, которые мелко подрагивают, как бы прося работы, — таков дед Андрейка. Дедова саманная изба уцелела, сгорели деревянный сарай и погребница.

Поздоровались. Я присел рядышком.

— Свояк обещался прислать к вечеру трактор — свезти бревна на пилораму.

— Много ль сгорело?

— У Суховых подчистую все, а моё успели вынести, только вот книжки очкарика порастеряли. Да они тут никому не нужны были. Более тридцати лет пылились на полке в сарае.

— Очкарика?

— Жил у нас когда-то учитель Вадим Сергеевич — математик. Странный мужик. Да и то, какой он мужик? Мальчишка совсем, худосочный, как вон та скворешня. Все, бывало, говорил про себя, что знает только то, что ничего не знает. Как же, спрашивал, тогда учительствуешь-то? А так, говорит, каждый день приходится краснеть в классе.

И то верно, маловато, видать, в институте чему научился. Ночами так и сидел за книжкой. А нашим ребятишкам дай всё знать, и точка. Они по необразованности такой вопрос поставить горазды — профессора испужать можно.

— А сейчас где учитель?

— А вот, дружок, и не знаю. Я тогда в Куйбышеве в глазной больнице лежал. Он моей Захаровне сказал, что мать позвала к себе в Саратовскую область — она у него болела крепко. Писали мы с Захаровной с год после отъезда учителю, но ни слуху ни духу. То ли моя второпях при проводах что-то напутала с адресом, то ли те отбыли куда... Нестепенный какой-то был.

В брючках в обтяжку, кедах, с ребяtnей нашей шастал везде, вроде б и не учитель. Всё копались за селом в кургане, насобирали черпаков разных, стрел, говорили, целый скелет нашли. И всё это в школу. Музей у них, видишь ли, образовался...

Глубоко вдавив окурок сапогом в землю, дед Андрейка потянулся к топору.

— Ну, наговорились мы с тобой, как бы мне не запоздать в срок с бревнами-то. Покопошусь ещё малость.

В это время к нам подошёл восьмилетний внук деда Андрейки — Вовка, с обгоревшей тетрадью.

— Деда, вот ещё нашел.

— У тебя глаза молодые, посмотри-ка, может, кому сгодится.

Смотрю. Похоже, дневник учителя. На самой первой странице расплывшиеся фиолетовые строчки:

«Я понимаю, сын, что быть искренним всегда, во всем до конца, очень трудно. Поэтому, начиная сегодня разговор с тобой, я обещаю стараться быть предельно искренним. Почему я все это затеял? Потому что мне не хватает тебя, потому что так уж случилось, что мы не вместе, а вместе можем быть только мысленно. Тебе пока всего три года, мне — 23-й, но я буду говорить с тобой, как со взрослым, и хочу, чтобы ты прочёл эту тетрадку взрослым. И, может быть, понял бы нас с мамой...»

— Он что, разошёлся с женой?

— Разошелся, да как-то уж больно не по-человечески, не допускала его теща к сыну.

— Как так?

— Вот так. Всяко бывает. Я его винил сначала, а теперь вижу: тут дело не по моему разуму. Тут свой пожар, крепче нашего.

Под датой «20.06.80 г.» написано торопливо карандашом: «Понимаешь, я очень боюсь за тебя, хочу каждодневно, ежедневно быть около. Я хочу о тебе знать как можно больше. Мне надо знать, как ты относишься к кошкам, собакам, деревьям...

Помню, в нашем селе около озера стоял могучий дуб, казалось, он — олицетворение долголетия и мощи. Но вдруг в одно лето его расщепило надвое молнией. Он засох и весной уже не зазеленел. Так и стоял года три мертвым. Потом его спилили.

А вот как громадный пень сгнил и пропал вовсе — никто и не заметил. Теперь там, где был дуб, ровная лужайка, поросшая муравой. Тем, кто не знает, что здесь стоял такой великан, и подумать об этом трудно. И приходит минута, когда вдруг резанет в сердце за несчастную его судьбу. И вновь переживаешь все, как в детстве... Бывает ли такое у тебя? Понятно ли тебе, что жизнь травинки каждой, дерева, наша ли жизнь быстротечна и неповторима? И надо жалеть и дорожить ею?»

Пропускаю десятка два страниц. Открываю наугад. Строчки первого абзаца сверху, датированные маем 1981-го года, бьют деду Андрейке не в бровь, а в глаз.

«Видишь ли, краеведение у нас считается делом почти что несерьезным. Но ведь любовь к своей земле, речке, полю начинается не с абстрактного разговора о любви вообще, а с бережного отношения к истории родного края, с общения с сегодняшними людьми его, со знания того, какой она была и стала, окружающая нас жизнь».

Запоздало спохватившись, что, в общем-то, некрасиво читать чужой дневник, закрываю тетрадь. Хочется встать, оглядеться, будто заранее знаешь, что увидишь вокруг себя нечто такое, что никогда раньше не замечал. Кажется, будто учитель где-то здесь, рядом. Просто отошел на минутку, сейчас вернется, подойдет к деду Андрейке, и мы встретимся как старые знакомые.

Солнце уже взобралось на конёк почерневшей тесовой крыши, словно отдыхая, зацепилось за трубу, облепленную, как водится, галками.

— Дружок, — дед замолкает на полуслове, что-то ещё про себя решая. — А ведь ошибку я допустил — не сходил в те годы к нашему учителю на урок. Посидел бы, послушал, а?

«...Как же всё это давно было. Жив ли учитель?» — невольно подумалось мне.

Внезапно спохватился: а ведь сыну учителя теперь где-то около сорока! Где он, какой он?

Такой же как большинство из нас, увязших в суматошной нашей жизни, забывших откуда мы, от каких родителей?..

Или?..

Встретиться бы... И с сыном, и с отцом...

Корпоративчик

Я тут корпоративчик под Новый год вёл. Весёлые ребята собрались, ничего не скажешь. Во всех отношениях. Ага!

Все поначалу было о'кей. Танцы-шманцы, все такое. Разбавляю тосты своими прибабашками. Публика смеётся.

Движемся по накатанному. Карусель закрутилась! По правде сказать: осточертело мне всё это давно.

Но бабки зарабатывать надо. Набрался терпения ещё два сезона покальмить. Сыну старшему квартира нужна. Женился. Он на третьем курсе политеха, она — на втором. Крути папаша карусель!

...Смотрю шеф, Аркадий Михальч, одобрительные знаки мне подаёт. Мол, всё в порядке! И после каждого хвалебного тоста становится все представительнее, выше ростом. Только маленькие глазки его на большом лице сверлят буравчиками, беспощадно так.

А мне подсказали: «Смотри, не подвернись Михальчу, затопчет».

Смотрю: жена его, поначалу сидевшая с поджатыми губами, и та улыбается. Правда как-то настороженно? И не смотрит ни на кого.

Но шеф доволен! Каждой шутке моей смеётся, часто раньше всех. Непосредственно так. Басовато.

Я в раж вошёл.

Есть у меня всегда в заначке кое-что! ЭНЗЭ — так сказать, золотой запас!

Выдаю из заначки, раз такая пьянка!

Аплодисменты, на грани оваций!..

Решил передохнуть, пока все успокоятся.

Только подошёл к столику горло минералкой промочить, появляется дама. Я её с самого начала заметил, перед таким я невольно поначалу сильно робею.

Будто и со всеми она, а особнячком держится.

— Дима, — обращается она ко мне, — вы нас всех покорили! Мы в восторге от ваших шуток. Мы купаемся в вашей человеческой ауре.

— Спасибо! — отвечаю.

— Но это для всех у вас, — она элегантно кошечкой прошлась вдоль стола и оказался совсем близко от меня.

Холёная, с лучезарной улыбкой, глазастая блондинка.

— Дима, — говорит она мне негромко, — а для меня лично вы можете сделать приятное? Пустячок!

— Да мы! Да я! Всегда готовы, как пионеры! — отвечаю дураковато.

Волнуюсь.

Она продолжает улыбаться:

— Меня зовут Лена. И у меня огромное и редкостное событие: я родила сына! Я люблю весь мир! Всех люблю! И хочу, чтобы все об этом знали! Понимаете?!

«Понимаю, — отвечаю мысленно, — у меня у самого два оболтуса растут!»

А вслух по-гвардейски:

— Чем могу служить?

— Поздравьте меня, — говорит, — прямо сейчас, при всех! Громко! Торжественно! С блеском, как вы умеет! Вы — артист! У вас даже не талант, у Вас — дар!

Льет мне на голову патоку.

— А счастливый отец сына? — спрашивая, — имя его? Он здесь?

— Не волнуйтесь, его все знают. И даже очень!...

— Если женщина просит! — отвечаю, — нет вопросов!

Сделал Гошу знак, музыканты замерли.

Выхожу на подиум.

Поправил свою малиновую бабочку, костюмчик от Кардена и:

— Уважаемые дамы и господа!

Добрая сотня лиц смотрит на меня восторженно, в ожидании следующего моего шедевра.

И я выдаю:

— У одной из сотрудниц вашего замечательного коллектива, которая присутствует в зале, — я перевёл дыхание, — у очаровательной Леночки свершилось грандиозное, планетарного масштаба событие. У неё родился сын! Одним жителем на планете Земля стало больше!

Зал замер. Громыхал мой только голос:

— Это так замечательно! Пожелаем новорожденному, имя которого удивительным образом совпадает с именем вашего шефа, Аркадия Михалыча, здоровья и счастья.

Наступила пугающая тишина. Человека три захлопали, жиденько так. И тут же спрятали свои ладошки. Лица у многих вытянулись.

А лицо шефа сделалось ещё круглее. И багрового цвета. Его жена — головой чуть не в тарелке.

Чувствую запах палёного, а не пойму откуда?..

Рванул на всякий случай свою коронную «Калинку». Она у меня всегда в запасе...

Ну, потихоньку заработали за столами ножами, вилками. Кто-то стал подпевать.

Пройдошистый Гоша, как бы случайно проходя мимо, посветил меня в тайны мадридского двора. Он-то давно прижился к нему...

...Блин, откуда мне было знать, что глазастая блондинка — секретарша шефа, а по совместительству — любовница. И сын у неё родился от него. И ни для кого это не секрет, а наоборот — предмет всеобщего злословия.

Потом мне рассказали: чтобы как-то притушить страсти, шеф отправил её незадолго до корпоратива в длительный отпуск. Вернее с глаз долой. Она же прорвалась на вечер. И только, с неделю назад, страсти попритихли после прилюдного заявления Леночки «всё равно он на мне женится!». Только жена шефа, кажется, смирилась с таким своим положением. Только наступило хрупкое равновесие... и шеф отдышался... Всплыло вновь всё! И я: как некая подлодка! Блин! Субмарина! На вроде бы утихающей глади, появился! И прокричал в рупор поздравление на всю палубу! На всю округу!

Поле чудес! Да и только. Ещё «Калинку» выдал. Как издёвку... Думал, после этого вечера охранники шефа отмутузят меня. Обошлось, однако.

И сам шеф пока молчит. Держит паузу? Новогодние каникулы? Или не хочет связываться с балбесом? Махнул рукой. Худо, если он подозревает, будто у нас Леночкой сговор. Что она мне заплатила...

Тучки небесные

Случилось это осенью сорок четвёртого года.

Мне шесть лет. Лежу утром на печке. Через маленькое оконце во двор к соседям Ключевым смотрю, как через иллюминатор подводной лодки. Там во дворе туман и сумрак. Начинаю фантазировать. Угрюмая саманная банька с кривой трубой в конце двора начинает казаться мне частью выплывающей вражеской подлодки. Почерневшая калитка похожа на вход в подводный туннель...

Вдруг слышу всхлипывание. Плачет мама. Быстро одной ногой — на приступок, другой — на холодный пол.

Мама сидит около шестка, смотрит на костерок в печи:

— Мам, ты чё?

Она оборачивается ко мне. Я вижу её заплаканное, как у маленькой девочки лицо.

Молвит тихо, необычно пристально глядя мне в глаза:

— Иди ко мне, сынок.

Я подхожу совсем близко, не понимая в чём дело.

— Вот видишь, — говорит она и показывает в печь, — дым уходит в трубу. А потом — в небо. А там, в небушке, он попадает в тучки. — Она многозначительно поднимает указательный палец над своей головой.

Я слушаю и не могу сообразить, о чем она?

— А тучки гуляют по всему свету. Они странники! — сказал, так и посмотрела на меня в упор.

— И чё, мам? — не выдерживаю я.

— Эти тучки, могут увидеть нашего отца на фронте! — голос у неё становится вкрадчивым, незнакомым...

Я вздрагиваю. Мне становится не по себе.

— И чё? — терзаюсь я.

— Проси отца, чтобы он не печалился за нас. Мы-то выдюжим. Только бы он остался целым. И вернулся домой. Говори это дыму, а он передаст через тучки отцу на фронт. Помнишь, как он всегда любил смотреть на небо, на тучки небесные. Не знай как там теперь, на войне?.. смотрит ли в небо?.. Но ты говори! Чтобы он знал: мы его ждём!

— Мамочка, ты заболела? — вырывается у меня.

Она, сверкнув глазами, требует:

— Говори!

Я невольно подчиняюсь. Под прожигающим взглядом её немигающих глаз начинаю твердить как молитву:

— Папочка, роденький! Мы помним тебя! Мы ждём тебя! Возвращайся!

У меня начинает дрожать голос, губы деревенеют.

Смотрю в мамино лицо, в нем ни кровинки. Одни глаза мерцают бездонно. Я в них растворяюсь как в дыме. Уже не чувствую себя. Я весь во власти мамы...

Мама кивает мне одобрительно. И я снова обращаюсь к дыму, к папе:

— Бей этих гадов немцев! Не давай им спуска. Победи и скорее возвращайся домой!

Мне кажется, что сказано мало. Я добавляю:

— Силы небесные, тучки гремучие, разразите врагов наших насмерть. А папе помогите!

Я ещё что-то говорю. Тороплюсь. Ведь дрова уже догорают в печи... Скоро дым кончится. А тучи могут уйти... Шлю скороговоркой страшные проклятия немцам, которых никогда не видел... Я не могу уже говорить членораздельно. Начинаю мычать. Меня трясёт... Мама обнимает меня. Мы плачем...

Писем от отца так и не было.

А вскоре я увидел живых немцев, пленных. Они шли вдоль нашего огорода колонной. К водокачке, от которой потом начали копать траншею для труб, чтобы подать воду на железнодорожную станцию.

Немцы шли понуро. Передо мной мелькали непривычные, щетинистые лица.

Вели их всего четверо наших солдат, по два с каждой стороны. Злость нашла на меня. «Ах вы! Я вам!.. За всё!..»

Не помня себя, я схватил ком глины. Увесистый такой! И с силой швырнул в ближайшего тонкошеего фрица, замаячившего передо мной, как вышелушенный, болтающийся из стороны в сторону, подсолнух. Немец вяло попытался уклониться. Удар пришёлся по спине. Глухо шмякнулась глина о серую шинель.

Фриц споткнулся... Это подхлестнуло меня, я бросился за следующим комом рыжей глины. Никто не крикнул, никто ничего не сказал...

Сильная оплеуха мотнула меня в сторону. Я обернулся. За моей спиной стояла моя мама. В левой руке у неё был узелок с варёными мелкими картофелинами.

Край колонны смешался, замелькали протянутые руки... Мама приблизилась к идущим по дороге. Отдав узелок в толпу, отошла в сторону.

Когда я вновь взглянул на маму, она молилась. Я не мог понять, зачем она это делает? За кого молится? Теперь она стояла у дороги на возвышении. Изможденная, в полный рост. Моросил дождь.

— Может и наш отец вот так? Не дай бог., — сказала она, глядя в хвост уходящей колонны. И снова начал молиться.

А серая вереница сторбленных чужих людей, мало похожих на громких завоевателей, как едкая гусеница ползла по оклизлой осенней дороге.

И никто из немцев не смотрел в небо, как это делал мой отец. Они будто боялись, что набухшие осенней тяжелой влагой тучи, не выдержат всей тяжести проклятий, которые я наговорил перед печкой. И обрушат карающий поток свой! И этот поток смоеет разом всех немцев с нашего высокого волжского берега.

И не будет, невесть откуда взявшейся у нас тут этой жуткой колонны...

...А вдоль дороги под дождём стояли, как и моя мама, другие наши женщины. Кто в куртёнках, кто в фуфайках. Как статуи. Только живые. Смотрели молча со своей высоты. Одни женщины просто стояли. Иные молились.

Мужчин у нас на нашей улице не было. Все на войне. Кроме бородатого деда Ивана Саушкина. Он ещё на 1-ой Германской войне потерял обе ноги. В последнее время дед Иван редко выезжал на своей тележке за ворота. А в такую осеннюю слякоть и вовсе не смог...

*г. Самара,
2013-2015 гг.*

Дом над Волгой

...И когда в первый раз в жизни я попал на Волгу — она поразила меня своими людьми... Тот же тяжёлый, подневольный труд, также сгибались спины под многопудовой тяжестью и также велики были машины и пароходы — но люди были другие.

Широкобородые, рослые, они говорили громко и ходили так прямо и свободно, как будто никогда им не приходилось сгибаться.

Они пели красивыми свободными голосами, и самая печальная песня в их мощных грудях перерождалась в широкий и весёлый призыв к жизни...

**Леонид Андреев.
20 марта 1901 года**

Житие Марьи Петровны

Меня всегда тянуло послушать рассказы пожилых людей. Особенно в детстве.

Внешне неприметные сельские старики и старухи, начав рассказывать, казалось бы, только о себе, говорят по сути о всех нас. И говорят порой о нас яснее и проникновеннее, чем делаем это мы сами. Они-то уже очистились от наносного в жизни и суетного. У молодых это ещё впереди. С горечью и наивностью, может быть, жалел я о том, что крестьянство, лишённое грамотности, не вело дневников. Не оставляло после себя закреплённым пережитое. Уносило с собой такое, чего мы теперь и представить себе не можем.

Думая так, одновременно спохватывался: то, что я сам слышал или видел случайно, часто нельзя было поместить на бумагу. Потому, видимо, старики благоразумно и умолкали. Боялись? И это было. Но теперь мне, взрослому, порой кажется, что они боялись и другого. Опасались за нас, за молодых. Щадили нас. Жалели. Как бы мы до срока не разуверились в жизни, не посчитали её «бесполезным подвигом», как сказал о ней великий поэт Фёдор Тютчев. Конечно, они не знали этих его слов. Это я теперь думаю над их обжигающей сутью. И не совсем уверен: надо ли мне такое знание? И надо ли было русскому гению говорить так о русской жизни?.. Приобрёл я от этого что-то? Или утратил?..

А может, старики наши боялись сказать больше того, что поняли сами?

Пришло время и я пожалел, что не записал, пока мама моя была жива, хотя бы часть её рассказов. Сначала, по молодости, не догадался, а после, уже начав работать на заводе, всё откладывал на потом. А потом мамы не стало.

...Этим летом к нам под Самару на дачу приехала родственница моей жены Марья Петровна. Уже более тридцати лет живёт она с семьёй на Севере. Приехала с Надьма, как сказала, погреться.

На мои просьбы рассказать что-нибудь из своей долгой жизни она вначале отмахивалась:

— Не в обычай мне это. Кто я? Всего-то «булгахтер», как говорил мой муж. Кому интересно моё «житие»? Вот вокруг нас, как было, ещё может...

А тут съездили мы с ней в Октябрьск, где она раньше долго жила с родителями в бревенчатом доме на высоком берегу Волги. Пожили там три дня, в чужом теперь доме. Теперешний хозяин сдаёт его. И живут в нём кому вздумается. Последние полгода дом пустует.

Кого можно было, Марья Петровна проведала. Что смогла увидеть — увидела. Отогрелась душой...

На обратном пути в Самару вздыхала: «Дом-то, дом наш... Души в нём живой не стало, улетучилась...».

...И словно прорвало плотину. На протяжении всего времени, пока жила у нас, рассказывала, как она говорила, о своей «жизнёнке».

Рассказывала спокойно. Ни надрыва в голосе, ни слезинки на лице...

Мы с женой и внуком слушали...

До сих пор во мне её слова:

— Как ведь получилось: Волга и железная дорога в жизни оказались главными. Всё около них. Всё с ними связано...

Чужая жизнь, а сколько в ней близкого. После её рассказов я пытался кое-что записывать.

* * *

Не удалось мне в полной мере сохранить особый аромат её речи. Неожиданно Марья Петровна оказалась не только «калькулятором ходячим», как её называют знакомые, но и рассказчиком, немало замечающим и удерживающим в своей памяти.

Самое большее, что сделал, готовя эти свои записки: убрал чрезмерные подробности, характерные для её практического ума, и выстроил более-менее приемлемую последовательность услышанных, как я их для себя назвал, прозаических драм и случайных радостей чужой жизни.

«Я изменяю вам»

...Сколько годков утекло, а мало что забылось. Что с другими было, что папа с мамой рассказывали — помню. Словно со мной всё случилось... И будто мне сотни лет... Многими жизнями жила...

И братики мои, и сёстры, детки мои — все у меня ребятишками бегают... Брат Серёжа воевал на войне, а я все равно его только мальчонкой и вижу... Родни много. И вся она с Волги, с Сызрана, как раньше говаривали.

Дед мой по маминой линии Бондарев Фёдор Фёдорович развозил по городу ещё до революции жигулёвское пиво. Пиво доставляли в Сызрань из Самары с завода фон Вокано, а разливали на месте. Потом он с напарниками вёз бочки или бутылки куда надо.

Фёдора Бондарева многие знали в Сызрани. Работа у него была заметная.

А все мужики в роду моего папы Смирнова Петра Андреевича и деда Андрея Петровича издавна были извозчики. Своих лошадей имели.

Когда мой папа Пётр совсем ещё мальчишкой был, сел раз к нему в пролётку пассажир один. Это и решило папину судьбу. А может, и детей его, и внуков.

Оказалось, что пассажир не простой. Инженер. На железной дороге работает. По тем временам инженер-путеец — профессия очень серьёзная.

Несколько раз папа подвёз его на работу. А потом уж стал постоянно доставлять.

У папы-то моего желание огромное было на железной дороге работать. Не хотел он с лошадьми всю жизнь, как отец с дедом. Лошадей любил, а на душе другое было.

Вот один раз и говорит он седоку своему:

— А можно к вам на работу устроиться?

— А куда ты хочешь? — спрашивает инженер.

— У меня в семье все извозчики. А мне паровозы страсть как нравятся!

Весело засмеялся инженер:

— Лошадь на паровоз меняешь?!. Резонно!

А потом серьёзно так:

— Ладно, с начальством поговорю. Нравишься ты мне.

Потом папа рассказывал: «Я его в следующий раз везу, а он: вот к такому-то часу приходи. Я с начальником разговаривал».

Папа ничего родителям о задуманном не говорил. Не торопился.

Пришли они, значит, к начальнику. Инженер говорит:

— Вот тот парень, который паровозы любит.

— Ну, раз любит, — отвечает начальник, — возьмём в бригаду учеником слесаря.

Папа так рад был. Домой приехал и с порога:

— Всё! Не буду я больше извозчиком! Поступаю работать в железнодорожное депо.

Мать обрадовалась. А отец его:

— Да что ты? У нас все... Потомственно... Надобно потщовски: теми же ложками из того же блюда. Надёжней так.

— А я так не хочу, я изменяю вам. Я больше механизмы, железки люблю. Время теперь другое. Не лошадиное!

Так по-своему и свершил. Три месяца в учениках проходил. Там, рассказывал, мужики бородатые с ним учились, а он пацан совсем. И три класса.

На четвёртом месяце дали им задание. Я не скажу точно, какое. Кажется, притереть какую-то деталь. Он лучше всех сделал. И его слесарем по ремонту в цехе оставили.

У него желание огромное было учиться дальше. Взял у одного машиниста в депо книжку про устройство паровоза. Все механизмы изучил и через три месяца пошёл к тому же начальнику.

— Переведите меня, пожалуйста, на паровоз, хоть кочегаром.

Начальник со второго раза согласился:

— Ладно, — говорит, — удовлетворяю твою просьбу, раз ты, Смирнов, такой настырный. Попробуешь кочегаром, потом видно будет.

Прилепился к технике

Тогда поезд такой ходил, от Сызрани до Обшаровки, назывался — «Трудовой». На нём папа и начал работать машинистом. Не сразу, конечно. Но достиг, чего хотел. «Прилепился», как он говорил, к технике.

Очень хотел учиться дальше, потому как загорелся стать инженером. Чтоб дороги железные строить по всей стране. До самого Востока.

Все время с книжками был. Но на какие деньги учиться?! Смурной, заметили родители, стал ходить Пётр. Нервный.

Прошло некоторое время, он словно переродился. В церковь зачастил. Просветлел весь... Сама доброта. Начал соблюдать посты. Со своим другом Никитушкой в хоре церковном пел. Столько песен они старинных знали, а не шибко оба грамотные.

И тут папа объявляет родителям:

— Готовлюсь уйти в монастырь, в монахи.

Всполошились все в доме. Не знают, как и подступиться к нему. Он стоит на своём: «Я так решил».

Дед мой, Андрей Петрович, набожный был. Часто приносил домой церковные книги и читал вслух в большой комнате по вечерам. Все занимались своим делом, кто шил, кто вязал, и слушали.

А бабушка Прасковья не любила в церковь ходить.

В их проулке в Сызрани, напротив, поп жил. Он сквернословил, бил попадью, ел мясо, когда ни попало. Через забор всё видно было. С неохотой поэтому она в церковь с детства шла, только с матерью. Та чуть зазеваётся: она на улицу из церкви, и — домой. Мать ей: «Поп — одно, а церковь — другое, не гневи Бога!» А она своё, хоть бы хны...

Уж больно она была против монашества Петра.

А его вскоре в армию взяли. В морфлот. Всё и отодвинулось.

Служить папа попал в Кронштадт на боевой корабль, в машинное отделение. Потому как в машинах понимал, что к чему.

Друг Никитушка

Друга его Никитушку не взяли на службу. Перед самым призывом получил он увечье.

Как случилось?

Поставили они с отцом снасть большую. По-моему, на сома хотели. А вышел конфуз... Не собирались белугу обкладывать, а она зацепилась. Они и до этого белугу ловили. На пять пудов, на восемь. Но чтобы такую!

...Как увидели они, что наплав — жердина — пошла вниз по течению: прыг в лодку. И быстрее-быстрее за ней, чтобы не дать рыбине всю снасть на дно уволочить, не задеть за что-то.

Отец Никитушки, Василий, поймал рукой наплав, за оттугу схватился и начал вываживать. Приневолил он рыбину. Появилась у борта она. Багрить надо! А как её забagriшь, такую громадину? Она с лодку!

Никита был за вёсельника.

— Кукань! — кричит. — Её не забagriшь!

И сам — к корме. Когда она вновь вышла, «встала» возле борта, хватанула воздух и на какое-то время замерла, цапнул он кукан: одной рукой в пасть белуге, а другой — под жабры. Пошёл на риск в азарте. А рук не хватает, чтобы концы провздеть. До плеча руку утопил, а никак...

Рыбина сомкнула рот, да как мотнёт головой... и Никита ушёл в воду...

Как она разомкнула свои клещи — чудо!

Выловил Василий сына еле живого. Вывернула ему рыбина левую руку из плеча. И перелом случился ниже локтя. Потом не как надо кости срослись. Инвалидом сделала в один приём.

...Белугу эту всё-таки поймали рыбаки, которые опытнее. Оказалась в пятнадцать пудов весом.

Папа-то наш тоже свой вывих в жизни получил. Но об этом разговор впереди...

«Бог с тобой, иди...»

У папы старший брат был, Иваном звали. А у него жена Доня. Шустрая такая.

Мой дед, Андрей Петрович, пока ещё папа служил на флоте, попросил Доню приглядеть невесту сыну Петру. Чтоб, значит, тот опять не начал думать, когда вернётся, про монашество. Доня и постаралась.

А как раз Крещение. На Крымзе крестный ход был. Сейчас Крымза не та совсем. А тогда нормальная речка была. Вырубали на ней крест во льду и кунались. Народу сходилась, чуть не вся Сызрань.

Доня показала нашу будущую маму папе сначала в храме.

Мама в то время у портнихи работала. Потом уж рассказывала: купили сукна, сшили по-модному, чуть не до полу пальто. Я помню, оно потом долго лежало в сундуке, пальто это. Уже без воротника. Воротник огромный был, говорили. Жёсткий мех, блестящий. Этот воротник куда-то определили. Забыла, куда. А пальто лежало. На боках у него такие красивые строчки шли. И огромные железные дутые пуговицы. Три штуки. Тогда модно это было. И сапожки у мамы красивые, на шнурочках. «Кокетка» назывались.

Мама моя Рая аккуратистка была. Доня по субботам со своей матерью в баню ходила. Она ещё там обратила внимание на то, какое у Раи чистое бельё. Белое и аккуратное. Она его с помощью своей мамы парила в большом чугуне в печке.

...Рая папе в храме с первого раза, как увидел, очень понравилась. Потом они встретились на Крымзе.

После Крещения загорелся: «Пойдёмте свататься».

А Рае, маме будущей нашей, всего семнадцать лет. У Бондаревых пятеро детей было. Трое умерли.

Старший брат Фёдор не по любви женился. Как было дело? Любил он полячку, Бруновскую Соню. Через два дома от них жила. Семья Бруновских большая. Родни нет. И земли мало. Давали её на душу, на сыновей. А у них одни девки. Бедно жили. Фёдор зачастил к Соне. А мать его, Агафья, ни в какую: «Мы бедные, и ещё бедноту разводить. Нет, нет и нет!» Разговорили его. Женили на богатой из Засызрана. Взяли Устину Захарьеву. Но Фёдор не полюбил её, оказалась она гулящей. И выпивала, и покуривала. Это в то время-то!.. Я застала, видела её... Да... Родилось у них двое: Павлуша и Николай. Маленькие ещё были, когда Фёдора не стало. Он со своим отцом крышу своего дома крыл. Лето. Жарица. Достали из погреба квас. Он слез с конька. Напился холодного и лёг на спину на травку. Через три дня его не стало. Скоротечная чахотка.

Ладно. Я о папе с мамой продолжу.

Бондаревы с первого раза отказали. Смирновы — беднота. Прошло сколько-то времени, папа начал донимать Доню: «Пошли да пошли опять сватать Раю».

Направились они во второй раз свататься.

Не сразу сладилось дело. Но сдалась Агафья:

— Господи, — молвила, перекрестившись на икону, — Федьку женили против воли. Не сложилось у него. Нельзя упрямятствовать! Неспроста помер. Не в нашей воле...

И дочери:

— Нравится тебе Пётр?

— Нравится, — отвечает она.

— Ну, Бог с тобой, иди за него. Не с богатством жить, а с человеком!

Так было.

Получилось как!..

Только папа женился, его снова забрали, в четырнадцатом году. Во второй раз.

Всю германскую служил в Гельсингфорсе¹.

Случилась грыжа у него. Сделали операцию и отпустили в отпуск домой.

Когда вернулся на службу, его эсминец «Летучий» ушёл в море.

Командир другого корабля, который назывался, кажется, «Быстрый», взял к себе. Чтобы не болтался, значит, без дела. Больно понравился папа командиру по службе. «Я с командованием решу, оставлю тебя у себя», — так сказал ему.

Вернулся «Быстрый» с боевого задания. Пошёл папа в город и случайно встретил командира с «Летучего». Его команда тоже уже была на суше.

— Смирнов! Ты здесь!

— Да, на «Быстром» плаваю.

— Я тебя к себе верну!

Ну и борьба меж них, командиров, вышла. Тот не отдаёт. И этот требует к себе.

— Ты сам-то не против вернуться в свою команду? — спрашивает командир «Летучего».

— Конечно. Хотел бы к своим ребятам-матросикам снова.

— Ладно, сходим ещё один раз в море без тебя, вернусь, — говорит, — рапорт напишу. Заберу.

¹ Гельсингфорсе — ныне столица Финляндии Хельсинки.

Пошли они ставить мины и эсминец «Летучий» погиб во время шторма в Финском заливе. Остался из команды в живых один боцман. Когда подобрали, он уже ума лишился.

Папа продолжал служить на «Быстром».

Стремнина

Мама потом одну зиму жила у папы. Квартиру они снимали где-то у одной финки в Гельсингфорсе.

У этой хозяйки швейная машинка была. Мама шитьём зарабатывала и себе, и ей. Маму-то, когда ей было всего двенадцать лет, в Сызрани отдали учиться шить. Тогда не было таких училищ, как сейчас. Немка Дарья Карповна набирала девочек и обучала их ремеслу. Семья у немки была большая. Те девочки, чьи родители не могли платить, мыли полы, варили, убирались по дому. Это была плата за учёбу.

Родитель сказал: «Я лучше платить буду, только учите её сразу шить».

Мама хорошая была швея. Эта специальность и выручала нас всех.

А тут — февраль 1917-го.

«Ничего, — говорил папа, — не поймёшь: придут на корабль одни — своё говорят, а придут другие — своё».

Неграмотные были. Куда податься, не знали. Что творилось!

Дружок Гурьян подталкивал:

— Прислоняться к кому-нибудь надо. Посередке не устоять!
На стремнину выходим!

Папа так ни к кому и не примкнул. Не надо ему это было. Командир «Быстрого» хороший был человек. А пришли люди и начали команду смущать. Тянуть на свою сторону. Командир против. За дисциплину стоял. Зимой это было. Крейсера высокие такие. Подхватили матросики командира и выбросили за борт. На лёд. Разбился насмерть.

Судовые комитеты, папа говорил, верх взяли. Много командиров погибло. Двоих офицеров на другом корабле, он рассказывал, свои же матросы убили кувалдой. По голове, сзади.

...Вскоре он вернулся в Сызрань. На паровозе стал работать, в депо.

Недолго проработал...

С белочехами на восток

Как только белочехи захватили Сызрань, ночью тридцатого мая забрали папу.

Мама была беременна Надей. Ей стало плохо. Что делать? Врача нет. До больницы не добраться. Вокзал в руках белочехов. В городе переполох. И Самара на осадном положении.

...Папа пропал около года, до середины девятнадцатого. Мост через Волгу белые взорвали без него, при отступлении. Два пролёта изувечили.

Потом папа рассказывал: «Я — за машиниста, рядом помощник. Тут же охранник — чех следит, чтобы не набедоурили чего. Лишнего слова сказать нельзя. Остановки только по необходимости. Целый эшелон чехов везём на Восток. Все пути от Пензы до Забайкалья тогда были заполнены эшелонами с чехами. Во Владивостоке они намеревались перегрузиться на корабли».

Папа называл станцию, где они отделались от чехов, «Арысь». Это в Южном Казахстане.

Когда охранник заснул, на этой станции они пробки вывернули. Воду слили. И всё! Паровоз, как на приколе. И удрали. Блуждали долго. Была эпидемия тифа, оба заболели.

Очнулся папа в больнице. Без документов, без вещей — всё пропало.

Напарник неизвестно где. Скорее всего, не живой.

Когда поправился, вспомнил, как дело было. После больницы пошёл в депо, рассказал. Ему поверили там. Дали какое-то пособие, чтоб смог доехать до дома.

На товарных добрался до Сызрани. Не сразу приняли его на работу. Проверяли: по своей воле или по принуждению вёз белочехов.

Закончилась эта канитель, стал снова работать машинистом.

Рай на земле

Папа старательный был. Работал с большой охотой. В двадцатые годы привёл он поезд на пять минут раньше графика.

Его тут же вызвали к начальнику. Так ему надавали-настращали. Накричали. «А вдруг авария случится?! Поезд приведёшь, а хвост другого куда девать? Может не успеть уйти. Что тогда делать? Куда торопишься?»

Сильно переживал, когда ему говорили то, чего он не принимал. Не молчал.

Когда позже на железной дороге возникло целое движение за сокращение времени перевозок, он уже не работал машинистом. Но шишек за то, что досрочно приводил поезда, успел наполучать.

А тут предложили в партию вступить. Он и вступил.

Отец его, мой дед, отговаривал. А папа ни в какую:

— Я уже вас раз послушался, не пошёл в монахи. Теперь по-своему сделаю.

Заупрямился.

Отец ему:

— Это же разные вещи. Понимаешь?

— Понимаю, — отвечает, — цели партийцев схожи с теми, которые хотят достигнуть верующие. Только христианство обещает рай после жизни, а коммунисты — в этой жизни, на земле! Царство Божье на земле можно достичь. Коммунисты хотят дать его рабочему человеку, пока он жив! Церковь когда-то дать обещает, а новая власть — когда живём!

Дед Андрей аж захворал от таких его разговоров. А папа, будто ему кто на ухо нащёптывал, сделал, как захотел.

Камешки с Байкала

В тридцать четвёртом, когда в нашей семье было уже шесть ребятишек, папу направили на подмогу, как партийного, на Дальний Восток. Мы и поехали всей гурьбой. Мне было тогда три года. Я ничего не помню — из разговоров только.

Мама рассказывала, что мы не одни ехали. Две семьи было — наша и Борисовых. Каждой семье по вагону выделили. Смирнов да Борисов — оба машинисты. У обоих коровы, а у нас ещё и лошадь. Семью из восьми голов кормить надо. В один вагон погрузили скотину, в другой — сами с детьми. У Борисовых трое ребят было.

Месяц ехали. Приехали на станцию «Ерофей Павлович»¹ Амурской железной дороги. Это за Читой. Далеко.

Три года прожили там. Отец сначала работал машинистом паровоза, как и Борисов. А потом их обоих перевели в службу техники безопасности как очень грамотных. Следить за состоянием паровозов и вагонов.

Часто бывало: начальство сверху требует, чтобы поезд отправить тогда-то и тогда, а папа: «Нет, нельзя. Надо ремонт делать, устранять неисправность». Не мог покрывать.

Где правда? И нельзя, и надо. Маялся он со своим характером. ...Как получилось? Чтобы папе попасть в контору, надо было идти через мастерские, где паровозы ставят на ремонтную яму. Яма эта глубокая. Рабочие идут, а в помещении всё время пар, плохо видно. Если яма открыта, зажигали красный свет: дескать, путь закрыт. Если зелёный — открыт путь. Зелёный свет дали, а её решёткой не закрыли.

Папа и ещё один молодой парень упали в эту яму. Кто с ним работал, говорили, что специально так устроили. Чтоб не препятствовал. Надоел он со своей дотошностью. Специально — не специально... Начальство-то помалкивало. Не скажешь точно: кто и чего?

Уж очень папа с детства стремился к машинам. Вот машины его и ухайдакали.

Около двух часов они провалялись в этой яме. Хватились их, пришли домой к нам, а мама: «Он на работу ушёл». Когда их нашли, парень был мёртвый, а папа без сознания. Потом оказалось, что у него в двух местах перелом позвоночника. Вот тебе и рай на земле!..

На второй день папа начал говорить. Выжил. Через полгода стал задыхаться. Врачи сказали: «Вам здесь не климат». Как срубили его. Расстроили ему все здоровье лекарствами. Когда приехал в Одессу на курорт, показал тамошнему врачу рецепты на лекарства, которые он принимал. Тот качал головой, приговаривая: «Они же вам сердце травили. Куда это годится?» Что скажешь на это?

¹ Ерофей Павлович Хабаровов — знаменитый русский землепроходец. Именем Хабарова названы огромный край и его центр, станция «Ерофей Павлович» на Транссибирской магистрали и деревня на реке Лене — Хабаровка.

Тогда на железной дороге аварий и несчастных случаев полно было. Непокойно.

Приезжал народный комиссар путей сообщения Каганович разбираться. До Смирнова ли? Каким был и каким стал папа после увечья? Как небо и земля! Дали ему инвалидность. Вторую группу.

Так вот! С кривдой жить больно, а с правдой тошно.

Надо было возвращаться назад в Сызрань. Опять дорога, половина России на колёсах. Тут уж помню, как мы ехали.

Когда поезд стоял, я камешки собирала. Прямо на берегу Байкала. Они были с одной стороны обычные, а с другой — как обтёсанные. Красивые.

Я потом у нас в Жигулях таких не видела. Набрала этих камешков, сколько хотела. Долго они у меня были. И в Сызрани, и в Октябрьске. Камешки с Байкала! Играли в разные игры в них. Были они и белые, и коричневые, и голубые.

Помню, как мы мимо станции «Батраки» ехали. Там мой мешочек с камешками чуть было не украли. Подхватили, думали, что-то другое в нём. Он же тяжёленький.

Приехали мы в Сызрань близко к осени. У папы в городе сестра Таня жила. У них семьяца. Да мы нагрянули. И началась наша новая жизнь на старом месте.

Папа до самой смерти так и не поправил здоровье. И наша жизнь после беды этой стала такой, какой получилась.

А что наши жизни тогдашние? Как камешки меж колёс паровоза... Не видно их. И некому видеть. Того и гляди, как бы совсем в пыль не стёрло. Такие колёсища...

В Батраках

Живём у тёти Тани и никак не можем купить дом в Сызрани. И корову, и лошадь продали перед отъездом, а денег маловато. Ехали с Дальнего Востока больше месяца. Потратились.

Тридцать седьмой год. Мне уже шесть лет.

Летом тепло, а наступила осень, мёрзнуть стали. Спали-то кто в коридоре, кто в сарае.

У тёти Тани старшая дочь Лиза была замужем за Никитой Ушаковым из Батраков. Приехала его мать, посмотрела на нас и говорит:

— У меня подруга дом продаёт, Карпухина Васса.

Папа и зацепился, поехал в Батраки. Дал задаток за дом. Составили бумагу. Если владелица дома передумает продавать, то возвращает задаток и ещё такую же сумму. Если папа откажется покупать, деньги остаются у Вассы и столько же папа доплачивает.

Приехали потом дочери к ней из Самары:

— Что ты делаешь? Не продавай.

А Карпухина деньги уже почти все потратила. Продала. Куда деваться?

Дом этот был привезённый. Раньше плоты связками гоняли с верховьев Волги. Чтобы подработать, мужики срубы делали. Ставили их на плотях. Когда пригоняли плоты, срубы продавали. В Батраках таких домов было немало. Брёвна толстенные. У этих брёвен выпиливали из середины доски на пол, на потолок. Края на стены гнали.

Когда-то дом стоял у самой почти Волги. А потом начали железную дорогу расширять, пути добавлять. Станция узловая. Оренбургская железная дорога начиналась с Батраков. Много чего достраивали. Дом и перенесли. На пустырь, вверх, в сторону Линёва оврага. Целый там порядок выстроился. Так оказался наш дом над Волгой. Случилось это в 1905 году. Уже сто четыре года прошло.

Стоит домина. И не покосился. Крышу несколько раз меняли. Сени тоже, из таких же сосновых брёвен. Одной породы. Потолка у сеней сначала не было. Сразу крыша, и все. Видел, какие сени большущие, два окна. Папа лавку смастерил широченную. Поставили две керосинки. Готовь — не ленись! Тут же, на лавке — чугунок двухвёдерный. Слава потом крышку к нему сделал деревянную. Вода всегда была рядом.

Первую зиму кое-как прожили. Неухоженный дом был. Клопов!.. Ужас! Внутри дома стены оштукатурены глиной с соломой и побелены. Как только весной потеплело, глину всю отодрали, дранку тоже. Папа удивился, какую красоту закрыли глиной!

У нас в переулке за углом жил печник Корней Чудаков с женой Марфушкой. Папа с ним договорился и голландку с печкой переложили. Поменьше сделали. Между ними промежик получился. Сверху папа сделал полати. На них мы и ночничали.

В переднем углу — икона, в заднем — печь. Так и зажили.

Папа мастер был по железу. Сделал короб для голландки. Печку мы почти и не топили.

Сестра Надя на угольном складе работала. Там выписывали уголёк. В тележке мешками через железную дорогу наверх возили. Им и топили.

Голландка наша была с поддувалом. Весело топилась. Уголёк горит понемножку в сторонке. Мама поставит чугунок и в нём побулькивает. Даже булочки она пекла в ней. Папа противень сделал. Небольшой, как раз, чтобы помещался. Приспособились. Всё бы ничего, но беда с погребом, который под полом в сенях. Перерубы прогнили и он просел сильно. Что делать? Прослышали, что шпалы на дороге просроченные меняют. Разрешили продажу. Кому на строительство, кому на дрова. Мы купили тридцать штук. Подняли пол. Расчистили. Положили шпалы. Старые они, а креозотом воняют крепко. Потом вроде ничего. Попривыкли.

Наши полы в доме и в сенях мы берегли. Они некрашенные были. Веником жёстким натрёшь, водой смоешь. Высохнут, жёлтенькие такие. Светятся доски! Широкие. Но пришло время, стёрлись. Опять: что делать? Долго по стёртым-то шлёпали. Отремонтировали пол, когда уж я на переправе работала.

У Вани Солоухина на Правой Волге дочка на комбинат устроилась. Про ремонт разговорились. А он: «Я с Нюрой поговорю, у них там плиты ДСП поломанные, нестандартные выписывают. Дешевле будет».

Выписали. На машине привезли тридцать квадратных метров. Всего за девяносто рублей. Перестелили пол. Проафили. Пришло время, покрасили. Всё как полагается, чинчинарём...

В нашем доме все выжили

Папа больной. Детей, как галчат в одном дворе. Надя в восемнадцатом году родилась. Сергей — в двадцать третьем. Таня — в двадцать пятом, Слава — в двадцать девятом. В тридцать первом — я. А уж Володя — на Дальнем Востоке в тридцать шестом, за год до того, как с папой случилась беда.

И все шестеро выжили в нашем доме в Батраках. Умер один Андрей, ещё когда родители в Сызрани жили, первенький. Насильственно, мама считала, помер, от незнания. Не так лечили. У него понос сильный открылся. Врачи не разрешали ничего

давать есть. Только молочную кашку. Молочную кашку... А из него плывёт всё. Похоронили. Два года всего-то было.

А тут Володя заболел, тоже в два годочка. Уже в Батраках жили.

Точь-в-точь всё, как с Андреем было. Мама вымучилась. Потемнела лицом. Молилась тут уж она за него непрестанно.

Весной дело было. Вынула она из погреба в чашке квашеную капусту и оставила на столе. Ушла-то на минутку за чем-то во двор. Вернулась, смотрит: Володя дотянулся ручонками до чашки и полными горстями капусту в рот тащит. Да так торопится! Мама не стала мешать ему. А он на другой день снова свои ручонки к чашке этой потянул. Так и поправился через несколько дней. Кислоты, что ли, не хватало в организме, а мы не знали. Может, и другая причина какая? Совпало...

Но выжил!

Знать бы маме, когда Андрей болел, про капусту-то...

Она меня любила

Наша учительница Клавдия Андреевна, как входила в класс, сразу начинала кричать. У всех уксусное настроение, а меня смех берёт. У неё слюни летят. Засмеюсь, а она:

— Выйди за дверь!

Выгоняла меня то и дело.

Одевалась очень неряшливо. Всё-таки учительница, нельзя так. Из-под юбки у неё постоянно что-то моталось.

Однажды кто-то кинул варежку. Я сижу, пишу. Варежка бухнулась ко мне на парту. Чернильница и опрокинулась. Не проливашка. Такая, с дудочкой внутри. Но всё-таки чернила попали немного на тетрадь. Я схватила варежку и, не глядя, кинула, откуда прилетела. А она попала на стол Клавдии Андреевне. У неё не чернильница стояла на столе, а бутылочка вместо неё. Она упала и по учительскому столу потекли чернила.

Она:

— Иди за родителями! Немедленно!

— Ой, извините, — пролепетала я.

Папу я побаивалась, хотя он никогда меня не наказывал.

Я замешкалась. Клавдия Андреевна сунула мои книжки мне в сумку, толкает под лопатку:

— Иди, иди! Иначе хуже будет.

Деваться некуда. Пошла.

Прихожу домой, папа спрашивает:

— Что такое? Почему — в слезах?

Рассказала.

— Пойдём, — говорит, — в школу.

Пришли. Клавдия Андреевна сразу:

— Она смеётся постоянно. Мешает. Я её выгоняю.

Я стою у двери. Она ещё что-то говорит, громко. Как начальница.

Папа тихо возражает:

— Вы неправильно делаете. Такое воспитание на пользу не пойдёт. Этим ничего не добьётесь. Вы пожилой человек, должны понимать. Выгонять из класса — негодное дело. Когда же учиться в таком разе? Школа — это тот дом, где разумность и терпимость.

— Будете меня учить?! — взвилась учительница. — Это покатательство с вашей стороны! И потом, у меня тоже нервы есть! Я не железная! Какое у вас образование? Вот и оно!.. Два класса и коридор!

Папа взял и вышел. Не стал больше разговаривать.

...Как-то быстро потом она уволилась. Старая очень. Шепелявила сильно так...

Вместо неё пришла Александра Григорьевна. Тоже женщина в годах. Плохо видела и забывала, где мел лежит. Но она совсем другая: интеллигентная. Полюбила я её. И она меня любила. Не успеет ещё по арифметике вопрос задать, а я уже руку тяну. Смеялась весело надо мной. Выделяла. Удивлялась вслух, как быстро считаю. И по письму у меня неплохо получалось. Я часто правила не знала. Как-то так, по смыслу всё ясно.

И радостно от этого.

«Здрасьте!»

Тётя Таня, у которой мы когда-то жили в Сызрани, часто к нам потом в Батраки приезжала. Наш папа был младший у них в семье. Он с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого, а тётя Таня на четыре года старше его. Она уважала папу. Может, ещё и оттого уважала, что муж её, Николай, был никакой. Ни

украсть, ни покараулить. И никакого не было у него в руках ремесла. Выпивал здорово. Ходил ямы копал, погреба. Что-то по мелочи делал. То в бригаде, то один. Приносил домой копейки. Жили больше на то, что зарабатывал мой дедушка. А Колька-то, если и заработает что, всё тут же пропьёт. А не заработает, лопату продаст, всё равно выпьет. На другой день занимали у кого-нибудь, чтобы лопату купить.

Было у них трое детей. Старшая дочь Соня, потом Лида и младший Николай. Соня на фронте погибла. Николай заболел туберкулёзом и рано умер. Лиза на Север уехала. И через год там умерла.

* * *

У нас одно лето много тернослива уродилось. Вот тётя Таня за терносливом и приехала к нам. Он такой крупный. Чёрный, прямо аж сизый. Она так радовалась ему. Набирали мы тернослив в вёдра. Она его в Сызрани продавала. Всё, какие-никакие, а деньжата.

Говорила она нараспев:

— Братец Петя, как я соскучилась! Как у вас в семье покойно!

Я на улице была. Вошла и слушаю её молча.

Говорит, а сама гостинец вынимает: большущий такой крендель. Сушки — маленькие, она их привозила в прошлый раз. А это — громаднющий такой крендель. Тётя Таня на него смотрит и сама радуется. И всем хорошо так от её лица светлого.

Мама говорит:

— Марьюшка, ты чего не здоровкаешься? Нехорошо-то как...

Я застеснялась и — ширк в спальню за шторку. Оттуда наблюдаю.

А тётя Таня:

— Марья! Иди сюда. Ну, подумаешь, не поздоровкалась! Может, забыла.

И улыбается.

Я подхожу. Она подаёт мне крендель. А я вместо «спасибо» говорю:

— Здрасьте!

У меня в голове это слово застряло.

Все смеются. Мама говорит:

— Вот это да! Только за крендель здоровкаешься? А спасибо?

А я от растерянности, что ли, спрашиваю тётю Таню:

— А что ещё в сумке есть?

— Хочешь ещё поздороваться? — весело спрашивает папа. Все снова начинают смеяться. И мне весело.

«Ой, ой, о-ё-ёй...»

Наконец-то в Батраках мы купили корову. Радость какая! Известно: корова на дворе, харч на столе.

Корова была большая и пёстрая. Звали её Ранеткой. У неё было белое пятно на лбу. И ещё по одному на спине и на боках. Большущие и тоже белые.

Умница была Ранетка наша. Можно и не ходить, и не встречать её из стада. А я любила это делать. Мама доить начнёт, а она её лижет и мычит. Куда как соскучится. Молочница была. И хоть бы кого тронула когда. Не пырнулась. Золото недооценённое, а не корова!

На нашей стороне Волги, на правой, не было травы. Траву мы возили с левого берега на долблёнке. Лодка из цельного дерева. Большая такая сомина, метров пять длиной, а то и поболее. Края лодки обшиты досками. Лавочки — три штуки. Две пары вёсел. Всё основательно так. Папа звал нашу лодку почему-то редедей¹. На носу лодки — цепь. Рядом якорь. Была ещё для неё рама на колёсах, как тележка. На ней возили лодку, когда вода убывала.

Лодку оставляли на зиму на берегу. Для этого была цепь и огромный замок. Всё, что связано с лодкой, Волгой, нашими поездками за сеном, мне так по душе было. Папа всё говорил, что мне бы мальчишкой надо родиться. И правда. Я жалела, что такого не случилось. Особенно я любила, когда в затоне плыли. Тихо кругом, вода гладкая, как в блюде. Слава с Володей на вёсла наваливаются. То лопасти глубоко в воду погружают, то в небе ими, как папа, усмехаясь, говорил, «колёса крутят».

¹ Очевидно, имелся в виду известный в своё время на Волге буксир с железным корпусом и двумя паровыми машинами «Редедя князь Косогский», построенный в 1890 г. по заказу судовладельца Ушакова. О «Редедее» — первом силаче Волги, ходили легенды. Рассказывали, что он водил на буксире до сорока некрупных барж.

А папа гребёт, не торопясь, экономно, как бы играючи. С уважением к воде... Спина у него прямая, не прогнётся. По-другому ему нельзя с его позвоночником. Руки работают, как механизмы какие. Будто казак в седле сидит. Красиво!

...Сена на лодку навалим целый воз и плывём потом по течению. Дух захватывает!

Левый берег ровный такой. Правый — стеной стоит. Наверху, в Костычах, церковь. Помолюсь потихоньку на неё, невольно, рука сама... и сижу, чуть дыша. Чего только глаза ни видели потом за жизнь, а эта вот картина...

Знала, что в церкви-то тюрьма устроена, а всё равно помолюсь... Купола притягивают.

...Папины истории любила слушать.

О том, как в старину царь Иван Грозный в походе своём остановился в наших Жигулях. И захотел он своё войско сосчитать. Велел каждому воину своему горсть земли на одно и то же место бросить. Каждый и бросил, коль царь велел. Так образовался курган великий. С тех пор зовут его Царёвым.

Как мне хотелось на этом кургане побывать! Ещё я больно желала Разинский — Молодецкий курган увидеть. Столько про него слышала... Песня про него... какая могучая!

И ещё одна песня была. Особенная. Я всё ждала, когда папа вспомнит про неё. Он часто её пел. Откуда она такая у него?

*Ой, ой, о-ё-ёй,
Дует ветер верховой,
Мы бредём босы, голодны,
Камнем ноги порваны.
Ты подай, Микола, помочи,
Доведи, Микола, до ночи.
Эх, ухнем, да ой, ухнем!
Шагай твёрже, друже.
Ложись в лямку туже.
Ой, ой, о-ё-ёй.*

...Сомовину у нас вскоре украли. Замок отбили и укатили. Тут уж нам совсем тяжело с сеном-то стало...

* * *

А на следующее лето новое несчастье. На бедного Макара все шишки валяются. Пропала наша Ранетка. Папа пошёл встречать, а её нет.

Он к пастуху:

— Где Ранетка?

— Не знаю, все были здесь...

Ходили-ходили мы с папой. Нашли. Собаки её покусали. Там сады и колючая проволока. Она на колючке повисла. Сзади вымя как будто ножами посекали. Кожа и мясо клочьями мотаются. Скотину водить — не разиня рот ходить. Да, разве разиня рот ходили? Нас не хватало. Туда-сюда... Пришлось папе зарезать Ранетку. Так я ревела тогда, убежала в сарай...

...Сколько уже годов прошло, а всё помню папины песни и Ранетку. Да разве только их?..

Будто ляжка-то бурлацкая до сих пор... И плечи от неё горят.

* * *

Всё к одному: лодку украли, коровы не стало. Горе. А тут как обухом — война! Сравнимо ли с нашими прежними бедами?

Ой, ой, о-ё-ёй...

Пошло-поехало!.. Серёжа, едва окончив курсы трактористов в Батраках, ушёл добровольцем. А мы, которые остались, казалось, были вдали от войны, а не в стороне от неё. Похоронки начали приходить, раненые поступать. В Сызрани одиннадцать госпиталей развернули для фронтовиков.

От Серёжи, брата, ни единого письма с фронта. Где он? Что с ним?

Неучи

...Старшая сестра Надя недовольная всё была, корила родителей: «Вот вы купили дом в Батраках. Дети неучами остались». Она так говорила, потому что на поездки в Сызрань нужны были деньги. А нас пятеро, кроме неё. Где их столько взять? Таня, когда окончила седьмой класс, всё же поступила в трикотажный техникум в Сызрани.

А война началась, ушла из него. Поступила в военное училище, эвакуированное из Москвы в Сызрань.

Есть нечего, носить нечего — она так и решила. А подружка Тани, Роза Ивантеева, доучилась в техникуме. Уже после войны в Ригу попала. Там замуж вышла. После институт окончила. Раза два приезжала в Батраки. Я её видела. Как не наша стала. Чужая. Будто и не тут родилась. Первой не поздороваются. И говорить как-то по-другому стала.

А Таня всю войну прослужила в метеорологической службе. Они с Леонидом и поженились на фронте. В Польше. Расписались. Он — лётчик, не хотел откладывать на потом. Каждый раз мог не вернуться с вылета. Командир полка выдал молодожёнам подтверждающий документ, что они в законном браке. С печатью и росписью документ.

Обоих уже в живых нет, а бумага сохранилась. У меня в Надьме в шкафу лежит до сих пор. Для чего храню, и сама не знаю.

...Любила я Таню очень.

Молочко от чёрной козы

Не стало у нас коровы Ранетки, прошло какое-то время, мама сильно заболела.

В войну какое питание? Вот и сказалось... И о Серёже неотступно она думала: где он, что с ним? Не случилось бы самого страшного...

Уже лёжкой лежала. Врач посмотрел, послушал и говорит папе:

— Хочешь, чтобы Раиса Фёдоровна была живая, усиль питание. У неё слабость от недоедания. Молочка бы...

Шумилина Василиса родом из-за Волги, с Бестужевки. К ней родные из села привозили зимой на санках, а летом на лодках молоко, тыквы, смородину. Торговали потихоньку.

— Коза нужна, — говорит отец. — Помоги купить.

— Ладно, спрашиваю, — отвечает Василиса.

На другую неделю родственница её приехала тыквами торговать и ведёт на верёвочке козу. Чёрная коза такая. Нам подсказали, чтобы молоко было от чёрной козы. Полезней. Она чёрную и привела.

Появилось молоко, мы стали то лапшичку, то кашку манную варить. То так мама попьёт. Яички на последние деньги покупали. Поднялась мама. Стала потихоньку ходить. Эту козу Маню она так полюбила, так потом её берегла...

Разговаривала с ней. Они умные, козы-то. И чистюли. Вот откуси сначала сама, а потом дай ей. Дак она аж губы скривит и отвернётся. Видал, какая?!

Солнышко с веснушками

В войну под нашим бугром нефтебаза была. Часто там либо солярка, либо бензин попадали в Волгу. Сильно рыба пахла. С баржей качали мазут, керосин, машинное масло, бензин в баки, потом в цистерны. И везли куда надо — на войну.

Ребята рыбачили подальше от нефтебазы.

Володя летом спал на сеновале, чтобы не тревожить нас утром, когда уходил на рыбалку. Вечером нароет червей и махнёт, едва солнце появится.

Папа всё шутил: «Смотри, промысловик, утонешь — домой не приходи!»

Часов в восемь-девять утра Володя уже рыбу несёт. Кукан до самой земли висит. Подкармливал нас сорожкой, густерой. Папа не рыбачил, Слава тоже. Серёжа на фронте.

На папе многое держалось в доме. На рыбалку у него здоровья не хватало.

Летом мы мясо не видели. Какое мясо? Суп варили с яйцом, картошкой, луком. Бочку из-под огурцов после зимы папа пропарит, чтоб не пахла, и делали квас. Восемь ведер. Мама умела готовить квас хороший. Хранили его в погребе. Погреб набивали снегом, сверху насыпали опилки. Если отец курицу зарежет, то сразу сварит, покруче посолит. И бульон готов. Из бульона потом суп — пожалуйста.

Керосин бывал очень редко у нас. Летом варили на таганке: круглое кольцо такое из железа и три ножки. Всё во дворе, на свежем воздухе. Многие в Батраках так делали.

Посёлок потом в 50-е годы переименовали. Стал город Октябрьск. До того был районом Сызрани.

Что-то не шибко заметно было, чтобы от этого переименования лучше стало. Долго ещё «батрачили».

...Помню, Володя судака поймал. То всё бель небольшая, а то судак. Наверное, около двух килограммов. Прибежал весь чумазый. А довольный-то! Ещё бы! Никогда такого не ловил. Соседи приходили смотреть. А он говорит и говорит. Как добычу вытаскивал, как чуть было не упустил. Радость плескучая:

— Я так хотел его вам всем показать. Чтоб видели, какого поймал! Смотрите, он длинней моей руки!

Папа приглаживает усы и спрашивает:

— А крючок-то он оторвал?

И тут только Володя увидел, что леска без крючка болтается. Удочка у стены сеней стояла. Как пришёл, так и забыл про неё. Всё про судака да про судака...

— Это Санька Кичайкин слямзил крючок. Ему завидно было, что такого поймал! — огорчённо высказал догадку Володя.

Спрыгнул с крыльца, подскочил к удочке и — в слёзы. Лицо мокрое. Только что было сияющим, глаза блестели. А тут, как старичок. Сел на порог и в землю глядит. Таким горестным стал. Жалко...

Папа говорит:

— Когда ты сильно торопился домой, может, за камень зацепил и не заметил, как он оторвался. Не спеши дружка своего обвинять. А если не он виноват? Потом самому нехорошо будет.

Сказав так, пошёл в сарай и принёс крючок.

— Возьми. Я его давно берегу. Как знал, что сгодится.

— Папа, ну он же большущий какой! На него не порыбачишь. Даже червяка не насадишь. Червяк тоньше, чем крючок.

— Верно, — согласился папа. — А что же делать? Тогда иди ищи, где шёл.

Володя встал и направился к калитке:

— Я всю дорогу проверю.

— Там камней-то сколько! Километр до Волги, разве каждый осмотришь, — сокрушённо говорит мама. А сама всё вокруг удочки смотрит: нет ли тут где крючка!

Володя ушёл часов в одиннадцать. Дождь начался. Потом громовень такой накатил. А его всё нет. Возвратился чуть не под вечер. Нашёл крючок! Вернулась пропажа. И Володя — как прежний стал. Светится!

Штаны совсем загваздал. На коленках ползал. Руки грязные, губу о камень рассёк, а довольный...

Снова стал собираться наутро на рыбалку.

— Надо раньше, — говорит, — встать, а то Санька моё место займёт, он видел, где я судака вытянул.

Деловой такой. А годков-то всего семь, но решительный!

На того судака, которого принёс, он уже не смотрел, ему надо было поймать другого. Ночевать пошёл на сеновал, как обычно.

И, правда ведь, поймал судака раза в два больше прежнего. На весь наш курмыш прославился.

У нас был праздник во дворе. Помню конопатое Володькино лицо до сих пор. «Солнышко с веснушками», — мама так сказала тогда.

Укатали Сивку

Со спиной у папы полегче стало. Но сердце — никудышное. По дому полно работы, а он не больно мог.

У нас во дворе большой чурбак стоял. Вместо стула ему служил. Сядет на него, выпрямив спину, и рубит дрова. По-другому не мог.

Недалеко от нас была сапожная мастерская. Папа устроился туда ночным сторожем. Как устроился? Маму оформили, а он ходил.

Я раз пошла к нему за ключом от сарая, с собой унёс. Зашла, а он лежит на полу без сознания. Дверь открыта. Изнутри крючок накинуть не успел. Сколько так лежал, неизвестно. Я — в рёв. Он очнулся, еле его подняла. Долго сидел, потом потихоньку пришёл в себя.

Мама в тот день утром, до того, как такое случилось, за завтраком говорила:

— Ох, не к добру. Повержилось мне ноченькой, будто домовой в углу за печкой хлопотал. Шапку одевал всё свою. Она сползает, а он одевает её... И всё никак у него не получается. А потом, когда я уж вроде совсем заснула, подошёл он и погладил меня рукой по голове. Легонько так. Седой весь и сухонький такой. А рука холодная у него... Не случилось бы чего...

— Будет городить-то, детей пугать небылицами. К тебе одной он только и приходит.

Мы, ребятня, слушали и посмеивались. Папа видит, что нам весело становится, добавляет очень даже серьёзно:

— И то! Аксюте вон с Муранки, сказывают, домовый наемни пятаку прострелил. Оттого она и хромает. Не тебе одной внимание... За дело, значит. Не будет ворожить больше. Говорят, обернётся свиньёй и шастает вдоль дворов. Кругом колдуньи развелись...

Так утром было, а вечером вон как получилось. Не к добру посмеялись. Верь — не верь. Что хочешь делай!..

Привела я папу из сапожной домой. Он с Надеей остался. Мы с мамой пошли сторожить мастерскую.

Потом он говорил маме:

— Не дай Бог, кто бы вошёл тогда, взял чего. Там же инструменты, кожа, обувь. Мы бы за всё не расплатились. Что делать-то?

Мама в ответ:

— Детей поднимать надо. Пойду работать я. Будем больше огородом заниматься. Как-нибудь. Что ж теперь: закрыть глазки да лечь на салазки? От сапожной придётся отказаться.

— На тебе и так столько, ты ж не кокорная баржа¹, — убивался папа.

* * *

Поступила мама в швейную мастерскую. Недалеко от нас. Маскхалаты шила для фронта, рукавицы. Там работает, придёт домой, дома шьёт. Кто с каким заказом придёт, то и шьёт. Работала ночами.

Купили лампу керосиновую. Вешали её на крючок к потолку. Называли мы её «молния».

Досталось маме с этим шитьём. По дому прибрать, сварить, накормить всех. Где столько времени взять? В постоянном недосыпе ходила.

Папа очень переживал за неё. Тогда мы, ребятня, почти совсем не болели. Будто знали: кому за нами ходить? Я вот на

¹ Кокорные суда рубили из кокорновых деревьев, то есть из таких, которые вместе с корнем из земли выворачивали. Ствол такого дерева вместе с корневищем обрабатывали топорами, отчего копани для барж и шхун получались из одного куска и были намного прочнее составного. Цельные корпуса терпели воду более ста лет.

старости теперь думаю: за что папе судьба такая? Никого не обворовал, никогда не посягал ни на что. Смиренно жил и работал.

У нас и фамилия сама за себя говорит: Смирновы. Смиренные, значит.

Ведро кильки

Папа принёс из магазина ведро кильки. На всех на нас за два месяца взял. Больше ничего из продуктов не было, карточки пропали бы. День поели — опились. Мама говорит: «Это не дело. Надо кильку продавать, а на вырученные деньги что-то покупать другое. Нельзя одну кильку есть».

Папа решил ехать в село. Поехали мы с ним на «Трудовом» до Сызрани. Потом от Сызрани ещё до Кузнецка.

Приехали рано утром. Папа початое ведро с килькой в мешок поставил и несёт его через плечо. Пришли в село. Там посередине речонка такая, весной она разливалась. Подходим к ней. Мостки весенней водой снесло. Народ разувается и в ледяной воде переходит вброд.

Папа разулся, перенёс ведро. Речка метров шесть-семь шириной всего. Вернулся. Взял меня подмышки, перенёс.

Деревенские по солёной рыбке соскучились. Мы мигом её распродали, купили почти полное ведро квашеной капусты. Ещё что-то, не помню. Домой приехали поздно вечером. Рады-радешеньки!

* * *

Когда в Муранке были, какой-то старичок ветхий попался. Больно приветливый. Седой такой. Папа попросился останавливаться у него, когда будет приезжать ещё в село.

— Жалко, что ли, живи, — говорит.

Папа стал к нему навевываться, ходить по деревням соседним. Заглянет во двор, спросит:

— Посуда худая есть?

— Ой, да полно. И тазы, и кастрюли!

У него племянник в Сызрани в жестяном цехе на железной дороге работал. Обрезки жести, которые на выброс, приносил моему папе. А он — всё в дело.

Зима наступила. Папа свою поклажу на салазках начал возить. Тридцать километров в один конец. Так вот пропитание и зарабатывал. Ведро починит — картошки насыпают. Кастрюльку заклепает — капусты дадут. Однажды он заработал аж мешок картошки и ведро кислой капусты.

Утром рано вышел домой. В начале марта дело было. Повалил мокрый снег. Пять шагов пройдёт с салазками, спереди них куча снега. Рукавицами разгребёт, дальше путь торит. До самого вечера, целый день, шёл с грузом своим.

Около нового вокзала, где Надя работала, стояли одноэтажные бараки. В одном из них контора её была. Папа потом говорил:

«Тащился и думал: Господи, помоги мне, чтобы я застал её на работе. Не ушла бы домой. Упаду и не встану».

Совсем обессилев, оставил салазки метрах в двухстах от барakov. Когда вошёл в контору, Надя ахнула. Лицо у папы бледное, сам шатается. Еле шевеля губами, говорит:

— Иди, помоги! Шут с ними, с продуктами. Салазки упрут. Жалко.

Эти салазки он сам делал. Полозья железом оковал. Спереди и сзади перекладинки. Всё чин-чином. Верёвка крепенькая, беленькая. Такая, чтобы на шею и подмышки хватало.

Пришли они: салазки с поклажей на месте. Впряглась Надя. Говорит:

— Садись на мешок с картошкой.

— Ну да! — отвечает. — Надрываться будешь. Я уж как-нибудь сам.

Палкой упёрся сзади в салазки:

— Ты только потихоньку, ладно? Чтоб я поспевал.

Добрались до барака, он совсем обессилел.

Три дня не вставал. И потом долго болел.

Говорил, что пожадничал с картошкой да капустой-то.

Тётя Паня

У тёти Пани два сына росли. Оттого на чердаке у неё всегда какая-нибудь обувка была. Я босиком прихожу, она:

— На вот, отец, может, починит! — И протягивает какую-никакую обувку.

Я несу её папе.

Один раз говорю:

— Тётя Паня, можно я с подружкой приду?

— Приходи, — отвечает.

Боялась я одна вечером ходить. Не больно далеко, а страшновато. Она жила у самого оврага. Крайний дом. Тётя Паня меня частенько просила то полы помыть, то ещё что. У меня своих дел дома по горло. Мама пускать не стала. А я скорей-скорей дела сделаю дома и украдкой — к тётё Пане. Не могу отказать ей. Бегу. С ней интересно.

Ну вот, с Ниной идём к ней. Вышли к оврагу: тут тебе целая стая собак. Только шелохнёмся, они рычат. Нинка дёрнулась было, они на неё. Она споткнулась и разорвала подол у платья.

Генка с Витькой выбежали, шуганули собак. А Нинка стоит, не шелохнётся. Подол у неё весь распахнут.

...Тётя Паня работала в магазине. Выдавала по карточкам продукты. Так-то она была Прасковья Самарина. Но все её: «Паня» да «Паня». Мы, малые-то, конечно, «тётя Паня». Когда она в магазине отпускала по карточкам чего, то отрезала те, по которым отоваривала, ножницами. Дома наклеивала их для отчёта на картонки всякие, обложки от книг. Мы ей помогали это делать. Их же вон сколько, этих карточек.

Возимся с ними, а она нам сказки рассказывает. Страсть сколько знала. То про село Подгоры, то про Выползово, а то про Каменное озеро. Все наши места, волжские. Мы допытывались: не сама ли она их сочиняет. Она не признаётся.

Один раз рассказала, как явился воздушный город¹. Мы не поверили, думали, она опять сказку придумала. Город на небесах! Мыслимо ли? А когда приехал из Жигулёвска Илюшка Юрьев, подгорянский родом, и рассказал, как он тоже видел такое, мы и не знали, что думать...

¹ Ладогоград — небесный чудо-город. Рассказывают, что он возникает над вершинами наших Жигулёвских гор. И я слышал о нём, да не видел. Появляется, как говорят, этот город в небесах при определённых атмосферных условиях. Покрасуется, будто подразнит своими сверкающими маковками церквей да колокольчиками, и исчезнет... Сказка не сказка, мираж не мираж?..

Пришли мы к ней, она говорит:

— Надо быстренько составить отчёт по крупе.

Мы и начали ей помогать наклеивать карточки. Сидим на полу, разложили всё как обычно. Стали считать: не хватает одиннадцати килограммов пшеницы. Тётя Паня заплакала.

— Да что же это такое, Господи! Что же мне не везёт так? Да где же я столько возьму теперь?

Глаза её стали круглыми, как не её:

— Посадят ведь!

И такими горячими слезами плачет:

— Лучше своё отдать, чем чужое брать! Что же будет? Зачем только я согласилась взяться за эти карточки. Не по Соньке салазки!

Мне жалко её стало. Жальче некуда. И вот что мне в голову втемяшилось. Говорю:

— Тётя Паня, пойдёте в магазин. Может, где осталось там пшеницы? Может, вы не увидели.

Она — сквозь слёзы:

— Ну, как же, мешок-то был один. Весь он и кончился.

Мы всё-таки пошли. Вечер. Темно. Открыла дверь, вошли.

— Вот он тут лежал, — говорит. Взяла мешок и кинула его, пустой-то, на пол.

А я смотрю: гвоздь в полу торчит. Вот такущий гвоздь! И мешок порван.

— Ну-ка, посветите, тётя Паня, получше свечкой, — прошу, — что-то там жёлтенькое в щелях внизу!

— Правда, что ли? — не верит!

Пошла она на склад, принесла гвоздодёр. Отодрали две доски, а там вот такой вот горкой, под самые доски — пшеницы. Пылица. Ну, мы потихоньку ладошками с горки берём и в посуду. Много набрали. Она взвесила потом, чуть ли не всё пшеницы вернули.

Тётя Паня говорит:

— Какая светлая, Марьюшка, у тебя голова! А я, сорока, такую кашу заварила. Хорошо, что ты вовремя сообразила, а то... Что было бы со мной? Крысы и мыши растащили бы всё за ночь. А с грызунов какие карточки?

Вот в чём беда-то...

Картошка, тыква, свёкла, огурцы — основная наша еда. Она нас спасала в войну. Хлеб, если был, то по карточкам. Я все нормы хлеба, кому сколько, помню до сих пор. Может, помню оттого, что он, хотя с перебоями, но был. Остальное: сахар, масло, пшено — на них карточки давали, а сами продукты — кой-когда... Если два месяца карточки из-за отсутствия продуктов не отовариваются, их выбрасывай. Они уже не действуют. Через два месяца может быть та же история. Оттого и не помню нормы. Никакую крупинку от продуктов не выбрасывали. Папа сделал ступку, пестик из дубового полена. Все отходы дробили и — в дело. У нас на огороде перестала родиться картошка. Земля выдохлась. Решили сеять рожь. Рожь высокая уродилась, красивая! Непривычно.

Папа смастерил мельницу. Съплешь рожь, мука на глазах получается, только не ленись: туда-сюда двигай большой такой, с двумя ручками, валик. Он движется по широкой лавке, обитой железом. Муку сметаешь в банку. Она тут же, прикреплена внизу лавки. Рожь убирали серпом. Солому соседка порезала помельче, обдала кипятком и — своей коровёнке Зорьке скормила.

Но без картошки никуда. Решили мы её сажать на целине. С ней целая история вышла, с картошкой-то... Расскажу потом.

* * *

Часто не было спичек. Особенно в начале войны. Спичек нет, а огонь нужен. Папа смастерил малюсенькую коптюшку, размером с палец. Сделал фитиль из ниток от чалки¹ и водрузил коптюшку в печке на загнетке. Там эта коптюшка и хранила огонь. Светился комелёк!

Если были спички, их продавали не в коробках, а по сто штук, пучком связанными. С такой ленточкой, о которую ширкать, чтобы спичку зажечь.

Мы звали папину коптюшку «мышинный глаз», а папа уважительно: «огниво».

Он сам следил за огнём. Никому не доверял. И расход керосина сам контролировал. Керосин тоже редко был в продаже.

¹ Чалка — верёвка либо канат, которыми судно зачаливается к берегу или другому судну.

Этого не было, того не было. Многие страдали, не выживали. Но у нас был наш папа. А у других отцы — на фронте. Вот в чем беда-то: без отца жить.

Балонки

Верхнюю одежду многие у нас шили из байковых одеял и шторок. Нас, Смирновых, что спасало? Когда с Востока приехали, кое-что из материала привезли. Простая хэбэшная толстая ткань была, в полосочку. Мама из неё шила брюки и рубашки. Большим — из чёрной или тёмно-синей. Малым — из белой. Папе из старья всё переделывала.

Не было ни чулок, ни носков.

А тут кто-то сказал, что на баржах продают канаты. Канаты эти были из хлопка. Хорошие такие нитки в них. Папа сходил и купил. Красил народ эти нитки и вязали, кто чего.

Мне одиннадцать лет тогда было, в сорок втором году.

У тётки Ульяны детей нет. Сварит себе поест и сидит у нас. Вяжет. Одной дома скучно.

Говорю:

— Тётъ Ульяша, научи меня вязать.

Она:

— Давай, учись!

— А из чего вязать-то?

— А вот из канатов этих.

Первые носки я папе связала. С дырками получились. Зашила. В войну каждый махор — ценность. Я потом носками всех обеспечивала. Вяжу, а мама их красит. Краску порошочками продавали, то коричневую, то чёрную. Уксусу не было. Брала из бочки рассол огуречный. Кипятишь, кипятишь носки в тазу, а потом их в рассол. Лежат, пока не остынут. Вынешь, прополощешь водой, они не линяют.

На базаре продавали валенки. Тут же, на толчке — галоши из автомобильных камер. Их называли балонными, эти галоши. А мы, детвора — балонками. Эти балонные галоши папа натянет на валенки, они как прилипнут. Попробуй сама сними! Надёжная обувка. И тепло, и непромокаемо! В любом снегу, мокром, не мокром, барахтайся. Красота!

Картошечка

Дали нам от собеса землю под картошку. На бугре-то целина-матушка. Пырей один растёт. Копали, копали. Умаялись. Папе копать тяжело. Мы пыхтели: Слава, Володя и я. Сели отдыхать. Папа говорит:

— Пройдусь вдоль сада, вон на тот край.

Взял тонкий прутик. Пошёл. У него привычка такая, когда идёт, вжикает эдаким прутиком.

Скоро вернулся:

— Дураки-то мы какие. Чего мы тут мучаемся? Там земля-то! Я ткнул прутиком, он чуть не на четверть влез!

А мы вскопали уже сотки две, а то и больше. Бросили. Пошли за ним. А там, пока шли, травка такая... Она с весны ещё выколосится и быстро сохнет. Колючая — страсть! Ступить нельзя. Пока добрались, все подошвы горят.

...Соток десять мы вымахали. Квадрат такой получился ископанный. Пришли, маме рассказали, а она:

— Что сажать-то будете? Семена — не купишь.

— Думать надо, — отвечает папа, — может, что из одежды на толчок?

А мама уже все наши тряпки старые поперешила. Меняли их, меняли. Кончились.

Она говорит:

— Всего двести рублей осталось. Езжай в Обшаровку, купи, сколько можно, семенной картошки.

— Сколько я куплю на такие деньги, — чешет папа затылок, — не больше ведра...

— Сколько купишь, столько и будет. Остальное морковью засеем.

И мы подались с папой на базар. Он любил меня брать с собой.

Чтобы рано быть на месте, мы поехали с ним вечером. У папы в Обшаровке знакомые были. Переночевали у них. На полу нам мягко постелили. Когда встали, папа говорит мне:

— За ночлег им кусок мыла, что ли, дать?

— Дай, — говорю, — ещё когда-нибудь приедем, где ночевать?

Мыло он сам варил. У машинистов-паровозников покупал каустическую соду, которую они добавляли в котлы от накипи, а на рынке доставал баранье сало. Кипятил всё, а потом в

самодельные жестяные формочки с перегородками разливал. Когда масса застывала, формочку опрокидывал — из неё вываливались кирпичики мыла.

Папа дал один кусок хозяйке, один оставил себе.

Она:

— Ах, Пётр Андреевич! Мыло-то мы так давно не видали. Теперь намоемся в бане.

— Ты его подсуши, — говорит он, — а то слишком мягкое, быстро смывается. Моя Рая на печке сушит.

— Это уж обязательно. Хорошо, что подучил. Рада-то как я!

Пришли мы с папой на базар. Кругом полным-полно народу. Мыло мы сразу продали потихоньку. А вот семена картошки никак не купим. Дорогая картошка. Не хватает денег даже с теми, которые он за мыло выручил. Я уж не помню, сколько это было.

...И вот стоит женщина. Рядом — ведро картошки. Проросла вся. Росточки бледненькие такие.

Папа спрашивает:

— Почём горох-то твой, хозяйка?

— Не горох, а картошечка, дедушка.

Папа всю войну с бородой ходил. Поэтому она его дедушкой и назвала.

— Это «смысловка» — самый хороший сорт. Я набрала, когда уже всё выкопали. С корней добирала. Вишь, пролежала до весны и сразу проросла. Липучая — страх! Ни один росточек не обломался. Бери! Не пожалеешь. Большой смысл есть. «Горох», скажет тоже!..

Говорит так и говорит, себе в удовольствие.

— А сколько ведро?

— Двести рублей.

— А у нас всего-то двести! — удивилась я.

— Ну, вот, видишь? Все в кон!

— «Смысловка?» — улыбается папа. — Смысл есть? Проверим, куда нам деваться?!

Пересыпали мы картошку в своё ведро. И поехали домой.

— Ба, что это за мелочь? Никогда такую не сажали! Учудили вы, не соскучишься, — мама долго не могла успокоиться.

Папа молчал себе.

Одного ведра наших семян хватило на весь участок. Мелочь. Сначала в лунку по одной клали, потом даже по две.

К сентябрю такая картошка вымахала! Тогда вовремя дожди прошли. «Смысловка» так «смысловка»! Очень крепкие корни у неё!

Когда взошла, мы сразу её пропололи. Дождик в первый раз помог. Прошёл кстати. Потом мы в неё еле влезли. Земли не видать. После второй прополки опять как по заказу — дождик!

И какая уродилась вкусная, белая. Рассыпчатая. Шесть больших мешков набрали! Возили мы её на нашей тележке. Пустую тележку в гору — ещё так-сяк, не очень трудно тащить. А вот с горы, с нашей поклажей такой, удержать тележку нелегко. Того и гляди вырвется. Махнёт вниз!..

Голубенькие носочки

Пришла я к тёте Пане, а она спрашивает:

— Марьюшка, у тебя когда день рождения?

— Не знаю, — отвечаю, — мне никто не говорил, когда.

— Ну, как так? Ты должна знать!

Когда вернулась домой, спрашиваю маму.

— Чтой-то так вдруг? — удивилась она.

— Так, — говорю, — надо.

— А я думала, ты знаешь. Двадцать пятого июля ты родилась.

— А сегодня какой день?

— Двадцатое августа, — отвечает спокойно мама.

...В следующий раз, когда пришла к тёте Пане, назвала ей мой день рождения.

— Не печалься, — говорит, — что прошёл. Это дело поправимое. На вот, подарок тебе! За твою прилежность. Больно ты мне с карточками-то помогаешь.

И протягивает голубенькие носочки. Беру, а руки у меня дрожат. Такие красивые, как же я их надену, с чем?..

— Бери, бери! — улыбается тётя Паня. — Всех наряднее будешь. Я их всего-то раза три надевала. А вчера постирала.

...Вышла я от тётки Пани. Сначала-то зашагала домой весёлыми ногами. А потом осеклась. Призадумалась: не знаю, как

дальше быть? Обувки-то нет. Всё лето босиком. Как их носить-то буду?.. С чем? Иду и плачу с подарком этим.

Горе луковое.

Водичка

Воду до 30-х годов брали из Волги. Кипятили. А потом на берегу, где городская баня, около нефтебазы, поставили водочкачку. Будочка такая, как домик, на колёсах. Вода уходила, будочку за ней подкатывали. Эта водочкачка качала воду на все Батраки. И на улицах были свои будочки. В коммунальном отделе покупали талоны на воду. Один талон — 25 литров воды. Её тоже кипятили.

Давали по часам: утром два часа, в обед — два, вечером — два часа. Занимаешь очередь у будочки, подаёшь талон в окошечко. Открывают тебе краник. Наливаешь.

Без талонов воду не давали. Мы ходили за ней со своего бугра почти за километр. Так было в войну.

Потом уж нашли артезианскую воду. Только тогда колонки с этой водой появились прямо на улицах.

Около больницы поставили одну. И ещё ближе к нам соорудили потом.

Вода жёсткая очень, ржавчиной отдаёт. Холодная.

Зимой мы с папой набирали снега в тазы, ведра. Снеговой водичкой мылись. Так многие делали.

Не знаю, сейчас можно ли теперешней снеговой водой мыться? Страшновато как-то...

Хлебушко

Война давила. По мосту через Волгу к нам шли поезда с ранеными, эвакуированными. А на фронт — составы с горючим, боеприпасами, танками.

Великое противостояние. А мы копошились около. Выживали.

Помню время, когда кроме хлеба по карточкам ничего не давали. Было написано: сахар, масло, рыба. На бумажке этой. А так — не было. Потом полегче стало.

...Тем, кто занят на тяжёлых работах, тому положено было в день 800 граммов хлеба. Служащим — 550 граммов. Пенсионерам и иждивенцам, по-моему, 250 граммов. Вперёд по карточкам хлеб не давали. Надо было приходиться в магазин каждый день. На карточках был номер магазина, к которому прикреплен. А хлеб привозили когда как. Иногда только к обеду. Пекли недалеко, в пекарне. И на лошади, ещё горячий, только из печки — в магазин. Занесут его, дух хлебный по магазину. Стоишь и голова кружится.

Старшая сестра Надя получила на нас всех карточки на месяц и отдала папе, когда он зашёл к ней на работу. А они, как деньги были, лощёные такие. Как десятки, розоватые. Он их положил, карточки эти, в карман. И пошёл домой.

Мы обычно разрезали листки с карточками подекадно. Чтобы, если потеряешь, то не сразу все. А тут не успели. И фамилии не написали.

Положил он их на стол, карточки. Мама стала смотреть:

— А батюшки, где же ещё? Тут всего на четверых?

Нас шестеро было. Серёжа и Таня на фронте.

— Отец, где карточки-то ещё на двоих?

Беда!

Пошёл он назад. Нет, говорят конторские, не видели. Никто не приносил.

Мама:

— Не мог толком объяснить! Может, другие дали бы.

— Что ты говоришь? — отвечает папа. — Посмотри, что творится на мосту, на железной дороге. Беда какая! Сколько раненых везут. На мосту такое движение. Лётчики не только мост, они нас защищают. Вчера один не пожалел себя. Тараном пошёл на фрица¹.

А тут я, растеряха: «Дайте мне ещё!..». Не должен я никуда идти!.. Хлебушко даром не даётся.

Так он расстроился. Плохо ему стало. Залез на печку и лежит.

Стали обедать. Зовём его. А он:

— Не буду я есть. Сам себя наказал. Потерял. Как же я могу?

¹ Лётчик 802-го авиаполка Николай Шутов, охраняя сызранский мост от налётов фашистских бомбардировщиков, погиб в 1942 г., протаранив немецкий самолёт. За проявленное мужество и героизм Николай Шутов посмертно награждён орденом Ленина.

Мама начала причитать. Мы расплакались. Стали её успокаивать. Еле-еле папу уговорили сесть за стол.

Прошло три дня.

И вот тётя Паня обратила внимание на двух женщин.

На дороге работали рабочие. И, чтобы они подолгу не ходили и не стояли за хлебом, им его носили эти две подруги. У каждого из рабочих была своя сумка с биркой. Женщины каждый день получали и носили хлеб в этих сумках. И себе заодно брали по карточкам.

А тут наладились дополнительно брать. Сами отрежут талон от карточки:

— Вот, нас бабушка одна попросила, ноги не ходят. Отпусти!

И возьмут хлеб-то. В другой раз ещё как-то скажут. Наплетут.

Мама сказала тёте Пане о пропаже, она и спрашивает их в очередной раз:

— Откуда у вас карточки эти? Дополнительные.

Они замялись. То да сё.

Тётя Паня:

— Пётр Смирнов потерял карточки. Такой большой весь. И ртов сколько! Что же вы делаете? Нехристи! В милицию заявлю, коли не отдадите!

Они и закатали глаза под лоб. Признались, что подобрали их на тропинке.

Тётя Паня отдала мне карточки. Я бежала домой, ног не чуяла. Ой как хотелось папу обрадовать. А то он, бедненький, только делал вид, что ест. А сам так, для отвода глаз...

Ржаные пышки

Под Новый год приехала к нам из села Качим Настёна Жигулина — двоюродная сестра мамы. Привезла пышки. Мы так наелись этих ржаных пышек!

Тётя Настя была большая. От неё тесно в избе. Крепкая. Сама, как пышка.

В стареньком, но крепком таком полушубке в сборку на талии. В рукавицах из овчин. На голове белый платок, а поверх него тёмная шаль. Под подбородком большущая булавка. На ногах, обтянутых обмотками, — самодельные лапти.

У неё осудили мужа Парфёна за невыплату налогов. Сидел он в Костыгчах. В церкви, которую приспособили под тюрьму. Без мужа Настёна не сдавалась. Здоровенная. Плуг таскала сама. Корову жалела, вдруг, молоко пропадёт. И лыко драла, лапти плела. Ими торговала.

Я, когда подросла потом, все говорили, что вылитая она. И лицом, и так. Да где уж мне! У меня наполовину от папиной породы.

— Петенька, я тебе оставлю пышки-то. Ты навещай Парфёна, тут не так уж далеко. Хотя бы раз в неделю. И передавай пышки, по две-три. Он такой большой, ему еды надо не как всем. Был раньше богатырь, неуломный. Теперь скукожило. Ослаб сильно. Боюсь я за него...

Боялась за мужа. Но не до конца чуяла, что может случиться... Я одна видела Парфёна, до того ещё, как его посадили. У него на правой руке не было трёх пальцев. Но здоровущий! Прямо Никитушка Ломов¹, про которого нам папа рассказывал. Думала: как его можно победить, такого?

А Настёна! Необъятная, как Волга. Часто молчаливая, она могла развеселиться и с ходу запеть.

И в нашей избе тогда от её голоса, странно весёлого, сразу получался как праздник какой!

*Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Мучит девушку любовь.*

Папа подпевал ей слегка насмешливым голосом. Вроде и поддерживал эту её весёлость, и не совсем верил ей:

*Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня!*

¹ Никитушка Ломов — волжский силач-бурлак. Хозяева судов дорожили его огромной силой. Он работал за четверых и получал паёк тоже за четверых. На Волге про него рассказывали чудеса... Бывало, будто Ломов шутки с бурлаками шутил: «Ну, братцы, кто меня перегонит? Идёт на полштофа?». «Идёт». «Я побегу бечевой, под каждую руку по девятипудовому кулю возьму, а вы бегите порожные!» Ударятся бежать, и всегда Ломов выигрывал.

Настёна шутя клала папе на плечо свою ручищу и они играли песню до конца. В этот раз, переглянувшись с мамой, она ядрёно сказала:

— Хороший, Петя, у тебя голос, а у мово Парфёна гуще. Как из трубы! Слабо тебе!

...Тётка Настя уехала, а папа исправно носил пышки в тюрьму. Ни к одной, которые она привезла для мужа, никто из нас не притронулся.

Однажды папа приехал сам не свой. С Парфёном он успел свидеться. Но его вот-вот должны были перевести под Самару. Теперь ему предстояло считать свои денёчки на Гавриловой поляне.

Папа ездил потом к Парфёну на новое место. Говорил нам, что не допустили его к нему. Он после этой поездки совсем перестал улыбаться. Я догадывалась, что он видел Парфёна, только говорить не хотел нам. Узнал что-то страшное. Он несколько раз после поездки больно подолгу молился в переднем углу перед иконами. Думаю, за Парфёна просил.

...А Настёна вершила свои дела. Молча и упрямо. В колхозе, акромья палочек на трудодни, какие пышки заработаешь? То-то и оно... Продолжала она плести лапти, сеять лен. Делала обмотки. Тем и зарабатывала.

Накопила так. И выплатила все долги по налогам, за которые сидел муж. А как выплатила, написала в Москву прошение: отпустите, мол, коли не должен, Парфёна-то.

Пришла бумага об освобождении. Да больно долго шла. Поехала Настя за Парфёном. А он помер уже в заключении. Не успела бумага. Неторопливая была.

Настёна прожила недолго после этого. Чуть поболее года. Потомнела вся и иссохла. А потом и совсем сошла на нет.

Такая глыба!

Вот тебе и Самара-городок...

Успокоила обоих.

Тили-тили тесто...

В то утро принесла я из магазина хлеб. Мама разрешила буханку, а из неё на стол вывалились чуть больше горсти мелкие, малюсенькие картофелины. Сырые. Жижка течёт. Мать в слёзы: «Чем я вас кормить-то буду? Карточек больше нет».

Я собрала всё в кучу и — к тётке Пане в магазин.

— Такие-растакие, я им покажу! — грозилась она. Дала мне взамен полбуханки, а сама — в пекарню. Разбираться мыкнулась.

Хлеба и так чистого не было: то в нём лужга от овса, то от пшена, красная. В пекарне воровали, конечно. Один Бог без греха.

Установили контроль. Сообщили куда следует и там меры приняли. Галя Краснова через неделю и попалась. А как дело было?

У неё две девочки-погодки. Муж на фронте. Привязался к ней со своими ухаживаниями милиционер Генка Ладяев. Дороги не давал. Я слышала, как она жаловалась моей маме: «Все ноги мне оттоптал. Не знай, что делать? Стыдно перед девчатами своими. И боюсь его. Стращает: не будет по его, мне недобровать».

Выполнил обещание Генка этот. Остановил он её, когда она с работы домой шла. Поманил пальцем. Она подошла.

— Чевой-то у тебя в сумке-то? — спрашивает.

— Где? — перепугалась до смерти Галина. Поняла, что плохи дела.

— Где, где?! Сказал бы, где!.. В сумке, которую у тропки схоронила. Не твоя, что ли?

Лицо Генки исказилось в изуверской радостной улыбке. Хрипловатым голосом, обнажив противные ей мелкие зубы под аккуратными рыжеватыми усиками, он неожиданно протянул забытое из далёкого детства:

*Тили-тили тесто,
Жених и невеста...*

Смолк вмиг. И в злобе:

— Докосоротилась!

Пошатнулась Галя. Повяло ужасом от той кары, которая на неё вот-вот обрушится. Потемнело в глазах. Испугалась, что сейчас тронется умом. Станет ещё более жалкой и мерзкой, чем этот неуступчивый блюститель порядка.

Затравленно оглянулась. Будто ждала, что кто-то подойдёт сзади к ней по этой узкой тропиночке, на которой она встретила с человеком в форме. Заступится за неё. Сейчас! Немедленно! Пока не случилось самое страшное, скажет слова, оправдывающие её.

Но кто мог подойти и сказать такие слова? И были ли они у кого тогда... такие, кроме неё самой?..

— Пристроилась коза к возу с сеном, — радовался своему Генка, — хорошо в пекарне?

Он обошёл Галю, поднял и вывернул сумку. А в ней: кусок теста. С кулак всего-то, ну, может, поболее...

— Как жеть, милая, тебя угораздило?

Говорил так, а у самого морду на урыльник свело.

— И теперь не согласна со мной? Не поздно ещё...

— Только подойди ко мне, зверь! — еле и сказала она.

Осудили её.

Потом за что-то ещё добавили, там уж, где сидела.

Муж не вернулся с фронта, погиб. Девчата выросли одни. Обе больные.

Паня всё корила себя, что побежала тогда в пекарню, когда картофелины в буханке обнаружили. Считала за собой вину. Всё говорила: «От дождя да в воду». Девочек Галиных привечала и помогала им, чем могла.

Потом они её, мать-то Галю, нашли. В Сибири где-то. Не помню, где.

Возвращаться домой Галя не захотела. Не ходячая уже была. Только мотнула еле послушной рукой:

— На кой мне теперь это?..

Природа плакала

У нас в саду яблонь не было. Одни груши и тернослив. Папа вдоль забора оставил их.

Всю войну на деревьях — ни одного цветочка. Только листья. Сама природа плакала от общего горя.

Грушу, говорили, убила медведка. На них даже листьев не было. Думали, что они погибли. Советовали папе: «Выкинь их». А папа: «Нет, стоят и пусть стоят. Никому не мешают».

Справа забор был из кольев, а с левой стороны от бабы Дуни — плетнёвый. Дров-то нет. Она потихоньку разобрала плетни и сожгла. Тонкие жёрдочки на меже положила. Как отметины.

Кончилась война. Хорошо всё помню. Как сады зацвели весной сорок пятого! Цвести они начали перед первым мая. Тепльнь такая наступила. Все деревья цвели! И груши наши, и

вишня. И яблони, у кого были. Всё бело-розовое! Выйдешь на крыльцо: аромат, как в раю каком! С такой силой ожили.

Первого мая папа говорит:

— Наверное, война последние дни идёт. В Берлине переговоры.

А девятое настало: Победа! Словами не передашь радость!

* * *

Стали возвращаться домой с войны нашенские, с Батраков. Чуть позже появились зять и дочь соседки нашей бабы Дуни. Дочь — с Ярославля, а зять Сергей — из армии. Этот Сергей сразу устроился на асфальтовый завод. Работал в штольне. Прилично начал получать и вскоре затеял восстанавливать забор, который хозяйка порушила.

Чуть свет в тот день начал ладить новую изгородь. Приземковатый такой, сноровистый. Я слышу, мужики разговаривают. Выглянула в окно, мама вышла во двор.

Папа говорит дяде Сергею:

— Что же ты делаешь? На целый метр сдвинул границу. Не хорошо так.

— А мне тёща сказала, что эти деревья её. Я своё дело делаю, а вы сами меж собой разбирайтесь, — так отвечает тот. И глядит рыбьим взглядом.

Папа ругаться не умел. Расстроился. Пошёл в дом и прилёг. Спину ему натянуло. «Пьяный проспится, а дурак никогда», — так, помню, он сказал про Сергея.

Мама всё ж не выдержала:

— Не мог отстоять свой сад. Что с того, что у него вместо соевых лопухи растут! Галуны ему надо бы почистить¹...

А папа ей:

— Он за нас на фронте воевал, не могу я...

* * *

Потом оказалось, что Сергей этот в плену был. Партбилет свой где-то зарыл и не нашёл. Под трибунал пошёл. Говорили, вроде не виновен...

Отсидел и вернулся. Ещё молчаливей и угрюмей стал.

¹ Здесь: дать по шее, дать подзатыльник.

Однажды утром встали, а забор передвинут на старое место, где плетень был. Дядя Сергей передвинул.

Вернулись груши к нам, правда, старенькие совсем уже. А потом и сам дядя Сергей пришёл. Скупно так, с табачной хрипотцой, попросил прощения у нашего папы. Ворохнулось, видать, в нём что-то. Не дожидаясь ответа, вышел. Лицом серый такой...

...Я вот думаю теперь, вспоминая и детское, и что после было: ушибленные да увечные больше людьми становятся, чем другие. Что это? Неужто нас всех надо чем-то задеть крепко? Чтоб поумнели. Каждого в своё время.

Без этого будто нельзя...

«Да хоть весь съешь!»

Самые трудные месяцы у нас в войну были май и июнь. Картошка на исходе. Мама, уходя на работу, положит на стол две-три штуки. Я сварю суп. На огороде у нас была целая делянка с крапивой. Нарезу и — в суп её. Если постное масло есть — красота! А нет — с козьем молоком. Простоквашу делали.

А тут прихожу из школы домой. На столе стоит тарелка, полная ломтей хлеба. Я села и съела один. Потом говорю:

— Мам, можно я ещё съем?

Она как заплачет! И сквозь слёзы:

— Да хоть весь съешь — карточки отменили! Теперь будем без карточек хлеб покупать. Не война!

Тут уж я вдоволь наелась хлеба.

Хлеб начали продавать по килограмму в руки. Народ собирался около магазинов в кладовые очереди. Так они назывались. Семьями выстраивались. Дня два-три пройдёт — и снова в очередь. Сахар, крупу разную тоже начали давать. Записывались в очередь. Многие и в этот год умирали.

А нас ещё тыквы спасали. Капусту солили. У нас она не росла. Воды мало для полива. Покупали капусту. Огурцы солили свои. Тыкву мама парила только в печке. В чугуне, большими кусками.

Я и сейчас в Надыме на рынке часто тыкву беру. Наварю, красота, как пахнет! Кроме меня, никто у нас в семье не ест теперь её. Удивляются:

— Как ты можешь хвалить её?

А я люблю тыкву.

Когда война закончилась

Когда война закончилась, на строительство дороги «Куйбышев-Москва» пригнали пленных немцев. На асфальтовом заводе три дома трёхэтажных было. Жили там местные. Магазин рядом. Мы ходили иногда за покупками. Такая грязница кругом, ужас! Как жили?

Немцы чистоту навели. Дом, в котором они размещались, побелили. Держали их за тремя рядами колючей проволоки под охраной. И на работу возили под охраной.

Рядом клёны здоровенные росли. Они у клёнов этих стволы побелили. Землю вокруг вскопали, цветочки посадили. Простые: ноготки, ещё какие-то. Против прежнего там рай стал.

Дом стоял торцом к дороге. Написали на стене чёрными буквами на белом: «Мы победили!» Все идут и смеются: «Они победили?»

Одноклассница Надька Петрунина принесла в класс фотографию немца. Молоденький совсем, а рядом сестра и мать его. Пленные немцы на свои фотографии хлеб выменивали. Больше у них уже ничего не было.

Говорю Надьке:

— Зачем тебе его фотография? У него она — память. Лучше бы уж дала хлеба так, без ничего.

— Мне его жалко, — отвечает, — он сказал, что не по своей воле пошёл воевать. У него глаза такие: я верю, он хороший. Ещё говорит, что скоро умрёт. Просил очень сохранить фотографию. Если родственники будут разыскивать его когда, показать её. Я обещала. Он так верит, что все образумятся. Придёт время, когда войн совсем не будет. А будет общий мир! Люди поумнеют. Только, сказал, уже без него. Видишь, на обороте его имя есть.

Мне захотелось посмотреть на этого немца. Мы с Надькой пошли к бараку. Но поздно. Скрюченный весь, глазастый немец сказал, что Вернер ночью умер. Закопали его в овраге. Там рядом этих оврагов было полно. Зима. Метель. Пойдёшь, что ли, туда? Страшно.

* * *

Уже летом пошла я козам за травой. Смотрю, в овраге такая она зелёная. Я с мешком и серпом — туда. Только спустилась,

как заору. Бегом оттуда. Выбежала, вся тряусь. Там, внизу, в рвине этой, скелет человека лежит. Видно, зимой долбить пленным тяжело было землю, слабые. Вот они его в снег и закопали.

Выбежала я наверх с пустым мешком и серпом. Еле отдышалась. Стою, не уйду. Смотрю и смотрю туда, в овраг. Толкает меня ещё посмотреть. Спустилась. Лежит. Все кости целёхонькие. Когда пришла, рассказала Надьке. Втемяшилось ей, что это Вернер. И всё тут. Сильно плакала. Ходила в этот овраг без меня. У неё брат родной без вести пропал на войне. Может, оттого она так...

* * *

Потом уж, когда я в собесе работала, приходят двое мужчин к главбухше нашей:

— Вы, — спрашивают, — когда здесь пленные немцы были, работали при них?

— Да, — говорит, — работала. В трудовой книжке запись есть.

— Можете показать, где их хоронили?

— Конечно, — отвечает Ксения Ивановна.

Ходила, показывала.

Она потом говорила, что в Германии ищут своих. Вот и приехали эти двое.

Вот бы фотографию Вернера показать. Да Надькин след простыл. Уехала куда-то. А куда, никто из нас не знал.

Потом комиссия работала. Говорили, что вроде нашли захоронений одно количество, а по документам — другое. Несответствие большое. Известно, как хоронили.

Кто кого у нас больно считал? И наших, и не наших...

Не плачь, братик мой

Считай, всю войну летом я босиком ходила. Все ноги исколешь. Вечно то на пятке, то ещё где нарываешь. Зимой валенки какие-никакие спасали.

Помню, давали в собесе талоны на обувь. Отец взял и купил по такому талону в магазине сандалии. Так они мне понравились. Заграничные. Ремешки светло-коричневые, мягонькие. Но подошвы у них деревянными оказались — не гнутся. Ноги

устанавливали в них. Идёшь, а они: бот-бот-бот... Зато я в голубых носочках от тётки Пани.

Тут другая весна пришла. Подросли ноги. Опять носить нечего.

У нас возле железной дороги канава была. Вся завалена чем попало. С поездов бросали всякое, так... хоботы¹ одни.

Папа приносит небольшой чемодан. А в нём ботинки солдатские из толстой кожи. Подошвы в палец толщиной. Оказались итальянскими. Сорок второй размер. Почему их выбросили, не понять.

Родители в один голос: «Одевай и — марш в школу!» Я маленькая, худенькая. Куда мне такие корабли на ноги? Мама с нами долго не разговаривала. Раз-два и вытолкала:

— Иди! Школу будет она пропускать!

Пошла.

У Надьки брат без вести пропал, а потом отец вернулся без руки. Тёте Поле дали в собесе талон на ботинки для Надьки. Такие ботинки оказались — чудо! Черные, с какими-то блёстками на носках. Явилась она в них в школу, мы и обалдели.

Я пришла домой, снимаю свои итальянские корабли и плачу. Папа посмотрел на меня, ушёл со двора молча. Вернулся с такими же из магазина, как у Надьки. Вот радости-то было!

А тут, как назло, дожди пошли. Подошвы-то у наших ботинок — и у меня, и у Надьки — расквасились, оказались клейёными из картона. Остались мы с прежней обувкой.

Когда брат Слава в ремесленное училище поступил, я ожила. Их там одевали с ног до головы. Он не успеет износить обувь, мне отдаёт. Хорошие полуботинки, помню, отдал. Брезентовые, защитного цвета. С резиновыми подошвами. Носки были очень.

Пальто мне в тот год Надино перелицевали и перешили по размеру. Седой уже материал был, а крепкий. Одни мы, что ли, так жили? Все перебивались.

...Мы с мамой пятилетнего племянника Володю из Бугуруслана встречали. Поезд остановился. Я бегу, бегу... Мама отстала. «Батюшки! Где же Вовка-то?» А напротив как раз помещенье железнодорожной милиции. Володю попутчики, которых

¹ Хоботы — старьё, хлам, старая одежда.

сестра Таня попросила захватить его до Батраков, сдают милиционеру. Им дальше надо ехать, до Одессы.

Стоит Володя в пальто из байкового одеяла, крашеного. И чемодан фанерный в руке.

Когда шли втроём домой, мама сокрушалась:

— Беднота-то какая! В войну из одеял шили одёжку и до сих пор?..

Стало теплее. Снег растаял. Володе не в чем выходить на улицу. Сыро, в валенках не пойдёшь. Напротив, через дорогу, соседи кучу опилок привезли. Ребятишки играют, смеются.

— Бабушка, пусти меня, хоть на крыльечке посижу...

— Иди, но чтобы только у ворот.

Он вышел. И не утерпел. Перешёл через дорогу к ребятишкам. Лужи кругом. Как не промочить ноги?

Мама пошла, привела его:

— Больше не пуцу. Валенки когда теперь просохнут? И ноги мокрые.

Володя под стол залез. И плачет там.

Сестрёнка его Настя, которая уже с полгода жила у нас, подползла к нему, обнимает:

— Не плачь, братик мой. Я тебя люблю.

Вошёл папа. Услыхал её слова, не удержался:

— Ах, ты, конопляночка моя ласковая, солнышко...

А мама своё:

— Ишь, жалельщица нашлась! И тебе, что ли, поддать?

А у самой глаза не на месте. Вот-вот расплачется, мама наша.

Зачем я всё это рассказываю? Сама не знаю...

Если бы из наших, Смирновых, кто космонавтом стал. Или ещё кем... Тогда бы, понятно. Интересно, откуда он? Где корни его? Как выжили?

А так — нету в нашем роду знаменитых. Живут незаметно. Незаметно и уходят.

Ясочка

На нефтебазе то ли бензин, то ли солярка при перекачке попала в Волгу. А рядом асфальтовый завод. Там овражек небольшой такой от реки шёл. На заводе два катера было: «Петрович»

и «Звонкий». Говорили потом: один из команды «Петровича» возился с двигателями, разогревал или что. Уже осень была. И бросил факел в воду. А может, окуроч... Волга и вспыхнула. Многие погибли, кто рядом был. Тогда взад-вперёд суда ходили. Кругом копошились люди. Мне сверху видно, я ботву на огороде убирала. Зарево полыхало без краёв. Пристань стало не видать. Бросилась туда:

— Папа, папа! Миленький, только не попади в огонь! Боже сохрани! Тебе и так хватило!

Бегу и молюсь. А пионерка! Бога зову в помощь. Потом и слова пропали. Только мычу.

В этот день папа на дебаркадере стёкла менял. Попросили — он не отказался. Прибежала на пристань, а он целёхонький. Только чумазый весь, народ спасал, как мог.

Пострадало, не знаю, сколько. Много. Брат Володя только вечером пришёл с Волги. Принёс собачонку. Мужчина и женщина на дощанике плыли. Он и вспыхнул, дощаник этот. Оба погибли. Погибли они, а собачонка осталась целой. Он принёс её, а мама против.

— Мам, ну ладно тебе, она много не съест. Пусть живёт, спаслась ведь!

Уговорил. Согласилась мама.

Долго собачка у нас жила. Мы её Жучкой звали. Потом Жучка оценилась.

Один щенок гладкий такой был, на коротких ножках. Шерсть жёсткая-жёсткая. Ясочкой назвали. Больно уж трогательный. Второго машиной задавило, совсем ещё маленького. Я его не очень запомнила, какой.

Ясочка в будке жил. Весной во дворе грязь.

Чуть подсохло, куры начали выходить на теплынь. В сарае дырка сделана. Они туда-сюда, сами заходят-выходят. Уже близко к Пасхе, а яичек совсем мало.

Сидим, обедаем. Папа говорит:

— Мать, а, мать, ты яички-то больно не расходуи. К празднику побереги.

— А я и не расходую, — отвечает, — вон иногда одно в кашу разобью. Не несутся чтой-то.

Прошло дня три. Надя идёт с работы на обед, Ясочка вылез как-то бочком из будки, осторожненько. Встречает. Она гладит

его, а он смотрит на неё внимательно, будто сказать что-то хочет. Надя говорит маме:

— Что-то у нас Ясочка сам не свой, озабоченный какой-то? То общительный всегда, а теперь?

А мы все так любили своего Ясочку. Характер у него мягкий, приветливый. И мама заметила перемену:

— Не заболел ли? — отзывается. — Пойду, посмотрю.

Собрала со стола остатки. Понесла ему. Я с ней. А Ясочка виляет хвостом. Как будто заманивает к своей будке. По кругу ходит.

Мама удивилась:

— Да что с тобой творится?

Подошли с ней поближе, глянули в будку. А там яички, по более десятка.

Куры облюбовали местечко, а он им не стал мешать. Наоборот: бочком-бочком проходил в будку на свою лежанку. Так же бочком и выходил. Получается, за сторожа был. Подошла и Надя, забрала яички. Папа говорит ей:

— Хорошо, что ты надоумила нас посмотреть. А то бы он, как наседка, взял и высидел бы нам цыплят. Вот квочка была бы!..

Какие были снега!..

Мне кажется, что раньше и зимы были длиннее, и снега сильнее валили...

Как только через железнодорожную линию перейдёшь, сразу там порядок домов у Волги. На яру угловой дом Кондаковых. Зимой иной раз нанесёт такую косу снега, наравне с крышей прямо. Разок бабка Кондаковых, Кулиша, сидит у окна, вяжет носок. Все идут и смеются.

Она потом рассказывала:

«Что ж это такое? Не пойму. Почему всех наш дом сегодня эдак смешит? Сидела-сидела. Дай-ка, думаю, посмотрю. Выхожу.

Дед Мирон, шабер напротив, насмешник ещё тот, сразу мне:

— Ты, — говорит, — Кулиша со своей Манькой хочешь выше Самары быть? Главней? Начала бы с Сызрани, бычка своего б затащила, чёрненького¹.

¹ Чёрный бык на золотом поле — герб Сызрани, утверждённый в 1780 году Екатериной Великой в ознаменование развития торговли скотом и хлебом.

Ничего я не пойму, лопочет, не поймёшь, что... Пытается пройти, а колотушка его, которая вместо ноги, не даёт ему, снег рыхлый.

— Что городишь? — говорю. — Сам уж молоко кислое от пресного не отличишь! Слепота! А туда же: надсмехаться!

А он мне:

— Ты, — говорит, — не ерепень. На кой её мне отличать-то? В брюхе всё едино перемешается. Какая ей разница! Голову подними!

Смотрю я, куда Мирон насмешливо указывает.

Ах, зараза такая! Коза Манька по снегу, который намело прямо под крышу, забралась на самый конёк. Стоит, как памятник. Назад повернуть, чтоб сойти, боится, вот и торчит истуканом. Все знают: наша Манька не коза — артистка! Иной раз такое выкомаривает. У Самары-то герб города — коза! Вот Манька — вылитая эмблема и получилась, то есть герб. Живой такой. Только не на лазоревом поле, как положено на гербе, а на белоснежном.

— Что ж ты, — говорю в сердцах, — старый хрыч, попросту не скажешь. Всё с загогулиной.

А он лопату свою отставил в сторону, руки в боки:

*— Бабушка Варвара
Упала с анбара.
Все коровы и быки
Разинули языки.*

— Как был в парнях балалаечник, таким и остался, — говорю, осерчав, — видит бох!

Он своё мне:

— Что ж ты, Кулиша! Одно помнишь, а другое и нет. Мы ж с тобой эдак на вечерках пели, совсем недавно, лет шестьдесят назад. А потом сколько ещё частух у нас было! Ты больше знала, чем я. Весёлой-то была! А none?..

Верно говорил, любила я частушки петь. Но куды всё подевалось? И не поют теперь так уж. И я не така, знаю. Чтой-то переменялось давно в нас. Года-то! О чём говорить?!

Мирон прищурился. Так вроде по-молодецки глянул на меня:

— А один-то раз, помнишь, колядовали вот в такие снега. Валит снег и валит! Еле пробиваемся по сугробам под окош-

ками, а хоть бы што... Мы с тобой такие развесёлые. Ты незамужняя, я неженатый... И на двух ногах я. А у Скудаевых сидели, помнишь, что ты тогда мне сказала?

...Он потоптался, потоптался и ушёл в избу. А я что-то вроде и хотела сказать поприветливее ему, размягчилась, вспомнив золотые денёчки, да не сумела чтой-то...

Мирон ушёл, я кликнула внучка Митю. Залез он на крышу, развернул Маньку — дал ей направление в обратную сторону, откуда явилась. Она и пошла вниз».

У острова Серёдыш

Брат Серёжа то на войне, то в сорок шестом сразу женился и отделился от нас. В другом доме стал жить. Слава пропал больше на огороде... А Володя и рыбачил, и плавать научился ещё до школы. И я с ним научилась.

На нефтебазе баки стояли огромные. Наливные суда останавливались и перекачивали, что привозили. Тянулось это хозяйство вдоль берега километра на два.

А напротив — остров большой. Это было ещё до строительства ГЭС нашей. Мы называли его Серёдышем. На острове песок крупный такой, жёлто-коричневый. Ребятишки уйдут подальше, туда, где станция, и переплывут на этот остров. А он чуть не посередине Волги. Рядом — судовой ход. На острове и лес, и кустарник. На него мы за ежевикой на лодке ещё плавали. Рыбаки сети ставили у этого острова.

Володя с друзьями переплывут на остров, передохнут малость, перебегут его — и на ту сторону Волги, вновь вплавь. И я с ними увязывалась. Плавала не хуже мальчишек саженьками, а ныряла получше некоторых.

Я потом слыхала, что ещё где-то на Волге был остров с таким названием. Но этот — наш. А тот не знай где ...

Не только на остров я за ними тянулась. На железную дорогу — тоже. Ложились на шпалы между рельсов и лежали, пока состав над головами громыхает. Главное, голову не поднять, выдержать. Чудище над тобой, а ты, как букашка. Жуть, а тянуло. Глупые, конечно, были. Не все пацаны решались на такое. Поумнее нас, наверное, были.

Володя мне чаще маленьким помнится. Всякие с ним случаи бывали. Птичек любил очень ловить. Сам делал садки. Синичек ловил осенью. Папа сердился:

— Пусть живут на воле, тебя бы в клетку!..

А ему интересно. Наловит целую стайку. Выпустит, а одну-две оставит. Клетку с ними повесит над окном. Клетку чистит, семечки туда и водичку поставит в баночке. Зимой холодно. Синицы к Володьке льнут. Он их выпустит, а они полетают-полетают и обратно сами к нему в клетку. Разговаривать любил с ними. Руку протянет с семечками: «Ой, больно мне, не клной так», а сам весь в улыбке.

Всё горел желанием соловья поймать. И поймал на Серёдыше в сетку, когда мы на лодке за ежевикой плавали. Выследил его. А он у него не запел в клетке. И вскоре умер. Жалко было смотреть на Володю. Убивался сильно. Мы не знали, что и делать с этим. Папа только головой покачивал, а так ничего не говорил.

Володя похоронил соловья на огороде в углу. Поставил маленький крестик.

Самое незабываемое — когда с папой на лодке на Серёдыш плавали. Возвращались обычно вечером. Вода красная от закатных лучей. Солнце прямо на глазах проваливается куда-то. Так торжественно...

Папа меня около острова всё водянихой пугал¹. А мне нисколечко не страшно. Тогда я впервые услышала, что град Самара никогда никем не будет разорён. Это потому, что он защищён Царёвым и Молодецким курганами, на которые мы обязательно с папой договорились взобраться, как подросту.

Он рассказывал, и я представляла себе Молодецкий курган, его сказочную гигантскую голову с угрюмым каменным лицом и нахмуренным лбом, зелёным бором вместо волос. О грудь кургана разбиваются волжские воды и река поворачивает на восток, образуя Самарскую Луку. Так хотелось поскорее побывать на его вершине, где раненый Степан Разин перед своей смертью приказал казнить изменников, а свою золотую саблю завещал новому атаману. Долго светилась зарытая сабля из-

¹ Водяниха — русалка.

под земли, пока на горе не отыскал эту саблю Емельян Пугачёв... Но успел и он надёжно припрятать свой булат, на котором слова написаны: «Кто булат изоймёт, тот и правду найдёт». Захоронен тот булат где-то в наших Жигулёвских горах. Так и лежит он в потаённом месте.

Когда выплывали на самый стрежень реки, ветерок и траву в лодке, и головёнку мою косматил. Я сяду на дно лодки. К голове приложу ладошки и гляжу во все глаза. И слушаю папину песню. Светло так на душе делается.

Папа пел негромко:

*Луг покрыт туманом,
Словно пеленой.
Слышен за курганом
Звон сторожевой...*

И луга никакого нет. И кургана я не видела ни разу ещё. И этот звон сторожевой?! Откуда я его могу знать?

Но родное такое. Будто когда-то всё, что вижу, слышу, было уже со мной. Я оттуда — издалека. Вроде жила всегда, столько, сколько эта песня, а может, даже река сама... Тысячелетия жила. Возможно ль такое?..

Но я так чувствовала!..

Всё в душе уместалось: и что было со всеми нами, и что есть... Слов не знаешь, как об этом сказать?

Со мной потом, когда взрослой стала, нигде такого, кроме как на Волге, не случилось.

Я папу за его песни так любила...

Томили они душу.

...Потом, когда ГЭС построили, уровень воды поднялся. Нашего острова Серёдьши не стало.

В карауле

Помню, папа взялся в сорок седьмом караулить картошку на собесовских делянках. Попросили. Сделал шалаш, настелил в нём сухого сена. Посередине шалаша была траншейка, в неё по двум ступенькам надо было спускаться. А по бокам от траншеи этой, влево-вправо, получились лежанки, удобные такие. Дверь папа какую-то старенькую принёс. Приладил. В самый

сильный дождь было в шалашике сухо. А когда солнце, укрываться в нём от жары — красота!

Мама перловку сварила.

— Натe, отцу отнесите на завтрак.

Мы с Володей взяли глиняную чашку с кашей и пошли.

Пришли. Папа сидит. Правая рука у него до самого локтя покраснела. Индо смотреть страшно. Всю ночь, оказывается, не спал. А получилось как? Днём он жал серпом пырей, мозоль образовалась. Как прорвало, видать, грязь попала, пошло воспаление.

Уговорили пойти в больницу. Его тут же и положили. Около месяца пробыл там. Видно, когда резали, сухожилие задели. Палец безымянный не гнулся потом у него всю жизнь.

Вместо отца, пока он в больнице был, мама караулить огороды нас с Володей отрядила. Иногда Егор Пуговкин навещался. Его участок с картошкой был недалеко от нашего шалаша.

...И вот уже смеркается. Володя спит. Я слышу шум какой-то. Кто-то ходит, а я выглянуть не тороплюсь.

А тут дядька Егор кричит со своего участка:

— Марья! Вы чего дрыхнете? Из-под носа картошку воруют, а вам хоть бы хны!

Ой!.. У меня сердце заметалось. «Воруют». Как же? Что же? С ворами-то впервые столкнулись, вот так напрямую... Выскочили с братом наружу. Чуть кондрашка не царапнула. Смотрю: один, второй... четвёртый... Их сарынь¹ целая. Человек семь нагрянули. Ухачи! У меня волосы дыбом!.. Ай, батюшки, что же делать?! Ладно, Егор подоспел, а тут объездчик на велосипеде — Федька Маслов. Колхозные поля проверял.

Увидев такое дело, воришки остолбенели:

— Ой, только в милицию не сообщайте.

Оказались они из сызранского ремесленного училища. На плотников учились. Все из окрестных деревень. Родители далеко. А есть хочется!

Не похожие на хулиганов. Молоденькие совсем ещё.

Егор им:

— На первый раз прощаем. Только марш отсюда! По-быстрому!

¹ Сарынь — ватага, толпа.

Они гуськом и побежали. Смехота! Теперь, в наше-то время, разве кого напугаешь так?

Я после уж снова вышла из шалаша, а они всей гурьбой копаются у дядьки Егора в огороде. Пошла к ним. А он им разрешил картошки у себя накопать. Они уже, как свои: «Дядя Егор, дядя Егор...» И потом, когда убирали картошку, трое приходили помочь. Дружба у нас завязалась с ними. Один, белокрысый такой, Митей звать. Из Кануевки оказался, где дядька Егор родился. Земляки!

Братья

Брат Слава после седьмого класса пошёл учиться на столяра. Пока учился, сделал для дома и стулья новые, и тумбочку. В жизни ему умение это потом крепко пригодилось.

После училища работал в вагонном депо. Ремонтировал вагоны. Зарабатывать начал, полегче стало.

Поступил в машиностроительный техникум. А с третьего курса взяли его в армию. Три с половиной года отслужил на Охотском море. Вернулся. В техникум берут его только на третий курс. «Не пойду, — заявляет нам, — лучше работать устройсь. Несправедливо, я до армии весь третий курс проучился. В апреле призвали. А меня опять на третий?»

Папа ему всякие доводы приводил:

— Мне инженером не удалось стать, так ты, может, будешь. Какой размах на железной дороге!.. Вон Борис Бещев¹! Разве не пример?.. Сирота! Сначала братья помогли. Потом — техникум, затем — институт...

Еле убедили Славу вернуться к учёбе.

При эвакуированном из Минска машиностроительном заводе был этот техникум. Слава окончил его и стал специалистом по резке и сварке. Голова у него светлая. В Киев к Патону ездил учиться этому мастерству.

Как-то быстро поставили его начальником конструкторского отдела на заводе. Дальше собирался учиться в институте на заочном отделении. Да спешно так женился. А потом дом за-

¹ Борис Павлович Бещев — министр путей сообщения (1948-1977), начал свой трудовой путь на станции «Батраки».

теял строить. На том же позыме¹, где и наш общий дом стоял. Сруб сообща помочами поставили. А после он почти всё вершил один.

Володя сразу после армии женился. У каждого свои заботы. Помню, помогал он Славе всю неделю вечерами и весь выходной. А у самого дом без крыши. Замотался. И говорит:

— Меня не хватит на всё. Пускай рабочих нанимает.

А как нанимать? На какие денежки? Ушёл, а сердце не на месте.

Говорит мне:

— Пойдём вдвоём, помочь надо.

Всего-то часа два его не было со Славой. А Слава тяжёлую потолочную матку на стены один поднял. И всё. Не до строительства стало, не до учёбы... Надорвался. Всю потом жизнь страдал.

И Володя мучился. Корил себя, что так вышло.

* * *

...А тут у Володи затемнение в лёгких обнаружилось. Врачи допекли анализами. Таблетки не помогают, а с операцией тянут. Володя худел на глазах. Пришёл к нему в палату Слава, принёс термос китайский.

— Будешь есть, болезнь пройдёт. Решайся!

— Что это?

— Собачье мясо. Надо бы барсучий жир раздобыть, да где? И времени нет...

Стал Слава ему это мясо приносить, а Володя послушно ел. Вскоре ушёл из больницы домой. Жена Лена стала готовить мясо. Съел целую собаку и пошёл к врачам на проверку. Никакого затемнения в лёгких. Будто и не было ничего. Как тогда, в детстве, с квашеной капустой... Чудеса прямо!.. Везучий наш Володька.

Сейчас ему уже за семьдесят. Рыбачит с племянником на Волге. Не одни — с помощниками. Часть улова они по норме сдают хозяину, остальное — себе. Тем и живут.

Помощники часто меняются, пьют. Володя с Андреем замутились с такими работничками...

¹ Здесь: земельный участок.

Театр меня завораживал

Спрашиваешь: было ли свободное время? Днём, конечно, не было. Придёшь из школы: то воду таскаешь, то полы моешь. Или на огороде возишься.

А я так любила слушать радиопередачу «Театр у микрофона». Приглушу динамик, чтоб не слишком громко было. И слушаю себе.

Театр меня завораживал. Толубеев был, Хохряков. Царёв был. Какие голоса! Чудо! Пьесы Чехова были. У меня такое воображение, я всё представляла себе. Как и что! И «Вишнёвый сад», и «Три сестры» слушала. Оперетты любила. И поют, и говорят в них.

Мама бывало:

— Спи, завтра чуть свет разбужу!

И будила. Особенно летом рано вставала. Коз надо в стадо сгонять.

Я смотрю, как теперь всё изменилось.

Раньше, казалось мне, в три часа уже светало, а сейчас только в пятом часу начинает. Земля, что ли, у нас теперь не так крутится?

Вот «Театра у микрофона» не стало. Да что я говорю? Самого радио, какое раньше было, не стало. Куда дело годится?

Прихожу домой и плачу..

В техникум тогда поступали после семи классов. Подруга Надька сразу решила подать документы. Моя сестра Надя уже работала. Я заговорила про учёбу в Сызрани. Она:

— На какие деньги ездить туда? Работать надо.

Я упросила попробовать сдать экзамены в медицинский. Если без троек сдам, будут давать стипендию. Другое дело!

Училась я в школе без троек. Сдала все вступительные экзамены на четвёрки, остался один: по конституции. Ночевала я в Сызрани у Надькиной тётки Гани. Переночевали и отправились на экзамен. Народу тьма. А мы голодные. Я так перемучилась. А тут мне какой-то мужик вредный в комиссии попался. На первый вопрос я не ответила. Мне он хлоп — тройку и поставил. Прощу, чтобы меня ещё поспрашивали, ни в какую. Всё, стипендии не видать!

Однако два месяца я ездила на занятия. Сестра Надя замутила:

— Давай бросай, давай бросай!

Я и сдалась. Она меня тут же устроила быстренько. На склад уголь учитывать в Обшаровке. Ещё надо было табели вести, графики работы грузчикам составлять. Работали грузчики угля в три смены. Среди них Хохлов Артём — вертлявый такой был. Все ему надо.

— Ты, — говорит, — над бумажками сидишь, уголь учитываешь. А не знаешь, какой он бывает.

— Как так, не знаю? — отвечаю. — Ошибаешься.

— Знаешь? Сейчас проверим.

Ушёл. Через некоторое время принёс в барак четыре куса угольных. А у нас тогда уголь был прокопьевский, блестящий такой, карагандинский — тусклый и антрацит. И ещё бурый уголь. Его плохо машинисты брали.

...Платформы стояли, он и набрал. Я всё назвала правильно, по маркам. У грузчиков лица вытянулись.

Любопытная была, давно уж всё пощупала своими руками. Эшелон ведь за эшелоном шли. Октябрьск всю жизнь свою связан с транспортом, а жизнь нашей семьи — с железной дорогой и Волгой. Через Октябрьск переваливали исстари лес, зерно. Он соединяет Европу с Азией: и мостом, и железной дорогой. Издавна через него возили грузы то гребными, то парусными судами, то баржами с конной тягой. А до того бурлачили... Трудяга — одно слово.

...Папа у нас не курил, не пил. В нашем доме воздух всегда чистый. А тут... Грузчики не папиросы, а самокрутки курили. Работают, работают, в барак зайдут — все разом как задымят! Мама моя! Комнатушка вся в дыму. Голова идёт кругом. Вся одежда моя пропахла табачным дымом. А матерились-то. «Ой, дочка, прости». А сами без останову...

Прихожу домой и плачу.

* * *

Потом Хохлов этот, Артём, приставать начал. Подкараулит, где никого нет... И лезет со своими ручищами. Сильная была, в следующий раз не стерпела. Дала крепкий отпор. Укоротил руки, но чувствую: что-то замыслил...

Никому пожаловаться не смею, молоденькая совсем... А тут уволилась. Взяли меня в горсобес счетоводом. Работала и бегала в вечернюю школу. Окончила 8-й и 9-й классы. И всё. На том завершилось моё образование. Больше нигде не училась.

На сопках Маньчжурии

Я так любила танцевать! Походила на танцы... Танцевали мы вальс, танго. Не то что сейчас — дрыгаются.

Клуб асфальтового завода — рядышком, а другой, «Коминтерн» — железнодорожников — чуть подальше. За путями, по ту сторону. Часто приходили ребята и девчата с пристани, с шиферного завода. По субботам и воскресеньям — танцы под духовой оркестр. Такая красота! Наши, с Батраков, ребята играли. Не откуда-то! По комсомольско-молодёжным вторникам танцы бесплатные. Летом танцевали на площадке в парке. Билет стоил три рубля — на танцы и за вход в парк — один рубль. В дальнем конце парка мы перелезали через забор, а контролёром на танцплощадке была наша соседка. Мы с подружками проходили «за так».

Железнодорожный узел большой, по-моему, было семь только вагонных парков. Молодёжи много. Часто проводили всякие вечера.

Помню, ехали, кажется, из Омска, курсантики какого-то военного училища в Москву на смотр. Поезда тогда долго стояли. Ну и узнали они про танцы. Явились к нам на танцплощадку. Вот уж в тот вечер мы танцевали всюю. Ко мне привязался один, щупленький такой. Весёлый. Всё адрес просил, чтобы написать потом.

— Нет-нет, — говорю, — у меня Андрей есть! Вы сегодня здесь, а завтра там.

...Тут они попросили у наших инструменты и так красиво начали играть. Ой! Весь вечер был, как сказка. Волшебный вечер духовой музыки! Они грамотные. По нотам играли. Начали с вальса «На сопках Маньчжурии». Мурашки по коже! А потом один за другим — вальсы, вальсы, вальсы!.. До сих пор тот вечер помню. Потом уж не было у меня таких.

Курсантик всё около меня оказывался. Хорошо танцевал. Только больно уж прижимался. И руки у него липучие... Там

ограждение вокруг танцплощадки было кирпичное, белёное. И тумба такая же из кирпича, метра полтора высотой. Я приподняла его, курсантика этого, и посадила на тумбу. Не знаю как! Чтой-то во мне сработало. Все смеются. И он вместе со всеми лыбится. Пройдошистый. Глянул на меня крайним глазом пронзительно: кобылица ты, говорит, дикая! С дуба рухнула?!

Вижу, Андрей мой меж танцующих ко мне пробирается...

А тут время, что ли, их приспело. Явился командир, ядрёный, как кочашок, и громким голосом дал команду. Я не поняла, что он выкрикнул. Только курсантов мигом не стало.

В тот вечер после курсантов мы с Андреем только друг с другом танцевали. Он видный был. Мне многие завидовали. Андрей и пел хорошо, как мой папа. Только весёлые песни любил. Часто старинные, которые не многие знали. Одна у него была особенная. Она мне, как папины песни, сердце тревожила. Попробуй быть каменной:

*Он подходил ко мне с улыбкой,
Руку жал и целовал.
И называл меня голубкой,
И в губы алы-алы целовал...*

Старинная, а всё про тебя будто... Слова такие, что и не надо больше ничего говорить. Так у нас с Андреем и случилось... В тот вечер. В который духовой оркестр играл «На сопках Маньчжурии»...

Потом моим подружкам письма приходили. А Полюшку Лебедеву молоденький такой лейтенант приехал и увёз. Переписывались они. Такая тихоня была, а вот — судьба! У него фамилия была Петушков. Мы смеялись:

— Не меняй, — говорим, — свою. Лебедь и Петушок! Куда как весело. Пташечки!

И я вскоре замуж вышла. Парней много вокруг, а получилось у меня кое-как. Сама во всем виновата. Сама...

Андрей на два года старше меня был, только что из армии пришёл. Работал помощником машиниста, потом машинистом. Жил в Батраках. Так мы друг другу нравились. А не сложилось. Больно его мать против была. Мы, Смирновы, совсем ведь беднота. Мне поприличней и одеть нечего было на танцы. У Андрея характера не хватило.

А Мишка — слепень. И такой же, как я, беднота. Отодвинул его. Я взбрыкнула сдуру. Согласилась за Мишку пойти.

* * *

Андрея уже нет давно. Две внучки у меня, а всё помню его. Когда я замуж выходила, он так жалел... Убивался, можно сказать. А меня занесло. Не остановить!

Как замуж вышла...

Как замуж вышла, вместе с мужем стала работать. Михаил сначала был матросом, потом рулевым. Одну зиму учился, после этого на маленьких судах начал работать капитаном.

Работали вместе мы долго. Доверили ему «Агиткатер». Плавали по Волге до Саратова, Волгограда. И обратно в Самару. На втором этаже размещался кинозал с небольшим экраном. Мы пришвартовывались к судну и капитаны с командным составом в кинозале прорабатывали несчастные случаи, аварии на воде, приказы. Там же мы раздавали письма, свежие газеты. Михаил меня матросом устроил. Потом я согласилась ещё и на повара. В команде восемь человек. Всех накормить надо. Никакой скидки не было. До того уставала. Ещё счетоводом тут же.

Потом паромом с мужем заправляли. Сто пятнадцать, помню, человек вместимостью. Около десяти лет плавали. Михаил в бухгалтерии мало что понимал. Всё мне сбагрил. Он и в машинах не очень... Я в этом вскоре убедилась. Часто у него ломалась техника.

В сутки только шесть часов были свободными, с двенадцати до шести утра. То варила, то кормила. То за матроса, то подсчётами занималась.

До нас перевозили народ через Волгу частники. Каждый на своей завозне. Сновали туда-сюда. Организовали паромную переправу, нас и направили. Берег левый — берег правый. Один маршрут.

Волга тогда кипела! Народищу... Подплывёшь, сначала с носа чалку вовремя надо подать матросу, который на причале. Потом бежишь с кормы подавать другую. Туда-сюда. Как савраска. За вахту набегаешься... У меня до сих пор руки — мужицкие.

На Волге паромная переправа стоила двадцать копеек. Каждый вечер надо было подсчитать деньги, в кассу сдать. Путевой лист оформлять. Потом Михаил захотел, чтобы я и машинные журналы заполняла. Обленился совсем. Тут уж я в дыбошки. Ни в какую! «Машинные журналы заполняй сам!» — сказала, как отрезала. На мне ещё и выдача зарплаты. Топливо на мне. Все расходы-доходы, всё надо свести. Весь баланс на мне. Сводила.

* * *

Между судоремонтным заводом и элеватором в Самаре стояли два плавдома. Дали нам комнату в одном, в трюме. Окно одно, на уровне воды. Сырость, конечно. Отопление паровое. В носовой и кормовой частях — плиты. Топили углём. На них мы и готовили себе еду. В этом трюме у меня дочь Наташа родилась. Построили на Кряже восьмиквартирный дом: дали нам двухкомнатную на две семьи. Коньковы были бездетны. Так что нас пятеро всего. Топили дровами, углём. Котёл стоял. Немножко вздохнули. Когда в Сызрани бухгалтерия в порту стала расширяться, меня вызвали.

Юрий Васильевич говорит:

— Мы тебя, Вострикова, хотим в бухгалтерию перевести. В Сызрань. Как ты на это смотришь?

— Мне же тогда ездить надо из Октябрьска каждый день, — отвечаю.

— Решай! Главный бухгалтер мне рекомендовал тебя. Хорошо о тебе отзывается.

Домой приехала. Маме с папой сказала.

— Соглашайся, — говорят, — от Мишки хоть отдохнёшь.

Так я освободилась от мужниной многолетней бестолковщины, вздохнула свободней. Ничего он с охотой не делал. Плавал, как жёрнов: столько всякого перетопил в реке. Всё абы как. И злой постоянно. Кричит. У плохого мужа жена всегда дура.

Почти десять лет ездила в Сызрань на автобусе. Больше двенадцати часов в сутки меня дома не было с такой работой. Зато не на воде. Я с Михаилом плавать всегда опасалась. И за него боялась. Всё что-нибудь не по-людски. Скажешь ему по-доброму. А он:

— Собака умней бабы: на хозяина не лает.

Вот и поговори с таким.

Эта вода!.. Бог меня, что ли, хранил. Два раза вылетала за борт по его глупости. Плавать-то я хорошо умела. Целёхонькой оставалась, без царапинки...

А вот железная дорога меня отметила. На всю жизнь, когда ещё учётчицей работала.

Шла мимо паровоза. Окалина вылетела вместе с дымом из трубы и — в глаз. Светленькая такая. Воткнулась в правый глаз прямо в яблоко. Сестра Надя, когда я домой прибежала, свернула листочек бумаги клинышком и вынула её. Вынуть-то вынула, а глаз с той поры плоховато видит, не как левый.

Качели

Когда я работала на пароме, переправлялась одна гражданочка. Век не забуду. Ньюрой звать. Исхудалая. Лицо без кровинки, краше в гроб кладут. Вечер, куда в позднину и дождь в такой одежке, как у неё. Оставила у себя ночевать. Долго мы не спали.

Так рассказывала она, горемыка:

«В сорок втором погиб на фронте отец. Потом старший брат Василий ушёл воевать. Продукты у нас кой-какие ещё были и скотина была. Но нет дров, а надо отапливать избу. Мужиков своих нет, да и чужих: раз, два и — обчёлся. Дали маме колхозных быков, она поехала в лес, за дровами, одна. В лесу быки распряглись. Вернулась с отмороженными пальцами на руках. Они у неё потом почернели и отвалились. На левой руке — два, на правой — три. Пролежала в больнице сколько-то дней. В эти дни нас обокрали. Вывернули скобу у запертой двери мазанки и вытащили все запасы провизии. Унесли одежду отца. По отцовской фуфайке мама определила, кто совершил кражу, но не заявила. Боялась, сожгут дом. Тогда уж совсем конец. Пришёл день, когда козу и курей съели. Всё, что можно, съели. Наступил голод.

Мать долго не решалась пойти просить милостыню. Но сломалась. Взяла Надю и Лизу, они были постарше нас, и пошла в соседние деревни, где их не знали. Нас с Сергеем оставила дома, как совсем ещё маленьких. Два дня мы ничего не ели. И тут я вспомнила, что мать хранит на шкафу мешочек с мукой. Этот шкаф сделал наш отец. Он был высокий такой, разделялся на две половины. Когда мама варила суп, то ложкой добав-

ляла в него из этого мешочка муку. В лепёшки из берёзовой коры добавляла...

Я сказала Сергею о муке, он согласился достать мешочек. Мы водрузили на стол табуретку. Он стал её держать, а я полезла. Как только добралась до мешочка, сразу, не в силах сдержаться, начала горстями есть муку.

Сергей кричит:

— А мне? Про меня забыла!

И отпустил табуретку. Я упала. Бухнулся со шкафа и мешочек с мукой. И прямо в тазик со щёлоком. Мука сразу размокла в щёлоке. Было-то её... Сергей пальцем собирал себе в рот то, что у меня на щеках осталось. Потом мы сидели на полу и плакали оба. Как стыдно, мама вернётся и увидит, какую мы беду сотворили. Вся мука пропала.

Сергей говорит:

— Нюр, давай я тебе удушю, потом сам удушусь.

Мне было страшно, но я подумала, что это правильно. И согласилась. Сергей взял верёвку и мы пошли в наш сарай сзади двора. Сели на дырявое опрокинутое корыто и сидим. Не двигаемся. Смотрим друг на друга молча. Помню до сих пор то моё состояние. Слова сказать не могла.

...Солнышко светит в щели меж досок. Захотелось выйти из сарая, посмотреть на него, на небушко. Я и вышла. Когда вернулась в сарай, Сергей с верёвкой возится под перерубом. Делает петлю. Она висит, болтается. Огромная такая.

Я говорю:

— Давай сначала покатаемся на качелях, а потом сделаем, как задумали. Успеем. Они только вечером вернутся.

Захлестнул он петлёй за переруб, к нижнему концу верёвки привязал палку. И мы попеременно начали кататься.

Вдруг — во дворе голоса. Мы выбежали, увидели мать. У неё лицо такое... Будто все знает про нас.

Я кричу:

— Это кошка, кошка муку свалила. Кошка!..

А мать вся в слезах, гласит:

— Живы! Господи! Живы! А мне в голову втемяшилось: беда с вами! Бежала спотыкошки¹.

¹ Спотыкошки — бежать, спотыкаясь, очень торопиться.

И высыпает нам гостинцы, еду. Это такое чудо: я жива осталась, мать не гневается. И еда есть.

Сплошное счастье!»

* * *

Раза три виделись мы с Нюрой ещё. Порассказала о себе она... Потом пропала из виду, сердешная. Хочется верить, что полегчало ей в жизни. Всяких повидала я на переправе, а её забыть не могу. Так и сидит во мне: «Давай на качелях покатаемся...».

Хоть бы раз со злобой сказала про кого-то. Нет. Только молвила сокрушённо однажды, подперев ручонкой горемычную свою головушку, будто сдалась наконец, согласилась с уготованным:

— Простые люди — вечные страдатели...

Кормилица

...Сын Петя — грудной, а у меня молоко пропало. Чем кормить? Скорёхонько козу купили, вспомнили, как маму выходили в войну. Коза Катька и стала у Пети кормилицей. Катька красивая была. Чёрная вся, только голова от ноздрей до рогов — белая. Она потом принесла двух козлят. Один белый, другой — почти как она, чёрный. Мама летом их частенько мыла. Привяжет к завалинке, вынесет таз и помоеет. Вымя Катьке каждый раз перед дойкой мыла. И тряпочкой потом протрёт, аккуратненько так.

Сестра моя Таня приехала к нам из Новокуйбышевска и завала маму в гости к себе. Мама — к поезду, а её три козы провозжают до самого вагона. Не удержать их. Она уехала, а они, как только поезд какой на станции загудит, мечутся по двору, того гляди вырвутся.

Без мамы пригнала я коз из стада, помыла вымя Катьке и хотела подоить её. Не далась. Одну Белку подоила, а Катька с Манькой по двору бегают:

— Ме-ме?... — почему, мол, так долго хозяйки нет?

Мама приехала на другой день вечером. Едва калитку открыла, они втроём к ней:

— Ме-ме, ме!.. — жалуются.

Она их гладит, приговаривает:

— Миленькие мои, соскучились, бедненькие.

Они руки ей лижут. Успокоились. Такие довольные стоят.

Иногда взбрыкивали, не без этого.

Когда Петя что-нибудь, уже после, ерепенился, мама ворчала на него:

— Хоть и попил молочка-то от Катьки, чать всё же не козлёночек, будет тебе...

* * *

Когда козы загуляли осенью, мы козла во двор впустили. Они его сами привели.

Сидим, обедаем. Я в окно взглянула. Смеюсь, не могу удержаться. Пальцем только показываю.

У нас была кастрюлька старенькая. Мама выносила в ней козам воду. Первым делом, как придут домой, пить им давай. Кастрюлька та с ручками была. И как козёл умудрился рога сунуть в ручки кастрюли?! Бегаёт с кастрюлей на голове, ничего не видит. Натыкается на что попало. Забыл, зачем пришёл.

И смех, и грех. Жених!

Колюшка Фёдоров

Я тогда с Михаилом на катере работала. Пришла Зина, бывшая одноклассница моего брата Сергея, просит:

— Помоги устроиться на работу. Дома шаром покати, пусто.

Я похлопотала. Взяли её на пристань. Повеселела Зина. Больше за мужа своего Николая переживала, для него старалась!

Муж её, она его Колюшкой звала, под Ленинградом обморозил ноги. Отрезали частично ступни. Комисовали. Протезов у него никаких. Какие к таким ногам протезы? Да и после войны сколько их, протезов, надо было. Где взять? Набьёт в сапоги чего-то, сунет ноги и... поколтыхал.

Жили они с Зиной у его родителей. Он часто приходил к нам на причал. Голубоглазый. Длинный, верста коломенская. А лицо, как у моего Петеньки, детское. А самое-то, что я в нём любила, — играл он на гитаре и красиво так пел. Голос!!! Я та-

ких больше не слыхала. Я его всё романсы просила петь. Он меня уважал. Никогда не отказывал.

В тот год особенно много везли на баржах соль с низовьев Волги. Крупная соль такая, жёлтая. Разгружали баржи и транспортерами, и лопатами. Горы соли. А через железную дорогу — «Главсоль». Там её мололи, фасовали в пакеты.

Воровали грузчики соль эту. Не без этого. И другие повадились. Говорили: «За солью сходить». И он с такими ногами пошёл. Здоровые разбежались, а его поймали. Посадили за сумку соли на два года.

Отсидел положенное, вернулся домой. Потихоньку начал сапожничать. Дело вроде у них налаживалось, у Зины с Колюшкой. А тут опять беда. С Колюшкой. У него друг фронтовой был, Володей звали. Кто-то к Колюшке в будочку его сапожную прибежал и сообщил:

— Там дружка твоего, Володьку, бьют! У столовой!

Колюшка туда. Драка вовсю идёт. Забор трещит. Пили-пили, чего-то не поделили.

Он инвалид, но так-то здоровенный. Раскидал всех в разные стороны. Да один из них выдернул доску из забора и сбоку Володе саданул по голове, он дуром как закричит. И клянул... В доске — гвоздь! Глаз вытек у Колюшкиного друга.

На следующий день приходит к Колюшке Фёдорову милиционер:

— Ты, — говорит, — изувечил Владимира Чувашова.

— Как это я? — отвечает Колюшка. — Спросите Володю.

А тот ничего сказать толком не может. С ним уже говорили. Не видел он, кто его ударил. В подпитии дрался. Дружки все как один показали на Фёдорова: «Ты изувечил». Такие салазки загнули. И Колюшка опять загремел, с ходу. На три года. Судимый же был.

Когда вернулся, его уже было не узнать. Не стало Колюшки. Другой человек. Вскоре совсем спился.

Если песни пел, то теперь больше всё блатные. И матерился так... Где-то через год, наверное, как вернулся, утонул Колюшка.

Сам ли такой выход нашёл? Или кто помог? Разное говорили.

С Волги на Надым

...Михаил продолжал куролесить. С людьми у него плохо получалось. Я терпела, как могла. Михаила Вострикова теперь все в порту знали. Переводили его, переводили с одного места работы на другое, а толку?

Достукался — из капитанов в матросах оказался. И всё равно продолжал пить. Лень за пазухой у него гнездо свила. Что тут делать? Борис, муж сестры Михаила, развёлся в Октябрьске с Люськой и уехал на Север.

А тут вернулся в Октябрьск. Зачем-то принесло его. Известно: глупый — умного, пьяница трезвого не любит. А тут оба одинаковые сошлись. В первый день с утра налупились. Два дня пили. То у нас, то у них в бане. Вдруг исчезли оба. Враз. Как дымок печной, пропали. День, второй — их нет. Дома не ночуют. Я — на пристань.

— Где Мишка?

А сменщик его, Юрий:

— Ты чего это? Проснулась? Уехал твой туповатый Востриков. Сказал: в Сургут. Поеду, говорит, себе новую биографию делать! Видала, что?

Их, как шилом, подняло. Потом я узнала: взял десять дней отгулов. Мать его знала обо всем. Не сказала.

Михаил вскоре прислал письмо, две страницы наваракосил. Срочно велел приезжать. Устроился на работу. Обещают жилплощадь. Иль пишет, всю жизнь в отцовской деревяшке хочешь прожить? Без газа, без горячей воды, с нужником во дворе? В Сызрани или Октябрьске, дескать, не дождёшься своего жилья. Опомнился. Не пил бы так, глядишь, по-иному всё было.

Поехали к нему. Где муж, там и жена. У нас уже были и Наташа, и Петя. Мама вздыхала: «Куда из родительского дома? К добру ли?»

...Михаил поехал себе новую биографию делать. Думал ли он серьёзно о нас? Не знаю.

Так мы брякнулись на Север.

На Севере Крайнем

Вспоминаю первый год на Севере.

Конечно, непривычно сначала. Мошки и комары... С ума сойти. Ещё бы, столько озёр и болот, речушек и проток.

Пришла с работы, а Петя:

— Мама, ну пойдём в лес! Сколько уж раз обещала.

Лет девять ему было. Все дни на речке пропадал. Там ветерок. Купался с мальчишками, а всё в лес рвался.

Голубика спеть начала. Взяли ведёрки пластмассовые и пошли с ним. Только зашли в лес, мошकारа тучей набросилась. Комары! Как мухи, огромные. Мы в панике назад. Выбежали на дорогу, оглянулись — огромный комариный хвост. Потом-то уж попривыкли.

Зато какие зимой гонки на оленьих упряжках на льду озера Янтарного! Вот где красота!

Вначале, как приехали, пришвартовались в пятнадцати километрах от Надыма, в посёлке. Двухэтажный деревянный дом. Отопление, плита на кухне на баллонном газе. У нас на Волге такого не было. Огородов никаких. Отдых от огородов. По дому приборёшься, сварить, то да сё. И только.

Воду в бойлерах привозили. Набирали её в бочку. Большая такая, в коридоре стояла. Это не то, что в Батраках: на себе тащить на коромысле по два ведра. На гору от Волги. Иногда несколько раз в день туда-сюда. Плечи ноют. Много по-другому на Севере.

Коренные — ненцы, ханты, манси — в основном все в охоте, в рыбалке, оленеводстве. Их всего-то, кажется, около десяти тысяч осталось, кочевых.

С тех пор на глазах моих столько перемен свершилось. Теперь в Надыме около пятидесяти тысяч разного народа живёт. А население автономного округа уже более пятисот тысяч.

А начиналось всё с бараков в посёлке¹. В Надыме и Октябрьске от больших дел дух захватывает. Только на Волге река и

¹ Газовое месторождение «Медвежье» открыто в 1968 г. В октябре 1971 г. испытана первая скважина. Первое капитальное здание в посёлке Надым начали строить в августе 1971-го. А в марте 1972-го посёлок уже назвали официально городом. Без Медвежьего, а значит, Надыма, не было бы, очевидно, Уренгойского и Ямбургского месторождений.

железная дорога работают, а на Севере — река и авиатранспорт. На Волге Сызрань — второе Баку, а в Надымском районе добывают, сказывают, почти третью часть всего российского газа. По трубам идёт он по всей России аж за границу.

Край — цены ему нет! Не зря народ прибывает и прибывает. Места всем хватит. Ещё бы, говорят, в два раза больше Франции!

Не видала Францию, но всё равно...

Мне бы грамотёшки побольше да годков сбросить хотя бы с десяток. Но ушло моё времечко. Дела великие вершатся! А такие, как я, недоучившиеся, где-то будто внизу, в трюме огромного многопалубного парохода, копошатся. Те, кто учёные, с высшим образованием, если бражничают, работают в пол оборота, мне за них неловко, честное слово. Дела-то требуют каких усилий!

Я почти всю жизнь, до восьмьдесят седьмого года, проработала бухгалтером на расчётах по зарплате. То в Сызранском порту, то в Надымском.

Бумажный человек.

«Скучная, когда не поёшь!..»

В восьмьдесят первом дали нам квартиру в Надыме со всеми удобствами в пятиэтажном доме. На четвёртом этаже. Общая площадь около полсотни квадратных метров. Не «хрущёвка». Просторная, комнаты на разные стороны. Наш подъезд заселили жильцы, приехавшие на Север кто откуда. И как зажили дружно! В чём дружба состояла? В помощи друг другу. У каждого своё, а всё равно заботы схожие все. То ли новая жизнь сплачивает, то ли потеря старой. Праздники, дни рождения чуть не всем подъездом отмечали. Много ли пили? Кто как! Я, например, на гулянках этих смотрела больше. И пела, конечно. Наши волжские песни. Как без них!

Главбухша Варвара Никитична — с Хвалынска, наша — волжанка. Так она часто просила спеть «Сормовскую лирическую», «На побывку едет» или «Каким ты был». После песен она часто напивалась, было дело. Я жалела её. А отказать ей, не петь не могла. Любила я петь, а то!.. Где главбух наша, там всегда пели. Бывало, устанешь после работы, а она принесёт разных продуктов:

— Марья Петровна, давай, пеки торты.

И чтобы обязательно «Прагу». У меня всяких рецептов — куча. Куда деваться? Широченная натура Варвара.

— Ты пеки, — говорит, — чтоб всех наших пригласить можно было.

Всех наших! Это почти целый подъезд.

Когда она с мужем приехала, им сразу четырёхкомнатную квартиру дали, было где собраться.

Ну я и пекла. Куда денешься?

А она распоряжается:

— Завтра на работу не выходи! Готовь пироги. Осетрину принесу.

Не выходи! А кто мою работу будет делать? Кой то, кой это — день и пролетел. По старой привычке ночью навёрстывала, что могла. Как ей отказывать было?

Спросила разок: что же вы, Варвара Никитична, когда я пою, плачете всё?

— Жалко мне нас всех, — отвечает, — как мы живём? Как тягловые лошади работаем да обжорством занимаемся. Разве это жизнь? Тебя жалко, — говорит, — что же ты, милая моя Марья, не училась в своё время? Тебя бы чуток совсем подправить только кой-где... Ты бы вторая Зыкина у нас была. А так! Ушёл талант в никуда. Ты это осознаёшь?! — спрашивает так грозно, аж не по себе мне.

Я молчу.

А она своё:

— Копошились в цифрах, бухгалтерские крысы. Цифра нас и съела. Какой от нас толк? Что останется?

— Э-э... — отвечаю, — Варвара Никитична, так нельзя! Кому-то и бухгалтерию в жизни надо вести. Без неё погибель. Наш труд незаметный, но необходимый такой. Для людей он.

— Простота ты, простота! — восклицает, прямо как на сцене, — как мало тебе надо!

— Почему, — говорю, — мало? Мне интересно всегда то, что руками и умом сделано. Просто мы многое не замечаем, привыкаем. А люди во все века трудились. И до нас. Без их труда нам бы не так жилось. У нас под Сызранью мост че-

рез Волгу¹. Чудо человеческого ума и рук! А кто знает, кто и как его построил? Забыли. Не знаем и не ценим! Это неправильно. В трудах жизнь жива! А Надым? Такое вершится!!! Неужто тоже когда-нибудь забудут, с чего и как здесь всё начиналось?!

— Правильная ты очень, а потому скучная. Когда не поёшь! — восклицает Варвара.

Её трудно в чём-либо убедить. Стоит на своём до конца. Я уже знала от мужа её, что она артисткой хотела в молодости стать. Ездил в Москву поступать на учёбу. Но что-то не сложилось. Где-то потом в театре работала, но бухгалтером, а на сцене никогда не выступала.

Надо же, мучилась этим всю жизнь!

Пуповина тянет...

— Ты должна была быть народной артисткой! У тебя — талант! А я, бездарь, заставляю тебя торты печь. Справедливо это?

Говорит так мне Варвара и плачет. Натурально плачет, я вижу. Удумала что? Подарила мне новую каракулевую шубу. Я не знала, что делать с таким подарком. Заставила взять. Потом завела манеру, когда одна, позовёт меня и давай петь. А я чтобы слушала. А мне цыганские песни... Я их не очень... Голос у неё... редкостный... Мороз индо по коже. Контральт называется. Как мужик поёт. Подарила она мне песню одну замечательную.

¹ Заражённый интересом Марьи Петровны, я порылся в архивах и нашёл много примечательного (увы, для себя неизвестного) из истории моста и Сызрани. Проект Александровского моста через Волгу в десяти километрах восточнее Батраков разработал выдающийся русский инженер и учёный в области мостостроения, профессор Петербургского института путей сообщения Н.А. Белелюбский. В филиале Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) в Самаре на государственном хранении находятся чертежи проекта, выполненные автором собственноручно в 1875 г. Чертежи на батистовой кальке с его подписью прекрасно сохранились. В 1876 году началось строительство моста длиной около 1,5 км, которое курировал лично Александр II. Запущен он был 30 августа 1880 г. Долгое время Александровский мост, названный так в честь императора, оставался единственным звеном, которое соединяло центральные районы России с Заволжьем, Уралом и Сибирью.

— Ты, — говорит, — пой её! Мне такую нельзя. Куда с моим голосищем.

А песня редкостная, она её у себя на родине слыхала. Как уж зачин?.. Вот, вспомнила:

*Золотые вы, песочки, ты, серебряна река,
Полюбила я, девчонка, молодого паренька.
Полюбила-затужила, не могу его забыть,
И открыться я не смею, и не смею говорить.*

*Я колхозная девчонка, мой колхоз не знаменит,
Да вот сердцу не прикажешь, сердце девичье болит.
Сердце девичье не камень, боль слезами не уймёшь.
Недогадлив мой парнишка, недогадлив, но хорош!*

Собирала компании, торты заказывала, а сама их не ела. И остальное — так, чуток тронет. Муж её не пил совсем. Зато первый мой помощник в песнях. Песняка, как он говорил, мы с ним выдавали — будь здоров! У нас коронная была «Окрасился месяц багрянцем». Голос у него дребезжал, но душевный такой... И, конечно, «Течёт Волга» пели, как без неё...

Что-то промеж них не ладилось. Больно у Николая Ильича глаза грустные были. Теперь уж его нет в живых. У него желудок оказался никудышный. Главный инженер. Не до себя. Шишка большая, а совсем свой, наш. Там ведь какие бывают порой на Севере? А он мягкий такой. Интеллигентный. Голоса не повысит. После операции швы разошлись, потом ещё что-то. Не стало Николая Ильича.

Жалела я его очень. Но так, внешне вида не показывала. Одинокий он был при жене своей Варваре. За мужем внимание дорого, а она за народом от него пряталась, что ли... Он за работой — от неё!.. Как умер, она ещё некоторое время держалась. А на пенсию вышла, уволилась — и запила. Моченьки смотреть на это не хватало.

Оказывается, у неё диабет сильный очень, давно. Вот ведь беда, а мы никто не знали. Скрывала.

Мужа нет, оба сына в Ленинграде. Последить за ней некому. Долго рассказывать. В конце концов, я с сестрой её списалась, приехала она и забрала Варвару в Хвалынский. Вдвоём теперь живут. В частном деревянном доме. Всегда она хотела вернуться на Волгу: «Вертись не вертись на перегонах дальних, а до-

мой охота. Пуповина тянет...». Так она сказала. Сказала мне, как со сцены в зал. У неё часто такое было. И я на них, на эти её слова, не обратила внимания тогда. Теперь кажется, будто мои они.

Все вроде бы нормализовалось. Но глаза она успела себе сжечь. При диабете пиво да водка — разве мыслимое дело?! Пишет мне её сестра Антонина, что Варвара Никитична на Волге теперь успокоилась — не пьёт совсем. Сокрушается: как раньше, в детстве, в девичестве, водичку волжскую, небо и солнышко над головой не видит уже почти, только чувствует. Слепнет совсем. Сестра жалуется: «Теперь одно у Варвары на уме. Стихи сочиняет. Бубнит и бубнит. Часто ночью тормозит: — Сестрёнка, записывай! Боюсь, до утра позабуду...».

Калькулятор ходячий

Когда мы в семьдесят седьмом году в Надым приехали, взяли меня кассиром в товарную кассу. Грузы тогда большие шли. В основном трубы для газопроводов. Столько документов с этими трубами прошло через меня! Сначала была у нас пристань, затем стала она Надымским портом.

Потом меня в бухгалтерию перевели. Непросто давалось. Работы — с головой. Столько надбавок разных к тарифам. За ними только успевай следить. Всё вовремя надо делать. А народ всё прибывал и прибывал. У каждого своё.

У меня свыше семисот человек было. Флот из одиннадцати единиц за мной. Матросы, мотористы, повара, токари, столяры, АУП. Выручала память, считала быстро.

Легче стало, когда калькуляторы появились. Каждому выдали. До этого, когда я в Сызрани работала, на счётах считали. Там у нас был один калькулятор на всех. Из-за него чуть не дрались: дай мне, дай мне! Всем надо. Я на счётах не только складывать и отнимать умела. И делила, и умножала. Быстро всё это проделывала, все дивились, глядя на меня. В привычку вошло в уме считать.

Меня на рынке многие знают у нас. Порой до смешного доходит. Торговки за прилавком будь здоров, что творят. Мне не жалко мелочи. Но обидно, что неправильно счёт ведут. Беру, например, картошки по двадцать пять с полтиной. Всего пять

килограммов. Пока она взвешивает, я уже знаю: на сто двадцать семь рублей пятьдесят копеек. Она берёт сто тридцать семь с полтиной с меня. Спрашиваю:

— Почему столько?

Тычет в машинку:

— Читать умеешь, бабуля! — и показывает цифирь.

— Умею и читать, и считать, — отвечаю, — обманывать не научилась.

Соседка рядом тут же заступаться:

— Гражданка, больно вы говорливая!..

Спокойно отвечаю:

— Арифметика — наука точная. Надо уважать!

Она ещё двести граммов не довесила. Пальчик-то поторопилась снизу убрать с весов, я приметливая. Ещё надо минусовать пять рублей с маленьким хвостиком.

— Я округлила, — возражает считальщица.

— Округляйте до ста двадцати восьми, зачем больше?

Теперь издалека меня замечают. Не только эти две:

— О, калькулятор ходячий идёт!

Жалко их, право. Прокантуются на базаре день, а ночью так нагуляются — синяки под глазами. Какой тут счёт?.. Сальдо-бульдо. При мне, пока я потом яблоки выбирала, та, которая картошку мне взвешивала, подружке своей так, между прочим, говорит:

— Ленка-то снова почистилась и своего мордастого, этого, Сырова, побоку. Теперь с Генкой. Кобелина ещё тот! Ну, который с базы... долговязый.

А у самой фингал под глазом, как нарисованный... Молоденькая совсем... Подружка, которой говорит, ещё чище:

— С Генкой? А, говорят, он голубой?..

Городят, что ни попадя. Не слушала бы. Что же это нам досталось такое? На наших глазах мужики перевелись. Где они? А теперь и бабы на исход пошли. Кто рожать-то будет? Такие, как эти две с рынка? Нарожают... Выродимся.

Тьфу ты! Не стала я у них яблоки покупать. И картошку вывалить назад хотела. Тошно у них из рук что-либо брать. Ну что они делают?

Умом понимаю: им, молодым, сейчас труднее, чем нам было в их годы. И труднее, чем нам, старым, сейчас. На них столько

навалилось необычного. И опыта у старших в этом навалившемся нет. Но как-то надо себя держать... Ремнём отстегать порой хочется некоторых. Да ведь по заду нахлещешь, а в голову не вобьёшь. Поздно.

Широко шагнули

Перед отъездом к вам в Самару на рынок ходила. На входе — то ли девица, то ли парень? Стрижка короткая, не разберёшь. На худющем теле брючонки болтаются. Девица, думаю, губы в следах от помады.

Спросила:

— Дочка, скажи, который час?

Она мне:

— Не знаю, не считала.

Зло так говорит.

— Часы же на руке? — недоумеваю я.

— И что с того. Почему я вам должна объяснять! Они встали. А сотовый не взяла.

И смотрит пустыми глазами мимо меня. Будто меня и нет. Ясно: не меня только она не видит в упор, всех таких, как я, старых. От этого ещё обиднее. Подумала: а может, она так со мной, потому что я не в брюках, как многие. Не омужичилась...

Посмотрели бы наши отцы и матери на всё это. Услышали бы её ответ и не поняли. Что такое «сотовый»? Если это телефон, то при чем тут время? Ладно с сотовыми телефонами. Шагнули широко в технику. Слава нам! Но глаза? Они не должны быть пустыми. Если только мозги не повышибало прогрессом этим...

Говорю, и горько самой. Порадоваться хочется. Столько выдержали всего. Для чего-то это надо было пережить тем, кто до нас был... И нам досталось. Силы, которые положили, они прорасти должны в чём-то важном. И когда это случится?

Зачем на Север едут?

Как живут на Севере? По-разному, уже говорила.

У сына Петра одноклассник был в Надыме, Виктор. Мы жили в одном доме. Окончил он девять классов и мать отправила его в Питер к брату. Поступил учиться в техническое учи-

лице на экскаваторщика. Там и попал в дурную компанию. В голове-то реденько засеяно. Воровать начал.

Он и раньше не больно нравился мне своим поведением. Замечала, что частенько поступал нечестно, по мелочам. Всё шустрил что-нибудь. Такой вертолёт! Обокрали они какой-то там магазин. Поймали. Дали ему три года. Отсидел своё. Приехал к родителям в Надым. Нигде не работал.

Летом ночи в Надыме светлые: гуляй хоть до утра. Муж с женой несли пиво в банке. Он с дружками был во дворе. Отняли пиво и ушли к приятелю, который жил рядом в общежитии. Эти, муж с женой, за ними. Вахтёрша видела компанию с трёхлитровой банкой пива. Подтвердила. Позвонили в милицию. Когда милиционер вошёл в комнату, разудалая компания распивала то злосчастное пиво.

Так как Виктор был судим, дали ему сначала два года условно. В Салехарде потом суд переиначил: пришлось ему сидеть два года. Отсидел, опять к матери вернулся.

Когда сидел, научился плотницкому делу, столярному. Она и этому рада была. Потом он начал работать в Ямбурге. Вахтовал по полмесяца. Сама не была там, а слышала: кто в Ямбурге не работал, тот Севера не видал. Зимой морозы под пятьдесят градусов. От барака до барака верёвки протянуты. С их помощью передвигаются, иначе унесёт. Так вот газ-то даётся.

...Мать к сестре уехала в Старый Оскол. Виктор примерно через полгода — к ней. Не захотел в Надыме с отцом жить. Пил тот крепко, буйствовал.

Прилетел Виктор к матери, его прямо в аэропорту и забрали. Он ничего не поймёт. Оказалось, в Ямбурге убили парня, с которым он работал вместе. Это было в начале девяностых, когда миллионы были... Мать с сестрой собрали денег, сколько для залога надо, чтобы его выпустили до суда.

Потом разобрались: когда случилось убийство, его уже в Ямбурге не было. Уволился и уехал. Он пока ждал суда, дал себе зарок: если отпустят, уйдёт в монахи. И ушёл. Разыскал мужской монастырь где-то в Калужской области. Мать, Люся, ездила к нему следующей весной. Место, говорила — райский уголок. Дубовая роща рядом. Монахи всё вокруг в такой чистоте содержат. И столько кругом ландышей цветущих! Как в другой мир попала. Воздух! Хоть пей его. В монастыре коровы,

куры. Целую ферму монахи содержат. Сын больше на кухне работал. Много заготовок всяких впрок делали. Консервировали, солили. Огороды огромные. Если корову зарежут, мясо не ели, в продажу. На полученные деньги покупали рыбу. Рыбное варили. Или постное.

Люся-то в Старом Осколе, у сестры. Муж Андрей в Надьме, пить продолжал без неё, напропалую. Малокровие у него объявилось. Три месяца — и не стало Андрея. Квартира осталась пустой.

Тогда было время: у кого стаж выработан, тому меняли надымские квартиры на Старый Оскол. И правильно делали, я думаю, зачем Север пенсионерами заселять. Она успела поменять.

Но снова беда. Плохо стало у неё с ногами. Ходить невмочь. Сестра Ольга написала Виктору. Так, мол, и так, мать совсем стала неходячая, давай, Витя, к ней прибивайся. У меня семья, работа. Я не потяну. А ты один. Приезжай за мамой ухаживать.

Вот он два года уже в Старом Осколе и живёт, третий пошёл. Мать пенсию получает, а он пристроился в церкви работать. Я иногда звоню ей. Иной раз она мне:

— Марья Петровна, мой Витя такой добрый стал. Помогло ему временное его монашество утвердиться в жизни. Одно беспокоит. Ему сорок один уже, а не женат. Мне так хочется, чтобы нашёл какую порядочную и привёл.

Спокойная стала в разговоре. А то, бывало, в Надьме, зайду к ней, она и пошла без останову обо всём и обо всех, кто наверху. Я ей:

— Люсь, мне неинтересно про политику.

— А я не про политику, я про жизнь.

— Мне неинтересно других обсуждать.

Она своё:

— Те, которые ловкие, дело своё завели, разбогатели. А которые посовестливее, так... они в стороне остаются. Из них кто спился, кто повесился, кто чего...

Славны бубны за горами...

На Север каждый за своим едет. Свою долю ищет. Известно: славны бубны за горами. Чаще за деньгами едут. Кто как устроится. Кто в «Надымгазе» работает, теперь он стал «Газпромом», тот удачник. Хорошие у них оклады. У подруги моей

Лунёвой, она умерла уже, дочь работает там уборщицей. Заработок — двадцать тысяч.

Мы со всей ребятнёй с пятого этажа в последнее время часто гурьбой у Нефёдовых собираемся. Теперь уж с внуками. Дарья Николаевна и Василий Михайлович из Оренбурга. Сначала они, орёлики молодые, целину рванули в 50-х годах поднимать. Там им какой-то мужик, который с Крыма, подсказал, что у него на родине организуется виноградарский совхоз. Уже закупили саженцы. Они — туда.

Приехали. Там, в этом совхозе, как раз строили дома из ракушечника. За счёт совхоза. Пилили на большие кирпичи его и — в дело. Построили они себе дом такой. Километров шестьдесят где-то от Евпатории. Стали неплохо жить. Туда на лето отдыхающие приезжают. Соорудили веранды, стали сдавать. Там же тепло.

И вот прибыли какие-то отдыхающие из Надьма, разговорились. Мол, в Надьме заработки неплохие, то да сё. Василий Михайлович и поехал в Надым. Он электрик со средне-техническим образованием. Устроился быстро. Через год дали ему квартиру. Дарья Николаевна подалась к нему. А дети уже взрослые. Старший сын остался в совхозе работать, женился. Второй сын, Владимир, в Питере служит во флоте. Познакомился с одной, пишет: «Женюсь». Родители не возражали. Приехали в Надым, живут с ними вместе. Внука родили им.

Дочь их Татьяна — решительная девка. Звонит в Надым матери: «В Афганистан еду. Уже документы подала». Мать в слезы: «Ты что? С ума сошла».

Уехала Татьяна. Два года была в Афганистане. Окончила курсы поваров. Работала в госпитале.

Что её заставило? Не могу сказать. Вода плохая, грязища. Заболела желтухой. Приехала к ним на Север.

Неприкаянные на Севере многие. Не все, конечно. Как унесённые ветром каким... Помнишь фильм-то этот?.. И каждый хромает на свою ногу.

Ни разу не слышала я, чтобы кто-нибудь на реке Надым песню запел. Как бывало на нашей Волге. Время будет, расскажу поболее, насмотрелась. Хотя что я больно-то видела? Все одно: мыканье... Надо ли кому теперь это знать, какая она была, жизнь при нас? И на Волге, и на Надьме. Мои-то, которые на Севере, как начну рассказывать, жалуются:

— Бабуль, ну зачем нам эти твои подробности? Они утомляют...

Но ведь без корня и полынь не растёт!

Всякий по-разному срывается с родных краёв. Кто добровольно вроде бы. Парфёна Жигулина вырвало с корнем не по его воле. У каждого своё, а получается — всё одно.

Растекается народ русский, его будто уже и нет. И те, кто живёт где, как временные. Никому уж не надо ни своей земли, ни дома у речки. Разве чтобы доживать только, не жить...

Совет

Едешь, бывало, в Сызрань на работу в автобусе летом либо по осени — духота нестерпимая. Народ с ведрами, с кошёлками тащится торговать всем, что огородишко и сад родили. Всегда так было. Ещё мама рассказывала: сушили на чердаке яблоки, груши, всё, что подходило для продажи. Крыша у дома железная, от неё жар идёт. Вот она навроде духовки и служила. Наготовят разных разностей — и на рынок в Сызрань.

За все десять лет, пока ездила на работу, ни разу я, кажется, не присела в автобусе. Потные, намажавшиеся за день на рынке бабёнки, еле живы. Стыдно мне, молодой да здоровуцей, садиться. Все двадцать шесть остановок стоя проезжала. Насмотрелась за эти годы. За дорогу чего только ни услышишь, чего ни расскажут. Своими становились.

На Севере в Надымском порту учётчица Нюра Тананыхина всё удивлялась:

— Марья Петровна, ну почему это так? Мы же ровесницы с тобой, а мне ни разу никто в автобусе место не уступил? Тебе же, только войдёшь — пожалуйста! Будто знают, что у тебя ноги больные. Почему так?

Мы вместе с ней долго работали, вместе каждый раз в автобусе домой добирались.

Что ей сказать? Жизнь уж, считай, прожила, а только теперь задумалась. Случится что-либо с кем, она: «Так ему и надо, злыдня!» Ушёл от Кати Морозовой муж: «Ну вот, дохвалилась: мой Коленька, мой Коленька!.. А он: нате вам! Все они, мужики, кобели! Не только мне одной ночки ночевать. И ты, Катенька, отведай такой жизни, как моя. Знай, как без мужа».

Такое говорит и напрямую, и за глаза. Брызжит завистью и злостью вокруг себя. И какая-то гордость, что ли, в ней: «Что думаю, то и говорю! Напрямую. Такая я прямая», — заявляет. Ну да, прямая! Как дуга.

Мы давно пенсионерки уж обе. Она всё прежняя. Начнёшь говорить, не хочет слушать. Ей доживать! Бог с ней. А мне мама моя, когда ещё, говорила:

— Кинь добро назад, очутится впереди!

Видать, вовремя сказала. С малолетства надо... Не зря я в автобусах уступала место... Вернулось это ко мне, когда надо. Я, и правда, не могу теперь подолгу стоять. Неужто никто Нюре не говорил в детстве похожих слов, какие говорила моя мама? Тогда чему же учили... Пришлось мне говорить. Но ведь она, Нюра-то, столько уже прожила. И не дотумкала? А детей своих чему учила? И что они скажут своим детям? Сказала ей так, она только рукой махнула.

Я почему тебе эдак долго по одному месту? Отодвинь ты эти свои толстые взрослые книги. Пиши детские. Вот тебе мой совет. Это такое чудо — первые книжки! Они на всю жизнь. Разные были. И про грабителей — тоже.

А учили добру сызмальства. Пока ещё не поздно, возмись! Помнишь ли «Серую шейку»? Помнишь! Как её забудешь?

Попробуй, напиши такую... За толстые не знаю, а за детские, глядишь, и тебе будут место в трамвае уступать. У тебя с ногами-то как?

Как в тину попала

Мама с папой обвенчались в феврале 1914 года. В 1964-м мы им золотую свадьбу справляли. Всё, как положено. Родных было на свадьбе полным-полно. Как папа с мамой жили, так каждому бы прожить. Крепко уважали друг друга. И любили. Бывало, ребятишки мать не послушаются, папа: «За мать — разорву!» — так говорил. Ругаться не ругался, скажет коротко и замолчит. Ни разу не сказал при нас матерного слова. Чтобы был очень сердитый, со злом что-нибудь — такого не было.

Но иногда в такой большой семье что-то да случится. Мама ему начнёт что-нибудь такое говорить, а он: «Ну, пошла же-

вать». И — молчок! Мы уже знали: это было его крайнее слово. И всё. Помолчали. И как ни в чём не бывало родители начинают опять разговаривать. Хороший родитель был. Только добрым словом вспоминаешь.

Папа два года не дожид до своего 85-летия. Умер незадолго до нашего отъезда на Север. Пришёл в сараюшку пол подмести, там куры у нас были в одной половине. В другой — две козы. Мама сидела козу доила, а он стал сметать куриный помёт в корытце, которое встроил вровень с полом. Мама и не поняла, как всё случилось. Обернулась, а он лежит недвижимый. Голоса не подал даже. До этого два инфаркта было.

Такая жизнь: многое хотел, а умер в курятнике. Боже мой, что я говорю? всю жизнь папа трудился, нас кормил. Никого за всю жизнь пальцем не тронул.

...Андрей Сидоркин, одноклассник его, говорил на похоронах маме: «Счастливый какой Пётр-то. Жил незаметно, никому не мешал. И ушёл, никого не обременил старостью своей. Мне бы так...». Позавидовал.

...Я сейчас замечаю за собой: у меня, как у папы, сердце-то стало. То защежит, то ничего. Руки вот порой не слушаются. Когда стою ещё, на кухне руками могу работать, а наклонюсь: мотнёт в сторону... Мне бы тоже так, как папа, чтоб не в обузу...

Спрашиваешь, что в жизни было самого-самого?.. А что было? Работа да заботы — вот и вся жизнь. Что ещё вспомнить? Дети — самая большая забота. О себе когда помнить? Дом хозяином держится. А у мужа моего, что на катере, что в доме — всё в развале. Злой Михаил был невероятно.

Ладно, я сильная, ему со мной не совладать. А то и меня сначала бить вздумал. Но куда ему?.. Мне перед свадьбой-то Андриян, их дальний родственник, пожалел, что ли, меня, сказал:

— Девка, девка! У них ведь все непутёвые, я и деда его знал. Одинаковые. Муху урезать для них самое то. Мерекаешь?..

Это он мне тогда ещё сказал. Верно оказалось. Старый ворон даром не каркнет. Потом-то меня прошибло. Что я сама наделала, за него вышла? Как в тину какую попала. Одну ногу вытянешь, другая увязла.

Никакой путёвый работник из мужа и на Севере не получился. От себя не уйдёшь. Не любил работать и людей не любил. Куда уж ещё хуже?

Песни не пел. Ни одной не знал. И пил, и дурил, и детей бил. И дочь, и сын бегали от него. Я не давала бить, так он без меня Петра отстегает и прикажет, чтобы молчал.

Но всему свой конец. Однажды прихожу с работы. Петя сам не свой сидит на кухне. Лицо, опухшее от слёз. Голос охрипший. Стала допытываться, он реветь. Ничего не говорит.

— Ну-ка, — говорю, — рубахуними.

Снял. Гляжу: у него от плеча до бёдер тёмные полосы. И ремень на полу в углу лежит. Ремнём сёк десятилетнего мальчишку.

— В чём дело?

Петя опять в рёв. А Михаил:

— Я ему велел, стервецу, прийти ко мне сразу после школы на причал. А он не пришёл вовремя. Вдруг утонул или ещё что?..

Схватила я в горячках ремень. Ну, думаю: держись! Одним махом свалила Михаила на пол. Разум, что ли, помутился. Опомнилась: Боже, он же муж мой! Что же это... сын рядом.

А Михаил перепугался. Бледный. Трус — одно слово. Не мужик.

— Он на два часа опоздал, — гугнявит своё, — я переволновался...

Бросила в лицо ему ремень этот. Говорю:

— Беру сейчас Петю и хожу с ним в больницу. Пройдём освидетельствование. Подаю бумагу в милицию. Будешь сидеть. Хватит мордовать!

Не ожидала: бухнулся он на колени и стал молить, чтобы простила. Противно стало. Схватила Петю и ушла на улицу. Продышаться от всего этого.

Когда вернулись, он спит пьяный на полу. Села и сижу на кухне: лицо в слезах. Баба — она и есть баба.

В деда

Когда уволили Михаила за пьянку, с полгода ходил он с трудовой книжкой в кармане — всё устраивался. Нигде уж не брали. Ни там, ни здесь. А вскоре утонул в Надыме. По пьяни весной. Жил пьяным, помер глупо.

Поднимала детей одна.

...Только в день похорон Петя был у могилы отца. Потом — ни разу. А у деда в последний приезд в Октябрьск памятник обновил.

...Думала, развязалась с пьянью. А тут зять такой же, Геннадий, Наташин муж... Этот хоть детей не бьёт... Потихоньку кровь портит.

Я настояла в своё время сына Петром назвать в честь деда. Хотела, чтобы на папу был похож. И не ошиблась. Когда в вертолётное училище Петя поступал, зрение подвело. Зачислили не летать, а в механики. После учёбы в Выборге вернулся в Надым.

Весь с тех пор в железках. Порода такая, кропотливый. И соvestливый во всём. В деда. Комара во сне не обидит. Таким бы высшее образование, да побольше их. Наша общая жизнь, глядишь, получше стала бы. Выпрямилась... Но нет, как-то по-другому она идёт... По своим законам устроена, жизнёнка наша...

...Вздумали его в депутаты избрать, а он ни в какую. Отказался. И папа сторонился власти всякой. Руками живём.

Грустные картины

Там на Севере, известно, лагеря были. Ссылные.

Совсем ещё недавно жил в городе один из таких. Звали его Аполлоном. Поговаривали, что граф по происхождению. За что осудили, не знаю. Деликатный такой, высокий. Когда освободился, построил дом. И жил себе прямо у реки Надым. Рассказывал кое-что о своей жизни. Немного.

Раз в год ездил он в Питер. Краски масляные привозил. Рисовал. Чаще всего — осенний лес. Грустные картины такие. А небожно давно умер, в 98 лет. Всегда при встрече тянуло меня с ним заговорить. Иногда получалось.

Спрашиваю, что ели в войну в ссылке? Мне интересно сравнить с тем, как в Октябрьске было. Хлеба, говорит, не видели. По двести граммов крупы давали на день. Питались в основном тем, что лес давал. Было много куропаток. Оленя зимой забивали. Как в Надым едешь, по дороге там мост. А рядом озеро небольшое. Такие огромные караси в нём были. Озеро так и называлось: Карасёво. Потом ягоды, конечно, выручали.

Морозы наступали в сентябре. И холода стояли до июля. Когда город построили и теплоцентраль, климат изменился. Немного теплее стало, а то один год даже речка не вскрывалась. Уже при мне на реке земснаряд поставили. Чистили су-

довой ход, чтобы суда не садились на мель. Дебаркадер обустроили. Жила на нём обслуга разная. До этого места баржа доходит, с неё груз на пустые рассредотачивают, чтобы судно мелко сидело. И дальше везут.

Я Аполлона несколько раз у этого дебаркадера с мольбертом видела. Чего уж он там интересного нашёл? Сказал один раз:

— Какой прекрасный мир оставил нам Творец!

Дивно мне было тогда слышать слова его.

— Я прожила столько здесь и не увидела красоты никакой, маята одна, — говорю ему, — без Волги мне и холодно, и серо здесь. Где вы увидели её, красоту?

— Человек — часть этой красоты, — так сказал. И совсем меня заморочил. Сколько ему люди вреда сделали, а он такое говорит.

Сильно испортился человек. Было бы побольше таких, как мой папа...

Свет идёт

Теперь всё чаще папу вспоминаю. Раньше сильно не задумывалась о вере. Помолюсь, и ладно. А теперь книги духовные начала читать. Евангелие. Раньше бы надо.

Папа-то! Он, бывало, перекрестится в нашем доме перед иконкой в переднем углу: «Святой Ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о нас, грешных...» Обернётся на меня, лицо светится... С верой в душе жил. И дом наш на Волге, намоленный им. Оттого, может, и крепок ещё.

Мне Аполлона будто кто в помощь послал. Говорит:

— Сходите в Свято-Никольский храм-то, который у нас недавно построили¹. Он заряжает жизнью. По-новому должна церковь заговорить и, кажется, заговорила. Надо не уводить человека от жизни, а подготавливать к ней. К жизни не потом, а на земле. Жизнь и есть рай настоящий.

¹ Первый камень в основании Свято-Никольского храма был освящен Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Покидая Надым в 1994 году, патриарх Алексей II произнёс: «Я увожу отсюда впечатления доброты и согласия, которые дают хороший пример и для больших городов, мегаполисов, где, к сожалению, люди часто настроены зло и враждебно друг к другу. Ваш пример мира — образец... Мне показалось, что люди здесь, на Севере, больше думают об этом и работают на благо России».

А я хожу в храм. Как не ходить? Не стала ему говорить об этом. Давно хожу... И вижу: не все, кто в храме, переживают. Некоторые приходят по форме... Меня слова его удивили в который раз. Это моя-то жизнь и других, кто рядом — рай?

А художник о своём:

— Рай надо творить самим нам. Я на Севере это понял. Это мой главный итог жизни. Храм здесь, на Севере, как нигде, соединяет и небо, и землю. И холодный север, и тёплый юг. И Волгу, и Надым. Он среди суровой жизни — опора духа! В очередной раз у России крыша поехала. Сколько можно? Смута — вот название всему, что творится. Очередная смута. Во всей России холод. Надежда на храм. В нём душа согревается. Свет идёт. Церковь не может теперь быть сама по себе. Мир изменится к лучшему только в единстве мирского и церковного.

Когда он так сказал, я опять папу вспомнила. Он вначале верующим был, а потом в партию вступил.

Я, старуха, пожила, а терялась, когда так Аполлон толковал. Было уже это... с папой было, со всеми нами. Верили в Бога, в царя, потом в Ленина, в Сталина... в перестройку... Устали верить... Всеобщее братство, равенство... Будет ли такое когда? Какое братство, коль капитализм начали строить? Всё по кругу идёт!..

Сказала ему о своих сомнениях. А он не развеял их. Говорил, задумавшись:

— Грешны мы все, Марья Петровна. И не признаемся в этом, в личной вине перед нашей жизнью грешны. Повиниться нам надо, всем! Слишком многому верили из того, что нам говорили. Верили тем, кого не надо было слушать. И у нас, и за бугром столько таких говорунов оказалось. Говорунов себе на уме, со своей целью...

Слушала я его и много у меня вопросов теснилось. Я бы ему поверила до конца, но в чём мне повиниться?... Я готова... Работала, детей, внуков растила... Работа и гнула, и спасала... Конечно, многое теперь бы по-другому делала. Но не дано уж... Молодёжи кто укажет? Нас-то, старых, они не слышат. Только мешаемся под ногами у них. Чем скорее нас не будет... Мы, как укор...

Большой грех

А тут у Аполлона брат нашёлся. Он к нему ездил, куда-то в Тульскую область. Мрачный вернулся.

У него женщина в доме убиралась. Говорила, что Аполлон, приехав, нарисовал огромную картину. На ней опять лес осенний и ничего больше. Бурелом такой. Едва-едва свет издалека меж деревьев виден...

Дом его вскоре сгорел. То ли сам виноват, то ли кто поджёт. Так полыхало! Всё, что в доме было, пеплом и головёшками стало. Сразу после этого художник заболел и умер. Я его незадолго до смерти у храма встретила. Указал он на прихожан:

— Смотрите, Марья Петровна! Народ в храм тянется. Ищет опору. И вы в храм пришли! Россия в который раз во мгле. Успех любой ценой — разве это не грех? Большой грех. Посмотрел я на своих племянников в прошлую поездку и на их детей. Лучше бы не видел.

А меня не остановишь. Не знаю, почему.

— Потянулся народ в храм, — соглашаюсь, — но уж больно разные жизни — в храме и на улице.

— Не торопитесь судить, — говорит. И смотрит на меня не осуждающе, а терпеливо, как на дитя малое. И правда, кто я перед ним?

— От иконы до топора, — говорю, — при безысходности далеко ли? Не зря мой папа рассказывал когда-то, что трубка Стеньки Разина вечно дымится в Жигулёвских горах. До поры. Коли ту трубку кто покурит, станет заговорённым. Будет, словно сам Стенька. И клады ему дадутся, и всё, что надобно. Одно слово — Разиным будет. Вот говорят, высох народ? Люди стали, как сухие листья, жухлыми. Но ведь сухие листья и полыхнуть могут, напоследок...

— Экая вы, Марья, дремучая натура! — отвечает. — Когда она была, волжская вольница?! Тогда, когда народ был полудикий. От невежества говорите так. Эдак думать и рассуждать в наше время уже нельзя. Вы со своими трубками Разина да мечами-кладенцами зловредны сейчас. Надо забыть о них. Бог нас не оставит. Он любит нас. И правду видит.

— Видит, — соглашаюсь, — да не скоро скажет. А сами мы, как слепые.

— Молитесь, — только и молвил он мне в ответ.

Я и молюсь. Молюсь и думаю, что каждый по-своему верит в нашу жизнь, оттого она никак не наладится.

Кто учит нас, сами ушибленные. Ушибленные больно все мы. Особенно наши мужики. Прости меня, Господи!

Пожар

Я после разговоров с Аполлоном, а ещё больше после пожара, когда у него всё сгорело, по-другому начала думать. Огня всю жизнь боюсь. Ещё с детства с самого. Боюсь и всё! Как папа рассказал про пожар в Сызрани¹, так во мне это и сидит.

Потом видела, как залитая соляркой, горела Волга. Я уже тогда большой была. Не приведи, Господи, ещё такому быть.

Первый раз Сызрань сгорела полностью. Её начинали когда-то строить из сосновых брёвен. Так она деревянной и была. Город тогда восстанавливали по регулярному плану, утверждённому царём Александром I.

В 1906 году случился второй пожар. Папе было тогда семнадцать. За четыре часа город сгорел почти весь. Не стало около четырёх тысяч домов. После этого пожара на Большой улице запретили строить деревянные строения.

Говорили, что был очень сильный ветер. Кто-то из жителей варил варенье во дворе. Как уж всё получилось?.. Полыхнуло... Огонь тут же разметало по всему городу. Только у Воложки остались строения. Через четыре часа всё стихло и пошёл проливной дождь.

Дедушка мой и папа с друзьями успели столы, стулья, посуду, постель, одежду, рамы, наличники, двери упрятать в большой погреб и засыпать землёй. Дом сгорел.

Много паники было.

Соседка бежит. Веники банные на себя навешала.

Папа кричит ей:

— Брось веники. Загорятся: погибнешь!

¹ Первый раз 17 июля 1795 г. город сгорел дотла. Уцелели лишь заречные слободки. В 1804 году новый регулярный план Сызрани был составлен и сам император Александр I наложил на него резолюцию: «Быть по сему». Второй пожар в июле 1906 года уничтожил 126 городских кварталов, неповреждёнными остались всего лишь 954 строения, уцелел и Засызран.

У одного мужика на столе в доме лежали часы и замок. Схватил замок и выбежал на улицу. Бежит с одним замком в руках. Глаза круглые. Никого и ничего не видит. Замкнуло.

Страшно было слушать про приехавшую тогда в город известную артистку. Папа с товарищем наткнулся на неё, когда она уже мёртвая лежала. Выбегала из помещения и, видно, в дыму задохнулась. Украшения с неё все снимали на его глазах. Он бросился, чтоб прекратить безобразие, а его тут же толпа сшибла с ног. Поднялся когда, дым кругом, гарь. Все чумазые. А она лежит на земле: белотелая, красивая. Как живая. Только вот пальцы вывернуты. Сдирали перстень и кольцо с мёртвой и изуродовали.

Кому чего в этой жизни надо. Всегда так было. И до революции, и после. Неужто злоба и алчность в человеке навсегда? Откуда она?

И с Россией то же самое...

Случился пожар. Беда большая. Живая ещё она, Россия! А с неё рвут всё по частям... И свои, и чужие рвут...

Не белотелая она уже. А рвать с неё есть ещё чего...

Регулярный план для восстановления России нужен, как после войны или большого пожара.

* * *

Тогда погорельцам была помощь от царя. Маленькая. Наши на том же месте начали строить дом свой. Поставили сруб, сладили потолок. А на большее не хватило. Решили так зимовать. Наступила осень. Дожди пошли. Потолок промок. В Троекуровке у дальних родственников взяли денег взаймы. Возвели крышу. То, что в погребке из вещей и утвари было, всё сохранилось.

Выжили!

А была она бегучая...

...Когда умерла Нонна Мордюкова, опечалилась я сильно. Очень похожа она была на Настёну Жигулину. Помнишь, я про её мужа рассказывала. На неё. А теперь вот вчера Людмилы Зыкиной не стало. Зыкина всего на два года старше меня. Волга без Зыкиной теперь одинокая. И тихая.

Зыкина тоже намаялась. Мать умерла. Отец — не отец. Верно она сказала однажды под конец жизни. Какая, шут, разница — царизм, коммунизм, социализм? Дело было бы. Жить бы давали, а там — сами разберёмся.

Мне снова Аполлон говорит:

— Опора наша должна быть в мужском разуме, в мужской твёрдости. Везде!

Я с ним соглашаюсь, а сама себе думаю: «Где сейчас такие мужики-то? Давно они перевелись». Как говорит Варвара, остались большие пацаны.

И то верно. Говорю так, а сама всё про Волгу думаю. И жизни-то сладкой на ней не было, а сердце волнуется, как про неё вспомню.

Беднее стала Волга. Мельчает и жизнь около неё. Воды много, целое море, а еле живая она. Понатыркали тромбов, река и стала водоёмом. А была она — бегучая. Течение — могучее, аж дух захватывало. Стянули ей сосуды, какая уж тут жизнь... Широка матушка, а воли ей нет.

Своими руками своё же и рушим. Раньше песни пели и на Волге, и про Волгу. А какие песни теперь у такой реки?.. О доме песни пели. А потом оторвались от прежнего и, будто повисли... Дома, куда можно вернуться, не стало.

...Ясно всякому, Волге надо течь без преград, вольной. Такой и наша жизнь должна быть, а не как у распухшей от глистов рыбы. На глазах всё сходит на нет.

И наши, Смирновы, на убыль пошли... У братьев моих сыновей нет, и я — Вострикова. И сын, Петя мой, с такой же фамилией...

Как майская ночь...

Гляжу иногда на свою внучку. Ручонки-то какие беленькие у неё. И слабенькие. Такая молодёжь теперь. С эдакими ручонками только у компьютера с мышкой и сидеть. Случись жизнь, на нашу похожая, осияет ли?

А теперешняя жизнь?..

...Давно уж смотрю на неё, на теперешнюю, будто из окна нашего дома над Волгой. Словно дом наш выше поднялся. Виднее теперь из него стало вокруг...

Прежней жизни нет, а новая — непонятная...

Что желать внучке? Был бы порядок и справедливость, а там, как у кого сложится. Внуки наши уж так не привязаны к Волге и к дому, как мы. Другие они.

А мы? Мы — такие, какие получились. Жили нелегко, особенно в детстве. А какой свет идёт оттуда, из детства нашего! Неугасимый...

Нас, всех живущих сейчас, лет через шестьдесят почти никого не будет. Не будет около полутора ста миллионов человек. А мы живём и не задумываемся до срока о многом. Так устроено.

А те, которые всех нас, ныне живущих, заменят... И они таким же макаром проживут? Не смогут ответить, почему так жили? Их заранее надо пожалеть и простить. Боюсь, не справятся с такой задачей. Неподъёмная она у нас. А может, до срока неподъёмная?..

...А как хочется жить радостно! Коротка жизнь каждого, как майская ночь. А общая наша жизнь, как Волга-матушка... Ей течь долго!

Когда только одумались

В Батраках когда-то у железной дороги была четырёхлетняя школа, каменный одноэтажный дом. За этим домом, в Костычах, на яру, не больно высоко, стояла красивая деревянная церковь, в ней была позже тюрьма. Церковь эту разломали.

Мать моей подруги Лили, тётя Маруся, дружила с дочерью настоятеля церкви. Та ей рассказывала, что, когда раскатали церковь на бревна, один партиец построил себе дом из этих брёвен. Материал-то добротный.

Стали жить в таком доме. Как наступит темнота, гул откуда-то идёт. Молитвы, пение слышатся ему. Он стал болеть и болеть, а потом с ума сошёл. Заколотили они дом и всей семьёй уехали. Никто у них этот дом не захотел купить...

Не оттого ль наши судьбы такие?.. Поналомали да раскатали прежнюю жизнь по брёвнышку...

В Октябрьске начали строить церковь. Когда только одумались! И то ладно!

...В Костычах теперь стоит, давно уж, молельный дом.

Замолим ли нами содеянное?.. Думаю так, а сама художника из Надьма вспоминаю. Он об этом говорил тогда, перед самой своей смертью. О покаянии говорил.

Вспоминаю...

Муж мой Михаил махнул на Север, чтобы меня увезти дальше от Андрея. Не давала ему покоя эта заноза — его ревность. Напридумал себе в оправдание вечных своих пьянок.

Пил-то от чего? В породе заложено? Не больно теперь верю этому. Мне его порой сильно жалко было.

...У нас с Андреем потом, после свадьбы моей, ничего не было. А я всегда помнила его. Всю жизнь. Михаил это чувствовал и не мог простить. Злился. Фотография Андрея на городской Доске почёта висела. Весь Октябрьск его знал. И нашу с Андреем историю многие знали...

Я боролась с собой, старалась быть хорошей женой. Дети же... Когда с Андреем в Октябрьске встречались случайно, не знали, как себя вести оба. А взрослые уже...

Была-то у нас с Андреем наша с ним ноченька майская всего одна. После тех танцев в городском парке с курсантиками.

...У Андрея семейная жизнь не заладилась. Жена постоянно болела. Рано умерла. Он так и не женился во второй раз. Девочек-двойняшек с матерью своей поднимал. Работящий и деловой. Был делегатом XXII съезда партии. Наград наполучал. Совестьливый был.

И грустный... Не как в молодости. Таким остался в памяти. Моей вины в этом много. Уже почти двадцать лет, как его нету, а я всё скриплю. Самой странно...

* * *

Что уж теперь? Не шибко ладилась жизнь с мужем и на Севере. Только что не бил. Не далась. А так... Работали. Работа многое вычищала. Детей растили. Все, как у всех, вроде бы. Вспоминаю теперь... личную жизнь... Хорошего-то немного было. А у кого его больно много, хорошего?..

...Вспоминаю.

В темноте и гнилушки светят...

Вместо эпилога

Прожив у нас не всё лето, как собиралась, а чуть больше месяца, Марья Петровна внезапно собралась уезжать. Старшая её внучка Лена месяц назад проводила мужа служить в армию. Теперь он в Северодвинске. Уже определено, Сергей будет служить водолазом.

Узнав это, я невольно подумал: прошло без малого сто лет, как Петра Андреевича Смирнова призвали на службу во флот. И вот новая судьба, Сергея и Лены. На другом вроде бы витке. У обоих высшее образование. Но ни кола, ни двора нет. Успели снять крохотную комнату в Надьме...

Новая судьба, как старая калька. Всё бы, кажется, ничего, да пришла телеграмма: попала Лена в автомобильную аварию. Лежит с переломом обеих ног. Это на третьем-то месяце беременности. Вот Марья Петровна и заспешила в Надым.

Когда прощались у вагона, сказала она с поразившим меня спокойствием:

— Не судьба. Хотела подольше пожить на Волге. Я что, было, удумала? Умру, может, здесь, здоровье-то никудышное. Оттого и разговорилась. Похороните около родителей, у реки. На просторе. Не хочу лежать на Севере, в мерзлоте. Удумала, а на всё воля Божья. Внучка переломанная ждёт, некогда помирать. Простите меня, грешную.

...Она уехала. И не стало в нашем доме того особого тепла и душевного света, какой был при ней. Всё, кажется, осталось на месте, а с умолкнувшей её, порой косноязычной, но такой живой речью многое потускнело.

За то время, пока гостила у нас, она и варенья нам наварить успела, и наготовила целую батарею банок сока. Пустовавший наш погребок ожил. Все, которые вокруг неё были, окунулись в ароматный, вкусный, домовитый, полузабытый уже мир детских запахов и ощущений.

Уехала и мы словно осиротели.

Надолго ли хватит нам подарков, припасённых впрок её щедрой душой?..

Надолго ли хватит нас всех таких, без сокровенной простоты и сердечности, которая уходит из нашей жизни с нашими родителями?

«Она и песни-то любила те, которые пел мой дед», — запоздало спохватился я.

...Ловлю себя на том, что я теперь смотрю на окружающую жизнь по-иному. То, как Марья Петровна: из окна дома её над Волгой, в котором прожил-то всего три неполных дня, когда приезжал с ней в Октябрьск, то будто из окошка маминого дома в светоносном и лесостепном нашем Заволжье.

Из окошка самого главного моего дома, которого давно уже и нет. Наш саманный дом был недолговечным...

Июнь 2009 — сентябрь 2010 г.

**Свирель
запела на мосту**

«Зачем тебе это?»

Совсем недавно я узнал, что у нас в Самаре живёт женщина, которой скоро будет девяносто и которая с первого дня своей трудовой жизни и до выхода на пенсию проработала в самарской энергетике. Захотелось мне, относительно недавно осевшему на постоянное место жительства в Самаре, побольше узнать о нашем городе от трудового человека. Шутка ли — столько лет прожить с городом одной жизнью.

Мне говорили: зачем тебе это? Она технарь... К тому же наверняка типичный «совок». В наше-то время. Что интересного?..

* * *

Я не был готов к встрече с такой судьбой.

Выходил из уютной двухкомнатной квартирки Ольги Михайловны на улице Ново-Садовой, чувствуя себя выплывающим из глубокой толщи событий, придавивших меня.

Ольга Михайловна, как оказалось, в детстве жила некоторое время в блокадном Ленинграде.

На улице, глядя на прохожих, приглушённый, недоумевал: может же быть такое спокойное течение жизни? Такая уверенность людей в этом спокойствии? Когда совсем рядом живёт человек, который так остро испытал хрупкость, незащищённость жизни на земле. Живёт и радуется жизни! Мы же, хмурые, серые, озабоченно снуём по улицами, несём в себе свои обиды, сплетни, страстишки — лелеем их в себе...

— Родственникам некогда слушать меня, — говорила она, — столько уже известно о блокаде Ленинграда. Так много жуткого. Надо ли?

— Хорошо, — соглашался я, — поговорим только о Самаре. Она задумалась.

— О Самаре?! Так это всё равно что о всей моей жизни рассказывать...

* * *

В другой раз спокойно, без видимой обиды, говорила о своём шестидесятилетнем зяте, заявившем ей: «Вы всего-то, Ольга Михайловна, восемь месяцев были в блокадном Ленинграде. А у вас и медали, и пенсия такая... А я двадцать пять лет прорубил, чтоб получить свою военную пенсию. И не где-нибудь в Москве или в Самаре, а в гарнизонах...»

— Это говорит подполковник, а что от молодёжи ждать?..

* * *

...Так я, познакомившись с Ольгой Михайловной, прикоснулся к непростой судьбе человека. И не одного, а целого поколения. Стремительно тающего. Как снег, исчезающего на наших глазах...

...Мы встречались с Ольгой Михайловной Крапивиной около месяца. Незабываемыми для меня были эти дни!

Возвращался домой, а в ушах звучал с забавной картавинкой её голос: «...Говорите, что вы себя числите теперь не писателем, а как это: переживателем чужой жизни? Мудрёно. Неужто так? Своё ещё надо прожить-пережить! А вы: чужое?»

* * *

Чтобы расположить её к разговору, дал ей почитать свои тоненькие книжки. В следующую нашу встречу, разливая по чашкам зелёный чай, рассуждала:

— ...Мне стихи ваши понравились. Больше, чем проза. Повести читать мне уже тяжело теперь. А стихи — самое то, вот из той книжки, которая вроде бы, как говорите, для подростков. Вы лукавите. Они и для таких, как я. Которые явно не из подросткового возраста. В них живая природа! И тепло! Может, я ещё не выросла, не повзрослела до сих пор?.. Не переживала такое? Вам повезло. У меня такого детства не было, как у вас. Другое было... Суть не в том, что городское...

И тут же без перехода:

— А была ли юность у меня?... Блокада Ленинграда длилась с восьмого сентября сорок первого года по 27 января 1944-го. Восемьсот семьдесят два дня. Мне досталось её совсем немного, а хватило на всю жизнь.

...Позже в одну из наших встреч сказала:

— Мы разные с вами. Не только по возрасту. Но мне легко с вами разговаривать. Вы меня понимаете?

Часть 1.

НИКТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВОЙНА НАДОЛГО

На Серпуховской улице

Я не коренная волжанка, а приросла к Самаре, будто и не жила больше нигде. И мама моя в Самаре похоронена. И тётя Вера. И муж.

...Родилась я и жила почти до пятнадцати лет в Ленинграде. Мой дед по маминой линии Илья Никитич Рукавишников был архитектором, бабушка — выпускница Института благородных девиц. Мама окончила гимназию, потом институт. Тётя Вера училась в консерватории, готовилась быть пианисткой. А стала после революции машинисткой. Сначала некоторое время она работала в Смольном. Потом за какую-то досадную оплошку её уволили. Отличный удар, чёткая координация пальцев позволяли ей печатать до трёхсот знаков в минуту.

...Квартира, в которой мы жили, досталась нам от бабушки с бабушкой. Наша трёхкомнатная квартира была с высокими потолками, украшенными лепниной.

Я очень любила в гостиной печку с голубой изразцовой плиткой. Дедушка купил эту квартиру ещё до революции. Мой папа, Михаил Ильич Крапивин, по образованию был инженер-строитель. Когда они с мамой поженились, то стали жить тоже в этой квартире. Папа умер, когда мне было пять лет.

Мама говорила, что он был очень опрятным. Часто мыл голову. Любил менять галстуки. Вспоминала, что когда он переехал в их дом жить, то привёз с собой шесть костюмов и двенадцать рубашек, чем удивил всех. Папа занимался подрядами. Постоянно пропадал на стройках, может, поэтому я его почти совсем не помню...

Так получилось, что тётя Вера замуж не выходила. Мы жили вначале после смерти папы втроём. Я росла беззаботно и ухоженно. Совсем не готовой к тому, что вскоре случилось.

Мороженое в хрустящих стаканчиках

20 июня мы с мамой поездом поехали на дачку под Сестрорецк. Был там тогда посёлок Лисий нос. Не знаю, цел ли сейчас. Мне четырнадцать лет, мама с тётёй заботятся о моём здоровье. Нужен свежий воздух! Около посёлка в дачном массиве они снимали одну комнатку. Домик небольшой, из толстых таких досок. Нам нравилось. Вокруг домика ровные дорожки. Нюотки, мальвы вокруг. До вечера мы возились с цветами. Пересаживали нюотки ближе к домику.

Возишься, а вокруг тебя белая рогастая коза Милка крутится, пёстрые куры с важным смешным петухом переговариваются на своём языке. Мне всё на даче нравилось, кроме тёплого козьего молока, которое меня заставляла обязательно пить мама.

Вечером двадцать первого начали необычно летать самолёты. Но так, не особо тревожно было. Мы не понимали, что происходит.

Ночью спали. А под утро нас разбудил мощный рёв самолётов и вспышки в небе. Пошли с мамой на станцию. Идут безостановочно эшелоны с военными. Резануло слово — «война». Народу немного. Но билетов нет. А я вижу, на перроне мороженое продают! В хрустящих стаканчиках таких, вафельных, я любила очень. Тяну маму: «Купи!» Она отмахивается, а мне обидно. Так хочется... Начала канючить, пока не получила желаемое.

...Под вечер мы всё-таки в Ленинград уехали. Военные эшелоны прошли...

Начало страшной беды

Прибыли в Ленинград. В городе спокойно. В магазинах, как всегда. Всё, что надо, есть! Конечно, я многого не замечала, не понимала. Даже когда стало потом хуже со снабжением в магазинах, в нашей семье не придали этому особого значения.

В Ленинграде до войны всегда с продовольствием было неплохо. Мы обычно, например, ветчины покупали немного. Брали небольшой свежий кусочек на один раз. Всегда в продаже были фрукты...

Мама моя с тётёй Верой всё же решили подстраховаться. И уже после объявления по радио о нападении Германии на Советский Союз купили пять батонов белого хлеба и насушили сухарей. Могли купить больше. Но зачем? Не было у ленинградцев тяги к накопительству. Думали, как с Финляндией война будет — где-то в стороне. Мы мало что знали. Никто не полагал, что всё надолго.

Только наш сосед по квартире Борис Петрович молча качал большой, как у лошади, седой головой.

— Это начало страшной беды, — говорил. Мы проходили мимо него, не останавливаясь.

Работал он в каких-то дальних мастерских. Видели мы его мало.

«Пускай ворчит, — думала я, — он всегда ко всему недоверчив. Бубнила. Другое дело — его молодая весёлая жена Даша».

Разница в возрасте у Бориса Петровича и Даши в двадцать лет. Это у моей тётёи вызывало недоумение.

От громкого, непривычного в нашей квартире, смеха Даши моя тётя Вера часто морщилась.

Зато все мы любили их грудного сына Леру. Мама моя объявила его общим и главным достоянием нашей квартиры.

Чтобы жить да радоваться!

...Мне, когда совсем недавно Зотовых подселили в нашу просторную трёхкомнатную квартиру, стало непривычно, но интересней жить!

Тётя Вера сначала по всяким мелочам ворчала на Бориса Петровича, но постепенно поутихла.

Я слышала, как Даша один раз сказала моей маме на кухне про мою тётю:

— Она старая дева, поэтому так и сердита.

— Дашенька, ты должна быть великодушной. Не сердчай на неё, — тихо отозвалась не умеющая ни с кем ссориться моя мама.

— Надо мне — сердчать! Пусть только зря настроение не портит Боре. Он же с работы приходит такой усталый. Домой приходит! Не куда-нибудь! — громко, с напором, говорила Даша.

— Дашенька, пойми: Вера — ушибленная судьбой, у неё так много в жизни обрушилось, — мамин голос дрожал. — Долго не выходила замуж. А тут Рома! Собирались пожениться. Он военный был. Очень красивый. Началась война с Финляндией. И когда он ехал на фронт, их эшелон попал под обстрел. Рома погиб. Видишь как?..

— Была бы моя воля, я каждой бы по мужу выписала. По спецталонам! — провозгласила Даша. — Чтоб в каждой квартире от детей было тесно. И некогда выяснять отношения было! Чтобы жить да радоваться! — она высоко подняла сына над головой. Слегка его потрепала.

— Вот она, моя радость, Лерочка!

Лерочка в ответ что-то улыбочиво проурчал. Он явно был не против сказанного.

— Я поговорю с Верой, — мягко пообещала мама. — Мы подружимся все...

Когда Даша вышла из кухни, Лерочка был у неё на груди. Она крепкой поступью направилась по длинному коридору в свою комнату. Уронив светлую головку во впадину меж внушительных бело-розовых живых холмов материнской груди, Лера с упоением тянул, причмокивая, молоко. Полы Дашиного розового халата развевались, из него выглядывали крепкие розовые её ноги. Даша была как монумент. Ходячий монумент несокрушимости жизненных сил.

Ни мама, ни тётя Вера никогда не позволяли себе так разгуливать по квартире в халате.

...В тот вечер я подошла перед сном к кровати мамы. Она заснула, выронив синюю книжицу себе в постель. Мама обычно читала на ночь. У неё были свои книги. Я взяла маленький томик в руки. Бросились в глаза строчки на раскрытой странице:

*Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету.
И ангел поднял в высоту
Звезду зелёную одну,
И стало дивно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.*

Да, это был любимый мамой Блок. Она читала часто и вслух.

— Как было бы прекрасно увидеть тебе Блока, — сказала она мне недавно. — Да вот немножко опоздала родиться. А мне повезло... Я видела театральную постановку его драмы «Незнакомка».

— Ага, — ляпнула я, — была бы я теперь старухой.

Мама обиделась на меня. Сказала, что у меня примитивный юмор.

Теперь-то я думаю, она меня приобщила так к чтению. А у меня особого влечения не было. Вернее не было как у неё.

— Спи, родная мамочка, — шептала я, несмотря на смутную тревогу в душе, — спи... Всё будет хорошо. Они тоже люди. У них тоже есть поэты... Гёте... Как такое вообще может быть, чтоб убивать... Когда и у них, и у нас такие стихи. Когда у нас такой город!..

...Утихли в соседней комнате сонные всхлипывания розовощёкого Валеры. В носках, на цыпочках, накурившись в туалете, прошёл в свою комнату Борис Петрович.

— Твой муженёк очень много курит, у него ногти на пальцах левой руки от дыма пожелтели, как можно так? — недоумевала несколько дней назад тётя Вера.

— Не от дыма это, — простодушно махнула рукой Даша, — это у него грибок. Никак вот не поборет.

Лицо тёти Веры исказила гримаса. Она с потерянным видом вышла из кухни. Бедная наша чистюля тётя Вера, знала бы она, что нас ждёт всех впереди.

— Спи, мамочка, — повторяла я, как заклинание, — Борис Петрович просто паникёр. Случилось страшное. Но это ненадолго... Ты устаёшь на работе и без этого. Не он один.

Слышно было, как на лестничной площадке пошумливает большой сибирский кот Савелий. Савелий — знаменитость на весь наш подъезд. Как и его хозяин, замечательный Аркадий Сергеевич из четырнадцатой квартиры.

Он научил Савелия ходить на задних лапах. Иногда он вешает коту на белую шею малиновую бабочку, заставляет его шагать по площадке и потешно кивать головой.

— Форменный цирк! — удивлялась каждый раз при этом Даша. И громко, на всю площадку заразительно смеялась.

Бедa наступала стремительно

Первые снаряды начали рваться, как я помню, четвёртого сентября. А восьмого сентября сорок первого немцы с суши окружили город полностью. Поначалу страха не было. Ребёнок — не понимала ещё. Начали гореть дома. С ребятами из группы самозащиты при нашем ЖЭКе тушила на крыше зажигалки. Какие тушили, какие сбрасывали вниз. Так было, пока я не съехала с крыши и сильно ушиблась. После этого мама меня не стала пускать. Рука долго побаливала от плеча до самой кисти.

Над головами наши истребители вели воздушные бои с вражескими бомбардировщиками. Со страхом видела, как наш самолёт таранил немца.

...А тут такой огромный пожар случился. Разбомбили Бадаевские склады. Там хранили сахар, хлеб и ещё много чего. Я видела, как начали бомбить эти склады.

Летела целая армада немецких самолётов. Выглядывая из щели, мы видели самолёты с чёрными крестами на фюзеляжах. Летели они на разной высоте группами. Спокойно сбрасывали бомбы и улетали.

С разных сторон складов поднимались сигнальные ракеты. В городе действовали немецкие пособники. При этом немцы заняли Пулковские высоты. Город у них был как на ладони.

Наши зенитки били беспорядочно. Я не увидела ни одного сбитого самолёта.

От завода «Красная звезда» спешили люди. Кто был с баграми, ведрами, кто с чем. Мы оказались в общем потоке. Начали рушиться стены склада. И мы с Раей Ромашиной увидели, как горят мешки с сахаром.

Склады горели дня три. Пропало очень много муки, сахара. По улицам текли ручьи мутной патоки — смеси сахара, сгоревшей муки и грязи. На этих складах хранились основные городские запасы продуктов питания. Никто не знал, сколько продуктов сгорело. Но многие говорили, что теперь с продовольствием будет плохо. Как можно было всю провизию хранить в одном месте?.. Мы не особо в это верили. Люди стояли подавленные и смотрели на зарево пожара. Сделать уже ничего было нельзя.

На другой день в магазинах исчезли дешёвый кофе, соевые бобы, много ещё чего. Привоза продуктов в тот день в магазин не было. Не было и в последующие дни.

Дня через четыре после налёта на Бадаевские склады вторично уменьшили выдачу хлеба по карточкам. В сентябре она стала 600 граммов для взрослых и 300 граммов для детей. Но и эту пайку хлеба надо было ещё отovarить. Страшно было стоять в очереди за хлебом. Можно было и попасть под снаряды, и потерять карточки.

Занятия в нашей школе начались было в октябре, но в декабре потом прекратились. С питанием совсем стало туго. Появились карточки для служащих и карточки для иждивенцев.

Мы с подругами начали ездить на капустное поле собирать примёрзшие к земле листья от кочанов. Называли мы их «хряпы».

Рядом были военные позиции. Солдатики уговаривали нас уйти. Было страшно, но все продолжали ковыряться в земле. Из этих подмороженных капустных листьев мы варили щи.

Постоянно хотелось есть. Из картофельной шелухи на олифе (если повезёт раздобыть) пекли лепёшки. Вместо муки добавляли детскую присыпку.

Меняли вещи на плитки столярного клея, которые вымачивали и варили в воде. Получалось что-то вроде холодца. Деньги никто не брал. Ходили, ковыряли землю около Бадаевских складов. Ели землю маленькими кусочками. Она была сладкая. Когда хочется есть, ни о чём другом не думаешь. Пайку хлеба для неработающих сократили до 125 граммов в день. В городе на улицах не стало видно кошек и собак. Всех поели.

...Теперь часто бомбили. Мы все спали уже на кухне. На полу. Окно из кухни выходило в коридор. Темно. Но так безопаснее. На окнах — плотные занавески, чтобы не привлекать вражеские самолёты. Окна крест-накрест заклеили бумагой, чтобы не трескались от взрывов.

Перестала работать канализация, водопровод. За водой я теперь ходила с бутылками на соседнюю улицу: там специально открыли колодец. Начали выдавать противогазы.

Аркадий Сергеевич пожалел меня и угостил куском варёной курицы. Сказал, что выменял где-то. Он всегда ко мне

хорошо относился. Говорил, будто у меня будет долгая и счастливая жизнь, вопреки тому, что живу я в квартире под номером тринадцать. Всегда первый меня приветствовал при встрече. Порой раскланивался и говорил разные смешные вещи. Он был школьным учителем музыки. Только не в нашей школе.

Потом я узнала, что угостил он меня не курицей. На самом деле это был кот Савелий.

...Борис Петрович раздобыл «буржуйку». Установил её на кухне, трубу вывел через форточку во двор. С «буржуйкой» нам стало легче жить.

Хлеб на Невском проспекте

Живу одна, без мамы и тётки Веры. Они на казарменном положении. Работают на ТЭЦ. Приходят домой редко.

Пошла я отоваривать хлебные карточки в магазин на Невский проспект, по-другому — «Проспект 25 октября». Там давали, как мне казалось, на карточки хлеб не такой чёрный, а коричневатенький, и помягче. И потому, думалось мне, что его побольше. И вкуснее он. Блажь, конечно.

Иду по проспекту. Обхожу огромные газгольдеры с водородом для заполнения аэростатов воздушного заграждения. Рядом движутся вооружённые отряды. Гремят взрывы. Пыль, облака дыма. Под ногами и над головой осколки стекла.

Тут же ведётся уборка кирпича, стекла. Люди работают дружно и как позволяют силы.

Лишившиеся своего жилья перебираются в другие дома, если можно. Иногда были такие длительные обстрелы, что в бомбоубежище приходилось находиться целые сутки.

И тогда прямо в них женщины мастерили тёплые вещи для бойцов, шили варежки, вязали свитера.

Теперь трамваи возили не только пассажиров. Они перемещали войска, боеприпасы. Ремонтировались корабли, выпускалось оружие, боеприпасы. Непрерывно работал в Смольном штаб города. Надежда и вера жили неистребимо. Но было и неимоверное постоянное напряжение.

На Невском начался обстрел. Вместе с прохожими поспешила через арку во двор. Рядом со мной оказался молоденький розовощёкий матросик. Он куда-то очень торопился и всё время выглядывал на улицу.

Грохнул взрыв. Матросик упал. Осколком ему снесло полголовы вместе с бескозыркой.

Шла домой и думала всё об этом матросике на асфальте. Было жутко.

А тут свернула с Невского и вижу: лежат посередине улицы веером шесть девочек моего возраста. Двоих узнала: Раечка Ромашина и Надя Колокольцева из параллельного седьмого класса. С Надей мы гоняли на велосипедах.

Бросилась, как могла, к ним. Тормошу, а они все мёртвые. Видно, стояли кружком, разговаривали либо ждали кого. Попали под осколки. Зачем они так все вместе стояли? Поползла к стене от этого адского то ли веера, то ли страшного мёртвого цветка. Нет сил подняться. Слышу, воет кто-то, знакомо больно... Опомнилась: это же я, мой голос...

...Потом уж, позже стали вешать плакаты с предупреждением, что та или иная сторона улицы обстреливается... А когда фашисты сбрасывали бомбы замедленного действия, появились плакаты: «Опасно! Неразорвавшаяся бомба!»

...Когда добралась до своего квартала, гляжу, у соседнего дома лежит на асфальте мёртвый старичок. Крови не видно... У него так молитвенно три пальца сложены... И лицо обращено к небу...

Голод

Люди начали массово умирать от голода. Первой из наших соседей умерла жена Аркадия Сергеевича, тётя Сима. Мама сказала, что у неё был сахарный диабет. Вначале-то как было? Завыла сирена — прямиком в бомбоубежище. Наступило время, когда ноги не идут от бессилия. Какое бомбоубежище? А тут ещё при бомбежке в подвале соседнего дома заживо всех заваляло... Появились трупы на улицах. Мысли были не о бомбоубежищах, а о том, чтобы поесть.

Мы жили на третьем этаже. Когда я спускалась, то шла теперь мимо соседей, которые так и остались мёртвыми лежать на лестнице.

Хоронили трупы на Пескарёвском кладбище в траншеях. Тысячи заваливали бульдозерами.

...Семья Зотовых, которая жила с нами в квартире, вскоре вымерла вся. Первым умер наш маленький Лерочка, потом Даша. Последним — сам Зотов. Он умер у меня на глазах, на нашей кухне, за столом.

Мы сидели вместе. Борис Петрович будто просто заснул. Без единого звука скончался.

* * *

Ноябрь выдался морозным, с сильными снегопадами. Я так и обитала вместе с Борисом Петровичем на кухне... И спала там.

Нашу кафельную печь не могла разогреть: не хватало дров для неё. Топила «буржуйку» сначала мебелью, которую осилила сломать без Бориса Петровича, потом книгами, ненужной одеждой... Я безжалостно, тупо сожгла всю мамину библиотеку. Шиллер, Гёте, Толстой, Лермонтов... Остался только томик Блока. Машинально отодвинула его в сторону. Всё деревянное во дворе и в округе было разобрано на дрова. Спала я не раздеваясь, в валенках, под двумя одеялами и ковриком. Мамы и тёти не было по несколько дней.

Наступил день, когда я вышла на лестничную клетку и увидела мёртвым Аркадия Сергеевича из четырнадцатой квартиры. Теперь я ходила каждый раз мимо него. Его кто-то потом чуть перевернул. И он лежал лицом к стене. Как бы не желая никого из живых смущать. Его тоже никто не забирал. Весёлый наш сосед жил один, сын его был на фронте.

А мне не по силам вынести его.

Хотелось постоянно есть. Когда думаешь о еде, становится дурно. Слабеют ноги, кружится голова. Может, потому я не сошла с ума, что начала вести дневник.

Когда выпал снег, начали было изредка вывозить трупы, кто на санках, кто на куске фанеры, привязав к нему верёвку. Но вскоре прекратили: народ обессилел. Девушки-бойцы из МПВО занимались уборкой трупов. Но не успевали это делать.

Многие стали болеть дистрофией. Походка у людей стала замедленной. Чтобы бороться с цингой, заваривали чай с соевыми иголками. Продавали эти иголки в аптеках в пакетах. Наступили страшные холода первой военной зимы. В январе-феврале сорок второго года ежедневно умирали тысячи человек.

Замёрз водопровод. Не работали бани.

Говорят, что в войну резко увеличилось число верующих. Я ни разу не помолилась за всё время. Нас таким образом воспитывали, что и в голову не приходило...

О Боге я вспомнила много позже.

...Там, где брали воду, выросли ледяные наросты. Ослабевшие люди падали и, обессилевшие, ползали вокруг. Возникали очереди.

На казарменном положении

Мама и тётя Вера на казарменном положении. Работают на ГРЭС. Мама — в плановом отделе, тётя — в архиве и машбюро. Они совсем редко стали приходить домой. Осталась я одна. Наедине с репродуктором. Из него то и дело: «Граждане, воздушная тревога!» Потом вой сирены и стук метронома.

Немцы вели стрельбу чаще всего утром и вечером, когда народ шёл на работу или возвращался домой.

Постоянно горели дома. Всё больше стали сбрасывать на город зажигательные бомбы. Фашисты выпускали по городу до трёхсот снарядов в день.

Когда ходила, еле двигаясь, за водой, слышала разговоры о том, что немцы не будут принимать капитуляцию города. Решено население истребить поголовно. Возвращаясь с водой домой, видела, как вешали на торце соседнего здания большой плакат: «Ленинградцы! Как один, встанем на защиту родного города!»

...Я стала пухнуть от голода.

Чтобы как-то спасти меня от голодной смерти, мама упростила директора электростанции взять меня на работу. Директор пожалел нас, и меня оформили ученицей. Я переписывала деловые бумаги. Разносила их. Получала паёк, как все работницы станции. Помню, был стахановский паёк: две

котлетки из капусты или тарелка щей. Несказанным благом в замерзающем городе был с чуть тёплой водой душ, который можно было принять только на электростанции. Один рожок на всё бомбоубежище. И мужчины, и женщины раздевались и вместе ждали своей очереди. Не стесняясь: не было на это сил.

Спали мы в бомбоубежище. Там были кровати. За бельём ходили домой. Поднималась по лестнице, перешагивая с трудом через трупы. Потом их убрали. Не стало на кухне и Бориса Петровича.

Честное слово

...Теперь мама моя начала пухнуть от голода. Глаза у неё стали как щёлки на вздутом лице. Было видно, что она может умереть.

Директор Виктор Петрович раздобыл ей стакан «жжён-ки» — жидкого горелого сахара. Того самого, что собирали с земли, когда разбомбили Бадаевские склады. И со спичечный коробок, меньше, кусочек сала.

Мама стала ходить за мной и упрашивать:

— Деточка моя, Олечка, я же потерплю ещё как-нибудь. Смотри: ты-то какая!..

А Виктор Петрович заранее ещё предупредил меня, что если мама не поест то, что он дал, она может умереть.

— Дай мне честное слово. Ты помоложе, — говорил. — А она изнасилась. Не справится. Уйди куда-нибудь от соблазна, пока она не съест.

Я дала ему честное слово, что не притронусь к маминой еде. И сдержала обещание.

* * *

А тут наш Виктор Петрович сказал маме, что нас эвакуируют по льду Ладожского озера. По «Дороге жизни». Куда — пока неизвестно...

...Вскоре мы получили эвакуационное удостоверение. Нам предстояла дорога на Волгу, в город Куйбышев.

Пианино из красного дерева

Добрались мы со станции до дома благополучно. Стали готовиться к отъезду. Нужны были какие-то продукты в дорогу.

Пригодилось нам пианино тёти Веры. Его купил ей мой дедушка, когда она ещё и не помышляла быть пианисткой. Но свою роль в её желании поступить в консерваторию оно сыграло.

Дедушка любил делать красивые подарки. Пианино было сработано из красного дерева, изящное такое. С красивыми подсвечниками. У меня замирало сердце, когда я проходила мимо него. А уж когда тётя Вера начинала играть, ещё тогда, до войны, у нас в доме был праздник. Послушать приходили многие соседи. Иногда она играла на скрипке. Скрипка мне больше нравилась.

Про наше пианино узнал один музыкант. Известный артист в городе. Он приходил два раза к нам ещё до войны и уговаривал продать инструмент.

Тётя Вера и слушать его не хотела. Она мечтала, чтобы я начала играть. А у меня на уме — коньки да лыжи. Летом — велосипед! Всё откладывала на потом.

— Вы страшная эгоистка! — говорил артист тёте Вере. — Ни себе, ни людям. Это не по-советски! Вы же не играете на нём! И не будете уже как следует играть! А у меня публика! Поклонники!

Тётя Вера стояла с каменным лицом у окна. Молчала.

— Кто вас будет слушать? — выкрикнул гневно артист. — Вы же стубили свои пальцы. Грустно, но факт! А я неплохо заплачу!

Он промокнул вспотевший лоб серым платком и с полным убеждением в своей правоте обратился к маме:

— Ксения Ильинична! Что же вы молчите?

Мама не успела ответить.

Тётя Вера решительно отошла от окна и открыла дверь. Насмешливо и требовательно глядя на гостя, ждала.

Тряся красивой кудрявой головой, артист удалился.

Только он хлопнул дверью, у меня вылетело:

— Индюк какой!

Сказала я так и прошла по комнате, мотая, как пианист, головой. Тётя Вера и мама нервно расхохотались.

Потом я видела, как тётя сидела в спальне и плакала.

Это было до оккупации.

...А тут идёт она в последний день перед отъездом из Ленинграда по улице, и он, артист этот, навстречу. Узнал её.

— Вера Ильинична, рад, что вы живы!

И опять про пианино разговор.

Согласилась тётя, чтоб забрал он инструмент. Через Ладогу с собой его не потащишь.

Когда он уже уходил, тётя Вера сказала ему в спину:

— Забирайте и скрипку. Всё едино теперь.

Артист утвердительно молча кивнул головой.

* * *

Пианино и скрипку забрали в тот же день. Взамен артист принёс на полкило кулёк перловой крупы и пять чёрных сухарей. Видно, доступ имел к продуктам. Или к людям, которые около них.

Дорога жизни

Вещей в дорогу с собой мы взяли мало. Кому их нести? Да и трудно представить, чтоб моя мама и тётя могли обзавестись узлами. Они и одеты были: шляпки, муфточки и прочее. Чтобы какой-нибудь платок на голову? Неинтеллигентно! Взяли мы в две сумки мамину и тётю Веры шубы. Висело у нас в каждой комнате по две картины. Вот эти шесть картин тётя Вера срезала и, свернув трубочкой, взяла. Чемоданов у нас с собой не было.

Сели в кузов «полуторки» под брезент и поехали. Ехали ночью. Был уже апрель, лёд таял. Без тёплой обуви холодно.

Это так легко я говорю: «сели». Мама не в силах была забраться в кузов машины. Шофёр взял её на руки, как маленькую, и отнёс к себе в кабинку. Там дал ей кусочек шоколадной плитки. Я запомнила этого крепкого, надёжного парня в тёплом военном полушубке. Его звали Костей.

Мама радовалась:

— Вырвались! Мы вырвались!

А шофёр басил:

— Надо ещё доехать! Больше двадцати километров!

Я сразу поверила, что мы выберемся. Такой большой и сильный у нас шофёр!

Но он не зря так говорил. У нас на глазах «полупорка», идущая впереди чуть сбоку, вместе со всеми провалилась под лёд. Немцы бомбили колонну с воздуха. Обстреливали из пушек. Нам повезло: двадцать семь километров ледяной дороги остались позади.

«Вот и ладненько!»

...Посадка на поезд шла ночью. В вагон прорваться самим нам немислимо. Нас несколько раз толпа отбрасывала в сторону.

И тут появился в длинном чёрном пальто человек, который вызвался нам помочь.

— Графинечка, вас затопчут! — прокричал он маме, белозубо улыбаясь. — Я пойду вперёд, а вы успевайте за мной! Давайте вещички!

Он галантно протянул свои длинные руки.

— Везёт нам на добрых, красивых людей, — воспрянула духом мама.

Мы отдали этому человеку наши вещи. Он шагнул в толпу. Довольно быстро наш помощник прорвался к вагону. Втолкнул нас в него, подбадривая:

— Вот и ладненько! Вот и складненько!

А сам тут же шустро с нашими сумками, картинками в трубочку шагнул в людское месиво. Толпа его отгородила от нас. Мы остались ни с чем.

— Как обидно, — сказала мама, когда мы пришли в себя. — Смуглый такой, и этот его тёмно-вишнёвый шарф! Крупной вязки. Таким, наверное, и был Артур — красивым!

— Какой Артур? — спросила тётя Вера.

— Ну, из «Овода», Лилиан Войнич... Главный герой...

— Жулик он! — внятно, с досадой на маму, сказала тётя. — И шарф у него ворованный, у этого твоего Артура. А мы вот... — тётя не договорила.

— А мы? — по-детски повторила мама.

— Ни то, ни сё мы! Вот кто!

Тётя была безжалостна:

— А если точнее... Дохлые мухи мы. Тебе же сказал пианист этот, ещё в Ленинграде!

Она поднесла свои красивые белые руки к лицу, прикрыла ими блестящие чёрные бездонные глаза:

— Боже мой, что ещё с нами будет в дороге? Куда едем? Куда попадём?..

— Ах, Боже мой, смотрите, — вдруг воскликнула мама. — Обе книжечки стихов у меня в сумочке лежат. Вот они!

Мы молчали.

— Это же Блок! Смотрите, стихи «О Прекрасной Даме». Его первая книга. Издательство «Гриф», 1904 год. Потрясающе повезло.

Тётя Вера смотрела на неё как на ненормальную. Я дёрнулась: там, в одной из сумок, которые умыкнул «Артур», был мой дневник. Его я вела последние мои блокадные полгода. Может, теперь бы пригодился. А так... многое потускнело в памяти.

* * *

Погрузили нас около восьмидесяти человек в холодный, «тепличный», так его называли, вагон. Через широкие щели в полу замелькали шпалы. Люди умирали и тут, в вагоне. Спали на полу. Когда шёл поезд, через щели очень сильно дуло. Мы уже не испытывали особой радости, что вырвались. Не сильно жалели, что лишились вещей при посадке. Всё как во сне. Очень хотелось спать.

...Я видела, как измучены мои мама и тётя. Догадывалась, что они, такие слабые, решились на эвакуацию, только чтобы спасти меня.

Солёные огурчики

Ехали мы больше днём. Ночью обычно поезд стоял, эвакуанты были не на станциях, а у населённых пунктов, недалеко от железной дороги. Поезд трогался без объявления. Всегда было страшно не успеть сесть в вагон. На эвакуопунктах давали хлеб, иногда похлёбку, кашу.

...А в вагоне... Теснота... Помыться негде. И нечем. Руки не мыли. Иногда перепадал кипяток. Кругом вши. За лацканами белые вши, в косах вши, гниды.

На каждой остановке выносили трупы.

...Рядышком с нами расположилась семья. Три человека. Тоже натерпелись в Ленинграде. Худые донельзя.

Павел Борисович — бухгалтер. Очень похожий на писателя Пришвина. С усами и бородкой клинышком. И Серафима Зиновьевна — учительница. С ними мальчик Игорёк, на год старше меня. Чёрненький такой. Курчавый, с карими глазами и большими белками навывкате.

Как они говорили меж собой! И с нами! Так внимательно, так терпеливо. И любили друг друга они. Очень.

Мы уже знали, что едем в Куйбышев. У дяди Паши его одноклассник после института по направлению уехал работать в Куйбышев. Они лет пять уже не переписывались. Но у дяди Паши был его адрес. И он надеялся его разыскать. Несколько раз говорил об этом. Хотел верить, что найдёт...

Тётя Сима больная сильно была. Они её больше себя берегли.

Где-то под Рязанью уже, наверное, на полустанке выросла за окном крупная женщина с кастрюлей. Она торговала солёными огурцами. Другие ещё что-то предлагали, но я не помню что. Огурцы эти сразу бросились в глаза нам. Мы молчали, придавленные.

Тётя Сима не выдержала:

— Пашенька, я так хочу огурчиков! Ты помнишь: я всегда любила. Снились мне они последнее время. Думала, всё. Не доживу... А вот теперь... Может, поправлюсь?

— Сима, у нас на них денег нет. Ты же знаешь...

— Я пойду сама. Поторгуюсь. У меня вот платок есть. Вдруг?

Говорит и смотрит умоляюще. Глаза тёмные, влажные. Сын Игорь молчит, а мать вот-вот, кажется, расплачется. Нам всем так жалко её.

— Попробуй, — говорит дядя Паша, — но, боюсь, бесполезно.

И она пошла.

Мы в окошко видели, как тётя Сима приблизилась, словно к горе, к этой женщине с огурцами. Видели, как они разговаривали. Как тётя Сима смущалась при этом. Не умела торговаться. Стояла, как школьница.

Торговка не соглашалась брать платок. Всё указывала на руку тёти Симы.

А она, печальная, с белым иконным лицом и мерцающими угольками чёрных глаз, всё качала отрицательно головой...

Мы догадались уже. Женщина просила у тётки Симы за огурцы кольцо с её руки.

Тётя Сима приблизилась к окошку и виновато сказала дрогнувшим голосом:

— Паша, она просит за них наше обручальное кольцо... Что делать?..

— Симочка, ну если так! Что ж теперь?..

Только он это и сказал. Ничего больше.

...Принесла тётя Сима в вагон три небольших огурчика. Мокренькие такие, с веточкой укропа. Разложила и предлагает нам всем. А нас шестеро. На три огурца, да небольших таких? И мы знали, как они достались ей. Молчим сидим.

— Я съем один, а вы кто как хотите тогда, — сказала она.

И захрумкала огурцом.

Мы не притронулись.

Её болезненное, интеллигентное, умное лицо освещено бледным отсветом затаившейся в ней безжалостной, страшной болезни. Я видела, как ей стыдно за себя такую...

Она съела все три огурца. Не могла остановиться. Никто ей не сказал ни слова. Все чувствовали некоторое облегчение, когда она их доела.

Дело, казалось, у неё шло на поправку. Глаза дяди Паши светились тихой радостью.

А к вечеру лицо, шея, руки у тётки Симы покрылись пятнами. Сначала красными, потом чёрными. Ей стало тяжело дышать. Мы не могли спать.

...Она и в ясном уме, и в бреду говорила всё одно:

— Ксения Ильинична, Вера Ильинична! Игоря, сыночка, помогите сберечь. Он талантлив очень. Ты, Пашенька, постарайся уж...

Ночью она умерла. Молча. Дядя Паша обнаружил, что она не дышит. И всё.

В блокадном Ленинграде столько видела я смертей, а эта... Когда, казалось, всё позади...

Та торговка, видно, насолела огурцов этих в цинковом ведре. Или какая другая отравка была?

И что бы было, если б мы все поели огурцов этих: спасли её? Ей бы меньше тогда досталось отравы? Или все бы померли? На всех бы хватило?..

У тётки этой было целое ведро огурцов. Скольких она умо-рила? С других вагонов тоже некоторые брали...

Нам сказали, что поезд на следующей станции останавли-ваться не будет. Так и было. Он только под утро замедлил ход. Санитары понесли тётю Симу к выходу, скупно бросив: «Там подберут...» А вслед им шепоток: «Заразная, поэтому так... без остановки».

Игорь вяло, через силу, колыхнулся за санитарями к выхо-ду, долговязый парень осадил:

— Не мешайся!

И задел его плечом.

Игорь упал лицом к стене, плечи его дёргались. Дядю Пашу, когда тот попытался встать, так мотнуло, что он, ударившись лицом о стену, затих. Все мы оказались в тот момент как бы ни при чем. Лишними.

И тут я увидела, как кольшится перед моим лицом ставшая необычно длинной, белая, как кость, обнажённая по локоть рука тёти Веры.

Рука её совершала непривычные для меня движения. Я не вдруг сообразила: не скрываясь ни от кого, моя тётя молилась. Это для меня было необычно. Но я уже не в силах была чему-либо удивляться...

Под Сызранью

Где-то под Сызранью мы с Игорьком в очередной раз отпра-вились на эвакуопункт за едой. С нами пошёл Владька. Он был из нашего вагона.

Мы замешкались. Поезд медленно тронулся, а мы колты-хаемся на полпути. До него каких-то пятьдесят метров, а для нас это — гигантский отрезок. Его надо преодолеть. Нам с Иго-рем повезло: влезли на ходу в предпоследний вагон. Владька уронил бидончик с супом, споткнулся об него и растянулся на насыпи. Поезд набирал скорость, а он лежал и провожал его молча безумными глазами. Когда мы добрались до своего ва-гона, Владькина бабушка Рая лежала молча на полу, рот у неё был раскрыт. Она только хрипела. Слов не было.

Оказалось, что они с моей мамой всё видели. Не пережи-ла случившегося баба Рая. Ночью умерла. Фамилию её и

Владьки я не знала. И лица её уже не помню. Помню только её голос.

Она несколько раз до того дня рассказывала нам, как у неё при посадке в поезд украли полмешка с картошкой. Я никак тогда не могла поверить, что у неё могло быть такое неслыханное сокровище. Мне казалось, что она это придумала. Или у неё что-то с головой.

Владька подтверждал кражу, но как-то неуверенно.

О Владьке я больше ничего не знала потом. Где? Что? Выжил ли он в одиночку?..

* * *

...Вскоре за окном поезда замелькали металлические ограждения. Я поднялась и прильнула к светоносному оконному проёму. Там, за окном, на весеннем просторе, внизу под огромным мостом и над моей головой властвовала необъятная, непривычная, покальывающая глаза, пронизанная солнечным светом речная и небесная синь!

Кто-то за моей спиной хрипло и буднично, будто отмечая в протоколе, произнёс:

— Проезжаем Сызранский мост. Скоро Куйбышев! Авось отмучились...

А меня необъятный простор подталкивал крикнуть:

— Здравствуй, Волга! Здравствуй, новая жизнь!

Хотелось приветствовать Волгу громким голосом, каким мы кричали однажды, добравшись на велосипедах с Надей Колокольцевой на Пулковские высоты. Нади теперь нет, и Раи Ромашинной нет. Остались лежать на Невском...

Голоса не было... Не получалось крикнуть...

Молча смотрела я, как порывистые чайки реют внизу под мостом, над бескрайней водной равниной. Похожие на оброненные белые косынки, которые подхватил своевольный ветер...

...Наш поезд пересёк величавую реку.

И завораживающая, широченная мощь Заволжья растворила нас в себе...

Часть 2. **На Пристанской улице**

В мае 42-го

...Пробыв месяц в дороге, в начале мая мы оказались в Куйбышеве.

Поначалу не верилось в то, что вокруг нас. Не стреляют! Такие большие пайки хлеба! Целых 500 граммов в день!

Всех нас, весь вагон, поселили около Куйбышевской ГРЭС в барак, где совсем недавно ещё жили заключённые. Устроили на работу на ГРЭС — бабушку поволжской энергетики, которая заработала впервые аж в 1900 году. Первое электроосвещение, первый трамвай в городе — всему этому дала начало ГРЭС.

...За хлебом посылали меня. И разрешили мне съесть до-весок. Я шла домой и, довольная, ела ароматный кусочек.

У магазинов очереди, но они движутся! Люди берут крупу, жир. Нормы скудные, но продукты есть. Хлеб дают каждый день свежий. В магазин, куда я ходила, его доставлял крепкий такой дядька в крытом фанерном фургоне на лошади. Хлеб ржаной, с душистой горбушкой. И с корочкой, лопнувшей от жара в печи. Видно было, что из печи он совсем недавно. Тёплый ещё!

Бараки стояли прямо через дорогу, напротив ГРЭС, под горой. Пovyше от Волжского проспекта, тогда это была Пристанская улица.

Две печки по концам деревянного барака! В конце коридора один на всех туалет. В бараке никаких перегородок. Протянули верёвки и отделились группами друг от друга простынями, чем попало. Наша семья и дядя Паша с Игорем расположились рядышком. Мы стали после долгой такой поездки совсем своими.

...А тут привезли нам на весь барак бочку янтарного мёда, картошку. Картошку жарили на воде. Потом привезли масло. А мы полгода уже олифы в Ленинграде не видели.

У нас не было своей сковородки сначала. У многих не было. Жарили по очереди. Потом сковородку нам подарили. Я её храню до сих пор.

Привезли машину угля. Свалили тут же, у барака. Куча картошки и куча угля! Тепло и пицца! Что ещё надо?! После ста двадцати пяти граммов хлеба в день! И не надо прятаться. Не надо бежать, кого-то отрывать из заваленного бомбоубежища!..

Мы приехали в Самару приглушённые блокадой, а тут так надёжно... Варёные раки!.. Ела я их впервые.

Ленинград был теперь далеко, а все наши боли с нами. Самара нас приютила. Я почему-то теперь всё говорю: «Самара» — по-другому не могу. Но тогда это был город Куйбышев. Ничего мы о нём не знали. Да и о Самаре — тоже. Разве вот известная многим эта песенка «Ах, Самара-городок»...

Необычным было многое. Стоит только выйти из барака на вольный воздух — откроется сразу такая ширь Волги перед тобой! Аж в глазах рябит от серебристых волн. Необъятный простор, привыкнешь ли?.. А повернёшься спиной к Волге — перед лицом — зелень, покрывающая огромный спуск, идущий опять же к Волге. И под этим спуском вдоль Пристанской улицы ряд бараков, от ГРЭС до другого уже спуска — по улице Полевой. У бараков разноголосица, необычное движение. Кто роется около кучи с углём, кто возится с картошкой. Тётя Вера и Павел Борисович протягивают между клёнов верёвку для сушки белья. Всё замедленно делается, на исходе сил. Но лица — ожившие.

Прошёл слух, что на базаре продают хлеб. И даже водку. Буханка серого хлеба стоит 300 рублей, бутылка водки — 500. Удивительно! А кроме продуктовых карточек, на работе выдают, сказали, ордера на одежду, обувь.

Вдоль Волги сады вымерзли. А в торце нашего барака красуется в бело-розовом платье высокая вишня. Все почернели, а она целёхонькая. И пчёлы гудят в её цветках.

У соседнего барака местный, рыжий такой парень с деревянной ногой разухабисто наяривает на гармошке:

*Эх, раз, ещё раз! Варёные раки.
Приходите в гости к нам,
Мы живём в бараке!*

Ему усмешки, а нам наше новое жилище — спасение! В которое ещё не верится окончательно.

Плави́льный котёл

Самара, как могла, и приютила нас, и обогрела. Что мы, приехавшие, знали о ней? Не ведали мы, какая огромная работа ведётся в городе во имя победы. В городе, который назовут столицей эвакуации. Но Самара стала ещё и запасной столицей. Теперь известно, что ещё до войны город рассматривался как площадка для возможной эвакуации заводов из западных и центральных районов страны. Город защищён с запада Волгой и Жигулями, недалеко от Москвы. Здесь крупный железнодорожный узел, соединяющий центр с Уралом, Дальним Востоком и Средней Азией. Волжский речной путь.

Оказывается, что ещё в 1939 году в районе железнодорожной станции Безымянка был создан Безымянлаг — один из крупнейших в стране лагерь заключённых.

Новой промышленной площадке было необходимо мощное «энергетическое сердце». Но в 30-х годах в Куйбышеве работала всего одна городская районная теплоэлектростанция (ГРЭС). Надо было создать целый каскад станций и на их основе — авиационную промышленность, машиностроительную, нефтехимическую, космическую. Это было ещё впереди. А сейчас: «Всё для фронта!»

Куйбышев стал и столицей ремесленников. В него эвакуировали со всей страны около восемнадцати тысяч детей-учащихся РУ и ФЗО. Ехали из Тулы, Одессы, Киева, Москвы. Город превратился в плави́льный котёл, из которого вышел удивительный народ — куйбышевцы, а теперь самарцы. Город-коммуналка. Каждый третий работник номерных заводов был ребёнком. Низкорослые и худые от бескормицы, они работали на победу. Подумать только: к концу войны продукции стали давать в пять раз больше, а жителей в городе увеличилось почти вдвое, стало 600 тысяч. Сейчас в Самаре миллион двести. Да под боком Тольятти — почти 800 тысяч человек. Новокуйбышевск — на 115 тысяч. Ничего себе города-спутники! Отцы и матери того поколения отправили своих детей в космос!

Я многое потом узнала о жизни во время войны города на Волге, который принял роль второй столицы как честь и как неслыханный напряг.

Вечером и ночью город погружался во тьму. Окна закрыты плотными шторами или тёмной бумагой: свет не должен проникать наружу.

Специальные дежурные делают обходы, проверяя светомаскировку. Гремят чёрные раструбы громкоговорителей на столбах. И голос Левитана: «После упорных боёв...» И потом, как заклинание: «Вставай, страна огромная...»

Город трудился на победу. И мы стали его жителями: дистрофики, приткнувшиеся к энергетике...

«А мосты тут есть?»

...Нашу одежду со вшами мы сожгли. А в голове-то полным-полно насекомых. Надо бриться наголо.

Парикмахер говорит:

— Какая коса, мечта! Жалко такие роскошные волосы!

— Мы не видим выхода, — жалобно говорит мама.

Грузная тётя с ножницами в руках глянула на нас сверху своего немалого роста:

— Хорошо бы сделать ей электрозавивку. Это убьёт вшей. Но её запрещено делать маленьким девочкам.

— Нам на прошлой неделе исполнилось пятнадцать. Мы уже на работу идём, — защебетала мама. — Из Ленинграда приехали. Поэтому такие...

...Электрозавивку мне всё-таки сделали. Каштановые мои волосы отрезали до самых ушей. Мама моя шмыгала носом. А я не переживала. После, когда шли вниз к Волге в барак, мама всё оборачивалась, смотрела по сторонам.

— Mam, ты кого ищешь?

— Я смотрю: мосты тут есть? Не видно мостов...

Ей в Куйбышеве не хватало наших ленинградских мостов. Мама моя, мама!..

В следующий раз поднимаемся с ней на базар, который на Самарской площади, теперь там монумент Славы, Белый дом. До Чкаловского спуска и выше по течению всё забито плотами. На берегу брёвна в штабелях. Мама поворачивается, смотрит из-под руки: «Гляди, Олечка, Самарская ГРЭС, как огромный крейсер! Крейсер «Аврора». Правда ведь? Очень похоже...»

На ГРЭС

На ГРЭС маму направили работать в плановый отдел, тётю Веру — машинисткой. Я попала в группу учёта. С начала войны многие работники станции ушли на фронт. ГРЭС снабжала электричеством все правительственные учреждения и весь Куйбышев, кроме Безымянки. Совсем недавно заработала Безымянская ТЭЦ. Вторая после ГРЭС в городе. Не хватало рабочих рук и у нас, и на ней.

Присылали эвакуированных энергетиков из Москвы, Белоруссии, Украины.

При отступлении в Одессе была взорвана электростанция, прибыли специалисты и с неё. И неспециалистов брали. Преподаватель музыки становился дежурным на дымоосах, артистка Воронежского театра — помощником машиниста турбины. Преподаватель иностранных языков обслуживала пылесистемы котла. Шло массовое обучение профессиям. Так вставляли на защиту Отечества. Здесь тыл был фронтом.

Когда мы прибыли на станцию, куйбышевских энергетиков на фронт уже не призывали. Добровольцам отказывали. Город жил с войной.

С целью защиты от возможных налётов авиации на крышах цехов станции были установлены зенитные орудия. Дымовые трубы укоротили, чтоб немецкие лётчики не могли по ним ориентироваться.

За опоздание больше чем на двадцать минут дело передавали в суд, с виновного три месяца удерживали до 20 % зарплаты, лишали всех видов премии. Чтобы попасть из цеха в цех, нужна была специальная отметка в пропуске. В каждом цехе стоял часовой. Станцию охраняли от диверсантов.

Смены у энергетиков в основных цехах длились по двенадцать часов. Приходилось работать, когда надо, по две смены подряд.

Наша жизнь налаживалась

Почти у всех, кто приехал из Ленинграда, была цинга. У мамы, у тёти моей вскоре зубы повылетали все. У меня это началось с тридцати лет. Вся жизнь — борьба за сохранение зубов.

...На работе меня хвалили. Я пошла в вечернюю школу. Не-легко было. Целый год был потерян. И потом, только начнёшь записывать, и засыпаешь. Сил-то нет... Дистрофия.

Пошёл и Игорёк в школу рабочей молодёжи, а потом в музыкальную школу № 1. У него был абсолютный слух. Оказывается, он раньше учился в Ленинграде в музыкальной школе. Скрипач! О его игре очень хорошо все отзывались. А он своенравный такой стал, когда ожил. Мама и тётя Вера очень переживали за него. Тётя Вера уверяла, что у него впереди артистическая жизнь. Я видела, когда она смотрела на Игорька, лицо её светилось. «Хоть у Игоря пусть сложится яркая судьба! Надо помогать ему», — горячо говорила она.

Мы с мамой не возражали ей. Учился он азартно. К ним в школу на улице Куйбышева приходил сам Шостакович, его сестра там преподавала.

Когда Игорь говорил об этом, то начинал заикаться...

* * *

Наша жизнь потихоньку, кажется, налаживалась.

Поздно вечером в конце июня на улицах города завывли гудки, зазвучал, как в Ленинграде, голос из репродуктора:

— Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!

Это было для нас так неожиданно. Местные бросились в подвалы, в щели. Знакомо загрохотали зенитки. Стали в небе вспыхивать разрывы снарядов. Но бомбёжки не было. Мы никуда не побежали укрываться. Набегались уже в Ленинграде.

Потом ещё разок объявляли воздушную тревогу.

...Немцы бомбили Сызранский железнодорожный мост через Волгу. Мост повредили, но опоры моста уцелели. Тогда, в 42-м году, в воздушных боях погибли наши лётчики.

Немцы рвались уничтожить мост и тем самым прервать железнодорожное сообщение Москвы с Куйбышевом, Уралом, Сибирью. Что бы было с нашими войсками на Западе без такой подмоги с тыла?..

Лето пролетело быстро

Наступила осень, а у нас тёплой одежды и обуви нет.

Дядя Коля, который жил в самом конце барака, у туалета, пожалел меня. Подарил мне немецкий френч. Серо-голубой, со съёмной подкладкой. Я, конечно, не могла в нём ходить. Мы с мамой перекроили его и сшили жакет. Носили мы его с мамой попеременно.

Купила я четыре носовых платка. Сшила их. Получился один большой, на голову.

Ещё мне выдали брезентовые туфли на деревянной подошве. До морозов ходила в них.

* * *

За хорошую работу маме дали ордер на тёплую обувь. Зима на носу. Пошли за обувью.

Кладовщица говорит:

— Есть валенки, но вы их не возьмёте.

— Почему?

— Посмотрите! Только такие остались.

И показывает. Один валенок совсем чёрный. Плотный такой, а другой — мягкий и серый.

— Возьму, — отвечаю.

Стала носить эти валенки. И когда ходила на работе в них, и в городе, прохожие оглядывались на меня такую. Понимала, что глупо обижаться. А не по себе как-то...

Люди разные. В основном, конечно, добрые.

Зарабатывали мы немного. Тётя Вера стала часто болеть. Пробовала печатать, как могла, дома. Стала она замкнутой. Уходила и подолгу гуляла вдоль Волги. Мы с мамой за неё боялись. Сердечко у неё было слабенькое.

На Пристанской улице

Иногда и я ходила с тётей Верой на Волгу. Река тогда была другая, не такая, как теперь.

...На Ново-Садовой, недалеко от завода «КАТЭК», громоздилась куча льда, засыпанная опилками. Этот лёд развозили на лошадах. Накрывали телегу со льдом мешковиной и до-

ставляли по улицам к ларькам с мороженым и газировкой... Забавным теперь кажется. Я в Ленинграде такого не видела. Подошла, и бородатый дядечка дал мне кусок холодного слитка. Я стала лизать его. Тётя Вера ругается: «Маме расскажу!» А мне хорошо!

...Это сейчас от улицы Маяковского до бывшего завода «Кинап» стоят монументальные дома-«сталинки». И улицу Пристанскую переименовали в Волжский проспект. Вдоль Пристанской на берегу тянулись дровяные склады, пристани, лесопильные заводы, чего только не было...

У бараков вдоль берега горели костерки. Народ готовил еду на таганках. На свежем воздухе. Базар рядом — на Самарской площади. Его потом закрыли, где-то в середине пятидесятых годов. Стали на площади строить большие здания.

...Дрова были тут же, под ногами, на берегу. И в реке. Помню, как местные добывали дрова. От плотов, которые сплавляли по реке, оставались брёвна в воде. Они намокали и превращались в топляки. Их высматривали, цепляли багром, к нему вязали верёвку и буксировали лодками к берегу. Здесь распиливали на метровые чурбаки и складывали сушиться.

Вдоль воды были ряды огромных полениц. Я глядела на них и невольно вспоминала, как я через силу вырубала топором у себя в ленинградской квартире щепки из половых досок, когда сожгла все книги.

А ещё с баржи тем, кто на лодках, продавали огромные арбузы. Тут я впервые с удивлением увидела, что арбузы в воде не тонут. Я не знала такого. И лодок таких, как на Волге, не видела. Сказочные они.

Как меня поразила первой же нашей весной в Куйбышеве ледоход на Волге! Тогда, задолго до сооружения у Жигулёвска плотины ГЭС, река была намного живее.

Напротив Чкаловского спуска льдины со скрежетом на ползали под напором течения одна на другую. Поднимались на дыбки. С невероятной мощностью выпирали стоймя на пологий берег, оставляя за собой в песке глубокие борозды. Стихия!

Пришло время, соорудили самую мощную на Волге ГЭС и самое крупное в мире Куйбышевское водохранилище. Гордились! Как же: высота подпора воды достигает почти тридцати метров.

Позже, потом, в шестидесятых, восхищались вместе с местным поэтом Николаем Жоголевым. Мама читала нам:

*Морской свежак на Жигулёвском море —
Свежак не черноморскому чета.*

Поэт горделиво заявлял за всех нас, грешных, о победе над Волгой:

*Но как ни была бы могуча
Стихия,
В наш сказочный,
Атомом движимый век,
В дела воплощая
Мечты вековые, —
Сильнее её человек!*

Прозрение придёт позже...

Таня Брусникина

...Вот возьмите эти листочки. Подруга моя Таня Брусникина кое-что записала, когда ей было уже за восемьдесят.

Я тоже попыталась самое главное из своей блокадной жизни закрепить на бумаге. Но глаза слабые, начинают болеть. Потом ломит в висках. Узнала, что Сергей Аксаков диктовал своей дочери, она писала. Привлекла я внучку свою таким же образом. Не пошло. Она постоянно плакала, не писала. Сноха Аня забрала у меня её. А потом они уехали жить в Сызрань. Тут операция у меня... Забросила.

...Снова начала писать было. А тут катаракта эта...

И из Татьяны писатель, как из меня балерина. Бросила она это дело. Совсем плохая стала. Память не та у неё.

Писать надо не в старости, а когда в тебе хмель бродит.

Были ещё воспоминания Ульяны Прохоренко. Она из Киева, вот так же в Куйбышев приехала. Но её уже нет. А листочки куда-то подевались. Попытаюсь разыскать вам.

...Она немножко другая была, Татьяна! Живее, чем я в ту пору, когда обе здесь оказались. Чем-то она похожа на Дашу Зотову, с которой мы жили в Ленинграде в одной квартире.

У Тани своя «блокада» была — воронежская. И ей досталось...

И вот я сижу в уютном уголке читального зала городской библиотеки. Стараясь быть поближе к свету, ворошу листочки из ученической тетради.

Рядом ксероксы, компьютеры. Мелькают молодые сосредоточенные лица студентов...

Январь 2015 года, а у меня перед глазами события более чем 70-летней давности.

И наравне с рассказами Ольги Михайловны звучит голос незнакомой мне Тани Брусникиной.

«...В 1942 году, когда немцы стояли под Воронежем, мне было 13 лет. Я окончила 7-й класс. 25 июня около семидесяти учеников из нашей школы отправили в колхоз помогать убирать хлеб. Мужчины были на фронте. Взяли мы постельное бельё, смену одежды и поехали. Поехал с нами пожилой завуч Антон Семёнович. Он преподавал нам историю. Увезли нас на поезде километров за пятьдесят от города. Поселили в сельском клубе. Дали мешки, чтобы мы набили их соломой и на них спали. На следующий день повели нас в поле собирать рожь. Вязать её в снопы. Кто-то зерно веял, кто-то его перелопачивал. Так и работали. Первый день о стерню мы ободрали в кровь все ноги. Местные нас, городских девочек, научили обматывать ноги мешковиной. Стало легче.

4 июля в той стороне, где был Воронеж, повалил дым. Пришла весть: в городе фашисты. Поплакали о родных, но что делать? Возвращаться некуда. Проработали мы около месяца. Настал день, когда председатель колхоза сказал, что немцы приближаются. Надо эвакуироваться дальше. Перевели нас в следующий колхоз. Тут мы работали уже до сентября. Потом нас вновь собрали, погрузили в вагоны и отправили. Куда — мы не знали. Ехали медленно — недели две, уступая путь военным составам. Вагоны то отцепляли, то присоединяли вновь. Один раз в день кормили. Приехали в Куйбышев. Высадились. Нас построили, рассортировали по возрасту. И повели куда надо.

Мы начали учиться на Станкозаводе токарному делу. Дали нам рабочие халаты. Уже было холодно. Из Воронежа мы уезжали летом, тёплых вещей не брали. Через две недели обучение закончилось. Мы начали самостоятельно токарить на за-

воде Автотрактордеталь. Теперь он завод клапанов. Мы делали только самые простые детали.

Началась зима. К халатам нам дали на утепление чьи-то ношенные гимнастёрки, взрослые шинели чёрного сукна и шапки. Шинели нам были очень велики. Пришлось их обрезать снизу. Дали нам и брезентовые туфли 40-42 размера. У нас, девчонок, размер ноги 34-36. Ходить невозможно, да и очень холодно в мороз. Наш мастер Сергей Петрович научил нас набивать в чулки газеты. Так и ходили мы с кусками газет в чулках. И теплее, и с ног обувь не падает. Так спасались в эту первую зиму в Куйбышеве. Никакой зарплаты нам не выдавали. Но мы бесплатно жили в общежитии завода клапанов. Нас кормили в его столовой.

Месяцев через пять нас определили в ремесленное энергетическое училище № 14. Оно было на улице Куйбышева, напротив Госбанка. Нам наконец-то выдали новую одежду: бушлатики, гимнастёрки, юбки и новые брезентовые туфли. Правда, опять они были 42-го размера. Выделили нам две новые светлые комнаты на 26 девчонок из Воронежа, там же — в здании училища. Есть мы ходили теперь в столовую напротив Куйбышевской ГРЭС.

Кормили нас дважды в день. Завтрак и обед. Ходили в столовую мы всегда строем. Наш воспитатель заставлял нас шагать непременно с песней. Это помогало легче переносить холод. У нас не было ни шарфов, ни платков. Где было их взять?..

Нам давали на завтрак овсяную кашу, 200 граммов хлеба и чай с сахарином. На обед — суп, где плавали в воде несколько лапшичек, и 300 граммов хлеба. Варили щи с лебедой. Мы всегда были озябшие и голодные, но не злые. Помню, правда, рабочие ребята один раз взбунтовались, схватили и бросили директора столовой в окно выдачи пищи.

Вечером, чтобы как-то заглушить голод, мы, девчонки, начинали петь. Пели «Броня крепка и танки наши быстры», «На границе тучи ходят хмуры». Иногда мы продавали одну порцию хлеба на Воскресенском рынке. На вырученные деньги покупали плитку спрессованного жмыха либо семечек подсолнечника, оставшихся после отжима масла. Жмых нам казался очень вкусным. Он стоил намного дешевле, чем хлеб. Одной плиткой могли как-то заглушить голод сразу три-четыре человека. Не-

надолго, конечно. На лето нас отсылали работать в колхоз. Там было сытнее, мы иногда получали молоко, варили пшённую кашу. А на свиноферме можно выпросить тот же жмых.

* * *

В самом училище мы работали в мастерских. Научились делать инструменты: молотки, ножовки, угольники. Это нам не нравилось. Ходили в райком комсомола и просили отправить нас на фронт.

Ответ один: «Ваш фронт здесь, в Куйбышеве! Вы должны стать энергетиками».

* * *

Так и проходили теперь мои дни. В первой половине я шёл к Ольге Михайловне. А вечером читал записки Тани Брусникиной.

...Опять я на Ново-Садовой улице. Продолжаю слушать Ольгу Михайловну...

Пол-литра картошки

Таня Брусникина говорила мне, что, когда их построили сразу после приезда в Самару на перроне и стали сортировать по возрасту, кто-то из толпы, глядя на них, обронил:

— Самим есть нечего, ещё этих привезли.

Не знаю, я такого никогда не слышала.

В нашем отделе работала Валентина Ивановна. Мы все её:

— Тётя Валя, тётя Валя.

А было-то ей не более тридцати лет.

Она приносила с собой что-нибудь поесть на работу. Чаще всего пол-литровую банку варёной картошки с луком. Стала она меня подкармливать. Вначале я стеснялась.

А она на тарелку банку опорожнит:

— Как же я любила, когда мама с папой живы были, есть в компании! Я есть одна не могу. Давай, Оль, помогай!

И я старалась.

Скоро она уже литровую банку картошки стала приносить. Тётя Валя обязательно что-нибудь весёлое в обед рассказывала. Мы любили её слушать. И картошку её полюбили. Привыкли к ней.

...Лет пятнадцать назад спохватилась я. Захотелось разыскать тётю Валю. Узнать, что да как у неё...

Взяла адрес в отделе кадров станции. Поехала. А в этой квартире давно другие живут. Где тётя Валя Белова, никто не знает. Говорят, жила одна. Родственников не было. Скорее всего, нет уже в живых. А где похоронена? Поехать бы. А куда?

Вот так проходят наши жизни. В разъединении. Бездумно живём. Не сознавая неповторимости каждой судьбы.

Ни разу ничем я тётю Валю не угостила. Ладно, когда нечем было. А потом-то?.. Не помогла ни в чём...

Кошка на батарее

...Снова ворошу я записки Тани Брусникиной...

В читальном зале тихие голоса, тепло, уютно. Слева от меня огромные стеллажи книг из серии «Жизнь замечательных людей». Книги о Фолкнере, Марке Твене, Котовском, Тургеневе, нашем знаменитом и замечательном голове Самары Петре Алабине... Столько в этих книгах описано судеб! Разных и значительных.

А я не могу оторваться от небольшого серенького листочка:

«...Когда заметало железнодорожные пути, по которым на станции подвозили уголь, нас направляли на расчистку их от снега. Разгружали мы и смёрзшийся уголь. А у нас ни рукавиц не было, ни валенок.

Часто мёрзлый уголь разгружали зэки. Они ссорились между собой, дрались, выясняя, кому и что делать. При мне, я видела, одному, вертлявому такому, киркой снесли полголовы.

Мы тогда не думали ни о каких трудовых подвигах. Нас отправляли — мы делали необходимое. Такое было время. И так надо было для электростанции! Позже мы сами стали шить себе рукавицы из старых шинелей. На ноги мастерили из старых одеял и шинелей сапоги, утепляли их слоем ваты. На них надевали галоши 42-го размера. Всё это мы называли бурками. Такая обувь выглядела не очень, но была гораздо теплее, чем брезентовые туфли с газетами».

Так добывалось тепло для горожан, такими усилиями доставалась электроэнергия для оборонных предприятий запасной стороны, вся продукция которых заслуживает самой высокой оцен-

ки и памяти. Снаряды и вооружение, выпускаемые в Куйбышеве, участвовали во всех крупных битвах Второй мировой войны.

Только ли Куйбышев так успешно трудился? Конечно, нет. Каждый третий снаряд, выпущенный в войну, был изготовлен на заводах Чапаевска.

Оторвусь от записей Татьяны, а не думать об открывшемся не могу. Слышится мне тихий, спокойный голос Ольги Михайловны:

— Как хорошо, что пришла кому-то в светлую голову идея поставить у проходной ГРЭС в Самаре эту прелестную скульптурную группу «Кошка на батарее». Бронзовая кошка и батарея — символ комфорта, которым нас обеспечивают энергетика Самары.

Теперь мы знаем имя изобретателя батареи — Франс Сан-Галли. Русский немец итальянского происхождения. Знаем и возраст отопительного радиатора — 150 лет. Замечательно! Памятник мне по душе. И я прикоснулась «на счастье» к кошачьему носу, ставшему блестящим от внимания горожан.

Но всё же, всё же...

Запасной столице нужен общий памятник! Так считаю я, бывшая ленинградка. Памятник тем, кто возвёл каскад электростанций, комплекс авиационных заводов, самолёто- и моторостроения. Тем, кто запустил привезённое в 41-м году оборудование авиационных и моторных заводов из Москвы, Воронежа... Нужен в Самаре мемориал...

Тем, кто за два месяца наладил выпуск штурмовика Ил-2, а потом на заводах Масленникова и «Металлист» — снарядов для установки «Катюша».

Я лежала в больнице в одной палате с Дашей Самарцевой. Она была в войну станочницей, в четырнадцать лет. Выпускали снаряды к «Катюше», работая круглые сутки. Прерывались поспать на 2-3 часа. Ели склеенные олифой опилки. Чтобы заглушить чувство голода, курили махорку. В ремонтном цехе у нас на ГРЭС делали мины. Тринадцатилетние ребятишки, чтобы доставать до станка, ставили под ноги ящики.

Дети рабочих жили в палатках, землянках, коммунальных бараках. Они не были шпаной, хулиганами. Они дети своего времени. Дети войны. Работали в тылу, но у них у всех и у каждого была своя война...

* * *

У нас с немцами армии были во время войны примерно одинаковые, допустим. Но кто и как работал на эти армии в тылу?

Вся покорённая Европа трудилась на Гитлера. Около 300 миллионов работающих стояли у станков.

У нас же в тылу работали около 50 миллионов женщин и детей. И в каких условиях трудились! Можно ли сравнивать?! А танков, снарядов, самолётов сделали больше!

* * *

Раствор, крепь для будущей победы замешивался и у нас, в запасной столице, на человеческой кровушке простого смертного...

На галёрке

В октябре сорок первого перед битвой за Москву из столицы были эвакуированы не только часть Правительства, Наркомат иностранных дел, два десятка посольств и дипломатических миссий, но и Большой театр в составе пятисот человек. Позже я читала, что в Куйбышеве до сентября 1943 года коллектив театра выпустил девять оперных и пять балетных премьер. Многие спектакли, такие как «Лебединое озеро», «Алые паруса», «Евгений Онегин», и концерты театр давал как шефские для воинов, для семей погибших бойцов.

...Театр оперы и балета взял под опеку и училище, в котором училась Таня Брусникина, стал выдавать им контрамарки. Перепадало и мне. Мы чистили вместе с её подружками ваксой свои брезентовые туфли и бежали на спектакль!

Вся площадь Куйбышева изрыта щелями и укрытиями на случай бомбёжки. Стоят зенитки. Один раз эти зенитки стреляли. Грохот стоял страшный. Вечером вокруг темнота. В густой мгле грохочет трамвай на Галактионовской улице. А в театре! Словами не описать. Как в сказке! Сверкают над головами янтарные люстры. В зале кресла, обтянутые бархатом. Много военных. Звучит иностранная речь. Дипломаты. Дамы в изысканных платьях.

Уходят куда-то и холод, и голод. Глядим вокруг, забыв обо всём, во все глаза. В партер мы садиться стеснялись, смотрели на всё это чудо с галёрки.

Слушали оперы «Иван Сусанин», «Кармен», «Евгений Онегин», смотрели балет «Лебединое озеро». На сцене: Козловский, Барсова. Очень нравился Татьяне Максим Михайлов. Его Иван Сусанин.

Звучит музыка Чайковского, Глинки... Можно умереть от восторга! Имена какие: Лев Оборин, Ольга Лепешинская, Марк Рейзен.

...Нам нравилось разглядывать с галёрки хорошо одетых зрителей, пришедших в театр. Помню, раза два из любопытства мы заглядывали в буфет. Там свободно можно было купить чудо: булочку с сыром либо с колбасой. Пирожное стоило 3 рубля, булочка с колбасой, кажется, 6 рублей. А билет на галёрку — всего 1,5 рубля, а то и 60 копеек. Но и таких денег у нас не было.

Артисты театра в виде шефства вели у Тани в училище хоровой и драматический кружки. Был там свой оркестр...

Жили артисты сначала в школе на Самарской площади, потом на улице Некрасова.

Татьяна неплохо пела. Она была выше меня ростом. И не такая, как я, доходяга блокадница, — крепкая. Это сразу было заметно, когда мы оказывались на разгрузке угля.

Я читала со сцены из тоненькой маминой ленинградской книжки Блока:

*...Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни.
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?*

В праздники мы устраивали друг для друга в училище у Татьяны концерты. Я к Тане с тех пор, как познакомилась с ней на разгрузке угля на субботнике, присохла. Иногда были танцы у них в общежитии.

Ходили мы и на праздничные концерты на нашу ГРЭС. Там играл свой духовой оркестр. На этих праздниках в столовой ГРЭС мы не решались танцевать. Зато могли полакомиться праздничным винегретом с селедкой...

Воспитательница общежития приглашала к нам бабулек, которые учили нас шить, вышивать.

На кино у нас денег шибко не было. Мы и не ходили особо. Конечно, такие, как «Чапаев», «Свинарка и пастух», мы смотрели по несколько раз.

Когда труппа Большого театра в 43-м году уехала из Куйбышева, мы осиротели. Не стало сказочных праздников в нашей жизни.

Фиолетовое платье

Наконец-то нам на троих дали отдельную комнату в коммуналке. Целых двенадцать квадратных метров. После более чем двух лет жизни в бараках — такая радость!

Вскоре перебрались из барака и Кириллины. На двоих им дали одиннадцатиметровку, совсем рядом от нас, тоже на Садовой, в деревянном доме.

Игорь играл на скрипке в клубе Дзержинского. Всё время с музыкантами. Куда-то ездил. Получалось, у него своя жизнь, у нас с Танькой — своя, монотонная, не как у него.

Приближался Новый год. А с ним и вечера на ГРЭС. Мы с Татьяной решили подготовиться. У меня было всего одно приличное, светлое такое, платье. Она, Татьяна, моложе меня, а шустрая такая:

— Знаешь, Оль, я как увидела в прошлый раз на вечере ГРЭС женщину в платье из крепжоржета, так несколько дней успокоиться не могла. Ночью оно мне снилось. Такого тёмно-зелёного цвета. Умереть можно! Помнишь? Платье бесподобное, а женщина — воображала. Вся из себя...

— Помню, — говорю. — Ну и что?

— Что-что?! Давай твоё светлое платье перекрасим! А то скука!.. У меня нечего красить.

— А мы сможем? — сразу купилась я.

— Запросто! Только краску бы достать.

Когда поостыли немного, поняли, что, кроме как бутылки фиолетовых чернил, доступного у нас ничего нет.

— Нет так нет. Даёшь фиолетовое платье! Не всем же ходить в платьях цвета морской волны, — браво заявила моя подруга.

Неспроста она так хлопотала: это я потом догадалась уже, чуть позже...

Они с Игорем были в заговоре. На вечер мы пошли втроём. Татьяна предложила пригласить Игоря.

Я не сразу согласилась, а она напирала:

— Оля, ты чудная какая. Такой парень! Смотри, я не такая, как ты: у меня мама — казачка, проспишь — мой будет!

Мы впервые с Игорем танцевали. Наравне со всеми. Один, правда, всего танец.

Игорь был сам не свой. Не сводил с меня глаз. А у меня потекла в тепле краска с моего роскошного платья, от плеч и ниже. Грудь стала фиолетовой.

Потом нам сказали, что надо было платью после покраски прополоскать с уксусом. Но откуда мы могли с Татьяной знать это.

Под трамвайный грохот на Галактионовской с потушенными для маскировки уличными фонарями и с затемнёнными фарами машин мы проводили до общежития Татьяну. Пошли домой на Садовую.

Неожиданно для меня у нашего дома Игорь попытался меня поцеловать. Я вывернулась и убежала, хлопнув калиткой. Неделю старалась не попадаться ему на глаза.

С того новогоднего вечера всё-то у нас с Игорем и началось...

Он караулил меня у дома. Встречал, провожал. Никого ко мне из ребят не подпускал. Всё стало по-другому. Не как в бараке.

Я не была готова к такому. Наверное, не выросла ещё...

На ГРЭС был душ с горячей водой

Из записок Тани Брусникиной:

«...В конце 44-го нас стали брать работать в цеха станции. Мы должны были получить навыки работы на всех рабочих местах ГРЭС. От подачи топлива до турбинного цеха. Я работала везде. Осталась на рабочем месте помощника насосчика питательных насосов. Позже перешла в котельный цех, там обслуживала пять котлов, чаще работало три. Смены длились по двенадцать часов.

Позже стала техником-нормировщиком. Работать вначале было тяжело. Но были и плюсы. Сотрудники как могли подкармливали меня. Я знала ребят, работавших по двенадцать часов в смену и дополнительно потом в ночь направляемых на

разгрузку угля. Мёрзли, а тепло городу давали. Им готовили омлеты из американского яичного порошка, полученного по ленд-лизу. Про то, чтобы поесть мяса, немыслимо было даже мечтать. В столовой ГРЭС давали болтушку из крупы и картофеля. Это было в радость.

Мне впервые начали платить какую-то зарплату.

Кроме того, на ГРЭС работал душ с горячей водой. Можно было помыться.

В училище нас водили в баню строго по расписанию. И только ночью. Днём баня всегда была занята».

Хоть в шалаше, хоть на льдине...

...Весной сорок пятого я вышла замуж за Игоря. Неожиданно для себя.

Тётя Вера очень сильно настаивала, чтобы я выходила за него.

— Олечка, — говорила она, — оглядись вокруг, где они, женихи-то? Одни безногие да безрукие. И те, которые целыми вернулись, не лучше... Вон меж бараков на Полевой Боря Баян... На баяне концерты у него день за днём. Репертуар один и тот же: «Шумел камыш» и «Разлука ты, разлука, родная сторона...» Или посмотри на молодую публику у пивной на Садовой?.. Чего ты хочешь? Игорь тебе все ноги оттоптал... Мы его знаем. Он — наш! Свой! Ближе Кириллиных у нас знакомых нет. И потом, он талантливый! Музыкант! Что тебе ещё надо?! Ради таланта можно отдать всё!

Так она говорила. И всё правильно, казалось, говорила. Но я чувствовала: чего-то не хватает. Всё верно, а моё сердце — холодное. Разве так должно быть?!

И когда Игорь горячо и настойчиво требовал своего, я не становилась решительней...

— Тётя, — удивилась я вслух и себе, и им обоим с мамой, — разве это так бывает? Раз талант, то надо быть у него рабом?

— Хочешь такой жизни, как моя? — нервно произнесла тётя. — Это надо пережить ещё!

Я не знала, что говорить. Мама молчала. Всё как-то решалось без меня. В силу неопровержимой какой-то истинности. Или необходимости...

...Заговорила вновь тётя, моя заботливая тётя:

— Это, может, единственный твой шанс ещё и вернуться в Ленинград! Ты понимаешь? Кириллины не останутся тут. Игорь уж точно!

— А почему ты не выходишь замуж? — выкрикнула я от бессилия. И устыдилась своих слов...

— Э... э... Деточка моя. Опять двадцать пять! Где уж нам уж выйти замуж, мы уж так уж: как-нибудь! А тебя зовут! Понимаешь?

И я, увидев её измученное лицо совсем рядом со своим, упала духом.

«Они так нянчатся со мной, как с куклой! А я — никакая! Я не знаю, чего хочу? Хлопаю круглыми глазами», — корила себя.

— Упаси тебя Бог от одиночества, — она это сказала уже обессиленно.

— Помнишь, — сказала мягко мама, — помнишь, как Сима в поезде перед смертью просила нас сберечь Игорька? Об одном этом молила... Мы обещали...

...А я не готова была к замужеству. Что я знала в жизни тогда? Мне едва исполнилось восемнадцать лет.

И Таня ещё:

— Ой, Оля, Оля! Уведут его. И всё тут! Кусай тогда локотки. Это я, подруга твоя, не решилась. А так бы!.. Я бы с ним хоть на край света. Хоть в шалаш, хоть на льдине!.. С ним и с его скрипкой...

* * *

А тут — Победа! Я работала в то время в энергонадзоре на углу Ленинградской улицы и Куйбышевской. Общий восторг! Крики «ура!» Народ высыпал на улицы! Ликование. Все стали друг другу как родственники!

Тороплюсь радостная домой. У филармонии топот, там пляшут, кричат: «Ура! Мы победили!» Играют кто на гармошке, кто на балалайке... Толпы народа. Трамваи стоят...

Молодёжь ликовала, прыгала от счастья. Кто постарше, верно сказано, были «со слезами на глазах».

В эти радостные, духоподъёмные весенние дни мы стали с Игорем мужем и женой.

Я стала Ольгой Кириллиной.

Вот так и смешались два совсем разных события в моей жизни в одно единое.

Джаз отнимал у меня мужа

Тогда, в сороковых годах, в Куйбышеве было немало эстрадно-джазовых оркестров. В кинотеатрах, клубах, институтах. Они-то и отнимали у меня Игоря. Игорь, играя на скрипке, жил своими интересами. Всё больше и больше отдаляясь от семьи. В котельном цехе ГРЭС он уже давно не работал. Бесконечные «халтурки», ночёвки не дома, а не пойми где. «Халтурки» часто были выездными. Жена у него была не я, а скрипка!

У меня учёба в техникуме, а у него — концерт. У меня рабочая смена, у него — поездка в другой город. У меня мои мама, тётя Вера, у него — его оркестр.

От первого в городе биг-бенда Игорь был в восторге. В клубе Дзержинского в то время играл профессиональный оркестр. Во главе его — знаменитый на весь город Моисей Зон-Поляков. В оркестре были медные духовые инструменты, аккордеон, саксофон и вот — несколько скрипок.

После смерти Зон-Полякова оркестром стал руководить талантливый трубач Юрий Голубев. Игорёк был без ума от него. Оркестр имел большой успех! У них там уровень-то был высокий. Я, может, и полюбила бы джаз, но он отбирал у меня мужа.

Голубев играл и в филармонии. Виртуоз! Богема. Потом, когда они начали играть в кинотеатре «Молот», публика ходила не на сеанс, а послушать их игру. У раскрытых окон кинотеатра стояла толпа, слушали музыкантов.

Позже стали зажимать джаз, а тогда — нет. Даже в театре оперы и балета оркестр во главе с Голубевым по понедельникам играл на танцевальных вечерах. В фойе танцевала молодёжь, оркестр играл на антресолях.

И в клубе имени 1905 года был джазовый оркестр. Говорили, что распался он только с началом войны. Этот оркестр состоял полностью из девочек!

Танцевали в «Дзержинке», в клубе швейников на Некрасовской улице. Был такой фокстрот «Линда». Игралли духовые оркестры. До сих пор в памяти песенка с пластинки Утёсова «Моя Марусечка»...

Самарский Бродвей

Игорь любил танцевать. Тянул меня на джаз. Тогда в клубе ГРЭС, который располагался на территории закрытого Иверского женского монастыря, был любительский ансамбль. Как говорили, там «лабали» джаз. Молодёжь отрывалась на модных фокстротах и румбах. Бывали мы и в филармонии на танцах...

Но тут было ближе.

Когда-то улица Куйбышева была Казачьей, потом Дворянской, затем Советской. В наше время она была местным Бродвеем, неофициально, конечно. Бродвей, Струкачи — места скопления тогдашней молодёжи. Особый шик был — обтягивающие бёдра мини-юбки, узкие брюки дудочкой, «кок» на голове вместо полубокса, узкий галстук «селёdochка». Манерно развязанная походка. Словечки «чуваки», «чувихи», «хилить». Всё это пришло с появлением «стиляг» в нашем городе.

У меня забот полон рот: сын, техникум, работа. Но всё было перед глазами. Песенка про Чатанугу из кинофильма «Серенада Солнечной долины», танцы... Это пришло из Америки.

«Голос Америки» ещё не глушили после войны. Молодёжи нравились передачи о джазе. Город закрытый. Привозили джаз, записанный на рентгеновские плёнки, название которым было «скелет моей бабушки» или «джаз на рёбрах».

Я замаялась с Игорем. То он где-то вельветовые брюки раздобыл, их срочно надо заузить до дудочки, то из грубого брезента подогнать, как надо, куртку. Сыну Роме не шила, а мужу — куда денешься? Он был такой требовательный. Ругались. Обвинял меня, что я не понимаю его артистическую натуру. Куда уж мне...

Тогда, в середине пятидесятых, в трамваях, на улицах, в троллейбусах много было калек-нищих. Без ног, они передвигались на тележках. Пели жалобные песни, им бросали деньги. Многие молодые ребята ходили в сатиновых шароварах. Пёстрое было время. Курили сигареты «Дели».

В конце 50-х развернулась оголтелая борьба со стилягами. За буги-вуги водили в милицию. Начали контролировать, кто как одет, какая причёска. Как танцуют.

«Сегодня он любит джаз, а завтра родину продаст», — таков был лозунг тех, кто боролся со стилягами, этими отважными денди страны Советов.

Посыпались на комсомольских собраниях выговоры, отчисления из техникумов, институтов. Выгоняли из комсомола. Особо ярые комсомольские активисты стравливали целые группы.

Были дни, когда на Куйбышевской улице ватаги ребят из ремесленных училищ и ФЗО стали вылавливать тех, кто в узких брюках, и бить. В ходу были бляхи, ремни. Стиляг теснили с их Бродвея — Куйбышевской улицы. «Стиляги», сплотившись, давали отпор. Доходило то того, что особо рьяных с бляхами бросали через парапет в Волгу. Борьба шла с переменным успехом. Но стиляги вернули себе свой Брод.

Стиляги вздохнули позже, только в 57-м году, после фестиваля молодёжи и студентов в Москве...

Игорёк мой, Игорёк...

Я продолжала жить с мамой и тётёй Верой. Игорь редко бывал в доме своего отца.

С рождением сына Ромы техникум пришлось мне пока отложить. Работу тоже. Тётя Вера не жалела себя, помогая мне возиться с сыном. Это по её желанию мы назвали сына Романом. В честь её жениха, погибшего в финской войне.

Игорёк мой оказался лёгким в отношениях с женщинами. Влюбчивым.

Одно увлечение на стороне, другое...

...Узнала, что у него был роман, когда я ходила беременной. Он клялся, что это случайно всё. Так сложилось. А мне от этого ещё противнее было: «Случайно»...

Божился, что такого больше не будет.

А вскоре вновь его занесло. Ни у отца, ни у нас его нет...

Мы жили разными жизнями с ним.

Путано говорил, что у артиста такая жизнь... Что от этого не уйдёшь. Я начинала понимать, что он просто меня дурит. Не знала, что делать. Он мнил себя в будущем звездой, что ему многое должны прощать. И помогать!

Всё в доме, заботы о сыне Роме лежали на нас, на трёх женщинах. Двое из которых часто болели.

«Перебесится, пройдёт, — успокаивала меня Татьяна, — будь мудрой».

Ей легче было так говорить. А у меня всё в сердце. Чуть не каждый день что-нибудь. То легко ко всему относился, а то капризничать начал, по мелочам психовать...

Мой муж стал мне мерзок. И сам, и его джаз...

Плакала я часто...

Пыталась терпеть.

Но жизни такой не хотела, чувствовала, что долго не выдержу...

«Мне мало Куйбышева...»

...Кириллины начали готовиться к отъезду в Ленинград. Не сразу, но дали им там однокомнатную квартиру. Оказывается, Павел Борисович занимался этим, не сказав нам, давно уже. Игорь уверенно мне говорил, что скоро весь Ленинград будет оклеен афишами о его концертах. Он готовился под руководством Игоря Голубева к поступлению в консерваторию. «Мне мало Куйбышева», — заявлял он. Обещал, что приедет за мной, как только всё утрясётся на месте.

Я чувствовала фальшь в его словах. Этот отъезд был для меня хоть каким-то, но выходом.

...Моя непрактичная мама несколько раз писала в Ленинград по поводу нашей квартиры. В последний раз ей ответили, что надо приезжать и заниматься на месте вопросом предоставления нам другого жилья. Поскольку в нашей квартире живёт заслуженный военный, освобождавший блокадный город.

Притом надо иметь местную, ленинградскую прописку. Как это всё увязать, мама не знала. Надо было где-то временно жить в Ленинграде. Но мама работала. Тётя Вера уволилась по инвалидности. И с её-то сердцем?.. Павел Борисович не проявлял желания помочь...

Когда тётя Вера, отстранённо наблюдавшая за хлопотами мамы, заявила, что она возвращаться никак не намерена, мама перестала этим заниматься. А я-то видела: маме очень хотелось в Ленинград. Это был её город.

...У Тани Брусникиной сложилось по-своему. Она не переставала искать свою семью, жившую в начале войны в Вороне-

же. Думала, что все погибли. Писала на все адреса, какие помнила, родственникам и соседям.

Наконец нашла своего брата с женой, которые вернулись в Воронеж из Сибири. Взяла отпуск и поехала к ним.

Воронеж, говорила она, почти весь разрушен. На месте её дома только печка и осколки от посуды.

Выяснилось, что мама её с сестрами живёт в Свердловске. Все думали, что она погибла, ибо её долго не могли отыскать. Она напилась воды на перроне и заболела дизентерией. От лекарств, которые ей вкололи, ослепла. Зрение восстановилось только через четыре года.

Отпуск кончался. Перед отъездом в Куйбышев родственники собрали ей пару кофточек, сапоги, белые туфли на каблуке.

Так у неё впервые за четыре года появилась какая-то одежда, кроме казённой.

Через два года вышла замуж.

Тут уж она окончательно осела в Куйбышеве, приросла до конца жизни к Волге.

Сколько таких, как мы, в нашем городе?!

Как я могла уехать?

Игорь через год приехал в Куйбышев. Звал в Ленинград. Но странно так. Как по обязанности...

Как я могла оставить слабую маму и уже полуслепую тётю Веру? Уехать мы могли только все вместе.

Но тётя Вера вновь наотрез отказалась возвращаться в Ленинград. «Ленинград — мой любимый город, но жить я там не смогу», — так сказала.

Я не видела большого желания Игоря забрать нас с сыном. Что-то, вернее кто-то у него в Ленинграде был. Так я чувствовала. Не знал он, чего хочет...

Отказалась.

Мама настаивала:

— Оставь нам Рому и езжай с Игорем. Разве можно на нас с Верой оглядываться. Мы отработанный материал (так моя мама и сказала: «отработанный материал»). А у тебя жизнь впереди! Мы поправимся. Глядишь, всё и образуется.

— Я никогда к нему не поеду. Он мне противен, — сказала это впервые вслух. И мне стало легче...

Обрадовалась, что останусь. Боялась за тётю Веру. Мы её чуть было не похоронили этой зимой.

Как получилось? Когда она моложе была, всё гуляла вдоль Волги. А тут с соседкой стали они ходить в Струковский сад, по Вилоновскому спуску. А там разбитная ребятня каталась: кто — на деревянных санках, кто — на металлических, гнутых, из толстых таких железных прутьев. Отчаянно спускались с самого верха и — в сторону Волги. Со свистом, гиканьем. Тётю Веру и сбила одна такая лихая повозка.

Подруга её, тоже больная, как-то увернулась, переходя дорогу, а тётя Вера попала под полозья этих самых гнутых железных саней.

Привезли её домой из больницы никакую. Переломов не было, но тело всё в синяках. Так она стонала по ночам...

* * *

— Глупенькая, может, у тебя кто-то есть? — всё пыталась понять меня мама.

— Нет никого, — отвечала. — Я вообще никогда больше не выйду замуж!

— Разве так можно?

— А если и выйду, то за дряхлого старика... Для формальности. Мне противны мужчины. Особенно как Игорь! Они все такие! — я сорвалась в истерику. — Красавчики!..

Мама поймала мою головку. Прижала к себе.

— Маленькая моя! И глупенькая ещё...

Мы опустились на диван. Обе в слезах.

* * *

...Потом Павел Борисович, отец Игоря, писал письма маме. Жаловался, что Игорька никак не может вырвать из беспорядочной жизни, из постоянной пьянки... Что он силой едва вытолкал его за мной в Куйбышев. Надежда была на меня: может, я верну Игоря.

До того, живя в Куйбышеве, Павел Борисович ничего не сделал, не помог маме в хлопотах о нашем жилье в Ленингра-

де. Думаю, намеренно. Не хотел такой хвост тащить за собой: маму мою, тётю Веру, меня с Ромой. Сколько забот. Ненадёжный он был, неискренний... Как и Игорь...

Уезжал он из Куйбышева с молодой женой, до нас ли?

Не мы ему судьи...

В каждой жизни своё...

Самара-городок

По городу снова поползли слухи о «чёрной кошке», как в первые годы, когда мы приехали в Куйбышев. Тогда, в 44-м, большую банду обезоружили во время засады в бараках на Полевой, рядом от нас. В 45-м на Пионерской застрелили одного из главарей, как говорили, Ваську Графа. Его банда убивала и взрослых, и детей.

Притихло чуть, а года через три вновь всплеск бандитизма. Были районы, в которых нельзя было появляться. Говорили позже, что в городе было до трёх десятков бандитских групп.

Ещё бы, если учесть, что в течение четырёх последних месяцев 41-го года в Куйбышев были эвакуированы десятки промышленных предприятий из западных районов СССР. С ними приехали рабочие и служащие. Нехватка жилья, продовольствия делала своё дело. Возникли спекуляция, воровство...

...Через «Безымянлаг» прошли десятки тысяч заключённых. В бандах были бежавшие из заключения уголовники, дезертиры с фронта, уклонившиеся от призыва. Всего хватало. Аукалось до 50-х годов...

* * *

Таня Брусникина стала встречаться с Костей Звягиным. Он приходил к ней в общежитие. Рассказал разок нам о своём товарище. Кажется, Гришей его называл.

Познакомился этот матросик Гриша с девицей, а она жила, как оказалось, в Запанском: это район за улицей Ленинградской, ближе к Самарке. Пошёл он её провожать. А ещё не знал, что за район такой? Или знал? Да уж больно фартовым был матросик. Служил на крейсере «Молотов» Черноморского флота. В 45-м во время проведения Ялтинской конференции Григорий видел Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. А

в 47-м году, в августе, по-моему, у них на крейсере был Сталин. Они доставляли главнокомандующего из Ялты в Сочи.

...И вот направился он эту девицу провожать вечером в Запанской.

— Идёт, — рассказывает Костя про Гришу, — и чувствует, что-то не то... Ни души. И полумрак.

А девица игриво говорит:

— Гриша, ты что-то отстаёшь? Боишься, наверное?

— А чего мне бояться? Не из робких.

А сам оглядывается, обстановочку осваивает...

Пришли они к небольшому деревянному домику. Гриша не торопится заходить. В окнах света нет. Угрюмо так всё. Тусклый фонарь на столбе.

— Я живу с мамой, она на два дня уехала в Рождествено. Мы будем одни, — воркует спутница.

Шагнул он в сени.

«Я, — говорит Гриша, — сразу обратил внимание, что уж очень какая-то большая обувь у порога стоит. В полумраке всё... Показалось?.. Живёт с матерью. Зачем им такие огромные галоши? Неужто мамаша у неё такая большая?»

Зашли в дом. Усадила она его в центре комнаты за стол с клеёнкой, с линялыми снегирями.

«Сейчас чай принесу», — сказала и ушла на кухню.

Сидит Гриша.

И тут из соседней комнаты выходят двое. Верзилы такие! Один финкой так ловко поигрывает. Непростая, видит, финка. Тёртые, не уличные горчишники.

— Давай, — говорит, — снимай костюмчик.

— Я не успел испугаться, — рассказывал Гриша. — Мысль мелькает: вот, оказывается, чьи такие галошки!

— Шевелись, — торопит другой, — и ботиночки, и рубашку беленькую...

В бою под Феодосией крейсеру, на котором служил Гриша, торпедой оторвало двадцать метров кормы. От смерти команду спасли водонепроницаемые перегородки и оставшиеся винты. Они позволили уйти из зоны обстрела. Была возможность манёвра на море. А здесь, в этой утлой комнате, какой манёвр?

— Оценил я, — говорит, — обстановочку. Никудышная она для меня. Начал раздеваться.

Когда уже в сенях одевал на босую ногу галоши не менее 46-го размера, подал ему тот, что с финкой, какую-то прелую бечёвку:

— Подвяжи, кавалер!

И второй с жёсткой ухмылкой:

— Ежели обули мы тебя, ступай с миром.

Хорошо «обули». Ботиночки-то на нём, которые сняли, были брата старшего.

Пришёл он домой в одних трусах, едва рассветать начало. Потом узнал: не одного его так. Промысел был такой в этом районе.

Когда Костя ушёл, подумали: не про себя ли он рассказывал? Был ли Гриша? Уж больно подробности знал...

Таня за Костю замуж потом вышла.

Он на крейсере машинистом-турбинистом служил, а после вот в цехе, где Таня работала, — машинистом-котельщиком. Мы с ним вместе потом учились в вечернем техникуме.

* * *

...Самара. Она — разная.

— Какие странные порой бывают совпадения, события, — говорила Ольга Михайловна мне при следующей встрече.

О бандитах слышали, а о тех, о ком надо, нет.

Алексей Толстой, наш самарский Толстой, жил во время войны в Куйбышеве. А учился до войны в нашем Ленинградском технологическом институте.

5 марта 1942 года в Куйбышеве на сцене Куйбышевского театра оперы и балета в исполнении оркестра Большого театра впервые была исполнена Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича.

Исполнение её передавалось всеми радиостанциями Советского Союза. Великий композитор жил в Самаре.

В октябре-ноябре 42-го состоялись два авторских концерта, в которых принимал участие сам композитор.

Толстой слушал в театре оперы и балета великую симфонию. Писал о первом её исполнении. Мы тогда уже были в Самаре, только приехали. Мы дышали одним воздухом.

Когда позже слушали Ленинградскую симфонию, меня трясло. Я боялась за маму и тётю Веру. Слушали всего один раз. И достаточно. Это было потрясением, второй раз могли не выдержать.

В студенческом переулке

И я чуть было не попалась одно время... Это уже много позже. На краю была.

Иду в ночную смену на ГРЭС по Студенческому переулку. Вечером. А тут — двое. Откуда они взялись только... Хватают меня и чуть не волоком вниз, по ходу, в лесочек. Не знаю, как я отреагировала. Сразу как заору:

— Помогите! Помогите!

А кругом пустынно. В некоторых окнах свет, но что с того?

Один-то мне рот зажимает, я укусила его за палец. Да крепко так. Он выматерился. А я опять заорала что есть мочи.

Повезло мне: бегут солдатики сверху. Рядом оказался военный патруль.

— Отпустите! — кричат.

Тот, который волочил меня, так нагло, совсем взаправду будто, говорит:

— Это моя жена. Она дурит! Я с ней замаялся. Домой не идёт, шалава!

Но патрульные не купились. Допрос учинили. Потом проводили меня до проходной ГРЭС.

Дня через два идём с Татьяной. Она говорит:

— Давай посмотрим, где это было.

Подожли, показала я где... Из окон дома жильцы выглядывают.

— Что же вы? — говорит им Таня. — Не вышли, когда она кричала?

— Выйди, попробуй, — отвечают. — Хлопнут разом. Там посмотрите, вон, у того дерева. Поймёте, что к чему...

А под деревом большое тёмное пятно.

Тётя с балкона поясняет:

— На следующий вечер, как она кричала, — показывает на меня, — женщину убили. Не только убили. Не случилось патруля рядом.

Больше вечером одна я на работу не ходила.

* * *

Вспомнила ещё про Таню и Костю.

Потом уж, когда они поженились, идём втроём по Садовой. У подворотни стоят ребятки. Шпана. Лучше не останавливать-

ся... Правда, они в своих дворах тут не трогали: особый кодекс был.

Танька и говорит так, мимоходом, когда прошли уже. Вспомнила случай в Запанском:

— Костя, ты мне покажи как-нибудь те большущие галоши, в которые тебя в Запанском обули.

— Зачем? — спрашивает.

— Брат приехать должен, может, ему подойдут. У него сорок четвёртый размер.

— Как я их покажу тебе, когда я эти скороходы нашей вахтёрше в общежитии подарил.

Сказал так и враз осёкся. Сообразил, что попался. Нам-то всё говорил, что это не его, а дружка Гришу в такие галоши обули!

Смеялись мы, помню, с Таней. И он с нами. Называл нас Брусника с Крапивой.

* * *

Таня и Костя поженились и жили некоторое время в Рабочем городке. Располагался этот городок на территории Иверского монастыря, почти напротив пивзавода, принадлежавшего когда-то австрийцу Альфреду фон Вакано. Монастырь задолго ещё до войны был закрыт. В бывшие кельи монашек заселили самарский пролетариат. Это были в основном работники пивзавода, ГРЭС и бондарной мастерской, которая некогда была.

Помню, было около двадцати корпусов. Среди них помещение, в котором собиралась молодёжь на танцы. Драки были там, доходило до поножовщины.

Таня и Костя жили в коммуналке, сооружённой в бывших покоях игуменьи монастыря. Во дворе были теперь сараи, погреб. Вокруг куры, козы. Туалеты устроили и в здании, и во дворе. Иные стояли прямо на склепах.

А до революции в обители была, я знаю, часовня. Был некрополь, монастырское кладбище. На нём покоились достойные люди Самары. Там похоронен глава нашего города Пётр Алабин.

Но монастырь был закрыт, некрополь разрушен...

* * *

Теперь-то монастырь восстановлен, в нём стоит храм-часовня во имя царственных страстотерпцев — Государя Николая II и его семьи.

А в алтаре храма-часовни замурована земля с Ганиной Ямы, где тела убиенных императора и его семьи были облиты кислотой и сожжены.

В этом году, кажется, заканчивается строительство колокольни Иверского монастыря.

Если идёшь от Волги вверх по Вилоновской улице, красота открывается: дух захватывает! Позолоченный купол не даёт отвести глаз!..

Часть 3. Пора летних дождей

Саша

Прошло более двух лет после того, как Кириллины уехали в Ленинград.

У Жигулёвска строится Волжская ГЭС им. Ленина, Братская ГЭС — на Ангаре, город Братск. На глазах бурно растёт самарская энергосистема. Масштабы! А я маюсь с маленьким Ромой. Тётя Вера совсем плохая.

От Кириллиных ни слуха, ни духа.

Техникум я забросила.

Чтобы полегче было с Ромой, перешла работать в столовую ГРЭС посудомойкой. Резала хлеб, разносила его по столам. Мыла посуду. На такой работе было посвободнее со временем. Могла сбегать домой, чтобы посмотреть, как там тётя и Рома.

Живу и чувствую себя щепкой, соринкой, прибитой большим потоком в заводь с камышами...

Очнулась я от беспросветности, когда появился в моей жизни Саша.

Он пришёл обедать в нашу столовую. Увидел меня и зачастил к нам. Обедал и смотрел на меня. Молча.

Первое, что он сказал мне, не зная, как зовут ещё, кто и что я:

— Эта работа не для тебя. Ты должна учиться.

— А кто вас кормить будет тогда? — сказала так, не желая говорить на эту тему. Я тогда сильно жалела, что пришлось бросить учёбу в техникуме.

...Мы стали встречаться.

Оказывается, его Самара тоже и приютила, и обогрела.

Приехал Саша после окончания лесного техникума из Бобруйска. Отец — лесник, мать — домохозяйка.

Странно: он полтора года уже работает на деревообрабатывающем комбинате, что под Чкаловским спуском, недалеко от завода «Кинап» и рыбоконсервного завода, до которых мы с тётёй Верой иногда доходили. Живёт тут же в бараке, а мы ни разу не видели друг друга.

Саша Белозёров!

В его имени и фамилии столько для меня солнечного и радостного!

Я не узнавала себя. Я оттаяла! Ждала каждой нашей очередной встречи. Ждала и боялась. Себе не верила. И судьбе не верила. За что мне такое?

Каково будет, когда откроется, что я была замужем и у меня ребёнок? Катастрофа. Ему это надо?

...Мы встречались почти целое лето, и Саша ни разу не попытался меня поцеловать... Поцеловала его я, первая. Неожиданно для себя...

Он был большой, добрый ребёнок!.. А я столько уже видела... Как такое может быть после всего...

Два билета в театр

В тот день Саша довольный прибежал ко мне в столовку. Показывает два билета:

— Идём сегодня в театр оперы и балета на «Лебединое озеро». Я решил тебя познакомить с моим двоюродным братом.

Я растерялась.

— Ты о брате мне не говорил.

— Вот сейчас говорю. Он будет с женой. Совсем недавно выписался из военного госпиталя на Мологвардейской. Они у меня замечательные. Сама увидишь! Ты можешь пойти? Как со временем?

— Конечно, — отвечаю.

Не говорю, что я три раза уже видела «Лебединое озеро». Не знаю, как быть. Ведь это смотрины. Он меня будет показывать своим. А я — матрёшка. Во мне сидит ещё одна Оля, о которой он и не подозревает. Что же будет? Что я делаю?

...Вошли с Сашей в фойе оперного театра. У ступенек стоит пара.

— Вон они, — возбуждённо говорит Саша.

Она — лёгонькая такая, светлая и улыбчивая! Похожая на Любовь Орлову. Белое платье. Около неё вполоборота к нам лет тридцати её спутник, похожий на Сашу. Только чуть выше ростом и смуглый. И... на костылях. Правой ноги у него нет выше колена.

Познакомились. Всё легко и празднично!

Прозвучал звонок, мы пошли в зал.

...В перерыве в фойе не пошли. «Наверное, из-за Димы, — думала я, — чтобы с костылями не путаться между рядами, не мешать людям».

Завязался разговор, не помню уж о чём. Говорили больше Саша и Соня. Брат Саши улыбочиво слушал.

И тут Соня говорит непринуждённо:

— Олечка, нам Саша все уши о вас прожужжал, какая вы замечательная! И правда ведь! Чудо какое! Прелесть! Приходите к нам в выходной в гости. Будет пирожное, я напеку пирожков.

Во мне что-то сработало. Сама не ожидала:

— Я не могу, — говорю.

— Ну, почему же? — удивилась Соня. — Часика на два? Мы живём на Галактионовской, около Троицкого рынка. Можно на трамвае.

— Я не могу, потому что у меня ребёнок, а мама приболела, — сказала я, словно продекламировала.

Насчёт мамы я не придумала. Но разве в этом дело?

Я сказала так, не глядя ни на кого. В пустоту. Лиц я их не видела. Все молчали.

Началось второе отделение. Я сидела, опустив голову. Слезы мешали видеть, что происходит на сцене. Начала шмыгать носом. Не в силах привести себя в порядок, встала и неуклюже направилась в фойе.

В гардеробе меня догнал Саша.

— Оля, подожди! Надо же успокоиться и поговорить.

— Я хочу домой! — по-детски выскочило у меня.

Схватив плащик, я выбежала на улицу.

Саша в скверике слева от театра вновь догнал меня. Схватил за плечи, что-то говорил. Я не слышала что...

Вырвалась. И побежала на остановку трамвая. Не помня себя.

Опять всё, весь мир был против меня. Блокада.

* * *

...У меня не было ни телефона его, ни адреса, где он живёт.

Да разве бы я смогла начать его разыскивать?! Я гордая была, вернее глупая совсем.

Изревелась вся...

Букет белых роз

Саша не появлялся около месяца. А тут вечером, когда я была в зале нашей столовой, он пришёл с букетом белых роз.

Сидевшие за столиками подняли на него лица.

Помню, как у меня застучало в висках. Общій гул в зале как-то стих. Или это мне только показалось. Я поплыла в какой-то невесомости.

Вернул меня в себя чёткий голос Саши:

— Оля, выходи за меня замуж!

Это было первое, что он произнёс.

И не успела я сказать ни единого слова, как за ближними столиками захлопали в ладоши.

— Вот видишь, все одобряют! — на осунувшемся лице Саши заиграла привычная его улыбка:

— Куда против общества?!

А я молчала. Им что, хлопающим в ладони?! Они видели только цветы... Не знала, что говорить, что делать...

...Я направилась со своими тарелками через весь зал, неуклюжая, как комод.

Мы так и двигались: впереди я с тарелками, сзади — Саша с букетом.

И нам аплодировал, казалось, уже весь зал.

Моя неожиданная опора

...Настало время, когда я перебралась жить к Саше в его барак. Это было недалеко от того места, где когда-то мы начинали жить в Куйбышеве. Только наш барак стоял ближе к Маяковскому спуску, а его — к Чкаловскому.

Сын Рома был то с мамой и тётёй Верой, то у нас.

Саша дал мне новую жизнь!

Самара меня спасла после Ленинграда, Саша — отогрел. Мама, тётя Вера и я жили на Волге, в Куйбышеве, работали. Но были словно квартиранты. Иногда гуляли вдоль реки.

А Саша сделал так, что я полюбила Волгу. Город и река теперь вошли в мою жизнь.

Смешно сказать, какие мы были до Саши.

Один только случай: купили мы с мамой у рыбаков, гнавших плоты, небольшого осетра. Разделали рыбину, а икру выбросили. Мы никогда не видели прежде чёрной икры. И нам показалась эта чёрная масса очень подозрительной.

...У Жени Корсакова была самодельная старенькая лодка с мотором от машины. Я узнала, что такое Шелехметь, Проран, Винновский затон, Кресты, Чапаевские лиманы. От ночёвок на Волге я была в изумлении. Но была неумёха. Не могла споро-висто чистить рыбу. Саша и тут нашёл выход. Он был по натуре изобретатель. Отпилил у старого стула в четверть длиной ножу, к торцу этого обрезка прибил гвоздём металлическую пробку от пивной бутылки. Протянул мне:

— Возьми инструмент!

...И впрямь — чистилка. Так здорово!

В бараках мы жили с соседями дружной некуда. Варили на плитах, без каких-либо претензий друг к другу. Если кто-то пёк пирожки, то заранее готовил тесто, чтобы хватило на всех ребятишек, которые будут в это время около. И они знали своё право. На запах быстро слеталась друж-ная стайка.

...Около барака кто лук, кто капусту посадит.

Саша удивлял и тут всех. Раздобыл три бочки, засыпал их перегноем вперемешку с навозом. И посадил тыквы.

Некоторые посмеивались над его затеей.

А тут появились жёлтые цветы, заботливые пчёлы... Саша приладил около бочек досточки на камушках. И на них закрашались вскоре добродушные тыквы.

У тех, кто посадил тыквы в грунт, были чахленькие плоды, скукоженные. А у него как на подбор — толстушки. Около Саши всё становилось интереснее, самое, казалось, простое...

В детстве и потом меня окружали мужчины, которые руками мало что умели делать.

Я запоздало узнала и оценила таких, как мой Саша.

Пора летних дождей

Теперь я полюбила не только реку Волгу. Около Саши я полюбила воду. И раньше её не боялась, но я её не замечала. Была равнодушная к ней. Не задумывалась о её значении. Но ведь жизнь и вода взаимосвязаны. Неразделимы. Водную гладь, её пространство я стала чувствовать постоянно и остро. Подсознательно начала воспринимать Волгу как заслон от всего злого, что могло быть в мире, что настроено против меня. Мне и Саша стал казаться частью окружающей доброй стихии. Когда я говорила Саше об этом в наших вылазках на природу, он посмеивался надо мной:

— Нашла Дерсу Узала. Я технарь. Имею дело всё больше с железками. А ты маленькая ещё. Самарянка!

А я и не хотела теперь расти. Зачем, когда мне стало так уютно быть с ним, в таком ладу с природой...

Теперь я поражалась таинству дождя, падающему снегу, догадываясь о каком-то особом смысле их в моей жизни.

В присутствии Саши во мне возникало ощущения прихода долгожданного уюта — как при неожиданном майском тёплом дожде... Саша снял с меня блокаду...

Я полюбила летние дожди, запах земли после них. Это осталось на всю мою жизнь. От Саши. Такие дожди наполняют всё вокруг жизнью...

Появилась уверенность, что ты можешь многое сделать. Что всё вокруг этому способствует...

Ощущение глубинной связи со всем земным — это было ново для меня. Ничего подобного раньше я не чувствовала.

Мысленно соглашалась с Сашей: я ещё не выросла, мне некогда было расти. Моя жизнь раньше шла замедленно... Теперь, оттаяв, начала нагонять упущенное.

Вернулась, по его настоянию, к учёбе в вечернем техникуме, а Саша поступил на вечернее отделение в институт.

Когда в пятидесятом у нас родился сын Коля, нам дали на Самарской улице в деревянном доме в коммуналке одиннадцатиметровку. Саша работал мастером. Я же перешла на ГРЭС в производственный отдел.

Теперь удивляюсь: как мы всё успевали?

Характеры

...Борис Кожин — один из замечательных наших самарских журналистов, признаётся, что всю жизнь ломает голову над вопросом: какой он, самарский характер? Мучается, бедняжка! Почитайте его воспоминания. А я всего-навсего расскажу один случай из моей жизни... Один? Нет, два!

Могу и больше. Нет, пусть два будет.

Это было, кажется, в пятьдесят седьмом году.

Я тогда после окончания техникума работала инженером по технике безопасности в нашем управлении. И довелось мне лететь в командировку в Москву.

Я знала уже многих в нашей системе.

Случилось так, что моими попутчиками оказались директор одной из промышленных ТЭЦ области Михаил Михайлович Первушин и, я забыла теперь его фамилию, Муртаза, снабженец с нефтеперерабатывающего завода.

Обрадовалась я такой компании. Оба весёлые. Муртаза — высокий, смуглый азербайджанец. В элегантном белом костюме. Приземистый, скуластый Михаил Михайлович — в строгом синем костюме, при галстуке.

При посадке в самолёт обнаружилось, что мы летим с большой командой знаменитых артистов. У меня голова кругом пошла. Все — народные: Борис Бабочкин, сыгравший Чапаева, Борис Андреев — тут не перечислишь всего. Это и «Трактористы», «Два бойца», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской». Только перевела дух, вижу за Андреевым идёт артист Большого театра, знаменитый бас Максим Дормидонто-

вич Михайлов, за ним — Рашид Бейбутов. И много ещё кто. Невероятно!

В области тогда широко праздновали Дни урожая. Они были приглашены.

В самолёте мы оказались рядом. Наш маленький самолётик набрал высоту. Борис Андреев и Первушин сидели рядом друг с другом, через проход. Не помню уж как, но завязался у них разговор. Всё слышно, рядом же.

Когда Андреев узнал, что Михаил Михайлович энергетик, да ещё директор большой ТЭЦ, стал расспрашивать: что да как?..

Слышу, Первушин говорит Андрееву:

— Скучное это дело — говорить о работе на сухую, когда продукт прокисает.

— Какой продукт? — спрашивает артист.

— А вот, — отвечает Михаил Михайлович. И достаёт из-под ног канистрочку такую металлическую. На два литра спирта, причём медицинского. — Прокисает! Ай-яй-яй! Жалко! — и качает головой.

Наступила немая сцена.

Мне показалось, что народный артист малость опешил. Директор! Солидный товарищ, чинный, при галстукке...

Первушин, видимо, кое-что понял: махнул рукой по голове. Прилизанные аккуратно волосы взъерошились задиристым хохолком. Он противным голосом пропел:

*Я в детстве был горчичник,
Носил я брюки клёш,
Сало-мин-ную шля-пу,
В кармане финский но-ж!*

Борис Андреев тут же подыграл местному артисту. Крякнул озорно и громко, оглядывая небольшой салон, и, подняв огромную кулачину на уровень виска, пророкотал:

— Разлука ты, разлука, чужая сторона!

Я видела: всем становится интересно. Борис Бабочкин сзади меня похохатывал, сидевший впереди Михайлов широко улыбался.

Как-то быстро всё организовалось. В проходе положили чемодан. У Муртазы оказалась целая авоська с антоновскими яблоками. Ещё кое-что нашлось у артистов. У бортпроводни-

цы попросили посудинку и одновременно позволения на затеваемое действие. И то, и другое было выдано. Куда денешься? Такие пассажиры не каждый день бывают!

Струдились поближе к чемодану. А тут выяснилось, что Борис Андреев и Борис Бабочкин — оба из Саратова, волжане!

Прозвучал тост за волжскую землю!

Кто выпил, кто только крякнул. Оказалось, что Михайлов — тоже волжанин. Между первой и второй — промежутки небольшой! Очень понравились Максиму Дормидонтовичу малосольные огурчики...

Вдруг Муртаза встал и, приветственно протянув руку в сторону Рашида Бейбутова, который оставался со своей женой сидеть на своём месте, высоким голосом запел. И ладно так:

*Я встретил девушку,
Полумесяцем бровь.
На щёчке родинка,
А в глазах любовь.*

Всё было будто отрепетировано. Тут же в ответ зазвучал золотой, божественный голос Бейбутова:

*Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.*

Стояли два красивых человека. Оба в белых костюмах и самозабвенно пели.

Потом Муртаза сел. А Рашид Бейбутов продолжал:

*Песня первой любви в душе
До сих пор жива.
В песне той
О тебе все слова.*

Он было попытался подойти туда, где чемоданчик. Жена его не пустила.

Андреев широким жестом манил его к себе. Бесплезно.

Потом в нашей жизни будут замечательные Магомаев, Бюль-Бюль-Оглы, но для меня Рашид Бейбутов — непревзойдённый певец!

...Вдруг он, по-мальчишески сверкнув большими тёмными глазами, запел песню «Аварая» из индийского кинофильма «Бродяга». Пел он на хинди.

Салон самолёта заполнился овациями.

Я потом слышала, что будто в фильме «Бродяга» вместо Раджи Капура эту песню пел он. Верно ли, не знаю...

...Около чемоданчика в проходе вершилось своё. Когда влаги в баклажке поубавилось, решили померяться силой. Взгромоздили чемоданы один на другой. Подходили и те, которые не артисты. Всех желающих Борис Андреев безжалостно и вольготно перебарывал. Настал момент, когда вопросительно сверху вниз Андреев посмотрел на Первушина.

— Ну нет, мне рано! Рано ещё, — отнекивался Михаил Михайлович, — в канистре ещё на один перелёт влаги! Непорядок это... Недобрал горючего.

Его хитрющие глаза были совсем трезвы.

Наконец его уговорили. Сдался:

— Ну, глядите! Как хотите. Нам-то что?

Оба они, уперев локти в чемодан, выставили, как рычаги, свои правые руки.

Муртаза сделал отмашку, и борьба началась.

Случилось невероятное: массивная рука Андреева стала клониться-клониться и враз тыльной стороной ладони припечаталась к чемодану.

Наблюдающие оторопели. Казалось, исход поединка был заранее предreshён. Андреев перед Первушиным выглядел глыбой. Недоразумение!

— Максим Дормидонтович, — гудел Андреев, — выручайте, горчичники одолевают.

Все захотели повторения поединка.

Борис Фёдорович вновь выставил руку на чемодан.

Первушин не пошевелился. В окружении шумнули.

— Я же Илью Муромца сыграл в прошлом году! В первом широкоэкранном фильме. Вся страна смотрела. Богатырь! Понимаешь ли... Как такое может быть? — шумно недоумевал артист.

— Не знаю, — беспечным голосом отозвался Первушин. — Без меня дело было...

— Давайте! — напирал Андреев, продолжая держать поднятой руку на чемодане. — Реванш!

— Как хотите! Нам-то что? — отозвался его соперник.

Первушин во второй раз также безжалостно дождал руку именитого противника к чемодану. Никаких бодрых возгласов одобрения. Поражение было всеобщим.

— Чёрт те знает что! — гремел любимый всеми артист, разволновавшись, как ребёнок. — Как такое может быть? — повторял он, виновато озираясь.

По щекам его текли слёзы. Большой ребёнок и большой артист плакал. Я не могла понять: всерьёз это или игра.

Первушин выглядел виноватым.

Из самолёта они выходили обнявшись.

Максим Михайлов нас всех троих пригласил в Большой театр. Через два дня мы смотрели оперу «Князь Игорь», где он пел арию Кончака.

...Борис Андреев тянул потом нас к себе в гости. Он стал нам как родственник. Но у нас уже не было времени. Пообещали в следующий раз. Да как-то потом не сложилось...

Казалось, что жизнь вечна, встретимся ещё...

На Чапаевке

...Я с нетерпением ждала каждой нашей с Сашей поездки на Волгу. На Волге рыбачить с лодки мне было трудновато. Саша нашёл выход. Мы стали ловить в озёрах сорожку. Спокойная рыбалка поплавочной удочкой в затоках была по мне. Особенно мне нравилось ловить краснопёрку. Это неописуемое удовольствие: утречком на солнышке выдернуть искрящееся, золотистое, в оперении красных плавников, чудо!..

В этот раз подались мы на речку Чапаевку. Там поспокойнее, чем на Волге. Судов нет, волна поменьше.

Настроились. Забросили один якорь с кормы лодки, а второй Саша не стал бросать — закрепил лодку с носа длинной бечевой за коряжину, лежавшую на берегу у воды. Красота! Лодка наша метрах в двадцати от берега, полное безветрие, течение в самый раз. Такое, что приманный мешочек с отрубями и жмыхом, опущенный метра на два в воду, тут же заработал: видно было, рыбка подошла. А я всё неловко задевала чем попало о борт лодки, мелочь тут же реагировала в воде всплесками. Такая я рыбачка.

Саша, по обыкновению, подтрунивал надо мной. Грозил, если не успокоюсь, он меня высадит на берег.

...И тут начались поклёвки. Совсем небольшие, как Саша говорил про щучек с карандаш и поболее, подлещики затрепыхались в нашем металлическом садке.

Мы увлеклись. Кроме нас, до поворотов реки впереди и за спиной — никого нет. Мы и река!

Да, сноровкой на рыбалке, признаюсь, я не отличалась. В тот момент, когда вынимала леску из воды, намереваясь посмотреть, цел ли червяк на крючке, за наживкой выскочил из воды на скорости небольшой щурёнок, ударился о борт и, изогнувшись, словно бумеранг, стремительно исчез в воде. Он так азартно гнался за червяком, что не видел ни лодку, ни нас.

Я от неожиданности завизжала. И выронила из рук удочку.

Саша сдавленно смеялся.

И тут случилось невероятное. За нашими спинами раздался сильный треск и гул. Мы враз оглянулись.

Из-за поворота реки вышла вниз по течению прямо на нас огромная самоходная баржа. Она, видимо, была пуста. Её борта были высоки, нос задран вверх.

Никогда, ни до, ни после этого случая, большегрузных барж мы на Чапаевке не видели. Величина баржи и ширина реки были неподходящи друг для друга. Посудину развернуло на повороте, и треск шёл от кормы баржи, которой она ломала прибрежные кусты. Нос её шёл прямо на нас. Он мог вот-вот начать бороздить противоположный от кормы берег.

Баржа шла не по судовому ходу. Двигалась бортом, перекрывая всё русло реки. Она была явно неуправляема.

На посудине дали продолжительный, запоздалый гудок. Очевидно, включили задний ход, баржа замедлила движение, но продолжала по инерции и по течению надвигаться неотвратно на нас.

Оставалось каких-то метров двадцать. Надо было срочно уходить. Саша пытался вытащить якорь. Он за что-то зацепился на дне. Бросился развязывать узел на верёвке. Бесполезно.

— Нож, где нож? — закричал он.

Нож всегда лежал у нас во время рыбалки на транце¹ лодки. Сейчас его там не было.

Саша заметался по лодке.

¹ Транец — здесь сиденье на корме лодки.

— Прыгай! Прыгай в воду! И к берегу! Я за тобой! — прокричал он.

— Саша, я же не умею плавать!

На борту баржи мелькали несколько человек, что-то крича. И странно: только женщины.

Потом Саша говорил, что в тот момент понял: без меня он прыгнуть из лодки не сможет. Значит, такова судьба... И я об этом тогда подумала. И испугалась за него.

...И тут он метнулся к рюкзаку. Это были молниеносные движения. Они и спасли нас обоих.

Как он успел достать топорик из рюкзака и обрубить верёвку, соединявшую лодку с неподатливым якорем, я не могу объяснить... И вновь его команда:

— Тяни за верёвку к берегу!

А как это сделать, когда у меня не слушаются ноги? Я не могу встать!

Он прыгнул, как кошка, на нос лодки, она закачалась. Саша тут же лёг и стал быстро тянуть лодку за бечеву к берегу.

Высокий нос баржи был уже над нашими головами. Мы выплывали из-под громадной многотонной железной посуды. Лодка стремительно ткнулась в песчаный берег. То, что нос нашей лодки был не на якорю, нас спасло.

Баржа прошла от нас кормой метрах в пяти, закрыв собой наискосок почти весь просвет между берегами.

...Я сидела в лодке, не веря ещё, что мы остались живы.

Саша отрешённо смотрел на удаляющуюся по течению реки тёмную громадину баржи. В руках у него был нож, невесть как завалившийся так некстати под слань лодки.

Радуга

...Хотя мы с Сашей и получили однокомнатную квартиру, всё равно я часто прибегала к маме и тёте Вере. А Рома почти постоянно жил у них.

Тётя Вера уже не печатала. У неё от длительной работы на пишущей машинке руки часто пронизывала от пальцев до локтей боль, наступало онемение. Врачи говорили, что причина этого в сдавливании нервов кистей рук и последующем застое кровообращения. Ей сделали операцию. Но неудачно. Она

получила инвалидность. И стала невыносимой брюзгой, категоричной. Маме от неё доставалось. Тётя стала в самых мелочах неуступчивой. Мама в силу своей обычной уравновешенности не возражала ей. Чаще замолкала.

И я не решалась с тётей спорить. Моего чахлого здоровья хоть и хватало на то, чтобы окончить среднюю школу, а потом много позже техникум, всё же я была образована очень узко. Читала тогда чудовищно мало и бессистемно. Тётя же, не имея законченного высшего образования, знала столько всего конкретного, что я поражалась. Мне было стыдно за себя такую. Когда она начинала говорить, я чувствовала, что не во всём она права. Но она приводила цитаты, называла громкие имена.

И потом, тётя Вера постоянно возилась с моими сыновьями. Ей и маме я обязана и тем, что сама выжила, сыновья были здоровы. Как я могла их обеих не любить!

Жили мы как бы отдельно от них, а всё равно у нас была общая семья.

...В тот вечер я забежала к ним после работы, они были обе на кухне. Разговаривали. Я слышала их голоса из прихожки, пока раздевалась. Как всегда, мама говорила сдержанно. Тётя Вера — наступательно:

— Вот послушай! Не меня, гения!

И она начала читать стихи, поднеся очень близко листок бумаги к глазам. Очки ей уже почти не помогали.

Я остановилась в дверном проёме, не решаясь шагнуть дальше, в тесноту. Боялась пропустить хоть одно слово, звук из завораживающего потока.

Голос у тёти был хрипловатый. Она давно и много курила. Но слова! Стихи какие!

*Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба охватила
И в высоте изнемогла.*

*О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,
Ещё минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдёт всецело,
Чем ты и дышишь, и живёшь.*

Я была поражена. При мне тётя Вера никогда не читала стихи. Более того, она не раз выражала недоумение по поводу привязанности мамы к поэзии. Говорила: «В поэзии так много тумана и шаманства. И всё рождается из ничего. Придуманная жизнь».

— Это стихи Тютчева, — сказала тётя, закончив читать. — Они не о радуге. Они о жизни. О том, что мы родились для того, чтобы умереть. Но надо успеть прожить жизнь ярко! И радостно! Мы же маемся в тягомотине. У нас обрезаны крылья. И на всю жизнь теперь! Это не стихи! Это музыка! А музыка — начало всех начал!.. Роскошь и в смыслах, и в звуках...

— Откуда это у тебя? — спросила не сразу мама. Она смотрела по-детски широко раскрытыми глазами.

— Откуда? — тётя Вера мотнула покалеченной правой рукой с жёлтым листком бумаги. — На Маяковской, бывало, заходила в городскую нашу библиотеку.

— Нет, вот это? Твоё такое новое восприятие жизни?

Тётя на сразу ответила. Кивнула мне приветственно-сдержанно головой.

— Оно не новое, оно давнее. Старое! Только завалено катастрофически непомерными, непреодолимыми глыбами! Ну ладно, революция! Не нужны пианистки... А потом: финская война — не стало моего Ромашки... И опять война! Блокада — никому не нужны миллионы жизней. Не только не нужны — мешают! Как такое может быть? Когда каждая жизнь — это Радуга! Она и так быстротечна — жизнь человеческая! А её под бомбы. Всё! Казалось бы, миновало страшное. Укрылись в этом городе. Так ждала своего! И вот оно! — она подняла обе руки. Поднесла их к окну, на свет, рассматривая свои пальцы, как чужие.

Гримаса исказила её лицо:

— Я — инвалид! После всего перенесённого — инвалид! А мне бы ещё жить да жить! Не жила ведь!.. Ксюша! Сестрёнка...

— Верочка, миленькая моя, даст Бог, всё встанет на свои места. Не торопись выносить себе приговор.

— Приговор? — повторила севшим голосом тётя. Упрямый взгляд её упёрся в пол.

— Не приговор! Диагноз! Нет, и это не то, — она мотнула головой. — Просто конец! Последний проигрыш в моей жизни. В которой у меня не было мужа, своей семьи не было... Я всю жизнь была замужем за нелюбимой работой! То я машинистка-стенографистка, то машинистка-насосчица! То то, то сё... Давала на станции свет людям. А мне что осталось?

Она говорила это, не поднимая на нас глаз.

— Где моё в моей жизни? Оно должно было быть! Не было моего — не было и моей жизни... Так ведь?.. Будто метка на мне. На всех нас!..

Тётя замолчала. Казалось мне, она поняла, что сказала слишком сильно. Лишнее сказала. Ни к чему так...

Она подняла глаза, посмотрела пристально поочерёдно на меня, на маму. И уже вяло, обессилив от ранее сказанного ею, словно выронила жестяную кружку из рук на пол. В тишине негромко задребезжало:

— Родненькие! Я чувствую, что скоро умру... Как жить, коль не хочу?.. Устала я...

На площади Куйбышева

Трудолюбивый, ровный характер жителей запасной столицы порой не выдерживал.

Вспомнила приезд главы государства Никиты Сергеевича Хрущёва в наш город в 1958 году.

Встреча с жителями Куйбышева была запланирована, кажется, на 11 августа.

Саша принёс специальное приглашение на митинг. Как потом оказалось, помимо разнарядок парткомов, многих пропускали на площадь без приглашений. Мы решили идти втроём: Саша, мама и я.

Прибыл в Куйбышевскую область Никита Сергеевич в связи с пуском крупнейшей в мире Волжской ГЭС в Жигулёвске.

Митинг в Куйбышеве должен был начаться в 14 часов, но народ стал стекаться на площадь намного раньше.

Жара на площади. Уже 14 часов, а высокого гостя нет.

Народ на взводе. Люди волнуются. Несколько десятков тысяч собралось! Некоторые с детьми.

Говорили тогда, что задержка вышла из-за того, что, направляясь из Жигулёвска в Куйбышев, Хрущёв заехал по пути посмотреть под Жигулёвском кукурузные поля и не рассчитал со временем.

С опозданием минут на сорок глава правительства вместе со своей свитой вышел из дверей здания Дворца культуры. Поднялся на трибуну.

Задние ряды решили подойти ближе, чтобы лучше видеть. Сказалось нетерпение, началась давка. Масса народа неуправляемо напирала на передние ряды. Те — на военное оцепление, прижимая военных прямо к трибуне.

Дальше я плохо видела и слышала. Маму подхватило людской волной, как пёрышко. Она оказалась от нас метрах в десяти. Мы никак не могли с Сашей пробраться к ней. Нас мотало из стороны в сторону.

Слышались крики: «Мяса! Масла!»

Потом уж, в перестроечное время, писали, что из толпы начали бросать тухлые яйца и помидоры. Я этого не видела. Мы спасали маму. На какой-то момент я потеряла её из виду. Исчез и Саша.

Из толпы кричали так, что рядом стоящих не было слышно. Мне было не до трибуны, где Хрущёв пытался что-то говорить. Из-за шума его не было слышно. Видно было, когда толпа отступала волной в сторону, как он разводил руками с микрофоном. Это длилось не более пятнадцати минут.

Неразбериха закончилась, когда он со своим окружением спустился с трибуны и скрылся во Дворце культуры. Митинг не состоялся. Когда толпа схлынула, я увидела своих. Саша вёл ковыляющую маму. На левой ноге у неё не было туфли. Нога от колена и ниже была окровавлена. Она попала под чей-то тяжёлый ботинок в толпе, который прошёлся сверху вниз, изуродовав голень.

Площадь начала освобождаться от народа.

Кругом валялась обувь. Толпа так несла людей, что нельзя было остановиться и поправить ботинки: людская машина могла раздавить.

Саша снял свою майку, и, порвав её, мы перевязали маме ногу.

Не стали искать мамину обувку. Хотелось скорее покинуть площадь.

«Миша, ты же не пьёшь!..»

Побывал в тот приезд Никита Хрущёв и в Новокуйбышевске. На нефтеперерабатывающем комбинате и на заводе синтетического спирта. Об этом нам подробно не раз рассказывал Сашин друг Женя Корсаков: он уже был начальником одного из цехов этого завода. С ним они частенько на Волге под Новокуйбышевском вместе рыбачили. Они крепко сдружились, когда учились на вечернем отделении в политехническом институте.

...Завод синтетического спирта — первенец большой химии в Поволжье.

Тогда три таких завода: в Новокуйбышевске, Уфе, Грозном — кроме ещё нескольких небольших, обеспечивали всю нашу страну сырьём для производства резины.

Вся автотракторная техника, и не только, обеспечивалась шинами, которые делали из каучука. А его получали из этого самого синтетического спирта.

В стране была единая цепочка заводов, производящих спирт: из спирта — дивинил, из дивинила — каучук, из каучука — шины. Покупать природный каучук за золото было не по силам, да его в таких масштабах и не было.

После войны при нехватке продовольствия делать спирт из картошки, свёклы, пшеницы было неразумно. Выручала химия. Пустили завод в самом конце пятидесят седьмого года. Строила и потом возглавляла его Анна Сергеевна Федотова. Она когда-то училась вместе с Хрущёвым в Промышленной академии.

Первый секретарь ЦК КПСС СССР прибыл на завод в сопровождении Сулова, Брежнева, Аристовы и других.

В головном цехе заводские девочки вручили гостям букеты цветов.

Потом секретарь парткома начал дарить гостям сувениры и мензурки с предварительно очищенным спиртом.

Женя слышал, как Хрущёв живо поинтересовался:

— Что в них?

— Наш заводской спирт, — ответила директор завода Анна Федотова.

— Так мало? — глава государства разглядывал на свет содержимое в небольшой мензурке.

— Его пьют? — спросил он. И в упор хитро посмотрел на стоящих рядом рабочих.

Один из слесарей со знанием дела подтвердил:

— Никита Сергеевич, пить можно!

Хрущёв невозмутимо, залпом выпил содержимое.

Тот же рабочий обронил:

— Надо бы в качестве пыжа глоток воды...

Кто-то предусмотрительный протянул стакан с водой.

Хрущёв не торопился.

Взглянув с прищуром на Суслова, произнёс:

— Миша, ты же не пьёшь. Дай мне твою посуду. Я не разобрался.

Взял протянутую мензурку со спиртом и также невозмутимо церемониально выпил. Потом уж не спеша принял стакан с водой.

Выпив, по-хозяйски спросил:

— А что, нельзя ли этот спирт сделать пищевым?

— Мы проводим лабораторные опыты, — откликнулась с готовностью Анна Сергеевна.

— Сколько будет стоить, чтобы довести до ума?

Директор назвала сумму.

— Подготовьте документы. Деньги будут!

С завода Никита Сергеевич уехал довольный.

* * *

После отъезда высоких гостей в Москву все ожидали, что руководство города и области будут наказаны за сорванный митинг на площади.

Этого не случилось. Никого не тронули. Оценили горожан по труду.

А директор Анна Федотова получила за успехи своего завода звезду Героя Социалистического Труда.

* * *

Такая наша Самара и самарский край.

...Второе Баку — самарская нефть. Уже с самого начала войны забила её мощная энергетическая жила, питающая фронт. Огромна роль Сызранского нефтеперерабатывающего завода, а также завода, который под Самарой, на 116-м километре.

Авиакосмический комплекс, самарские запасы мирового уровня Кашпирских горючих сланцев под Сызранью — это всё здесь, в Самаре и под Самарой.

Вода и небо!..

...Сама удивляясь, я стала многое замечать и вокруг себя, и в себе.

Куда подевались моя заторможенность и сдержанность. И летняя ночь, и день, и туман над луговиной — всё стало для меня осязаемо. Я и утреннего тумана, и сочного пения соловья в короткую майскую ночь не видела и не слышала до Саши. Откуда ко мне это могло прийти в городскую коммуналку в окружении моих потомственных горожанок — мамы и тёти Веры? Ни в Ленинграде, ни в Куйбышеве не было такого.

Одно дело — пройтись вдоль Волги по Пристанской улице, другое — оказаться на целый выходной день с Сашей на Волге. Поначалу у меня после таких поездок на моторке кружилась голова.

Вечером ложились дома спать, а меня всю покачивало, будто я в лодке на речной волне. И ныряющие поплавки перед глазами...

Я часто вспоминаю, спустя столько лет, с подробностями все наши вылазки на природу. Вспоминаю то наше с Сашей время света и тёплых дождей. Которое, казалось мне, пришло ко мне не совсем заслуженно, случайно как бы. Не зайди Саша в ГРЭС-Совскую столовую, ничего бы не было...

И сильнее бьётся сердце.

* * *

Те, кто не имел моторок, кто не был заряжен страстью лодочников, тот многое на Волге не увидел.

Вскоре я при Саше стала как бы юнгой, готовой к исполнению любых поручений. И сама стала инициатором дальних поездок.

Одно дело — Волга в районе Рождествено, Прорана, Шелехмети. Другое, если, минуя их, спустишься вниз в сторону Новокуйбышевска и махнёшь по течению в сторону Винновки, Чапаевских лиманов, доберёшься до завораживающего своим безлюдьем и дремучестью местечка Крутец, где Саша открыл для себя азартную охоту со спиннингом на щук. Эта охота стала его страстью.

Рыбаки — особые дети природы. Я это видела по Саше.

...Я теперь думаю, что первые годы нашей совместной жизни, дали мне мощный энергетический толчок, отгородили от всего, что накопилось гнетущего во мне, увели от того, что встретилось мне враждебного, отягощающего мою жизнь. От моего прошлого отгородили, которое, как медведь, топталось за моей спиной...

Стало легче дышать.

Новые краски, новые звуки и смыслы раскрепостили меня.

Прежде всё больше смотрела под ноги. Теперь же подняла голову. Я стала видеть небо! И думать о нём.

Небо зимой — как бы отстранённое от тебя, летом — начинающееся прямо от тёплой земли или волжского плёса — оно огромно! Небо — значительно! Бесконечно! И этой своей значительностью небо очищает и поднимает.

Пришла моя пора! Я это сначала почувствовала...

...Потом поняла...

* * *

Тот случай на Чапаевке, когда нас с Сашей чуть было не раздавила баржа, не охладил меня. Я ещё больше привязалась к Саше. Стала бояться отпускать его одного.

Мама и тётя Вера не давали мне того, что исходило от Саши. Саша вырвал меня из узкого нашего быта и подарил новое и необычное...

...Полюбила я полевые цветы. Ему нравилось мне их дарить. Я раньше и не замечала это чудо! Будто их и не было, этих неярких деточек природы. Пока не оказалась с Сашей в лесу, в луговине. Пока не ступила босыми ногами на землю, родившую их!..

Брамс. Венгерский танец № 5

...Это было уже в начале семидесятых. Саша позвонил мне на работу и радостно доложил:

— Олечка, я купил билеты в филармонию. Приехали к нам в Самару твои ленинградцы. Будут играть симфоническую музыку Брамса, я по афише помню: концерт номер 2 для фортепьяно, мне сложно... Но там будут венгерские ещё танцы. Ты мне рассказывала, как тётя Вера твоя их любила. И как ты любила! Там, в Ленинграде!

Боже мой, Саша, Саша. Разбередил сразу столько в моей памяти... Я прямо с работы прибежала в филармонию, ускользнув с собрания в отделе.

...Целый зал светлых лиц. Полумрак! И ожидание праздника. Предвкушение восторга! Венгерские танцы Брамса! Прошла вечность...

Тётя Вера когда-то играла их на скрипке. Я восхищалась!..

Чего стоили для меня имена, которые она тогда называла: Мендельсон, Лист, Шуман. Где всё это?..

В головке моей как-то после всего пережитого, где-то в потаённых уголках её, в памяти моей, сохранился молодой голос красивой тёти Веры и даже названия симфоний Брамса: Первая симфония до минор, Четвёртая симфония ми-минор. Никогда я их не слышала, а помнила странные названия, недоумеваю, почему такая сухая нумерация? Как в бухгалтерии: первая, четвёртая?

...И теперь я слушала эту музыку! То следила во все глаза за чудодейственными движениями рук дирижёра, то закрывала временами лицо ладонями и всё ждала... Ждала, когда заиграют венгерский танец № 5 Брамса.

Так захотелось мощи, огня, всепобеждающего напора жизни!.. Хотелось жить, полной грудью дышать весенним ветром, видеть счастливые лица! И быть счастливой! Рядом был мой Саша!

Он поглядывал на меня и тихо улыбался.

...Танец № 5 в тот раз так и не прозвучал. Был венгерский танец № 2. Прекрасный танец, но не пятый...

Исполняли его несколько скрипачек. Они расположились в одном ряду на сцене. За ними в глубине сцены за фортепьяно еле просматривался грузноватый артист.

Стройный молодой человек, казавшийся около него школьником, переворачивал ему ноты. Он же легко так и грациозно чудодействовал. По-другому не скажешь.

Когда музыка смолкла и скрипачки опустили скрипки, пианист встал и... я узнала его? Это был К., да, тот самый артист, к которому в 42-м перекочевало из нашей квартиры в Ленинграде пианино красного дерева. Ему было, видимо, за шестьдесят. Голова его стала крупнее. Вьющиеся серебряные волосы украшали её. Породистый, истовый. Он мягко шагнул из глубины сцены и сдержанно, галантно поклонился.

Ведущий назвал его фамилию и звание.

Зал бурно аплодировал народному артисту.

Я хлопала в ладоши, а у самой всё лицо расквасилось от слёз. Время враз так уплотнилось... И я барахталась в нём, теряя равновесие...

— Что с тобой? — допытывался Саша, когда мы выходили на улицу. — Ты стала такой чувствительной. Я хотел сделать тебе приятное. Объясни хотя бы в двух словах!

А как объяснить сразу, да ещё в двух словах?..

...Шла и думала: рассказать тётё Вере о концерте? Или не стоит этого делать? Так и не решилась волновать её.

У неё могла быть иная судьба.

Опять около меня ворочалось медведем наше блокадное прошлое...

Дом культуры

— Как получается? — удивлялась моя мама. — В Куйбышеве одни улицы тянутся вдоль Волги, другие — вдоль реки Самары. И реки под прямым углом друг к другу. Самара и Волга! И получается свой порядок, особенный. Красиво! Правда? И Жигули вдали!

У тётё Веры своё:

— Ксюша, как можно оставаться такой восторженной? Знаешь ли ты, что на одной из этих прекрасных улиц убили родного дядю Александра Блока?

— Что ты говоришь? — громко воскликнула мама.

— Самарского губернатора Блока Ивана Павловича убили в Самаре на углу улиц Степана Разина и Пионерской. Они тогда

не так назывались, эти улицы, — повторила тётя и едко усмехнулась.

— Разве такое может быть? — мама выглядела потерянной.

— Говорю, что знаю. Его приговорили к смертной казни на своём съезде самарские эсеры.

— Откуда ты это взяла?

— Книжки читаю. Бомбу, нашпигованную мелкими гвоздями, бросил под экипаж губернатора эсер-боевик Фролов.

— Может, ты перепутала что-то? — проговорила мама.

— Что? — переспросила сухо тётя Вера. — Что перепутала?

— Убить дядю Блока?!

— А какая ему была разница? Что за человек в карете? Задурили голову молодому столяру. Он и бросил. Он, скорее всего, о твоём Блоке ничего не слышал. Зачем ему?

Тётя Вера, уставившись глазами в пол, спросила, не взглянув на маму:

— Ты Блока хорошо читала?

Не дождалась ответа.

— Знаю, знаю. Многие стихи его помнишь наизусть. А сколько раз читала его поэму «Двенадцать»?

— Два, три раза от начала до конца. Она меня несколько утомляет, — доложила мама.

— Утомляет! — дёрнулась тётя Вера.

— Ты читала? — удивилась мама. — Его поэму читала?

— Да! И несколько раз! Мне пришлось время во многом разобратся. Уяснить для себя. Не понимаю я: как можно было воспевать «мировой пожар», в огне которого надо сжечь весь старый мир. И как ты можешь восхищаться такими стихами? Гимн разрушению. Бессмысленному разрушению...

Она перевела дух. Сказала зло: — Написал он поэму в 18-м году, а ведь ещё в 1906-м убили губернатора Блока. Бессмысленно убили. И поэт ничего не понял? Не понял, чему это начало:

Пальнём-ка пулей в Святую Русь...

И пальнули! В Святую Русь стрелять?.. И во главе тех, кто стрелял:

В белом венчике из роз

Впереди — Иисус Христос.

— Так у твоего поэта! Для моего ума непостижимо это! Понимал ли сам поэт до конца то, что ему привиделось?..

Мама, закрыв ладошками глаза, слушала.

— Вера, мне в последнее время тяжело не только говорить с тобой, слушать тяжело, — сказала она и отвела руки от глаз.

Я вздрогнула, увидев измученное мамино лицо.

— Вера, ты хочешь в этом разобраться? Надо ли? Велик поэт! Можно рухнуть под обломками. И потом... — она невольно понизила голос: — Ты с кем-либо ещё так разговариваешь?

— Что ты имеешь в виду? — усмехнулась тётя.

— Ты уже один раз за длинный язык получила. Тогда, в Смольном. Легко отделалась. Хочешь большего? Это в тебе застарелая обида говорит.

— Когда это было? Чуть не полвека прошло.

— Себя не жалко — нас пожалей. Добром не кончится всё это...

Тётя Вера будто не слышала этих слов мамы, продолжала:

— У нас в цехе слесарь один кое-что рассказывал мне. На площади Куйбышева раньше стоял в Самаре красивейший храм во имя Христа Спасителя. Его в тридцатом году начали разрушать вручную, потом взорвали. Взорвали ночью. Жители, которые жили недалеко, вскакивали с постели от страшного грохота. Многие, прощаясь с храмом, плакали. Он, Иван Денисович, жил на Вилоновском спуске. Таясь жил. Убежал из своей Кротовки, скрываясь от раскулачивания. Работал потом на разборке завалов, оставшихся от храма, знал кое-что. Потом из материалов храма был построен Дом культуры, нынче он Театр оперы и балета. Теперь там пляшут и поют... Площадь называлась Коммунальной. Каково? А ещё из останков Кафедрального собора строили погреба, печи жилых домов... Соорудили на площади Революции и ещё где-то в двух местах, не помню, общественные туалеты.

— Вера, ты для чего мне всё это говоришь? Пожалей...

Тётя не унималась:

— Храм-то во имя Христа Спасителя построен был!

Она умолкла, устав от сказанного. Как же Христос мог быть впереди всего этого?.. Впереди революционного патруля? В этом Блок увидел преображение мира? Это не Богово, это Блока заблуждение...

Взмахнула рукой, как подбитым крылом. И лицо её показало мне одним большим птичьим клювом.

Произнесла совсем уж саркастически:

— Согласна! Велик поэт! Но зачем же так? Мне его не понять!.. И вас тоже, кто остаётся...

* * *

Вскоре после этого разговора с тётей Верой случился инсульт. Была прекрасная пора бабьего лета. Живи и радуйся!..

...У тёти парализовало ногу и руку. Стало плохо с речью. Учились заново говорить, читая по слогам вслух русские народные сказки. Дела шли на поправку.

...И всё бы ничего, но она упорно сбивалась на разговоры о пережитом. Глаза её тогда вновь лихорадочно блестели. Получалось невнятно, непонятно нам. Она плакала...

Не стало её под самый новый 1975 год. Тётя Вера так и умерла — не в ладу с окружающим её миром...

«Будто метка на мне?» — помню, так она сказала, ещё до инсульта.

Это её всю жизнь мучило.

С этим и ушла...

Болотная черепаха

...С Сашей часто случалось что-нибудь забавное или смешное. Он был непоседлив. Всё ему надо было куда-то ехать, что-то посмотреть, с кем-то встретиться...

Саша и Женя Корсаков построили своими руками добротную деревянную лодку, купили в складчину лодочный мотор «Вихрь-25». На лодочной стоянке под Липягами обустроили место. И мы стали на этой лодке совершать дальние поездки по Волге.

Цена на бензин была чудная. Не было таких, как сейчас, заправок. Приезжал бойлер с бензином на лодочную станцию, мы заправлялись.

Часто Саша выходил на дорогу и голосовал. Редко из шофёров кто отказывал. Двадцатилитровая канистра бензина стоила тогда, в семидесятых годах, полтора рубля. Дешевле газировки.

Если спуститься вниз от лодочной станции по речке Криуше, и, не выходя на Волгу, свернуть вправо в протоку, то окажешься на замечательном Двубратном озере. Здесь обычно тихо. Гудят где-то на Волге пароходы, слышны звуки работающих лодочных моторов, а здесь — идиллия. Кроме нас, только два-три рыбака либо на лодке, либо на берегу да пёстрое стадо коров жителей посёлка Гранный. И пугливые цапли у камышей.

Тут, среди кулижин камышей на ровенькой озёрной глади я впервые поймала первого своего линя. Да такого здоровущего! Уже этого одного мне хватило бы с лихвой, но в ту поездку нас ждало ещё одно чудо!

Наша лодка ткнулась в поставленную кем-то сетку в воде, около самого борта показалось на миг и вновь ушло под воду необычное, зелёное, никак не похожее на рыбу существо. Саша приподнял веслом верх сетки, и мы увидели запутавшуюся в снасти крупную, как потом мы узнали, болотную черепаху.

Мы достали зелёное чудо из сетки. Черепаха несколько нас не боялась. Привезли домой, совсем не зная, чем её кормить, как поступать с ней дальше. Начали жалеть, что зря привезли её в город, лишили нормальной жизни на природе. Но было сомнение: разве у нас в Поволжье водятся черепахи? Может, её просто кто-то случайно оставил на озере? Скорее всего, она домашняя. Мы бы бросили её, и она могла погибнуть. Так мы думали.

Черепаха у нас дома обжилась. Ела кильку, капустаные листья.

Никто из знакомых не верил, что черепаха не домашняя.

Саше почему-то было очень важно установить: живут ли в наших краях на воле черепахи.

И установил! Пошёл с сыном Колей, захватив черепаху с собой, в школу. Там они втроём с учительницей биологии нашли подтверждение у самарских учёных: да, болотные черепахи водятся в Поволжье. Но человеку на глаза попадаются редко.

Нам с Сашей повезло на Двубратном.

Черепаху Саша подарил школе. Она жила у них долго, всё время, пока Коля учился там. Потом уж, не знаю, какова её судьба.

Я рассказываю сейчас о той поре, когда мы только-только начинали с Сашей наши путешествия. Потом-то были походы на лодках по Жигулёвской кругосветке, в село Ширяево, где Репин писал своих «Бурлаков на Волге», в Астрахань! Много чего было...

...Сашу интересовало порой самое неожиданное.

Когда начал учиться в институте, увидел в одном из учебных его корпусов копию картины Перова «Тройка». Большая картина такая, висит на стене лестничной площадки меж этажами.

Саша поразился: «Тройка» Перова и знаменитые «Бурлаки на Волге» Репина — обе картины об одном. О подневольном, невыносимом труде. Только в одном случае — о детском, в другом — о взрослом.

«Знать бы, — говорит мне, — кто первый из них написал свою картину, идея одна?»

— Зачем тебе это? — спрашиваю.

— Интересно! — отвечает. — Как это бывает у художников.

Были они знакомы? Обсуждали или нет сюжеты?

Вот у учёных бывает же такое, когда они независимо друг от друга открывают законы, изобретают одинаковые конструкции. Почему так происходит? Кто из них родился раньше? Репин или Перов?

Он ринулся в библиотеку, разыскал биографии художников. В библиотеке его надоумили сходить в областной художественный музей: там должны быть картины Репина. Это для нас обоих было неожиданным.

В музей на улице Куйбышева, 92, мы пошли вместе. То, что мы увидели, поразило! Как мы могли жить совсем рядом и не знать об этом чуде!

Я никогда и в голове не держала, что у нас в Самаре есть подлинные произведения Поленова, Саврасова, Куинджи, Васнецова, Сурикова, Тропинина, Боровиковского, Брюллова... Не думала об этом. Привыкла: Эрмитаж в Ленинграде, Третьяковская галерея в Москве...

Картины Репина «Король Альберт» и «Композитор Рубинштейн» привлекают в музее взгляд сразу. Мимо них трудно пройти. Отыскали мы и «Пейзаж с лодками» Репина, который он написал на Волге, у села Ширяев Буерак.

Ошеломила коллекция более чем из тысячи экспонатов бывшего владельца Жигулёвского пивоваренного завода Аль-

фреда фон Вакано. Среди них скульптуры из бронзы и мрамора. Из Китая, Японии. То, что увидели и узнали мы в музее, окрылило нас. Мы оба чувствовали гордость за город, в котором живём.

Зримо ощутили себя причастными вместе с городом к мировой цивилизации. Не менее того!.. Звучит высокопарно? Но это так! Такими мы были.

Когда приехали в село Ширяево, где Репин писал своих знаменитых «Бурлаков на Волге», Саша так уже много знал о художнике, что мог рассказывать о нём не хуже тамошних экскурсоводов...

На Самарской ТЭЦ

...Вот ещё о самарском характере.

Там, где раньше было озеро Ветлянное, где охотились горожане на уток, мы строили Самарскую ТЭЦ. Новым микрорайонам города необходимо было тепло. Ей теперь, этой ТЭЦ, уже более 40 лет. Пустили в семьдесят первом.

А тогда?.. На станцию меня перевели за полгода до её пуска.

...В двенадцать часов ночи зажгли факел. Разожгли первый котёл. Ликование! Ведь город ждал пуска. Ждал тепла. А наутро ураганный ветер. У семидесятиметровой высоты дымовой трубы одна из трёх фиксирующих её металлических растяжек оторвалась. На самом верху. Металлическую трубу раскачивает из стороны в сторону, как гигантскую тростинку. Внизу котельный цех, цех химочистки, продуктопроводы. Если труба рухнет на всё это... Жуть!.. Что делать?..

Прибыло руководство станции, монтажники, которые ввели эту трубу. Никто пока не знает, что делать...

Никаких приказов, распоряжений. Общее оцепенение...

И тут из толпы отделяется небольшая фигурка — начальник котельного цеха Михаил Иванович Бурдин. Негромкий такой. Всегда приветливо улыбающийся. Молчком лезет на самый верх трубы. На ней были такие скобы. Труба качается — он лезет. Я закрываю глаза. Мне страшно. Кажется, что сейчас он, как щепка, слетит вниз на свой цех. Либо труба рухнет вместе с ним. И его не найдёшь в завале.

Открываю глаза, а он уже спускается вниз. Как кошка! Втроём: он, сварщик и слесарь — крепят конец растяжки за верёвку, лезут вверх. И тянут её за собой. Тянут ещё и сварочный кабель.

Там, наверху, они приваривают к трубе крюк. На него, изловчившись, набрасывают петлю растяжки и так ловят «гуляющую» многотонную трубу.

Что это? Подвиг? Трудовые будни? Характер!

* * *

Самарская теплоэлектроцентраль. Это та удача в моей жизни, которая свела меня с друзьями, сослуживцами. За время её строительства я тесно была связана с монтажниками, слесарями, наладчиками. С самыми простыми работниками.

Школа жизни. Круглосуточно работали. Трудились, чтобы дать тепло городу! Я особо, ещё и по-своему понимала, что такое тепло в доме. По блокадному Ленинграду помнила.

Говорят, что это были годы застоя. И связывают их напрямую с одряхлевшим Брежневым.

У меня не поворачивается язык так говорить. Когда мы приехали в Самару (у меня теперь никак не выговаривается: «Куйбышев»), была на всю область только одна старушка ГРЭС, работавшая на угле. А потом до перестройки появились, кроме Самарской, Безымянская ТЭЦ, Сызранская, Тольяттинская, две Новокуйбышевских, ТЭЦ ВАЗа и несколько больших котельных. Они что? Сами выросли? Была успешно создана мощная энергетическая база для промышленного узла всей страны. Это уж потом потащили всё по углам. И при каждой ТЭЦ: детские бесплатные садики, профилактории, рабочие общежития. Приличный жилищный фонд, который ежегодно пополнялся новыми домами...

* * *

По три миллиона в год почти прирастала страна населением. Не вымирала! Прирастала! И «хрущёвки» сыграли свою роль. Они дали такой толчок! Знаю, что говорю. После бараков и коммуналок и в «хрущёвке» жила. Народ вздохнул. Вселя-

лись миллионы людей бесплатно в новые квартиры. Находились силы и воля для этого у Державы.

И это после недавней войны, в условиях навязанной гонки вооружений. И когда мы кому только не помогали за рубежом? А ведь в то время были самые низкие цены на нефть!..

И не только «хрущёвки» строили. Возьмите Волжский проспект. На его месте находились пристани, рынок, хлебные амбары, склады строевого леса и дров. И вдоль всего этого тянулась Пристанская улица. Я уж говорила об этом...

И вот началось на моих глазах строительство «сталинок» и благоустройство набережной. До 50-х годов не было вообще набережной.

Первые «сталинки» начали заселять, помню, уже в 1955 году. Чудо, а не дома по тем временам! Монументальные сооружения от Маяковского спуска до завода «Кинап» — завод киноаппаратуры, хотя главная задача его была выпускать противогазы. Его закрыли вот уж в 2000 году. Теперь на этом месте развлекательный центр.

А «сталинки»!.. Большие подъезды, высокие потолки в комнатах. Много света во дворах. И много зелени. Верилось, что идём к коммунизму! И жить будем все в таких домах!

...Потом пришло время, начали громоздить «стекляшки». Ни уму, ни сердцу. Сплошные спальные районы. Забыли про «сталинки».

Теперь они ветшают. Эти когда-то монументальные сооружения. Слух пошёл, что подлежат сносу... Знать, кому-то понадобилось место у Волги под новострой. Строим теперь новое. И сами не знаем: что строим? Для какого будущего?

Ветшает и 1-й корпус СамГТУ — последний образец, как говорит мой зять, сталинского ампира в Самаре. Проектировал его московский институт «Гипровуз». Этот институт проектировал и здание МГУ на Воробёвых горах.

Мой Саша учился в 1-м корпусе СамГТУ, он тогда назывался индустриальным, потом политехническим институтом. Мне нравился он очень! Парит над Волгой!

Была у меня мечта после техникума поступить в политехнический. Не сложилось...

...Вот бы такого застоя ещё на 2-3 десятка лет. Нарастить бы мускулы, а уж потом — реформируй! И не всё сразу... Надсадились...

Я так сказала совсем недавно меж своих, а один мой дальний родственник мне:

— Вы, Ольга Михайловна, перепутали что-то.

— Что, — спрашиваю, — перепутала?

— Страны, — отвечает, — перепутали. Мы с вами живём в России, а не в Китае. С географией у вас не того...

И довольно льбится. Что ему скажешь?

На сорок лет моложе меня, а... Всё ему по барабану, как говорит мой сын Коля.

Каждый свой разговор начинает анекдотом, анекдотом и заканчивает... Где мужики-то сейчас основательные? Вывелись в стекляшках этих?..

Чёрные дни

Осенью 76-го не стало моего Саши.

Как случилось? Я до сих пор не могу понять. Поехали они с Корсаковым на рыбалку. Всё как обычно. Но без меня. Дел дома накопилось. Уж больно торопились они в тот раз. Дотемна после работы хотели добраться к месту. Я отговаривала, будто предчувствовала. Говорила, чтоб утром ехали, без ночёвки... Но где там, разве их остановишь?

До Крутца они не добрались. Заночевали где-то в стогу сена на полпути, за Крестами. Там и рыбачили утром. Больше никуда не ездили. Прошло, наверное, около недели, и началось с ними обоими...

Высокая температура, головная боль. Насморк, кашель. А у Саши до того ещё давление начало скакать. Я гнала его в поликлинику, это ещё до рыбалки. А ему всё некогда. Он работал тогда механиком цеха на Четвёртом ГПЗ. Отмахивался.

Когда у обоих начались похожие боли в пояснице, в животе свота, — опомнились. Пошли к врачам. Женя у себя, в Новокуйбышевске, Саша — тут, в Нефтянку. Их положили в стационары.

У Саши накануне температура подскочила до тридцати девяти градусов, он стал плохо слышать. Всё как-то очень быстро развивалось.

Оказалось, геморрагическая лихорадка. Очаговая инфекция. Раньше мы слышали, что есть такая зараза от мышей. Но почему-то считали, что она обычно бывает весной. А тут — октябрь месяц.

У обоих у них пошло сильное осложнение на почки. У Саши ещё возникло воспаление сердечной мышцы и внутреннее кровоизлияние.

Это были самые чёрные дни в моей жизни. Самые погубительные.

Через две недели Саша умер. Женя промаялся ещё столько же и выжил, но остался с одной почкой.

Жизнь моя остановилась. Я не хотела жить без Саши. Не знала, что делать с собой...

Апельсин на двоих

Всякое было и в «застойные» годы, и после.

Наш бывший первый директор ТЭЦ рассказывал, я оказалась невольной слушательницей. Уже перед самым пуском только что построенной станции поехал он в Москву на Старую площадь на окончательное утверждение в должности.

Попутчиком оказался главный инженер Безымянской ТЭЦ, он ехал на утверждение директором всей Волгоградской энергосистемы. Расположились в купе. Принесла им проводница чай.

Попутчик говорит:

— Слушай, Борис Фёдорович, давай разъедем вот это!

И достаёт один-единственный апельсин. А что такое апельсин в Самаре в 70-е годы? Страшный дефицит! Оранжевое чудо! Ребятишки годами не видят.

— Как можем? — отвечает. — Дети дома! А мы, два таких здоровых мужика, будем есть?

Задумался главный инженер на минуту. И махнул рукой:

— Нам простят. На такое дело едем.

Наш директор в то время тысячами людей командовал. Огромными денежными средствами распоряжался в пределах, конечно, дозволенных смет. А тут апельсин этот...

Так вот жили. Жалко, свидетелей той жизни всё меньше остаётся. Некому возразить теперешним говорунам.

Я почему вспомнила этот случай? Это тоже характер самарский. Самара и до войны, и после неё трудилась на Державу. Забывая о себе. Это у неё в крови! На то она и столица, пускай и «запасная».

Самаре, самарскому характеру я обязана тем, что нашла себя в жизни, многое увидела, многому научилась... За это ей спасибо! Спасибо самарцам! Многократное!

Оглядывалась на храм...

Оба моих сына окончили политехнический институт.

Рома несколько лет проработал в Куйбышеве. Потом познакомился с москвичкой, приехавшей к нам в город. Женился и подался жить к ней в столицу.

Не прилеплялась порода Кириллиных к Волге никак.

А Коля, мой младший, — волжская душа. В отца. Без Волги, без рыбалки — будто и не он.

Он Рыба по гороскопу. Вот и говорит: «Куда ж мне, Рыбе, от большой воды? Никак нельзя отрываться!»

Вся моя жизнь, которая без Саши осталась, держится теперь на моём Коле.

Рома, если раз в месяц позвонит — и то хорошо! А Коля каждый день либо в обеденный перерыв заходит, либо после работы. А если не удалось зайти, то обязательно позвонит...

Иногда прибежит просто так. «Как хорошо-то, — говорит, — в нашей квартирке, побуду у тебя — как в детство окунусь своё! Молодею душой!»

Просит, чтобы я ничего не меняла без него в квартире. А я ничего после Саши и не меняю, сколько лет.

Сын сам кое-какой ремонт сделал к моему 85-летию. Доволен был больше, чем я.

* * *

В начале девяностых стали мы с Колей ездить к святым источникам. У нас в Самарской области их, оказывается, около трёх десятков. В село Ташлу Ставропольского района и в Свято-Троицкий храм, где хранится явившаяся когда-то людям бесконечно почитаемая икона Божьей Матери «Избавительница от бед», мы ездили ещё когда не было там ни стоянки для машин, ни столовой, ни гостиницы.

...В этом году в конце мая, перед самой Троицей, наконец-то выбрались мы с сыном в Утёвку. В Троицкий храм. Уже и туристический маршрут туда открыт. А мы так, своим ходом. Свободнее. Прочитали вашу тонюсенькую книжицу «Радостная встреча» о жизни безрукого и безногого художника. И потянуло побывать в Троицком храме — захотелось поболее узнать о Григории Журавлёве.

Я, может, и рассказываю так подробно о своей жизни потому, что поверила вам. Книга ваша помогает.

Ну вот.

Подъехали мы к церкви в Утёвке, а она закрыта. Что делать? Смотрим, молодой человек в простенькой одежде такой, траву косит. Вручную. Валки свежескошенной травы веером расходятся.

— Скажите, как нам побывать внутри храма?

Остановился, смотрит карими глазами открыто и внимательно. На смуглом лбу капельки пота.

— А зачем вам в храм? — спросил.

— Как зачем? Интересно посмотреть. Про безрукого художника Журавлёва читали вот с сыном, — отвечаю.

— Любопытствующих много, — сказал с лёгкой досадой человек с карими глазами. — Помолиться приехали? Или как туристы?

Я стушевалась под его внимательным взглядом.

— И помолиться, — говорю.

— Не видно, что помолиться. Вы же в брюках? Вы не в храм приехали. Когда подошли к храму, не перекрестились...

И тут только я смутно начинаю соображать, что этот, ещё молодой по сравнению со мной, человек не просто рабочий... И эта густая, как смоль, чёрная борода...

«В брюках»!.. Я просто замешкалась, когда подъехали, увидев большой амбарный замок на двери храма. Думала, неудачный день у нас получился. Ведь я же готовилась ещё дома. И юбку с собой взяла, и платок.

Сын рядом стоит с нерешительным видом.

А молодой человек:

— Я священник этого храма. Приезжайте в следующий раз в подобающем виде.

— У меня всё есть, только в машине, — говорю. — Я просто растерялась, увидев закрытую дверь храма.

— Откуда приехали? — спрашивает.

— Из Самары, — отвечаю.

— Тогда идите, приводите себя в порядок. Я в храме буду, только переоденусь.

Побежала я к машине. Вот неумеха!

Больше часа он с нами пробыл в храме. С виду требовательный, а оказался доступным таким. Много рассказывал о Журавлёве. Подарил нам открытки с его работами. К дому, где жил художник, к могилке его сводил.

Коля потом в удовольствие вместе с отцом Анатолием траву покосил вокруг храма. Её там целый стадион. Дочка священника принесла нам в цветных кружках чай, кое-что пожевать.

Когда отъезжали, я всё оглядывалась на храм. Крестилась. Давно у меня такого покоя и просветления на душе не было, как тут, в этой простоте. Такая она, наша Держава, — дом Пресвятой Богородицы, Иерусалим Нового завета.

...Мне кажется: начнись моя жизнь с начала, ходила бы я по святым местам. Или жила бы где-нибудь возле, около монастыря. В простоте народной, со всем русским людом! Вместе, едино... Часто об этом думаю...

В рубашке нарядной...

*На Волге широкой, на стрелке далёкой
Гудками кого-то зовёт пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки
В рабочем посёлке подруга живёт.*

Бывало, как запоют эту песню, я и встрепенусь! Последние десятилетия её не слышно уже... Не поют такие песни. Некому. Эта песня не только про город Горький. Народная она. Про народную реку Волгу, про жизнь нашу. Ей ни телевизоры, ни магнитофоны не нужны были. Лучшие песни наших лет были народными, как эта. Они сами пробивали себе дорогу к сердцу, без ходулей. Как изумительно пел её Георг Отс!

Был и другой её исполнитель — Владимир Нечаев. Нечаев жил в этой песне. У Саши был голос. И он часто пел «Сормовскую лирическую». Мне так и казалось всегда, что Владимир Нечаев и Саша Белозёров с одного волжского города, а может, с одной самарской улицы. Так всё было в их пении близко и

знакомо сердцу. Каждый выдох-вдох в песне, каждая интонация — родная!

*В рубашке нарядной к своей ненаглядной
Пришёл объясниться хороший дружок.
Вчера говорила, навек полюбила,
А нынче не вышла в назначенный срок.*

Когда мы собирались за столом компанией, пели песни. Непременно кто-нибудь просил спеть Сашу «Сормовскую лирическую». У нас был свой Владимир Нечаев.

Была наша Волга, была своя проходная ТЭЦ либо завода, без которой мы не мыслили свою жизнь. Была наша Родина! Такая, которой уж и нет теперь...

*...А утром у входа родного завода
Влюблённому девушка встретится вновь.
И скажет: «Немало я книг прочитала,
Но нет ещё книжки про нашу любовь».*

Совсем недавно услышала, как поёт эту песню Олег Погудин, из молодых. Первый раз за последние лет двадцать слышала. Живёт песня! Спасибо. Может, не всё уходит бесследно?!

* * *

Я который год ношу в себе сопротивление, несогласие с тем, что сказал когда-то Державин:

*Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.*

*А если что и остаётся
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.*

Уж больно безжалостно заявил классик!

Наивной выпляжу?.. Но ведь это и молодёжь читает... Ей жить и вершить!.. Я вот о чём, о жизни после нас говорю...

...Мы не исчезаем без следа. Раз я помню маму, тётю Веру, Сашу, Кириллиных, Таню Брусникину, друзей, то они — живы! И мы живы!

Как у родника

Коле захотелось побывать в тех местах, где жил, рыбачил и охотился Сергей Аксаков — автор книжек про рыбалку и охоту. Сын их читал несколько раз. Повесть «Записки об ужениии рыбы» он ценил ещё и как память об отце, подарившем её ему в третьем классе. Охотником Коля не стал, но... «Записки ружейного охотника Оренбургской области» у него на полке стоит среди любимых книг... Сейчас-то мы далеко уже с ним не вырываемся. У меня камешки в желчном пузыре. Иногда сильные боли бывают. Врачи категорически против моих поездок, а операцию делать не решаются: «Сердечко слабенькое». А у кого оно сейчас при такой жизни железное? Я настаиваю на операции — они откладывают.

Мы с Колей наметили крайний срок: этой осенью избавиться от камней. Добъём врачей.

...Теперь у Коли машина с кондиционером. Разузнал он, как добраться до села Аксаково Бугурусланского района, мы и махнули.

И как хорошо получилось! Столько увидели мы. Село Аксаково основано было Степаном Михайловичем Аксаковым, дедом писателя. Аж в восемнадцатом веке.

Детство писателя прошло в этом селе. Это здесь ключница Пелагея рассказывала ему русские сказки. Здесь от неё он услышал историю про аленький цветочек. И записал эту сказку.

Я ходила, старая, не дыша. Всё было такое своё до слёз. И так было отратно на душе. Как у родника!

* * *

...Оказывается, столько замечательных людей выпорхнуло из родового гнезда в селе Аксаково. Сам Степан Михайлович, дед писателя, жил во время восстания Пугачёва в Самаре, потом вернулся в село.

В селе Вишенки было имение Сергея Тимофеевича. Его сын, Григорий Сергеевич, не только был самарским губернатором, но и почётным гражданином города Самары. В этом году будет 195 лет со дня его рождения. В Самаре жила внучка Сергея Тимофеевича — Ольга Григорьевна.

...Недалеко от Аксаково в селе Державино стоит храм Смоленской иконы Божьей Матери. Храм построен в восемнадцатом веке на деньги Гавриила Державина.

Кто из нас не помнит со школы пушкинское:

*...Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...*

Надо же, благословил будущего первого поэта России, можно считать, наш земляк! Раз когда-то Самара входила в Оренбургскую область.

В этой поездке мне стало не по себе, от того, что так мало знаю.

...В селе Языково покоится внучка Сергея Тимофеевича — Ольга Григорьевна. В Страхово — прах Григория Сергеевича, жены его Софьи и сына Сергея Григорьевича.

Как не почитать такую землю?!!

* * *

В наших с Колей планах на этот год побывать в селе Павловка на родине Алексея Толстого и в Гундоровке — у Гарина-Михайловского. Имена-то какие!

Я по-настоящему их открыла, когда уже подрастал мой Коля. Вместе с ним читала «Детство Никиты», «Детство Тёмь». Какое времечко было... Самое — моё!

В замочную скважину

Моей мамы не стало в 90-м. Она лёгкой сделалась к концу жизни, как пушинка. Мою стройную маму едва бы кто узнал из прежних знакомых. Ноги у неё согнуло колесом, стала она маленькая ростом.

Тётя Вера собрала все болезни. У неё болели сильно руки, глаза. Страдала желчно-каменной болезнью. И всё это на фоне сахарного диабета. Последние три года была на инсулине.

Мама ничем вроде и не болела. Пошаливало иногда сердце. Моя хрупкая, слабенькая мама просто износилась. Легла вечером спокойно спать, а утром не встала. Сердце остановилось во сне. Жила, никого никогда не обременяя, и умерла незаметно.

Прошло года два — и захотелось мне побывать в Ленинграде, в Санкт-Петербурге по-теперешнему. Посмотреть город, походить по его улицам.

Поехали мы с сыном Колей и дочкой его Ксенией.

— У вас бывает такое горячее желание — побыть там, где родились?

— Бывает, — отзываюсь я. — У меня родители жили недалеко от Самары. Я частенько бываю в родных местах.

— И в доме, где родились, бываете?

— Конечно. Там живут чужие, не родственники — Абдряшитовы.

— Не русские?

— Татары. Мясум Тагирович и Файля Исмаиловна — однокашники моего брата. Очень гостеприимные. Когда прихожу, всегда принимают с радостью. Недавно горе у них случилось. Умер зять. Хороший был человек. И врач хороший.

— А у меня всё по-другому с моим домом.

Ещё когда готовилось торжественное открытие мемориала в память о погибших ленинградцах, в мае 1960 года, мы с Сашей собирались поехать, но у него с отпуском не получилось. Так всё и откладывали.

...Приехали. Удалось удачно устроиться в гостиницу.

Сразу направились в первый день на Пискарёвское кладбище — самое большое захоронение жертв Второй мировой. В ста восьмидесяти шести братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбёжек, и 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда.

Больше всего умерло в зиму 41-42 годов — около двадцати тысяч.

Я видела, с каким лицом читала моя внучка перед входом на кладбище текст на мемориальной доске. Там указано, сколько с сентября 1941 года по январь 1944 года на город было сброшено авиабомб, выпущено снарядов. Сотни тысяч. Трудно представить...

Десятки тысяч убитых и раненых.

Больше шестисот тысяч человек умерли от голода. Больше почти в пять раз, чем жителей города Новокуйбышевска. Пять городов таких!

Мне и то трудно было видеть эти сдавливающие сердце строки... Трудно враз вообразить масштаб содеянного...

...Встретиться с Игорем Кириллиным ни у кого из нас желания не было. Знала я от Ромы, что большой артист из него не получился. Был директором музыкального училища какое-то время. Потом, уж не знаю, кем работал. Я у Ромы не интересовалась больно-то.

* * *

Как только город на Неве не назывался. Санхт-Питерсбурх — при Петре, ещё Санкт-Петербург, Петербург, потом Петроград, затем — Ленинград. С 1991 года — Санкт-Петербург снова. А для меня он Ленинград на всю жизнь мою.

К новому-старому названию «Самара», которое вернули городу в том же 1991-м, сразу привыкла. Не привыкла — сроднилась. А вот к «Санкт-Петербургу» — никак!..

* * *

К концу третьего дня, когда пробежкой побывали в Эрмитаже, в Исаакиевском соборе, возникло у меня, не утерпела, желание зайти на нашу квартиру на Серпуховской. Посмотреть! Живы ли наши печки с изразцовой плиткой, которые я нет-нет да и вспоминала в Самаре? Как всё теперь там?

* * *

...Вошли в подъезд, поднялись на нашу лестничную площадку — сердце запрыгало в груди. Коля тронул за руку:

— Мам, успокойся.

— Да я ничего, — говорю.

— Ничего, — пищит внучка, — у тебя лицо, как не твоё, — белое-белое...

Смотрю на дверь. Наша дверь, ещё довоенная. Только перекрашенная в более светлый коричневый цвет. И звонок другой.

Ладно. Нажимаю на звонок. Не сразу отозвались. Видно, кто-то шёл из дальней комнаты.

— Кто там? — прозвучал хрипловатый немолодой голос.

— Откройте, — прошу, — мы здесь до войны жили. Это наша бывшая квартира, — зря я, конечно, сказала слова: «наша бывшая квартира». Можно было бы по-другому...

За дверью — молчание.

— Глянуть бы одним глазом... — чувствуя какую-то свою вину, попросила я.

Отозвались за дверью не сразу:

— Мой отец эту квартиру получил на законном основании. Какие могут быть вопросы? Он освобождал город...

— У нас нет вопросов. Мы всего лишь, — поспешил мне на выручку Коля, — посмотреть...

— Я только что выписался из больницы, мне трудно всё это. Оставьте в покое, — уже более твёрдо прозвучало за дверью.

Послышались удаляющиеся шаги.

Мы безнадежно переглянулись.

Я всё больше и больше начинала чувствовать нелепость своей затеи. Внучка потянула меня красноречиво за рукав.

И тут я неожиданно для себя, к изумлению своей внучки, нагнулась и прильнула к замочной скважине.

— Бабушка, ты что? Подглядывать нельзя! Стыдно...

Мне было не до неё. Я видела в большом длинном коридоре нашу мебель. Наш книжный шкаф! И массивное кресло, которое я тогда, в холодном 42-м году, не осилила разломать на дрова для буржуйки.

Ксюша нетерпеливо дёргала меня за руку.

Я выпрямилась.

— Какой смысл им открывать нам? — нелепо произнесла я. — У них своя жизнь.

В голове крутилось: «Мне ещё повезло: я увидела кусочек своей прежней жизни. Пусть хотя бы так — в замочную скважину!»

Мы вышли на улицу и подались к метро.

* * *

...Потом-то, когда в компании сына ребята пели:

По несчастью или к счастью,

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места...

Думала: может, так и есть. Так правильнее...

А у меня — моё. Нельзя жить всю жизнь с необрезанной пуговиной... Верно. Но... Слов не подберёшь, чтоб, что чувствую, сказать...

...После того случая с «замочной скважиной» меня ещё крепче потянуло на наши волжские просторы.

Стала я Самару осознанно воспринимать, как свой дом. Единственный. И так хочется, чтобы он был уютным.

Начали мы с Колей и внучками собирать вырезки о Волге, нашей Самаре, Жигулёвской кругосветке, Самарской Луке...

Столько нового открылось нам. Успеть хотя бы часть посмотреть...

Есть, конечно, и горестное в теперешнем нашем знании. Но куда от этого деться? Стоит ли прятать голову в песок?

Все всё знают...

...Вот возьмите из моей подшивки о Волге. Или давайте я сама прочитаю: «Что-то неизмеримое, вечное и питающее. Русским Нилом мне хочется назвать нашу Волгу. Придёт время, и бассейн Волги сделается территорией такой же цветущей, хлебной и счастливой цивилизации, как и побережье великой африканской реки».

Это написал Василий Розанов.

Как только ни называли нашу Волгу. В древности — Ра, то есть «щедрая». Арабы в средние века дали ей имя Итиль, что означает река рек. Нынешнее название — Волга — вроде бы финское, означает «светлая, священная».

Волга — центр России, где проживает почти половина населения нашей страны.

...Когда-то мы с Сашей прошли на лодке до Астрахани. А в середине восьмидесятых уже с Колей, сыном, на теплоходе «Валериан Куйбышев» проплыли до устья Волги. Смешанное чувство. И радостно, и горестно от увиденного. Хотя что больно-то увидишь с борта теплохода. Но и этого хватило. И не по себе стало...

Все всё знают. И какая Волга была до вмешательства человека, и какой стала после создания рукотворных морей на Волге. Сколько водилось и добывалось рыбы прежде, чем река из могучей полноводной превратилась в цепь водоёмов со слабопроточной водой. Сколько было вырублено леса перед зато-

плением плодородных площадей, сколько затоплено населённых пунктов... Всё более-менее известно...

...Теперь стоячая вода, потеряв способность к самоочищению, не только не может давать человеку силы для жизни, для выживания — она становится антисанитарным водоёмом. Вот вам и морской свежак, о котором писал самарский поэт. Когда ещё под натиском собственной неразумности начала заболачиваться наша жизнь...

Сейчас Волга молит о помощи! А мы видим, слышим... И только говорим... Дела нет!..

Мне, кажется, понятно, почему только говорим. Слишком уж много наворочали, возомнив себя всемогущими. Теперь в бассейне Волги более сотни гидроузлов воздвигнуто. Это водохранилища, плотины, каналы. Река не река уже, а соединённые друг с другом водохранилища. Шутка ли: только на самой реке, не считая притоков, сооружено восемь плотин.

Взять бы и спустить некоторые из них! Допустим: Куйбышевское, Саратовское... Вернуть естественное состояние реке. Но никак теперь этого делать нельзя! Уже как-то что-то сформировалось, живёт по своим теперь законам. Вернуться к прежнему — такое же получается варварство, как необдуманное строительство водохранилищ без расчёта последствий.

Вот и идут дебаты. А река гниёт...

Ладно бы только с главной нашей рекой так поступили. С самой нашей жизнью, с укладом её — то же самое. И вперёд неведомо как идти? И назад нельзя!..

Как хорошо, что одумались в своё время в 70-х годах и отказались от полоумной затеи повернуть северные реки на юг. Взбредёт же такое в голову. Так же вот теперь бы корёжило всех от последствий затмения в собственных головах...

...Порой вздрогну. Покажется, что Волга знает всё про нас. Всё помнит. Терпение у неё такое... И судьба... Она свидетель...

...Что бы теперь сказал о нас, о Волге нашей Розанов? Сравнил бы с африканцами?

Говорю так, а у самой перед глазами увиденное с сыном Колей. Не на Волге, на младшей сестре её — реке Самаре.

Только мы в тот раз подъехали к Сорочинскому водохранилищу, сразу я почувствовала что-то неладное. Метров на пятьдесят влево-вправо у плотины поверхность воды словно

кипит. Пригляделись: подлещики, распухшие от глистов, в агонии бьются, пытаюсь уйти в привычную глубину. И не могут. Обречены. Запруда сделала своё дело...

...На наших глазах двое из местных подъехали на мотоцикле. Не обращая на нас никакого внимания, один из них черпаком с длинной такой ручкой, войдя по колени в воду, начал черпать сразу по два — по три полукилограммовых и более рыбин. Другой деловито набивал уловом большие, какие бывают у «челноков», сумки. Мы подошли поближе.

— И куда товар? — спросил Коля.

— Куда? — легко отозвался тот, который с черпаком. — Сегодня воскресенье. На рынок!

— Можно разве? — ужаснулась я. — Солитёрные они...

— Можно. Мы и для себя. В СВЧ-печку — и всё нормально! Обычное дело.

«Обычное дело»... Они уехали, а мы всё стояли ошарашенные.

...Не верю я, что подобное станет обычным. Не могу представить, чтоб так загнила наша жизнь...

Быстрины

...До самой пенсии проработала я в энергетике. Вначале на ГРЭС, потом на Безымянской ТЭЦ, на Самарской, позже в энергонадзоре. Около сорока лет была счастлива замужем. У Тани Брусникиной восемь, у меня шесть внуков и правнучек. Больших должностей не занимали. Но у нас была любимая работа. Хорошие семьи. Мы обе знаем этому цену.

...Свои блокадные восемь месяцев по-прежнему я забыть не могу... Что ни делай...

Хлеб для меня и сейчас не просто еда либо часть бутерброда. Хлеб — основа всему. Режу я его тоненько-тоненько. Например, «Бородинский» или «Дарницкий». Люблю есть ломтики просто так. Без ничего! Чтобы ощутить тот вкус и аромат, которого не хватало в блокадную зиму.

Сентиментальной старушкой стала. Мама моя не была такой. Она и в старости не хлюпала носом.

...Часто, как наяву, слышу её ставший глуховатым голос:

Свирель запела на мосту.

И яблоки в цвету!..

* * *

Этим летом правнучка моя Вера приезжала из Германии погостить. Вышла замуж за немца. Живут в Мюнхене.

Когда ехали по Волжскому проспекту, Коля — её дед показывает на старенькое, обшарпанное здание бывшей столовой ГРЭС и говорит:

— Вера, вот здесь твоя прабабушка Оля трудилась в сорок седьмом году подсобной рабочей.

Вера искренне так удивилась:

— Бабушка! Как ты могла? В этой развалюхе, подсобницей? Ты такая у нас интеллигентная...

Смотрю на неё... И теряюсь: не глупая ведь. Совсем не глупая. А что говорит?

Другая жизнь настала... Песни другие, кино — другое...

...Спыхватишься вдруг: нет рядом сверстников... Обмолвиться бы с кем душевно...

...И через столько лет слышится молодой Блок:

*Смотри, какие быстринь,
Когда ты видел эти сны?..*

* * *

Вчера, когда вы ушли от меня, был звонок из администрации района. Власти определили порядок: таким, как я, попавшим под блокаду Ленинграда, выделять на похороны по двенадцать тысяч рублей.

Спасибо, конечно.

Но вот беда: не готова я пока помирать...

Обветшала, а от жизни не устала...

Пожить охота!..

*г. Самара,
2015 г.*

За тучами чистое небо

*С благодарностью
Михаилу Яковлевичу Толкачу,
беседы с которым дали толчок
к написанию этой повести*

На хуторе Софиевка

...Работая на железнодорожной станции Сновская Черниговской губернии смазчиком вагонов, мой отец к двадцать второму году заслужил право на получение земельного надела в восемь десятин. Когда у него стало неважно со здоровьем, он уволился, и мы переехали на хутор Софиевка.

Как много необычного открылось для меня с нашим переездом. Лес кругом да болота. Всего двадцать километров от станции, а глухомань.

...Начали мы потихоньку обживатьсья. Появилась корова, потом лошадь. Завозилась и другая разная дворовая живность.

А мне во дворе не хватало собаки. Я даже имя приготовил для неё — Верный. Спал и видел во сне своего Верного, такого же как у Стёпки — моего нового дружка с соседнего хутора. Но только Верный мой был чёрненький с белыми пятнами на мордочке...

...В один из осенних холодных вечеров отец говорит:

— Слушай, Мишка, сбегай за салом. Так захотелось.

Жилая часть хаты и пристрой, вроде амбара — вот всё наше обиталище. Продукты находятся в этом старом амбаре. Во двор выходить не надо. Всё внутри. Сало в бочке, а она — в дальнем углу амбара. Там такая темень... Страшно идти туда, а признаться не могу в этом.

— Я не пойду, — отвечаю.

— Как не пойдёшь?

— Не пойду!

— Не пойдёт он! Вот те на! — смотрит на меня родитель, как на чужого. Покачивает головой тихонько. Потом достаёт из стола бумажную денежку.

— Я тебе заплачу — только сбегай! Зажги вон лампу и сгоняй!

Я туда-сюда... Что мне делать? Пошёл...

...Оглядываясь, прислушиваясь в темноте, шагнул в амбар.

«В десять лет — это, — я думаю, — не для меня одного испытание».

...В амбаре оглушительно тихо и таинственно. Руки мои, держащие керосиновую пятилинейную лампу, дрожат. От дрожащей лампы на бревенчатых стенах гуляют блики. Такие тёплые и домовитые днём, деревянные стены источают теперь жёлтый, неприятный, чужой свет. Жуткий и ядовитый...

Боюсь... Но чего конкретно? Взгляд цепляется за хомут, висящий на стене... Я вздрагиваю... Клешни эти его...

Мне кажется, что если вдруг он соскочит со стены и окажется у меня на шее, вмиг стану беспомощным, не смогу сопротивляться!..

А если сейчас стены амбара... провалятся в землю и двухскатая соломенная крыша обрушится Она же накроет меня, и я окажусь в плену! Буду как в клетке. Стану неспособным дать отпор той непонятной силе, которая затаилась в амбаре: то ли в дальних углах его, то ли меж ларей... Или за бочками, в одной из которых уложены куски свиного сала. Эта бочка кажется мне сейчас самой опасной... Мне даже показалось, что от неё вдоль стены амбара мелькнула жуткая тень... На миг я зажмурился... Когда открыл глаза, ничего и никого вокруг нет. Так стыдно стало за свои придумки... Такого страха у меня раньше не было. Руки мои продолжают дрожать...

...Увидел на стене, на привычном месте, косу и чуть успокоился... Если что, косу схвачу!..

Приближаюсь к нужной мне бочке. И тут спотыкаюсь о большую деревянную крышку, которой обычно закрывается бочка. Сейчас она лежит на полу... Странно. Отец забыть закрыть бочку не мог...

...Беру большой холодноватый кусок сала и спешу подальше от бочки, у которой особо остро чувствую неведомую враждебную силу, затаившуюся где-то рядом.

Обе руки мои заняты. В одной — лампа, в другой теперь кусок сала. Я явно обезоружен, я не могу дать отпор, если что...

Почти бегу к выходу. Неловко открывая одной рукой дверь, роняю на пол сало. Подхватывая его, поднимаю голову и вижу, что жуткое пространство амбара, как пасть огромного кита, сейчас вот-вот хватанёт и проглотит меня вместе с моим злосчастливым салом и лампой... И я останусь навсегда в тёмной зловещей утробе... И она рассосёт меня... Меня не станет...

...Захожу в хату. Отец берёт кусок сала, не торопясь, кладёт его на стол.

Осматривая сало, спрашивает:

— Ронял, что ли?

Я молчу. Он снимает ремень и давай меня полосовать.

— Ах ты, паразит! Просьба тебе моя ничто? Тебе деньги нужны! Только за деньги?! Буржуем хочешь вырасти!

...Пришла мама от соседей.

— Ты чего? — спрашивает меня.

Я молчу.

— Получил за свою жадность, — поясняет отец, нарезая толстыми шмотками сало.

Так мне обидно от сказанного отцом. Но я молчу. Думаю, пусть прослыву лучше жадиной, чем трусом...

...Через два дня у наших соседей случился переполох. Бдительный старый дядька Михайло и его два рослых сына, выследив и у себя на сеновале, повязали беглого заключённого.

Я видел его. Издали через дыру в плетне. Обросший сильно. А так? Как все люди... А вот руки... Они были большие у него, похожие на клешни... Такие руки, как мне показалось, могли сделать что угодно...

...Уже когда конвоиры уводили по утреннему белому снегу беглеца-убийцу, сказал он через плечо моему отцу:

— Напрасно пожалел я твоего огарыша в амбаре. Рука не поднялась. Сало твоё помогло мне выжить... В нём причина... А так и бочку с рассолом уже для него высмотрел. Но решил по-тихому уйти... А он всё-таки выдал меня, стервец!

— Я ничего не знал! И никому не доносил! — говорил потом я отцу. — Ты же знаешь! Почему не сказал?..

— Знаю — не знаю, — отвечал отец. — Он в аккурат мог в отместку поджог нам устроить. Да, видать, взаправду за сало по-своему эдак отблагодарил... Не луфарь...¹

...За ужином отец сказал для меня долгожданное, приведя свои доводы:

— Ты, Мишка, прав! Кобелёк во дворе нужен. Глядишь бы, этот, с клешнями который, обошёл бы нас стороной...

У меня кружилась голова от таких его слов.

¹ Луфарь — мелкая рыба.

— Имя-то придумал? — спросил отец.
— А как же, давно! Верный!
— Ну, Верный, так Верный, — согласился отец. В этот день он был необычно сговорчивым.

Стихи на грифельной доске

В Софиевской школе было четыре класса. Я учился уже в четвёртом, а она — в третьем. Её звали Зиной. У неё было особенное лицо, смуглое. И раскосые глаза. Карие!

Наша школа была обнесена плетнём. Кто в таком возрасте ходит через калитку? Нашли лаз и мы. Несколько лазов, не один.

...Я всю ночь сочинял стихи. И вот, затаившись у пролома, где она ныряла через плетнёвый забор, жду!

Она бежит! Я, как истинный кавалер, принял из её рук холщовую сумку, подал руку. Затем вынул из её сумки грифельную доску, грифель. И быстро начертал своё творение.

Она берёт у меня сумку.

А я говорю:

— Зина, я посвятил тебе стихи! Послушай! — и читаю написанное на доске:

*Зина! Зина! Я твой мам!
Свою душу я тебе отдам!*

Она посмотрела на меня, прищурившись, сверху вниз, поскольку была, увы, выше меня, и выдала:

— Дурак ты, Мишка!

И, выхватив у меня сумку и грифельную доску, побежала в школу.

Переживал я тогда сильно. Не знал, что делать и куда идти со своей трагедией. В отчаянье, не зная, куда выплеснуть свои чувства, на глянцевой коре огромной осины у школьного двора выцарапал крупные буквы: «НБТЖЗ — не могу без тебя жить, Зина!» Пусть кто-нибудь докажет, что я писал неискренне! Но что бы ещё сделать?

Уже взрослым я прочитал про Альфреда Нобеля. Попался мне журнал какой-то. В нём писали, что у Нобеля была красивая жена. Один молодой математик стал ухаживать за ней.

И, видимо, безуспешно. Узнав об этом, в своём знаменитом завещании Нобель вычеркнул математиков из перечня, определяющего тот круг, в который должны были входить будущие лауреаты Всемирной Нобелевской премии. Такова была его воля! И ни один математик не получил учреждённую им премию.

На меня это произвело огромное впечатление. Такое вот решительное его действие! У меня тоже, по моему тогдашнему мнению, было событие всемирного значения, не менее... Тогда, в Софиевке, я дал себе слово, что не подойду больше к Зине никогда и не напишу впредь больше ни одного стихотворения! Раз она такая бесчувственная! Деревянная! И на неё не действуют стихи! Она заслуживает только презрения! Вот так!

Я выполнил данное себе слово — вычеркнул её из своей жизни. Тем более вскоре мы уехали из Софиевки. И всё было бы в этой истории моей любви уравновешено, если бы не одно обстоятельство. Зина, повзрослев, стала поэтессой, у неё готовилась к изданию книжечка стихов.

Началась война. Мне рассказали уже потом и об этом, и о том, что она ушла добровольцем на фронт. И в первый же месяц погибла. Об этом я узнал, прожив уже, по общим меркам, целую жизнь...

Узнал, и так много в душе ворохнулось. Первая любовь!

На Восток

В тридцать первом году началась коллективизация. У нас к тому времени было уже две лошади и корова. Это не запрещалось. Но отца записали в подкулачники.

Среди ночи к нам прибегают племянник моей мамы. Он в Софиевском сельсовете работал.

— Яков, беги! Ушёл от голода в городе, попал под раскулачивание тут. Тебя хотят выслать. У тебя твёрдое задание по сдаче зерна, ты его не выполняешь...

Собрал отец, что сумел. И на поезде маханул на Дальний Восток, под Хабаровск. Там жил его давний знакомый.

Утром за отцом приходят люди:

— Где Яков?

— А он уехал куда-то, — отвечает мама.

— Как куда-то? А точнее?..

— Не знаю.

Лошадей, корову отвели мы в тот день же на общий двор.

...Забившись как можно подальше на Восток, отец устроился на станции Ин (теперь — город Смидович) стрелочником. Домой не писал. Писал на школу, в которой я учился. Я получал письма.

И вот приходит ценное письмо. Мне его не дали. Тётка моя получила. А в письме — наряд! На вагон для проезда к отцу. С этим нарядом мама поспешила на станцию.

...Погрузили мы, что могли, в теплушку. И тронулись на Восток. Ехали к отцу два месяца. В этом путешествии погиб мой лучший друг Верный. Мы с ним бегали на остановке за водой, и он попал под проходящий поезд. Я так потом долго молча плакал, что у меня заболели глаза.

...Наконец-то добрались мы до Еврейской автономной области. Поселились пока у того самого знакомого отца, с которым он работал на станции Ин.

А мне надо заканчивать семилетку! Пошёл в ШРМ — школу рабочей молодёжи. Тогда классов не было. Понятие «класс» было связано с классовыми врагами. Поэтому были группы. Меня определили в седьмую группу. В ней учились все вместе: и те, у кого четырёхлетка, и у кого пяти- и шестилетнее образования.

А я украинец. И мама, и папа — украинцы. Надо говорить «треугольник», а я — «срикутник»... И так далее.

В нашей Софиевке, откуда мы приехали, на Север — Белоруссия, на Восток — Россия, на Юг — Украина. И везде свой язык.

Постепенно как-то всё образовалось у меня. Даже появился новый четвероногий друг, соседский дворняга Цыганок. У меня с ним отношения заладились сразу. Легче, чем в школе с одноклассниками. Он любил сумку мою таскать, а я смотреть на его хитрую морду...

...Окончил я семилетку, а десятилетки на станции нет. Что делать?

Как заяц с отмороженными ушами

...Пока мы решали, куда мне поступать учиться, в стране началась паспортизация населения. И пошла она с Дальнего Востока. А у отца никаких документов нет. Только послужной список с железной дороги. А тогда строго было с твёрдым заданием на сельхозпродукты. «Ага, с деревни? А как у тебя с твёрдым заданием? Выполнил?» И лучше не подходи, коли у тебя долг по налогу.

Отец написал в нашу Софиевку на Черниговщину с просьбой выслать необходимые справки. Но там что-то медлили. А тут, на местах, власти поджимали. Отец опять, как заяц с отмороженными ушами, метнулся в Сибирь, в надежде, что не скоро догонит его паспортизация. Один поехал, в Омск. Его приняли составителем на железную дорогу без паспорта, без ничего. Безлюдье. Вскоре он взял нам билеты на проезд.

Приехали мы в Омск. Кроме меня, ещё брат малолетний, сестра Тоня. У меня всегда желание было стать или геологом, или капитаном дальнего плавания. Начитался Жюль Верна, много ещё чего.

...Хожу по Омску и читаю объявления. Наткнулся на речной техникум. Нашёл приёмную. Явился — не запылчился. Посмотрели на меня. А у меня рост — полтора метра с кепкой! «Какой из тебя капитан?» — говорят. А я и вправду совсем фурсик, куда...

Пошёл снова по городу читать объявления. Смотрю на дочатом заборе: «Политехникум путей сообщения». Тридцать две специальности готовят: электрики, вагонники, путейцы, электросварка... Мне понравилось: «Техника высокого напряжения». Пошёл... А что значит — «пошёл»? Ни обуви, ни одежды нормальной... В чём попало. Всё наше имущество где-то ещё тащится по железной дороге.

Сдал экзамены. Приняли. Заниматься должны были в здании управления дороги. Добираться далеко и пешком. Но куда денешься?..

...Пришла наконец-то необходимая справка из сельсовета Софиевки, и мой отец Яков получил паспорт.

Так отец стал сибиряком, а следом за ним, значит, и мама, сестра с братом моим и я. Сибиряки. Сибирь нас приютила. Теперь уж официально.

Роман-заступник

В Омске мама устроилась работать дежурной по вокзалу. От вокзала через улицу — рынок.

...Мама в тот день успела сбежать на рынок и купила небольшую такую баночку мёда. Сестра Вера сильно простудилась. Надо было лечиться.

— Неси, Миша, домой мёд!

Ну я и понёс. Жили мы тогда уже в рабочей слободке на самой дальней улице.

Вот и пятистенник, в котором мы сняли половину. Отец присмотрел его до нашего приезда. Ворота и калитка сделаны крепко. Запор солидный такой.

Баночка круглая и скользкая. Мне надо калитку открыть. Потянулся я, баночку и выронил. Она упала и звякнулась о камень, который, как нарочно, у столба лежал. Большущий такой сверкач. Разбилась баночка! Я в панике. На последние копейки мать мёд купила. До получки полмесяца. Сажу у ворот и плачу.

Подошёл сосед наш, дядька-сибиряк, раза в два больше моего тятки. С бородой такой. Поглядел на меня. И говорит:

— Не горюй! Мои пчёлы соберут до последней капли твой мёд. Чего ж теперь...

У него, оказывается, была пасека.

Приходит мать. Давай меня учить уму-разуму. Как учить? Несёт ремень, не избежать порки. И тут дядька Роман вновь возник:

— Мальца пошто? Не хотел он того. Отпусти, не замай...

И протягивает маме беленькую с синими цветочками чашечку с мёдом:

— Вот на первый случай, возьми... понимаешь... Пока то да сё...

И ушёл, больше ничего не сказав, молча.

...Зато пчёлы дядьки Романа так усердно загудели. Мёда у столба, где камень этот, — как не бывало. Остались только стекляшки от баночки.

Так у меня появился в Сибири первый мой друг и заступник — сибиряк дядька Роман. Он частенько потом меня выгораживал, я иногда набедакорю что, а он тут как тут. Ребятишек,

что ли, любил или такой просто! У него и братья были как он. Мама называла его «Твой заслон». При нём она меня не так сильно ругала. И отец мой становился степенней. Потом мы переехали в другой посёлок, вообще из Сибири уехали.

...Сибиряка-заступника, дядьку Романа, я до сих пор помню...

И Сибирь для меня на всю жизнь запомнилась крепкой и надёжной заступницей. Для меня ли одного?..

Сердечные люди

Наконец багажом малой скоростью пришло с Дальнего Востока наше имущество.

...Уже сентябрь месяц на исходе, я учусь в политехникуме. Приходит с работы отец, не один.

— Вот, поступил к нам Степан на работу, — говорит, — как и я, стрелочником, а жить ему негде. Сегодня переночует у нас.

Мама не особо приветливо отнеслась к этому. Какой-то не улыбка, не говорит, а буркает глухо... Ладно. Сели за стол, поужинали все вместе.

Этот Степан шныряет из комнаты на улицу, с улицы — в комнату. Мать спрашивает:

— Ты чего?

— Да что-то живот расстроился...

...Легли мы спать. Отец с матерью устроились за печкой, сестрёнка и братишка — на полу в углу. Степана положили тоже на пол, ближе к двери. А я улёгся на большом таком семейном сундуке. Там часть нашего имущества была. Погасили керосиновую лампу. Тишина. Все уснули. И вдруг, за полночь уже, мама как закричит:

— Яков! Иди сюда!

Я вскочил с сундука.

— Зажги свет!

Отец зажжёт лампу.

— Дывьись! Дывьись, что делается!

Смотрим с отцом: вешалка чистая. Обуви на полу нет. Всё собрал Степан.

Мама опять:

— Дывьись, там, в чулане!..

Отец оттуда:

— Да вроде цело...

А потом осёкся. С просонья-то ещё не того...

— Ах, он паразит! И тут всё вымел!.. Дал под микитки!

Мать в слёзы:

— В чём ты, Яков, пойдёшь на работу? А в чём Миша пойдёт в техникум? Беда!..

...Немножко успокоились, мама командует мне:

— Ну-ка! Миша, открывай сундук!

Поднял я тяжёлую крышку.

— Яков, тащи машинку! — командует мама.

Вытащил отец из сундука ручную швейную машинку. А мама вынула какой-то такой серый тяжёлый материал... И давай меня обмерять. Померила, раскрыла...

...Отец какое-то тряпье нашёл. А то в нижнем белье только остался. И пошёл на станцию:

— Я его найду, бандита этого!

Мама ему вослед:

— Ну, да! Ищи ветра в поле.

Мама сшила мне рубашку. С кармашком даже. Штаны сшила. Серые такие. Примерили. Ну, ладно... А обувь-то нечего...

— Ну, Миша, придётся тебе босичком в техникум идти. А я за это время тут, может, что придумаю.

А что она могла придумать? Денег-то нету совсем.

...Я пришёл в техникум с опущенной головой. Сел за парту, ноги подальше спрятал. А наша группа была такая: там и с производства люди пришли, и из армии... В возрасте ученики. Это мне четырнадцать годков.

Слава Неаполитанов, староста наш, подходит ко мне:

— Миша, ты что такой никлый?

А у меня уже слёзы катятся всюю.

— Э... э... — говорит, — да ты босиком.

Я ему рассказал, что случилось.

— Да, — говорит Слава. — Надо как-то выкручиваться!..

И в это время заходит наша классная руководительница Вера Михайловна. Команда: «Встать!» Он докладывает: кто отсутствует, кто присутствует. Она видит, что староста какой-то необычный.

— Что у нас случилось? — спрашивает Вера Михайловна.

Неаполитанов громко, на весь класс сказал про мою беду.

Она тут же:

— Посидите, дети. Я сейчас приду.

Ничего себе, дети! Она у нас химию вела. Мы её «химичкой» называли. Такая красивая, я на неё стеснялся смотреть...

Ушла она. Вернулась быстро. И на учительский стол кладёт две бумажки. Говорит:

— Кто сколько может, сколько есть, давайте сложимся...

Ребята зашуршали. У кого мелочь, у кого что... Собрали... «Химичка» — Неаполитанову:

— Слава, бери Мишу и идите в обувной магазин. Освобождаю от занятий.

...Пришли мы в магазин. Слава говорит продавцу:

— Вот, надо Михаила обуть! Нужна хорошая, прочная обувь.

Мужик торговал лысоватенький такой. Поглядел он на меня. Показывает на коврик.

— Оботри хоть ноги-то!

Приносит рабочие ботинки. Тёмно-коричневые такие. Померил я. Хорошо сидят так! Ладно!

Слава командует мне:

— Не снимай!

Зашнуровал я ботинки. Всё! Он продавцу деньги даёт. Тот отсчитал сколько-то. Ещё осталось. Пошли мы. Я на седьмом небе. Такой обуви я никогда не носил. В основном лапти были.

В тридцать третьем году эти события вершились. Идём по улице, напротив магазин «Ткани». Слава берёт меня за руку:

— Пошли!

Входим. Слава с порога:

— Носки есть?

— Есть, — отвечает продавец.

Купили носки.

Приходим в класс. Я громко так говорю всем: «Спасибо!»

Химичка наша уже второй урок вела. Она урок не прервала, просто посмотрела на меня. И улыбнулась так... Я сел за парту.

Кончились уроки, я полетел домой. Мать посмотрела на меня:

— Где это? Как!

Я рассказал. Она и расплакалась.

— Какая мы голытьба-то... Хорошо, что сердечные люди есть.

И так мне её жалко стало. Что-то во мне будто хрустнуло...

Приходит отец. Мы его не узнаём. На железной дороге выдавали бесплатно летнюю и зимнюю одежду. Он стоит перед нами в тёмно-синей куртке, брюках и в тех опорках, в которых уходил из дома. Но зато в фуражке! Фуражку выдавали! Мы порадовались все. Служба, значит, куда устроился отец, хорошая. Не пропадём!

Отец взял мои ботинки, помял, потрогал, погладил.

— Да, мы бы никогда тебе не купили такую обувь! Давай, Миша, так сделаем: ты говоришь, тебе стипендию назначили, пятнадцать рублей. Вот получишь и раздай её в техникуме людям, которые нам помогли. Так правильно будет.

...Ладно, наступает шестнадцатое сентября, нам положена была выдача стипендии в середине месяца. Я получил свои денежки. Первые, которые я вроде как заработал учёбой своей.

Иду, навстречу Вера Михайловна. Я две бумажки протягиваю ей. Она:

— Что это?

— Так вы же давали мне?!

— Мы тебе помогали, — смотрит на меня внимательно, не строго... Чужая, а как мама.

А меня что-то так взъело. Я дёрнулся нервно и как закричу вне себя:

— Я не нищий! Не нищий! Слышите!..

И побежал по коридору. Куда бежал, зачем? Не знаю.

Мы занимались на четвёртом этаже управления железной дороги. Когда бегом спустился на первый этаж, вахтёрша:

— Ты чего, мальчик, бежишь?

А я тогда маленький такой был... «Мальчик...»

Она спрашивает, а я сам не знаю, что делаю... Потом нашёлся:

— Да вот, живот у меня...

— Ну, на тебе сушку. Поешь...

А во мне всё ещё кипит что-то, я продолжаю твердить про себя: «Я не нищий!»

Слышу звонок. Большая перемена кончилась, надо идти. Бегу наверх. Прибежал. Вера Михайловна стоит. Посторонилась мочла. Я прошёл, набычившись. Заходит преподаватель электротехники Глушков, деликатный такой мужик. Мы его звали «Плюс-минус». Вера Михайловна говорит ученикам, скупно так:

— Вот, Миша хотел раздать деньги всем... Но я думаю, это напрасно...

Повернулась и пошла. Проходя мимо меня, на мой стол положила две бумажки, которые я ей дал в коридоре.

У меня слёзы текут. Не пойму ничего...

...Глушков прочитал свою лекцию и ушёл. Оставил и он нам самим решать свои проблемы.

У нас в группе были две дивчины: Скобелева Таня и Надя, забыл я её фамилию. Скобелева подходит ко мне, берёт мои щёки своими горячими ладонями и говорит:

— Миша, Миша! Какая же ты беда у нас для девчат! За твоими ямочками на щеках девчата на край света босиком побегут! А ты?!

Ткнулась носом в мою переносицу. Задышала жарко. Каштановые волосы её защекотали мои ноздри. Обнимает меня и улыбается. И класс весь в улыбках.

И я заулыбался... Конфузливо отстраняюсь.

А Таня вновь взяла моё лицо в свои ладони, подержала так, потом ладошкой стёрла на моих щеках следы слёз... И всё! Всё встало во мне на свои места. Вновь появилась потерянная было опора...

* * *

На третьем году учёбы случилось незабываемое.

По всей стране призыв: «Комсомол на самолёты! Дать стране сто тысяч лётчиков!»

Такая волна пошла!..

Всё преодолеть, лишь бы поступить в аэроклуб!

Александр Косарев! Кипучая энергия генерального секретаря ЦК комсомола передавалась, многократно усиленная, нам.

Сколько нас тогда откликнулось! Сколько без отрыва от производства готовилось стать лётчиками и авиационными специалистами.

Возникло общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — «Осоавиахим». Был утверждён нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». Меня взяли! Шесть часов в техникуме, остальные — в аэроклубе!

Золотое времечко!

Так было...

...Пришёл я на занятия в техникум, навстречу в коридоре Вера Михайловна. Я на неё по-прежнему стеснялся смотреть. Такая правильная и... красивая.

— Слушай, Михаил, тебя вызывают на Лермонтова, 18.

— А что там? — спрашиваю.

— Я сама толком не знаю... Сказали, что надо явиться. От занятий освобождаешься, иди!

Шагаю по улице Ленина. Ага, вот она пересекается с улицей Лермонтова. Нахожу дом номер 18. Такое каменное угрюмое здание. Захожу. В коридоре стоит часовой.

— Тебе чего, мальчик?

— Да вот, мне сказали, чтобы я пришёл.

— Как твоя фамилия?

Я назвался.

— Вон там слева поворот, пройдёшь, будет комната номер 12.

Иду. Повернул. И наткнулся на вахтёра.

— Мне в двенадцатую комнату.

— Документ?

— У меня никаких документов нет, — отвечаю.

— А фамилия есть? — спрашивает с усмешкой.

Я ещё раз назвался.

— Ладно, вот тебе пропуск, иди!

Я уже смекнул, куда попал...

Захожу в эту самую комнату под номером двенадцать. Сидит за столом совсем молодой, в штатском человек. Спрашивает:

— Ты знаешь, где находишься?

— Нет, — отвечаю, — меня пригласили, ничего не сказав.

— Ладно, сейчас узнаешь.

И задаёт вопрос:

— Ты лекции директора техникума слушаешь?

— Те, что положены по курсу, слушаю.

— Ваш Линкевич говорил, что Ленин был за крестьян?
А Сталин уничтожает деревню?

— Я не знаю, может, и говорил. Не слышал...

— Так ты слушаешь лекции вашего историка или нет?

— Если интересно, — отвечаю, — слушаю, а если нет — не слушаю...

— У вас там все такие? — спрашивает. — Мямкаешь тут!

А меня уже злить начал такой разговор.

— Нет, — говорю, — не все, через одного... может, реже...

Он кулаком грохнул по столу и поднялся во весь рост. Жердина такая оказалась, с узенькими плечами.

Мне чудно стало. Молодой совсем ещё я. Небитый. Говорю спокойно:

— Вы чего злитесь?

В ответ:

— Молчать!

Я молчу... Оба молчим.

Он протягивает руку:

— Давай пропуск!

Я положил на стол бумажку. Черкнул он быстро в ней и мне:

— Иди и больше здесь не появляйся!

— Я не по доброй воле здесь, — отвечаю. — Мне тут делать нечего!

— Мы здесь серьёзным делом занимаемся, тебе надо понять... — уже спокойнее говорит хозяин кабинета.

У меня вырвалось:

— А я что? Без дела, что ли, здесь?..

Он опять по столу как грохнет кулаком:

— Вон отсюда!

Я выскочил.

Прихожу в техникум. Надо доложиться! Я к Вере Михайловне.

— Всё, ходил я куда надо.

Она спрашивает:

— А Линкевича выпустили?

Я удивился:

— Откуда?

— Оттуда, куда ты ходил!

— Я его там не видел...

...Директора Линкевича освободили от должности и выслали, обвинив в пропаганде троцкизма. А к нам прислали другого директора, Сидоренко. Нас он в первый день поразил тем, что ходил в кубанке с красным верхом. Такой казак лихой! Круто стал наводить свои порядки. На доске объявлений через несколько дней появился его приказ о лишении студента Покровского стипендии. А мы в старших классах уже получали по двадцать пять рублей. Женя Покровский жил с матерью в полуподвале. Мама Жени — бывшая учительница — долго болела, не работала. И двадцать пять рублей, конечно, для Покровских были нелишними.

Нас возмутил приказ нового директора! Так Женя бедно живёт, а тут этот казачий наскок!

Слава Неаполитанов, Володя Галевский и я — три богатыря, пошли к директору искать правду.

Директор не стал с нами долго разговаривать:

— У каждого своё дело! Ваше — учиться, моё — руководить! Это моё решение, я за него в ответе. Вопросы есть? Вопросов нет! Идите на занятия!

Вот и весь разговор.

Галевский не выдержал:

— Как Покровскому жить?

— Я кому сказал? — последовал окрик. — На занятия шагом марш!

Когда шли по коридору в свой класс, Галевский заявил решительно:

— Надо писать в Москву, в железнодорожную газету «Гудок»! Произвол терпеть нельзя! Директор лишает будущего советского специалиста последнего куска хлеба. Он поступил как враг народа!

...Написали мы письмо, отправили в Москву. Через две недели вызывают нашу тройку в Омский политотдел дороги. Мы сразу поняли причину вызова. До того всё ходили смотрели на доску объявлений: есть отмена приказа или нет?

...Нас всех троих повели к заместителю начальника политотдела дороги.

В кабинете оказался тихий такой лысоватый человек, с весёлой улыбкой.

— Ну что, хлопчики! Как ваши дела? Рассаживайтесь.

Расспросил нас про учёбу, то да сё...

А потом:

— А вы дорогу в наш политотдел знаете?

— Знаем, — отвечаем, — мы же к вам прибыли!

— Так почему же раньше не пришли, а сразу писать в Москву? Пришли бы, рассказали.

Галевский не выдержал:

— Так мы пошли к Сидоренко, а он нас выставил.

Володька мотнул своей разудалой головой и выдал:

— А вы что, за него? За Сидоренко?

— Ну, кто тут за кого, мы разберёмся, — говорит хозяин кабинета строго. А глаза всё такие же, как в первые минуты, приветливые. — С Сидоренко мы уже разговаривали... Он считает, что Покровский как сын колчаковца, который вместе с белой армией ушёл из Омска, как социально ненадёжный элемент не должен получать советские деньги.

Галевский вновь за своё:

— Вы тоже так считаете?

Задиристый был парень, наш Галевский.

— Как мы считаем? — проговорил хозяин кабинета с расстановкой. — А вот вы? Вы назвали Сидоренко врагом народа? Вы на этом настаиваете?

Приходит на выручку Галевскому Неаполитанов:

— Мы написали в письме: «как врага народа». Это разные вещи!

— Да, — серьёзно смотрит на нас наш собеседник, — время какое?! Вы подставили нового директора под удар. А ведь он красный командир! Воевал против Колчака! Преданный коммунист. Каково ему?

— Линкевич, прежний директор, тоже был преданный коммунист, — не выдерживает Галевский, — знаем мы...

— Ну, вы сравнили. Также мне... Вот что, хлопчики, идите учитесь, то есть занимайтесь своим делом. Стране нужны советские специалисты. Поэтому набираем студентов из рабочих и крестьян. Надо менять старые кадры. Вы это твёрдо запомните. А Сидоренко отменит приказ.

Уже на улице, когда мы стояли перед внушительным зданием управления железной дороги, Галевский заявил категорически:

— Видать, мастер он улюлюкивать таких как мы... Как хотите, но если в течение трёх дней не появится приказ о назначении Женьке стипендии, я напишу о произволе нового директора товарищу Сталину. Кубанку с красным верхом и я могу надеть!..

Приказ свой директор техникума отменил.

...Шла вторая половина 1936 года. До 37-го — всего ничего...

Прыжок с парашютом

Учёба в аэроклубе поглощала всё свободное время. Небо не отпускало. Манило, завораживало!..

...Раньше не было, а тут появился у нас в аэроклубе комиссар. Старательный такой, быстро для всех стал своим. В аэроклубе два отделения: лётное и парашютное. Комиссар — в парашютном отделении, ни разу не прыгавший с парашютом! Может ли такое быть? Его это не устраивало. Заявил, что непременно должен прыгнуть. И не один раз! А у нас был замечательный укладчик парашютов Глазьев Илья, с армии пришёл к нам. Баянист-виртуоз! Почему он на сцену не подался? Я в жизни таких не видел больше. Мы с ним подружились крепко. Часто пели с ним вместе. Он любил украинские песни, а я — русские.

...Дали комиссару парашют обычный и второй, запасной. А был такой порядок: в маленький кармашек на чехле парашюта помещался номер укладчика. И пломба. Если удачно совершён прыжок — нет вопросов. А нет — с укладчика с первого спрос.

На высоте восемьсот метров, как всегда, открыли дверь. И комиссар полетел вниз. За ним толкнули меня. Я тоже прыгал впервые. Каков был порядок? Когда вываливаешься из кабины, считаешь: сто двадцать один, сто двадцать два... На счёт сто двадцать три — рвёшь кольцо. Получается через три секунды. Я дёрнул кольцо: всё в порядке. Повис на стропах. Осматриваюсь. В первый раз всё, интересно...

...Комиссар ещё перед прыжком всё смотрел вниз, оглядывался. Люди на земле ждут его прыжка. Комиссар прыгает впервые! Я-то ладно...

Как вывалился он из кабины, так и пошёл вниз, впереди меня. С нераскрывшимся парашютом. У всех на глазах о землю: хлоп!

И тут началось!

Комиссара мёртвого увезли... Назначили расследование. Заработала комиссия. Открыли кармашек, где номерок укладчика парашюта лежит. Там — номер укладчика Глазьева Ильи.

Командуют ему:

— Товарищ Глазьев, одевайте парашют комиссара!

Одевает Глазьев парашют.

— Садитесь в самолёт, будете прыгать! Вы укладывали этот парашют...

Пошёл Илья к самолёту, не глядя ни на кого. А тут резко обернулся, сказал мне с непонятной усмешкой при всех:

— Мишка, не дрейфь! Как приземлюсь, так сразу тебе свой баян подарю. Ты моё слово знаешь...

А я онемел. Не могу слова сказать.

Щенок Верный, которого я подобрал около техникума и который прижился у нас в аэроклубе, жмётся к моим ногам, поскуливает... тошно от этого...

Илья потом рассказывал, что не помнил, как прыгал, как раскрылся парашют. Пришёл в себя уже около земли.

...Когда продолжили расследование, оказалось, что у комиссара ещё в самолёте произошёл разрыв сердца. Не ведая того, его мёртвым толкнули из самолёта.

...Илья пролежал после прыжка около месяца в больнице и вернулся в строй. В первый же день вручил мне свой баян, несмотря на моё крепкое сопротивление.

Выполнил своё обещание, хотя и с опозданием. Я потом этот баян всюду возил с собой. На нём оба моих сына позже играли. Но как Илья так и не научились...

Москва ждёт!

В аэроклубе — шорох! Да ещё какой!.. Дорожки чистят — к ангару, к месту сбора... Посыпают песочком. Что случилось?

Начальник нашей лётной части разузнал, что Чкалов, Байдуков, Беляков прибыли в гостиницу Сибирской академии наук. Их увезли из города, чтобы они отдохнули. В Омске они оказались после возвращения из своего знаменитого полёта на дальность. Из-за обледенения вернулись. Их охраняли в гости-

нице. И допуск к ним был только, как говорили, у секретаря обкома Разумова и других, совсем немногих.

Начальник лётной части Исмоденов говорит:

— Проводим, ребята, операцию «икс»! Никому ничего говорить не будем! Всё сделаем сами!

А у нас были девчата лётчицы Аня Доброхотова, студентка сельхозинститута, ещё там несколько. Трёх мы выбрали. Самые симпатичных! Нашли корзину. Дело в августе было. Заполнили её пышно цветами. И поставили оперативной группе задачу: любой ценой привести в аэроклуб Чкалова! Не исполнят — всеобщее презрение мужской части курсантов. Девчонки аховые! Пошли в гостиницу академии. Расстояние — всего ходьбы минут на пятнадцать.

Аня потом рассказывала, как они прокрались мимо охраны. И дрожат, и надо! Прошмыгнули в гостиницу. А там первый секретарь Разумов, лицом к лицу столкнулись:

— Вы как сюда попали?

— Да вот! Нам бы Валерия Чкалова в наш аэроклуб пригласить. Все хотят видеть героя!

— Да вы что, девчата? — удивился самый главный омский начальник. — Москвой запрещены любые мероприятия. Героям отдыхать надо. Они должны улетать сегодня.

Девчата не сдаются:

— Ну как же так! Там столько народу ждёт! И мы вот! Так нам хочется его увидеть. Один раз в жизни! Разве герои прячутся?..

Сдался Разумов. Мажнул рукой:

— Ну, девчата! В грех вводите!

...Сажают Валерия Павловича в обкомовскую машину и в аэроклуб к нам. Девчата не уместились. Побежали своей дорогой в аэроклуб.

Приезжают гости к проходной. Часовой нашего лагеря:

— Кто такие?

Выходит Разумов.

Его узнали: «Ура! Ура!» И повели всех по дорожке. А нас, курсантов, построили. Стоим в чистеньких стиранных комбинезонах. Шеренгой стоим. Вот он какой, Чкалов! В косоворотке кремового цвета, шёлковый поясок. Шея борцовская такая, чуб!.. А у него уже звание было — комбриг. Комбриг и этот

шёлковый поясок?! Брюки такие в полоску, тёмные. Бросились в глаза его заграничные тёмно-коричневые ботинки на толстой подошве.

Он смотрит на нас. Мы на него.

Не верится: перед нами человек, совершивший только что беспосадочный перелёт через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-Камчатский и далее на дальневосточный остров Удд. Преодолевший со своим экипажем более девяти тысяч километров, находясь без посадки в воздухе более пятидесяти шести часов! И такой обычный парень! Как один из нас...

...У начальника аэроклуба своя программа. Свой умысел...

— Валерий Павлович! Приглашаю посмотреть нашу материальную часть!

Чкалов показывает на посыпанную песком дорожку:

— Да вы же тут три дня драили всё! Что мне смотреть? Вот лучше давайте кое-что расскажу.

Нагнулся, поднял веточку берёзовую с земли:

— Смотрите, ребята, как мы летели!

И на песке начал водить прутиком этим:

— Вот Москва, вот Северный полюс! Здесь мы сделали поворот, тут началось обледенение. Мы снизились, долетели до острова Удд. Сели... Лететь дальше было нельзя. Мы и так перекрыли рекорды. Такие дела, ребята!

И улыбается простецки:

— Какие вопросы?

Все притихли. Мировой рекорд совершён, а он так обычно говорит обо всём... Прутиком чертит...

У моего дружка Петьки Захардяева вопросы были на кончике языка:

— Валерий Павлович, вы разработали фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор, замедленную бочку, а если, когда...

Он не успел договорить. У проходной хлопнул выстрел. Все всполошились. Побежали туда. Наш начальник аэроклуба еле вмещался в кабину. Он, как утка, бежит — колыхается. Его все обогнали. Чкалов, Разумов остались, не побежали. Но чуть позже и Чкалов не удержался. Тоже прибежал к проходной. У входа стоит эмка. Как выяснилось, часовой не пускал машину, его не послушали. Он выстрелил в воздух!

В машине были второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков. Как оказалось, обнаружив пропажу своего командира, разузнали, что да как. И в аэроклуб, к нам!

...Вышли они из машины. Мы подняли их на руки. И давай подбрасывать! А Чкалов сзади:

— Вот, черти! Меня так не встречали!

Подхватили мы его на руки. Общий восторг! Лица незабываемые!

Тут появился запыхавшийся, розовощёкий Разумов с кровоточащей царапиной на лбу. Получил ранение, продираясь через кусты. Он взял команду в свои руки:

— Всё, всё! Товарищи! Хватит! Москва ждёт! Мы и так нарушили распорядок! Едем!

Отпустили мы наших гостей на землю, стали прощаться.

...В тот же день они улетели.

Кулик летит!

Только мы успокоились в аэроклубе после встречи с Чкаловым, вновь событие: Кулик летит! Дают опять команду: чистить территорию, дорожки ровнять!

А кто такой Кулик? Нам объяснили, что это большой учёный, который занимается метеоритами. Академик!

Он попросил, чтобы с ним на маленьком самолёте полетали над степью. Ему сверху надо осмотреть территорию. Нет ли каких остатков небесных тел?

Заурядный предстоял полёт. Пилотировать должен был сам начальник лётной части.

Обычное дело, но любопытное!

Для нас академик — это... это даже не найдёшь, с чем сравнивать! Это что-то заоблачное... Ждём с нетерпением встречи с учёным всем аэроклубом.

И... появился... маленького росточка человек. Рубашка у него навывпуск. Какая-то выцветшая, серая кепочка на голове. На ногах то ли парусиновые туфли, то ли тапочки... Такие мы начищали мелом или зубным порошком, чтоб белые были.

Запустили мотор. А он... ему наш заведённый порядок к чему? По траве неудержимо напрямки пошагал к самолёту.

Попал под воздушную струю, которая идёт от мотора... Сорвало с него кепку. И унесло!

Он — начальнику аэроклуба:

— Пожалуйста, поищите! Мне без кепки трудно... Солнце...

Надо искать! А вокруг мусор, лесопосадки, ветошь. Ходим, ищем кепку учёного Кулика. Нет нигде!

Кулик помогает:

— Она помятая такая. Смотрите, может, где среди ветоши. У меня зрение того...

Нашли наконец кепку. Она такого же цвета примерно, как наша обтирочная ветошь, не сразу отличишь, прав Кулик.

Вручили ему головной убор. Надел он кепку козырьком назад и к самолёту. Опять тем же путём. Удержали его на этот раз.

Улетели они. Летали, пока не опустел бак с топливом. Ничего не нашли.

Собрали нас опять после полёта. Сели мы на травку рядком.

— Сейчас, — говорит начальник аэроклуба, — Леонид Алексеевич, товарищ учёный, расскажет о своей работе.

И мы узнали о том, что учёный возвращается в Академию наук в Ленинград из Индии. Там упал метеорит. Но найти ничего не удалось, как и у нас.

— Это не впервые так. Иногда находят неожиданные предметы, но часто это не то, — говорил нам учёный. — Расскажу такой случай. Пришло сообщение: в казахской степи найден метеорит. Приехали мы на место. Действительно, лежит большой кусок железа. Его погрузили, вывезли к железной дороге. Потом доставили в Ленинград. Стали исследовать. находка оказалась обычным слитком после плавки доменной печи. Когда-то степью везли его, очевидно, на телеге. Обронили. Не стали поднимать. Громоздкий.

Мы послушали. Поблагодарили из вежливости. Скучноватым показался нам рассказ. И рассказчик... чудаковатый такой...

Улетел учёный.

— Это, конечно, не Чкалов, — подвёл итог встречи Петька Захардяев. — Металлолом собирает в тапочках.

* * *

...В 1942 году наш полк перебросили с Калуги на Вязьму, к станции Угра. От неё километров десять есть селение Восход, где до освобождения от немецких захватчиков был лагерь наших военнопленных, а рядом с ним госпиталь с больными тифом.

Нам стало известно, что в этом лагере среди наших военнопленных был и советский учёный Леонид Алексеевич Кулик. Тот самый, который когда-то приезжал к нам в аэроклуб!

В июле 1941 года он настоял, чтобы его с никудышным зрением всё же взяли добровольцем в московское народное ополчение. Его ранило в ногу, и он попал в немецкий плен. Нам рассказывали, что немцы предлагали ему как учёному выехать в Германию, работать в науке. Он отказался, попросив, чтобы его перевели работать санитаром в организованный самими пленными госпиталь. Ему разрешили.

Вскоре он заразился сыпным тифом и в 1942 году умер. Я был поражён тогда всем тем, что узнал о Кулике. Поражён мужеством и стойкостью этого неяркого, негромкого человека, рассказывавшего нам на лётном поле о каких-то там невиданных небесных телах, чудных случаях с железками с неба...

* * *

Когда уже после войны я стал работать в журналистике, открыл для себя, что Леонид Алексеевич Кулик был первым человеком в России, посвятившим себя организации в стране самостоятельной комплексной науки — метеоритики. Это было новым и в масштабе всей мировой науки!

Он был первым исследователем Тунгусского метеорита, получил первые научные данные о нём. Руководил лично несколькими экспедициями по изучению метеоритов. Был учеником и соратником В.И. Вернадского.

Теперь именем Л.А. Кулика названы один из кратеров на обратной стороне Луны и малая планета Солнечной системы.

*От героев былых времён
Не осталось порой имён...*

Бывает и так. И как отрадно, что имя Кулика осталось навечно с нами. А мне довелось в жизни даже видеть этого ле-

гендарного человека, знать, какими могут быть такие люди в обычной жизни...

Велик человек в своём тихом мужестве. А мы только парусиновые тапочки да мятую кепку тогда по молодости и увидели...

Запальные свечи

Энтузиазма в наше время было через край, а аэроклубы были нищими. На самоокупаемости. Инструктор аэроклуба Михаил Кочергин говорит мне:

— Сегодня полетим на контрабанду.

«Куда это, думаю, нас понесёт?»

А наш аэродром осоавиахимовский «Иртыш» и гэвээфовский аэродром — огромный такой, рядом были.

Летим, он командует:

— Вон там травка, садись! Чтоб не на глазах и не в грязь. Мотор не заглушай!

Сели. Он ушёл к зданию мастерских. Смотрю, идут назад вдвоём. Парень около него такой, независимый по виду, длиннющий. Сверху вниз на меня смотрит с прищуром.

Михаил говорит мне:

— Николай никогда не был в воздухе. А очень ему хочется. Покажи небо! По полной программе! Важный для нас пассажир.

— Ну, раз хочется, — говорю, — покажем!

...Кочергин помог пассажиру пристегнуть ремни. На нём была кепка. Он лихо повернул её козырьком назад. Такой парнишка бравенький...

И мы полетели.

Кочергин кричит:

— На полную высоту! Чтоб запомнилось!

А самолёт У-2 может подняться на две с половиной тысячи метров. Около трёх километров двигатель уже задыхается, не хватает воздуха, нужен форсаж.

Поднялись на две с половиной, и я начал выполнять задание командира. Перевороты, штопор, мёртвая петля и так далее... Персона, думая, важная... Не зря такой фасонистый... Не подкачать бы...

Выполнил, что мог, старательно и тогда только посмотрел туда, где должен быть наш бравый пассажир. И обомлел: там

никого нет! Ё-моё! Где он? Я, признаться, растерялся крепко. Смотрю на землю... Давай мёртвыми петлями быстрее снижаться.

Снизился. Вышел на то место, откуда взлетал. Посадил самолёт. Глянул, а пассажир лежит на полу в кабине. Очнулся, висит на ремнях. Мычит что-то. Кепчёлки на головке у него нет.

Кочергин тоже перепугался. Отстегнули его, вытащили. А у него, оказывается, вестибулярный аппарат никудышный! Стоит на земле, шатается. Как пьяный.

— Ну что, посмотрел? — спрашивает Кочергин.

— Посмотрел, — не сразу, мотая головой, отвечает тот.

— Ну, тогда иди! Дойдёшь сам?

— Дойду.

И пошёл, сначала как-то наискосок, но потом выпрямил свой маршрут.

Инструктор выгаскивает из кармана пять свечей к мотору:

— Зато смотри! Где бы мы их достали? А там у них в мастерских на ремонте стоят и большие самолёты, и «кукурузники», и планеры. И там столько ещё таких желающих подняться в небо! Без запчастей не останемся... Но только ты в следующий раз меня, тёзка, не подводи: полегче в воздухе, а то останемся не только без свечей... Народ-то неподготовленный, а запал есть!

— Можно и полегче, — отвечаю. — Какая команда будет...

Высший пилотаж

Наш поток учлётов в аэроклубе начал готовиться к экзаменам для передачи нас в резерв Красной Армии. Учлёт Колька Рябов работал продавцом в магазине «Культорг». Продавал книжки, канцтовары и прочую мелочь. Мы звали его Циркулем. Разбитной такой парень, без удержу.

Мы давно уже летали самостоятельно. Отшлифовывали высший пилотаж. Делали мёртвую петлю, боевой переворот, штопор, бочку, весь набор высшего пилотажа. В который уже раз.

Жили в палаточном лагере среди берёз.

Колька говорит:

— Ребята, я сегодня покажу высший класс! Учитесь и завидуйте!

Наша посадочная площадка была на опушке берёзового леса. За лесом целая такая плантация, засаженная капустой. Дальше — полоса овса. Высокий уже овёс, целое поле его.

Мы шли в полёте так: над верхушками берёз, потом спускались на поле и на целину садились.

Перед полётом Колька крикнул озорно:

— Следите за тем, как буду рубать после «бочки» капусту! Такого в высшем пилотаже ещё не было!

— Какая капуста? — пожимаем мы плечами. — Такой фигуры нет!

И он полетел. Летал Циркуль с упоением. Выполнил в зоне всё, что положено. Безукоризненно! Инструктор цокал языком. Такой ученик! Мы, все, кто свободен, стоим на старте, на огороженной площадке. Смотрим, как Колька пошёл на посадку.

Над берёзами прошёл он с форсом, задевая намеренно верхушки. И как только кончился берёзовый лесок, самолёт его нырнул вниз и буквально почти по земле пошёл, сшибая колёсами белые крупные кочаны капусты. Только белые кочерыжки засверкали! А когда кончилась капуста, шасси начали наматывать на себя овёс. И самолёт скапотировал. Ткнулся капотом в землю. Встал напопа. Постоял немножко так, повернулся и упал на стабилизатор.

Колька висит на ремнях. ЧП! Со старта к самолёту помчалась с визгом пожарная машина. Побежали наши руководители. Перевернули в нормальное положение самолёт.

Колька-Циркуль вышел с опущенной головой. Начальник лётной части остановил полёты. Сбор! Нас построили.

— Учлёт Рябов! Два шага вперёд!

Вышел Колька из строя.

— Кругом!

Повернулся Колька к нам лицом. Лицо уже дерзкое. Исмоленов — начальник аэроклуба, обычно такой улыбчивый казах, говорит громко, обращаясь к курсантам:

— Вот перед вами форменный хулиган! Ему не место в рядах лётчиков Красной Армии! Я принимаю решение выгнать его из аэроклуба!

Все молчат.

Учлёт Сергей Гелимов шагнул вперёд из строя:

— Товарищ Исмоленов, Николай Рябов — лучший из нас! И он уже на выходе! Спросите инструктора: Рябову нет равных!

Исмоленов прошёлся перед строем, остановился перед Гелимовым, похожий на носорога. Сказал упруго:

— Это я всё знаю! Долдоните мне... Но прощать такие выходы... Адвокаты мне! С осину вырос, а ума не вынес.

Помолчал, поводя огромной головой на массивной бурой шее и — к начальнику лётной части, спокойному латышу Рейсу:

— Как поступим?

— Учлёт Рябов — хулиган ещё тот. Но ведь и талант! — отвечает Рейс уравновешенно.

Исмоленов глянул на Кольку так, будто видит его в первый раз, и отчеканил, багровея дальше некуда:

— Всё! Отстраняем учлёта Рябова от полётов на семь суток! А там будем решать...

— Разойдись!

...Я на себе испытал: лежать в палатке, когда твои товарищи летают, невыносимо! Гниёт внутри всё! Оскома¹. Я-то лежал: меня глаза подвели, конъюнктивит был. Двое суток на земле! А тут такой здоровый, с брызжущей через край энергией парень Николай...

Прошли эти семь дней... Погнутый пропеллер у самолёта выправили. За порубанную капусту Колька заплатил сполна.

И вот вскоре прибыли к нам лётчики с воинской части для отбора курсантов.

А был такой порядок: за каждого сдавшего экзамен на отлично аэроклуб получал пять тысяч рублей, за хорошиста — четыре тысячи. Лётчиков, сдавших экзамены, зачисляли в резерв в лётную часть.

Учлёт Рябов сдал экзамены на отлично! И его сразу призвали в армию. Он был направлен в профессиональное лётное военное училище.

После училища Колька впоследствии попал на фронт в соединение, в котором воевал четырежды Герой Советского Союза Покрышкин. Истребительный особый полк!

...Николай Рябов получил звание Героя Советского Союза. И погиб на Кубани...

¹ Оскома — здесь тоска.

Судьба учлёта

А вот другая судьба. И похожая на судьбу Николая Рябова, и не совсем.

С нашей группы учлётов на фронт попали двое. Вначале Колька Рябов, затем Василий Ткаченко. Мы с Василием учились в одном техникуме. В детстве он мечтал, как и я, быть капитаном речного флота. Учился в речном техникуме. Что-то там у него не заладилось. Перешёл к нам, в железнодорожный. Писал стихи, его печатали в местных газетах.

...Учился в аэроклубе он упорно. И постоянно вёл записи в своих дневниках. Однажды он проговорился, что пишет роман. Но тут же замял разговор. И больше к нему не возвращался.

Очень исполнительный. И обязательный. Но не такой был яркий, как Рябов. Как-то сам не выдвигался в первый ряд. Интеллигент. Его после аэроклуба тут же призвали в армию. Он учился в Новосибирске летать на скоростных бомбардировщиках «П». «Пешками» их называли.

В первые дни войны он летал над Белоруссией. Немцы сбили его. Он успел выпрыгнуть с парашютом. И попал в болото. Трое суток выползал из топкого гиблого места... Промок насквозь, прозяб... Сразу, как попал к своим, его положили в госпиталь.

Но лёгкие настолько воспалились, что всё перешло в туберкулёз. Больным вернулся в Омск. И вскоре в Омске умер от туберкулёза. Скоротечная какая-то форма...

...Кто знает... может, это был наш русский Антуан де Сент-Экзюпери?..

Три толстых тетради, исписанные его твёрдым почерком, где они? Родителей у него в живых уже не было, и жениться не успел...

Там, за тучами, — чистое небо!

Летали мы в аэроклубе на У-2. Отличный учебный самолёт конструктора Поликарпова. Чем хорош У-2? Он не входит в штопор! Другие самолёты, как скорость теряют, так: хоп! А этот нет! Немножко выправится и полетит. Самое острое впечатление, когда я полетел впервые самостоятельно! Впервые! Летали мы без парашютов. Его некуда просто девать. Не уместится.

И вот... Лечу! Хочу — туда! Хочу — сюда! Восторг! Властитель неба! Как птица! Мне сейчас за девяносто лет. Никогда я потом во всей жизни не испытал такого восторга!

...Подошла моя очередь держать экзамен. Я выспался вроде бы. Мне достался инспектором старший лейтенант. Садится впереди, я — сзади в кабине. Управление сдвоенное. Он с планшетом, такой важный. А там плечевые ремни и поясной. И они смыкаются. Если летишь вниз головой, висишь на этих ремнях. Он сел, застегнул только ремень на поясе, больше ничего. Командует:

— Давай на старт!

Я вырулил. Попросил разрешения на взлёт. А переговорная — какая штука? У него раструб резиновый, а ко мне — шланг и наушники. Он говорит, я слышу.

Поднялись.

Он:

— Давай коробочку.

Я сделал коробочку.

— Давай в свою зону.

Каждому самолёту выделена была зона, в которой мы занимались высшим пилотажем. У нас зоной было небо над свинофермой. Вышли мы в зону над свинофермой.

— До потолка поднимайся! — командует лейтенант.

Поднялись на высоту две с половиной тысячи метров.

— Давай виражи: левый, правый.

Ну, я выполнил команду. У него блокнот на коленях, что-то пишет. Ещё командует:

— Боевые перевороты через крыло!

А для меня это самый каверзный элемент высшего пилотажа. Разгоняешь самолёт, потом на себя и, когда он вверху, поворачиваешь, и самолёт летит в обратном направлении. Влево-вправо... Если разогнал плохо самолёт, то в верхней точке он зависает...

Я разогнался, а ноги у меня короткие. Но вроде ничего получилось. Смотрю на лейтенанта, а он как надо-то не пристегнулся. Хватает руками за борта. Я несколько отвлёкся. Делаю левый поворот. И у меня самолёт «повис». Висит! И лейтенант «висит», на одном поясном ремне болтается. Вышел на горизонт. А высота ещё 2 000 метров.

— Давай мёртвую петлю, — кричит.

Ну, это простое дело! Только разговоры. Развиваешь огромную скорость и делаешь своё дело. Я выполнил мёртвую петлю. Он пометил в блокноте.

— Давай штопор!

Ну-у-у! Это было для меня проще всего! Задираешь ручку управления до пупа, как говорят. Самолёт задирается, теряет скорость. В это время надо сделать сильный поворот и запомнить ориентиры: облачко ли, какое-то дерево. Самолёт-то вертится. Он мне сказал: «Два витка!» Считаешь. Раз промелькнул ориентир, два — и тут выводилшь самолёт.

Я правый поворот сделал, вроде ничего. А левый сделал и резко убрал газ. И тут — тишина! Смотрю, пропеллер — как палка! Мотор заглох. Он кричит: «Отпусти управление!» Берёт на себя управление — разгоняет самолёт в пике и крутит его. Мол, мотор горячий, пропеллер сдвинется, мотор заработает. Раз сделал, второй... А скорость уже потеряли... Не получается...

Он кричит:

— Домой!

Отдаёт мне управление. А как домой? Мотор-то молчит! Выбираю площадку. Там было поле вспаханное...

Когда уже вышли на посадочную скорость, инспектор говорит:

— Отпусти управление!

И посадил сам самолёт не вдоль борозд — так нельзя: свернётся самолёт — а поперёк. Самолёт запрыгал и остановился.

— К пропеллеру! — командует.

А нам запрещалось категорически трогать пропеллер при горячем моторе. Может быть вспышка! У нас один попробовал, когда мотор был на компрессии. Только тронул. Не успел отбежать, ему ползадницы отсекло лопастями.

Я говорю:

— Нельзя! Горячий мотор! Против правил!..

Он мне:

— Я кому сказал! Летуны!..

Что мне делать? Пошёл...

— Ищи, — кричит, — компрессию!

Взялся я за пропеллер. Чувствую: не идёт! Там сжатие уже в цилиндрах. Рванул я пропеллер. И в сторону! Мотор закрутился. Всё! Ура!

— Садись в самолёт! — слышу окрик.

Я сел.

— Бери управление! Иди на посадку!

Поднял я самолёт. Выхожу на букву «Т». Посадил самолёт удачно. Вышел с опущенной головой.

Начлёт и инструктор стоят, ждут. Я докладываю туповато:

— Задание не выполнил!

Начлёт к инспектору:

— Ну как, командир?

А тот:

— Учить надо! Двойка!

У меня в глазах темно от обиды и стыда. Иду, покачиваясь. Не видать мне больше неба! Подошёл к палатке. Сам не свой. Боюсь расплакаться на глазах у всех.

Подходит начлёт. По-отцовски зорко глянул так на меня. И домашним тоном, будто о чём-то совсем обычном, сказал:

— Завтра полетишь со мной! Не рви сердце так...

Я и слова ещё не успел сказать, а он уже зашагал к другой палатке. Крепкой, неторопливой походкой.

...Наутро — небо хмурое. Видимость — 70 метров.

— Садись! Полетим!

А куда лететь? Темень над головой! Всё, думаю: полный провал!

Начлёт командует спокойно:

— Пробивай облака! И следи только по приборам! Там за тучами чистое небо! Понимаешь?

Ну, я потянулся. В облаках роса. Всюду, как молоко. Необычно. И, кажется, губительно...

Но... Прорвались! Солнце светит! Ёлки-палки! Облака, как сугробы, — белые! За ними — чистое небо! Сказка!

Чистое небо! Как награда! За упорство, за настойчивость! За веру! Как урок на будущее. На всю жизнь!

Слышу:

— Ну, давай, делай перевороты! — говорит выдержанно, как с равным.

Набрал я высоту. Раз: первый переворот. Удачно! Второй менее успешно! Но всё же...

— Резче двигай ногами, — командует. — Делай как я. Беру управление на себя!

А у него ноги! В два раза длиннее моих. Как даст, даст! Самолёт аж трещит.

— Учись! — и отдаёт управление мне.

Я ликую! Я смогу! Сделаю!

...Через неделю снова прибыл приёмщик, лейтенант. Только другой уже. Он ничего нового не требовал от меня. Всё как в предыдущий раз. Только штопор заставил сделать два раза.

Всё! И меня засчитали лётчиком, годным к службе. Я получил пилотское удостоверение, в котором красовалась запись, что я пробыл в воздухе около тридцати часов. А рядом: «Признан годным к несению лётной службы. Тип самолёта У-2». И дата: «1938 год».

Ребята, которые с производства были, обучались вместе со мной в аэроклубе, носили лётную форму. Стоила она более ста рублей. А откуда мне такие деньги взять? Стипендия в техникуме в пять раз меньше.

Завидовал, конечно!

Бронь

Удостоверение пилота я получил, а вот лётчиком так и не довелось стать. А я во сне и наяву только лётчиком себя и видел.

...Много говорят о том, что мы к войне не готовились тогда. Я так утверждать не буду. После железнодорожного техникума я попал по распределению на Восточно-Сибирскую железную дорогу. Вся железная дорога от Байкала до Владивостока была переведена на военное положение. Мы приравнялись к военнослужащим. И когда пришёл мой срок призыва, меня в армию не взяли.

Сколько раз ходил я в военкомат, предъявлял своё пилотское удостоверение, просил, чтобы призвали. Ответ один: нет! Приказ: железнодорожников не трогать! И мы с 39-го года помогали — везли с Дальнего Востока армию, технику, всё, что возможно. Всё на Запад!

Круглобайкалье, где я работал, было ниточкой, которая связывала Восток с Россией. Дистанция связи «Круглобайкалье» проходила вдоль самого берега Байкала. С одной стороны — Байкал, с другой — горы. На вырубленной площадке протя-

нулись железнодорожные пути. Кругом камни и безлюдье. Говорили у нас: «Куда поехал?» Ответ: «В Россию». Всё, что за Уралом, было Россией. А до Урала — Сибирь-матушка! Всё работало на Россию!

* * *

Служба у железнодорожников беспокойная. Всякое бывало. ...Небо как прорвало: ливень за ливнем... И эти ливни привели к сползанию горных лавин.

В сторону Иркутска шёл поезд, помню, № 43 «Владивосток–Москва». Впереди сошла лавина, поезд остановился. Надо убирать, расчищать дорогу. Пассажиры, как горох, высыпали, глазают. А в это время новая волна лавины! И как был поезд, так весь его смело в Ангару. Кого смыло, кого засыпало. Спасся один морячок, который из окна вагона выскочил как-то и поплыл по Ангаре. Кричит вне себя: «Я спасся, я спасся!» 330 человек погибло тогда. ЧП союзного значения. Приехала комиссия во главе с Кагановичем. Стали лететь головы! Нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович побыл и улетел. Остался его заместитель Волков. И пошла такая чистка: это не предусмотрели, могли это... это... не сделали... Ну, как обычно в таких случаях...

У НКВД была дрезина австрийская. «Уточкой» мы её называли, моторная штука такая... Вот «уточка» утром катит по железке пустая, а возвращается полная: путевые обходчики, дежурные по станции... Везут их в Слюдянку: вредители...

...У нас взяли начальника стройки, его заместителя, многих ещё...

...Мы продолжали монтировать сигнализацию, прокладывали кабели. Я техник высокого напряжения. Наверху, по горам, велась стройка. Был там лагерь заключённых, которые поверху прокладывали дорогу. Этой-то, нижней, вдоль Байкала, сейчас уже нет, а та, наверху которая, работает. Она безопасней. Я был уже прорабом земляных работ. И мне оттуда присылали колонну заключённых копать траншеи для прокладки электрических кабелей. «Воздушки» негде вести: горы кругом. Всё тянули кабелем по земле.

Они разные были, заключённые... Попробуй уследить за каждым. Что делали? Кабель-то мы горбылём сверху в тран-

шее перед засыпкой прикрывали. Так они этот горбыль под колёса проходящего поезда бросали. Колёса начинают скакать от этого. Поезд вот-вот с рельсов громыхнёт. Мало не покажется.

Ночью вызывает меня уполномоченный НКВД:

— Ты куда смотришь: у тебя авария может быть! Потеря бдительности.

Куда деваться? Звоню исполняющему обязанности начальника стройки Орлову: начальника-то арестовали.

— Уберите заключённых этих! Из-за них пересажают нас всех. Кто работать будет? Я не могу за ними уследить физически. Лучше сами будем копать.

Убрали заключённых.

...Высоковольтные кабели мы укладывали кусками по 500 метров длиной. А дальше муфта, потом следующий кусок. И так далее... В стране было тогда всего два высококлассных специалиста по сращиванию кабеля. Один из них — новосибирский. Вот его к нам и командировали. Обучать наших. А там что важно? Чтобы не попала влага на соединение кабелей. А дожди лупят! Не переждать... Сроки давят. Заливали соединение, то есть чугунную муфту, маслом, потом гудроном. К мастеру посадили наших ребят. Они подучились. И вот наступил момент испытаний!

С Иркутска привезли специальный прибор для испытаний. Я сам за ним ездил. Этим прибором можно было испытывать напряжение до 75 тысяч вольт, на пробой. Если есть дефект в кабеле или в муфте, то будет короткое замыкание, прибор отключается.

Первую муфту проверили — нормально!

Вторую — нормально!

А третья!

На этом участке дороги было сорок восемь тоннелей для поездов, девять специальных крытых участков для защиты от горных обвалов.

У каждого тоннеля военная охрана, НКВД. С обеих сторон. А по распадкам — военные гарнизоны. Единственная железнодорожная ниточка с Дальним Востоком — как без охраны? Случись что!..

...Третья муфта! Когда дали около 50 тысяч вольт — бабах!..

Короткое! Взрыв! Фонтан земли!

Часовой около тоннеля вмиг сработал. Подняли всех, кого только можно. Дивизия в Иркутске была, туда сигнал! Органы тут как тут! Кто? Что? ЧП! Было всего 180 муфт. Взорвались только три.

Пашка Краузе среди нас был. Он трясся больше всех! У него отец сидел за вредительство...

...Сдали мы этот участок дороги в эксплуатацию, перешли на другой.

Работал я и на Омской железной дороге. Ставили на ней через каждые 800-1000 метров светофоры. Зелёные огоньки на ней далеко видно! Там же равнина Западно-Сибирская! Смотришь: километров за десять светофоры видно! Зелёное ожерелье! И радость!.. Моя работа в этом тоже есть! Я выкладывал кабели.

...У меня старший сын Валера живёт в Омске и сейчас. Пишет, что теперь со станции Слюдянка до Байкала ходит туристический поезд для любителей экзотики. Народ красотой любит. Что ж, теперь такое можно...

...Я как вспомню свои полёты на У-2 в аэроклубе в Омске, так сердечко забьётся по-иному! «По-молодому» — чуть не сказал...

Но железная дорога перекрыла мою воздушную... Бронью загородила... Железная дорогая стала судьбой, не небесная.

...В Круглобайкальске до войны успел поработать и начальником дистанции связи на станции Мысовая. Мы, двести пятьдесят человек, обслуживали 260 километров железной дороги...

И тут вспомнить есть что. И тоже порой сердечко не на месте...

На реке Слюдянке

...Дело было на станции Слюдянке в Бурятии. Был такой у нас Черняков Ваня — весёлый и симпатичный парень с Одессы. Но задиристый порой, неуступчивый... И... такой бабник. Легенды про него ходили. Жена Тамара устала терпеть... ушла от него... Не побереётся он. Работали мы при любой погоде и непогоде. Сильно перетрудился. Молодой, всё нипочём: «Пройдёт». Не прошло. Открылся плеврит. Страшные боли в груди, одышка. Положили в стационар. Со стационара отпра-

вили домой. Полагая, что лечить безнадежно... Остался наш Ваня один, кому такой нужен... Где те, которые вешались на него?

— Давай, — говорю, — отвезу тебя к матери в Одессу. Может, лучше будет?!

Заупрямился:

— Какая разница, где догнивать?.. Похороните меня здесь... Матери я здоровый был не нужен. А отца у меня нет...

...Тамара, голубиная душа, бросилась спасать его сама. Так-то была серенькая, как мышь, а тут аж почернела вся от горя. И туда, и сюда с бедой такой... У каких только лекарей не побывала. И кто-то ей сказал, что на третьем балагане — остановочном пункте, на реке Слюдянке, живёт старый бурят, который лечит старинными методами.

Мы берём с Тамарой Ваню, садимся в сани. На лошади поехали километров за сорок по Слюдянке, до третьего балагана. Там, действительно, оказался старенький бурят, с бородкой. Курит трубку, длинную такую. Живёт в шалаше, накрытом шкурами. И сам одет в одежду наподобие малицы¹. На ногах то ли люпты², то ли что....

Посмотрел Ваню... А у него хрипы сильные и немощь полная...

Бурят и говорит:

— Я обещаю вылечить, но пусть терпит!

Оставил нас одних на какое-то время, взял ружьё и ушёл. Недолго отсутствовал. Принёс подбитого зайца. Тут же при нас начал снимать с зайца шкуру. Говорит Тамаре:

— Раздевай до пояса мужа.

Оголила она Ивана.

Старик тут же заячью шкуру — мездрой ему на грудь. Потом ещё накрыл какой-то парусиной, притянул бечёвками.

— Ложись! — велит Ивану. — Больно будет, не трогай.

А жене:

— Не подходи!

...Вначале Ваня покрылся потом, затем начал кричать. Почти всю ночь он кричал. Уснул только под утро.

¹ Малица — шуба из оленины, шерстью внутрь.

² Люпты — сапоги из волчьих, оленьих шкур.

Когда Иван проснулся, бурят зажѣг плошку, освещающую его жилище, наподобие свечи. Всё убого, первобытно...

Пододвинул какую-то берестяную посудину, снял с Ивана сначала парусину, потом заячью шкуру. И пошѣл гной. Мездра через поры потянула весь гной из плевры через кожу. Тамара оттерла мужа, и он опять уснул, молча. Не в состоянии был говорить.

Бурят пояснил нам, что боль должна кончиться.

Я уехал. А они побыли, кажется, дней пять ещё под наблюдением бурята и вернулись на станцию «Слюдянка». Посылал я за ним своего приятеля.

Пошли показаться врачам.

— Как другой человек, — говорят.

Мы ещё потом с Иваном несколько лет вместе работали.

...Он и раньше трудяга был, а тут такая в нём безотказность проявилась и покладистость. И... таким мужем стал... Все похождения свои — по боку! Тамара одна у него — свет в окошке. Да какой!

А она, и правда, светится вся около него.

В полевом госпитале

Призвали меня в армию только в 1942 году. И вновь я не попал в лѣтную часть. На фронтах остро не хватало специальных войск. В Иркутске при формировании железнодорожного полка вспомнили и обо мне.

...Калининский, Западный, Северо-Западный, 2-й Белорусский фронты — вот где пришлось действовать нашему железнодорожному полку, который восстанавливал разбитые немцами вокзалы, мосты, железнодорожные пути, строил новые железные дороги. Часто под налѣтами немецкой авиации, под обстрелами артиллерии... Счастливчик! Меня серьёзно задело всего один только раз.

Росточком был маленький — трудно попасть!.. Хотя раз сам наскочил...

В октябре 43-го года надо было провести техническую разведку в направлении Ельни в сторону Смоленска. Такие разведки часто случались.

Поехали мы на дрезине с мотором. Перед нами только что прошли сапѣры. Впереди, смотрим, мостик. И табличка: «Мин

нет!» Я доверился. Едва выехали на мостик, прогремел взрыв. Был заложен приличный фугас. Меня подбросило. Как ни странно, успел подумать: хорошо бы перелететь через мост! Если упаду на мостовые брусья, торчащие железные шкворни — не сдобровать!

Повезло. Меня перенесло над мостом. Очнулся я часа через три, оказавшись уже в фургоне. Лошадь, санитарки... Везут меня в полевой госпиталь возле села Павлиново. Я пытаюсь что-то говорить, потом снова теряю сознание...

Не помню, как меня осматривали. Потом-то я видел эту процедуру со стороны: несут на носилках. Кладут на землю. Делают предварительный осмотр. Осмотрели, записали как положено. И — листок на грудь... Если не срочно принимать меры, то несут в душевую...

...Когда я в очередной раз очнулся, слышу голос надо мной. Два санитар несут меня куда-то. Один из них говорит другому:

— Этому жмурику всё равно, а под головой у него хорошие сапоги... А?..

Я как матом бабахнул!

Санитар, слышу, вяло удивился:

— Слушай, этот русак ещё поживёт...

Дальше опять у меня провал, сознание отключилось...

...Что такое полевой госпиталь? Это столбик, второй столбик и меж них перекладина. Меня положили на верхнюю полку из этих перекладин. Офицерская палатка на сорок мест. Рядом палатки сержантского, рядового состава. Такие же брезентовые палатки. Первое, что я сказал, как потом говорили:

— А материться можно?

И потерял опять сознание. Пришли, сделали уколы...

Очнулся, смотрю: кладут рядом раненого. Молоденький такой. Когда он пришёл в сознание, спрашиваю:

— Ты кто?

— Лейтенант, — отвечает, — командир взвода. Под Заячьей горой меня в ногу зацепило, пятку оторвало. И контузило. Долго лежал без помощи... Посмотри!

А электричество от автомобильного аккумулятора. Еле-еле. Потом показывает мне тетрадь:

— Вот сорок девять человек. Это весь мой взвод. Осталось двое, я — третий.

Приходит сестра, за ней санитары. Понесли лейтенанта в операционную. Через какое-то время приносят. Нога его уже без ступни. Очухался он... Опять какой-то общий у нас разговор с ним.

...Начинаются сильные боли. Он кричит... Вновь приходит сестра. Туда-сюда. Санитары унесли лейтенанта. Я не успел спросить, как звать его...

...Приносят лейтенанта. У него уже до колена нет ноги.

Опять ему стало плохо, дают обезболивающее... Кричит... Что-то бессвязное. Одно только разобрал, когда сказал он тихо так: «Становится меня всё меньше...»

Берут его и вновь уносят в операционную.

...Приносят. Уже без ноги, по бедру. Ноги как не было. Он после наркоза без сознания.

Сестра говорит мне:

— Идёт гангрена. Слишком долго лежал без помощи. Удастся погасить нам Антонов огонь, нет ли?

Во второй половине ночи его забрали и больше уже не принесли. Погиб.

...Такая выдалась ночка.

Я так и не знаю его имени.

...В нашей палатке офицеры лежали неходячие. Только один передвигался на костылях, Константин. Рыжеволосый такой и непоседливый.

Время завтракать. Разносят еду, и прошёл слух:

— В соседней палатке лежит раненый еврей.

— Еврей?! — послышались недоверчивые голоса. — Как он мог оказаться на передовой? Они все в Ташкенте!

Константину, который на костылях, поступает команда:

— Иди в разведку!

И лейтенант охотно заковылял в соседнюю палатку.

Возвращается с опущенной головой. Поднял на нас злые глаза и громко, во всю палатку:

— Сволочи мы! Сволочи!

— Хватит базанить¹, говори толком, — осёк его капитан, лежавший у входа, — не баба...

Константин хриплым голосом выдавил:

¹ Базанить — здесь горланить.

— Там лежит еврей. Весь обгорелый! Водитель танка. Сестричка говорит, что вряд ли выживет... А сама плачет.

...Вошли санитары с носилками. И на освободившееся место лейтенантика, которого не стало ночью, положили рядом со мной другого, ещё моложе. Казаха. С разорванным животом. Такой конвейер...

На переправе

Я был уже на Втором Белорусском. Дошли мы до Вислы. Впереди переправа. Дан приказ: всё, кроме оружия, оставлять и возвращать в Союз. Пользоваться остальным только трофейным. Питание не везти, ничего... Только оружие и боеприпасы. Всей нашей ротой связи стоим в общей колонне. Ждём, когда нас пропустят через понтоны.

Движение идёт цепочкой. В одну сторону, потом в другую... Старшина из моей роты Бельтиков ворчит:

— Легко командовать сверху: это не брать, это не эдак... В штабе оно всё проще, вот тут... Сейчас случись артналёт и... поплыли по Висле две дощечки...

...И вдруг появился «Виллис». По обочине — так, сяк... упорно идёт к колонне. Подъехал и остановился. Вышел из него человек в ватнике. Кто, чего?.. Без погон, без фуражки. А там чуть впереди какие-то штабные на «эмке». Тоже пробираются справа.

Столько всего кругом. И всем надо. Бедный начальник переправы уже выдохся, голос охрипший...

...На него орут из «эмки». В ней полковник и ещё офицеры... из интендантской службы. А тот, который приехал на «виллисе», стоит. Смотрит. С плёткой. По ноге бьёт ей, в ватнике этом, перетянутом военно-полевым кабелем. С «Виллисом» подъехал фургон такой, американский. В нём наши солдаты с автоматами.

Колонна резерва артиллерии главнокомандующего (РГК) со своими пушками стоит. Слева орут, справа... И эти, в «эмке», лезут без очереди... Сутолока...

Тот, который в ватнике, ладный такой, махнул рукой солдатам в фургоне. Не слышно было, что он сказал. Только эту «эмку» вместе с полковником раз — и вмиг перевернули. Полетела под откос. Все вокруг сразу примолкли.

Потом:

— Кто это? Откуда?

И шелест по колонне: «Рокоссовский, это Рокоссовский...»

Команда прошла:

— Все в сторону! Впереди бой идёт! Пушки нужны!

В голове колонны что-то сделали, не знаю... Началось движение артиллерии. Мы в сторонке стоим.

...Тягач тащит большую пушку. А за рулём-то Васька Рамин! Наш! Мой земляк, со Слюдянки!

— Вася!

— Миша!

Ему не остановиться. Я к нему:

— Как ты?

— Да вот, пока живой!

Сзади напирают. Оттёрли меня. Вот и весь разговор. Больше мы на фронте не встречались с Раминым.

...Встретились в мирное время. Василий тоже помнил ту переправу через Вислу. Он после контузии плохо слышал.

...В тот раз колонна пошла, но там где-то впереди опять что-то застопорилось. Потом вновь двинулись вроде, приостановились... А он никак не сообразил, не слышит команду, двигаться либо нет! И надо сказать, он не понял, что Рокоссовский прибыл: далеко стоял со своим тягачом. Когда «эмку» эту отшвырнули, не видел.

...А тут к нему, распахнув дверь, какой-то человек:

— Ты что стоишь?

Крепко так добавил ещё пару слов.

А Василий:

— Чего? Откуда ты такой?..

Василий тоже мужик был с норовом, знал я его неплохо...

Тот, в ватнике, плёткой как стеганёт по Василию:

— Давай двигайся!

А у шофёров фронтовиков автоматы были над головой. Василий схватил автомат и...

...Его моментально прижали. Очередь прошла у ног Рокоссовского. Таскали Василия за это, таскали... Шутка ли: чуть ли не покушение на командующего фронтом. Но всё обошлось. Откуда он мог знать, что перед ним сам Рокоссовский?!

До Одера дошёл потом... А там ранило крепко. Больше уж не воевал. Домой вернулся с орденом.

Замполит

В самом начале октября 45-го полк наш вернули из Маньчжурии в Иркутск и расформировали. Прибыл я к себе домой в Мысовую майором. И получил назначение на должность начальника дистанции связи в Улан-Удэ, затем избрали меня освобождённым секретарём узлового парткома станции.

В сорок седьмом около двенадцать ночи звонок: приглашают в обком партии Бурятии. Прибыл я в приёмную. Человек сорок ждут своей очереди. А мельница уже крутится...

Выходит один. Голову опустил.

Ему:

— Юра, ну что там? Скажи.

— Вызовут — тогда узнаете.

Подошла моя очередь. Захожу. В центре стола с красным сукном — первый секретарь обкома. Справа-слева от него: члены бюро обкома партии, представители министерства сельского хозяйства. Ведущий кадрами в обкоме Петухов зачитал мою объективку.

Первый секретарь обкома посмотрел на меня строго так и торжественным голосом:

— Мы посылаем вас на село, — имя моё не называет. — Надо укреплять партийные кадры! С сегодняшнего дня вы зам. директора МТС по политической части.

— Так я же никакой не сельский! — вырвалось у меня.

Петухов тут же:

— Вы по образованию электрик!

— Нет, я не поеду, — говорю. — Так неожиданно это всё для меня!

Первый сурово посмотрел в мою сторону и стальным голосом:

— Какой вы сырой коммунист! Это призыв партии! Постановление февральского пленума обязывает нас укрепить село. Теперь вместо секретарей парткомов будут замполиты. Вы против политики партии? И не бойтесь, что отсюда выйдете без парбилета?

Чувствую, дело нешуточное...

— Если уж посылаете, — говорю, — то направьте туда, где хоть гудок паровоза слышен... Прикипел я к железнодорожной технике.

Рядом с первым сидит министр сельского хозяйства Дубровский, хороший такой мужик, рассудительный.

Первый — к нему:

— Михаил Петрович, где у нас МТС рядом с железной дорогой?

— А вот — Татаурово. Совсем рядом с железной дорогой.

Первый, не глядя на меня:

— Поезжайте в Татаурово!

Это было 29 апреля.

Дубровский говорит:

— Хорошо бы вам явиться к месту работы до праздников. Понимаете?

Пришёл я домой уже под утро.

— Ну что, Вера Ивановна, готовься ехать в село!

Жена — фронтовичка:

— Ехать — так ехать!

Подумал: «До Татаурово сорок километров — может, не перебираться, а ездить туда-сюда». Потом: «Нет, — думаю, — так не гоже».

...Поехал сначала один на место работы. 1-е Мая! Праздник!

Показался директору МТС Петру Ивановичу Какауруну.

— Что ж, — говорит, — перебирайся: будем работать.

Началась моя работа на селе.

...Были ещё продуктовые карточки тогда. И я, замполит, получил карточку на продукты. И не мог на свою зарплату выкупать по ней продукты. У меня на станции, как у секретаря парткома, сохранялся средний заработок по прежнему месту работы в технической службе. Составлял он 1 800 рублей. Теперь, в МТС, заработная плата была 800 рублей. Карточки выдали только на меня: 800 граммов хлеба в день. На жену, на двоих детей — на иждивенцев, не положено.

Квартирка — полуразрушенная хибара. Вот тут-то моя фронтовичка Вера Ивановна и заплакала. У деревенских хоть что-то есть: картошка, прочее...

Окунулись мы в нищету. Никакого домашнего хозяйства...

Трудно вживались. У жены специальность — телеграфистка. А в селе где? Что по специальности? И не по специальности.

...Сельская МТС около железнодорожной станции, а тут — река Селенга. Через Селенгу в одну сторону на шестьдесят ки-

лометров колхозы. И на запад ветка вдоль Селенги — тоже колхозы. Но что это за колхозы? Нет полей... Есть вырубки какие-то, плешинки... Занимались лесосплавом. По Байкалу, Селенге, в Татаурово на вагоны и дальше. Сплавливали молевым способом, то есть не сплавивали брёвна, а по одному пускали. Проще вроде бы так... А что получалось... Бревно застревает, заиливается. К нему сбивается разный мусор, заводи образуются, мель. Перестала река работать...

...Первой же осенью случилась у нас беда на Селенге. Бельё местные стирали в речке. Пошла и моя Вера с ребятишками на Селенгу со своим. Коромысло, тазы, бельё на себя — и вперёд!

Стирали в щёлоке, готовили его из древесной золы. Увлекалась она подготовкой щёлока, а тут... Серёжка тонет! Двухгодовалый ребёнок оказался на течении в осенней воде. Беда! Да какая!

Помогли проходившие рабочие. Потом бедный Серёжа до десяти лет воды боялся.

Серёжу спасли! А бельё-то?! И постельное, и носильное — всё почти река унесла, пока суетились. Остались ни с чем.

Но без подштанников... это всё же не то, что без шинели...

...Мотался я по колхозам, по тракторным бригадам. Была у меня из английского сукна шинель, фронтовая ещё... Заночевал я как-то в одной дальней деревне. Дело было той же осенью, только позднее, снег уже выпал. Положили меня спать на лавку. Укрылся я шинелькой и уснул... А в этой комнатке был телёнок. Я слышу ночью, кто-то чавкает. А встать не встаю, спать охота...

Хозяйка под утро лампу вздула... А у шинели моей один борт от пояса до воротника изжёван. Видать, телок голодный был. Не меньше заночевавшего замполита.

У меня носить-то больше нечего. Хозяйка отстегала телёнка веником. А что дальше-то? Попыталась как-то зашить, подладить... Но где там...

Приехал я в Татаурово... Как быть? Да никак! Что я могу? На работу идти не в чем...

...Узнали про мою беду мать с братом, приехали. Купили мне подержанный полушубок.

Опять я годен к строевой!

Чужая кровь

Поднять после войны страну! После такого противостояния! И потом: война кончилась, а тут голод!.. Сорок шестой год был неурожайным. Мы с райкомом партии открыли три пункта питания для дистрофиков в нашем районе. Туда прикрепили детей, стариков, всех малоподвижных. И в этих питательных пунктах давали горячее питание, всё, что могли тогда.

Но это для населения...

А я замполит! Должен стойкость, пример показывать! Питание кое-какое, сон тоже... Мотался из последних...

...Возвращаюсь из поездки в тракторную бригаду. Иду на паром, мне надо на другой берег Селенги. Переправился. Чувствую: плохо вижу. Что за чёрт! Тру глаза... Пелена. Пытаюсь идти: все канавы мои... Хорошо, что встретился шофёр из Райпотребсоюза, приезжал на базу. Попросил подвезти до посёлка МТС. Иду сам не свой...

Вера, как увидела меня, двигающегося на ощупь, и — в рёв. Жена нашего главного механика Наталья Ивановна успокаивает:

— Это бывает! От недоедания. Ищи первороженицу. Бери молоко у неё грудное и закапывай в глаза.

Вера Ивановна нашла такую женщину. Та нацедила в пузырёк молока. Стали закапывать...

А пелена у меня в глазах всё стучается...

Директор МТС:

— Бросьте вы это шаманство! Сегодня идёт «ЗиС» в «Сельхозснаб» в Улан-Удэ, садитесь и — к врачам!

Мы послушались с Верой. Забрали детей и в Улан-Удэ. Вся родня Веры Ивановны в Улан-Удэ жила. Детей оставили у них. Пошли. А куда? Я железнодорожник — направились в железнодорожную поликлинику.

Посмотрели там меня:

— Да, сложное дело, но вы ведь теперь не наш! Из села. И потом — политработник. Идите в обком.

А я уже сам ходить не могу, не вижу. Берёт меня Вера Ивановна под руки — и повела. По пути рассуждаем:

— А зачем в обком? Есть же у обкома партии своя больница? Туда и надо!

Стали спрашивать.

— Партийно-советского актива поликлиника вон так, недалеко, — говорят.

Пошли, куда показали.

— Где вы работаете? — спрашивают меня в регистратуре.

Отвечаю.

— Да, вы наши!

Звонят в обком партии. Там подтверждают сказанное мною.

— Хорошо, — говорят. — Будем вас лечить.

Направляют меня к Галине Машковой, главному тамошнему. Галина Ивановна посмотрела и:

— У вас кровоизлияние, это длительного лечения требует. Сейчас придёт наш консультант Екатерина Михайловна Никифорова. Она — лучшая ученица Филатова. У нас работает.

...Екатерина Михайловна посмотрела меня.

— Ну, милоч, случай тяжёлый. Но надо решаться!.. Дистрофия своё свершила... Пищите расписку о том, что вы позволяете использовать при лечении ваших глаз все средства, которые я знаю. Будем рисковать...

Я написал бумагу эту: куда деваться?

Моя Вера вышла в коридор.

А Екатерина Михайловна посадила меня на кушетку.

— Держись, — говорит.

И сама сделала мне укол. Я на стенку и полез! Эти уколы были солевые. От них первые минуты две невозможные боли. Надо было вызвать таким образом прилив крови, чтобы рассосались новообразования.

— Через день приходите, — говорит Екатерина Михайловна. — Обязательно свежую сметану и морковь есть надо, слышите?

«Свежую сметану» — легко сказать. Где её сыскать?

Ладно. Ушли мы. Я в обком позвонил кадровику — тому самому Петухову, который участвовал в направлении меня в Таурово.

— Ну что, — говорит, — раз такое дело — лечитесь!

...Двадцать шесть уколов мне сделали. С тех пор, как только вижу человека со шприцем, у меня начинают ноги подкашиваться. Зафиксировалось. И ничего с собой поделывать не могу... Немножко вроде лучше стало от такой процедуры, но не очень-то...

Пошли дальше... Мне под левую лопатку кусочек места первороженицы, послед, подложили. В прорезь пристроили этот кусочек. Неделю я ходил с ним. Всё рассосалось, шрамик остался. Но не помогло.

— Будем подсадку в глаз пробовать, — решает моя спасительница.

И под низ века сделали мне три надреза, и туда вложили кусочек последа. Эти кусочки привозили из родильного дома: там их консервировали.

В правом глазу кое-какой просвет появился. А левый не видит.

— Давай, — говорит Екатерина Михайловна, — ещё один метод попробуем.

И пишет мне направление в туберкулёзный диспансер. В тубдиспансере хороший такой был заведующий, бурят Батуев. Большой и спокойный, как слон. Прочитал он бумагу. Посмотрел на меня:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать три, — отвечаю.

— Так вот, — говорит, — ты до конца своей жизни ещё сто раз можешь заразиться туберкулёзом. Зачем тебе это? Она хочет тебя так встряхнуть, твой организм! Чтоб или-или. Ты понимаешь, о чём речь?

— Да куда уж мне, — отвечаю.

— Давай, — говорит, — сделаем так. Чтобы эту решительную бабу не обижать, я напишу, что у меня малых разведений нет.

И написал такую ответную бумагу. Я с этой бумажкой прихожу к Екатерине Михайловне. Прочла она, улыбнулась так, сама себе.

— Хитрец-мудрец, — только и сказала.

И мне:

— Остаётся у нас самый опасный метод. Приходи завтра в Республиканскую больницу, там есть пять коек, они все заняты. Но что-нибудь придумаем.

Я не знал, на что она решилась, но согласился. Выбора нет. Привела меня моя фронтовая подруга Вера Михайловна в Республиканскую больницу.

Екатерина Михайловна сходу мне:

— Ложись на кушетку. Раздевайся по пояс.

Смотрю, вяжет она мне руки и ноги. Сама.

— Сейчас я введу двадцать кубиков чужой крови, несовместимой для тебя группы. Предупреждаю: организм кровь может не принять! А может принять! Понимаешь, как мы рискуем?

А я уж её лицо едва различаю. Молча согласно киваю на голос головой.

Она вводит мне в вену кровь. И меня начинает трясти.

— Нормально, — говорит, — нормально! Крепкая встряска нужна! Это чужая кровь с твоей знакомится.

С улыбкой говорит так, чувствую по голосу. Я около часа полежал. Меня развязали. Принесли чай, очень сладкий.

— Через двое суток приходи вновь! — говорит моя спасительница.

...В следующий раз, кроме того, что меня привязали, встали ещё два мужика в халатах у изголовья.

Вводит она мне пятьдесят кубиков крови.

Вот тут меня начало так трясти! Вместе с койкой прыгал! Ё-моё! Невозможно! Эти мужики держат и меня, и мою голову, чтоб не повредил.

Пришёл в себя...

— Через двое суток жду! — говорит доктор.

— Если дойду, — отвечаю.

— Дойдёшь, дойдёшь, ты — молодец!

«Ладно, — думаю, — посмотрим, если будет чем...»

А сам чувствую, что начинается в глазах моих просветление.

Через двое, на третьи сутки, мне вливают уже семьдесят пять кубиков крови несовместимой группы. Тут уж я почти ничего не помню. Теряю сразу сознание... бьёт меня...

Пролежал я, говорили, часа четыре либо пять.

— Всё, делаем перерыв! — заявляет Екатерина Михайловна.

Делали мне капли, таблетки какие-то...

И я ушёл.

Вера моя тем временем нашла женщину с коровой. Свежую сметану в долг стали брать. Набираюсь сил.

...А по положению можно пробыть два месяца на больничном, а потом: либо выписка, либо отправляют на инвалидность. Это общий порядок...

...Мои два месяца уже истекают.

Иду к Екатерине Михайловне. Она предлагает:

— Давайте сделаем так. Я выпишу сегодня вас на работу, а завтра опять больничный дам. И вновь лечиться...

...Петухов, кадровик из обкома, говорит мне:

— Что ж ты будешь болеть, а там дела-то не ждут, в Татаурово!.. Замену тебе подбирать надо... Мы тут посоветовались и решили назначить тебя инструктором обкома партии, если поправишь зрение, конечно...

Я не возражал ни против первого, ни против второго...

А тут радость: в глазах всё светлее и светлее! И мысль шальная: «Может, когда-нибудь ещё полечу...»

И в один прекрасный день я стал видеть сносно. Хотя левый глаз всё ещё закрывал повязкой.

До сих пор — мне сейчас за девяносто пять, прошло более шестидесяти лет — у меня поле зрения сужено, будто через трубочку вижу, по бокам темно... как в бинокль смотрю, только слабенький.

...Думаем с женой, мудрим: как отблагодарить моих врачей-спасительниц? Тогда ведь не принято было. Решили купить две плитки шоколада «Мокко».

...Сунул я эти плитки в карман, пошёл. Вхожу, сидят они: и Галина, и Екатерина. Дорогие мои женщины. Екатерина сразу:

— Смотри, какой жених! Ходит как! Теперь долго жить будешь! Такое испытание прошёл!

А у меня на уме: «Ну как вручить шоколад этот?»

Придумал. Изловчился и в карман халатов — раз! Обеим! Галина Ивановна громко так и официально:

— Да вы что?! Не положено!

А Екатерина Михайловна! Характер! Командует:

— Бери, пока дают!

Отламывает мне треть плитки:

— Бери! Вкусно. Тебе надо!

Какие замечательные люди! Чужие люди, чужая кровь! А роднее родных!

Екатерина Михайловна потом Героя Социалистического Труда получила в Бурятии.

Неуёмная! Идёт по базару, смотрит на кого:

— Слушай, у тебя что с глазами?

— Да вот...

— Непорядок! Приходи ко мне, попробуем вылечить! — и даёт записочку...

Её знали во всей республике. Она летала в самые дальние улусы. Больных высматривала!..

Новые горизонты

...Я ещё повязку с левого глаза после лечения окончательно не снял, а меня назначили инструктором обкома партии.

Перебрались мы из Татаурово в Улан-Удэ и стали вчетвером жить у моей тёщи в её мазанке. А их самих трое, да...

Ну ладно.

Начал работать, продолжал быть на больничном. Недели через две назначают меня дежурным в приёмную 1-го секретаря обкома. В первый раз.

В полувоенной форме, с повязкой на глазу сижу в приёмной. Там чуть дальше охрана, а я здесь... Так было заведено. Уже поздний вечер. На этаже пусто. Вдруг заходит 1-й секретарь и с ним монгол ли, бурят ли — низенький такой...

Первый секретарь смотрит на меня. А я своим одним глазом — на него. Встал по-военному, стою. Продолжаем смотреть. Молчим. Я не пойму, в чём дело. Потом он мне властно так:

— Ключ! На вахте!..

Я пошёл на первый этаж, взял ключ. Вернулся и протягиваю ему.

Сердито так посмотрев на меня, он жестом показал, мол, открой сам. Я начал ковыряться в замочной скважине... Не сразу открыл. Наконец в кабинет вошли. Я вернулся в приёмную, сел за стол. Фронтальной офицер в роли вахтёра... Не то, чтобы обидно... Сразу не скажешь...

Прошло некоторое время. Выходит из кабинета этот монгол или бурят. За ним первый шефствует. Первый говорит в мою сторону, не глядя на меня:

— Позвоните в Красноярский крайком дежурному по «вертушке» и скажите, что товарищ Цеденбал будет сегодня ночевать у них.

— Хорошо, — отвечаю.

А сам понимаю: влип! И то, как он смотрел мимо меня, и явление высокого гостя для меня ничего хорошего не сулило.

...На следующий день вызывают меня в орготдел обкома. Посмотрели на меня, помолчали многозначительно. А тут ещё повязка на глазу спадать стала. Я невольно задёргался. Сказали мне, что больше я дежурить в приёмной не будут. Ничего не объясняя.

Я не огорчился. Отвечаю бодро так, впопад-невпопад:

— Спасибо!

— Говорите Цеденбалу спасибо!

И верно: больше в приёмной у первого я не был ни разу.

...Через некоторое время опять тот же Петухов из управления кадрами приглашает к себе:

— Ну, вот что, Михаил, человек ты, прямо скажем, самоотверженный. Но... Чем бы ты хотел заняться иным?

А я тогда в газеты статейки уже начал писать.

— Мы тебя освободим по состоянию здоровья, всё будет достойно.

«У нас в аэроклубе подобное называлось «скапотировать», — усмехнулся я про себя.

...И, действительно, не вызывая на бюро обкома, освобождают меня от должности инструктора в связи с болезнью глаз.

— Давай я предложу твою кандидатуру в железнодорожную газету, — говорит Петухов, пригласив меня вновь в свой кабинет. А там меня знали по заметкам в газетах. И взяли корреспондентом газеты «Восточносибирский путь» на Улан-Удэнском отделении.

Зрение более-менее моё пришло в норму. Весь 48-й год я проработал в этой многотиражке, начал печататься в отраслевой газете железнодорожников «Гудок». А в начале следующего года оказался... секретарём парткома узловой железнодорожной станции. Помимо моей воли.

Это было уже дело рук начальника полиотдела дороги. Я его часто задевал в газете. Чувствовал себя независимым. И изрядно, видно, надоел ему. Надо было им отписываться на критику газеты. И он решил перетащить меня в партком секретарём, чтобы я оказался в его подчинении и примолк.

В партком — так в партком. Нет худа без добра. В мои-то тогдашние годы... Я даже порадовался, что буду ближе к конкретному делу. И не только потому, что я по профессии железнодорожный электрик. Неудержимо теперь влекло более

властное. Всё, что прошёл, видел, прочувствовал, накопившись во мне, просило выхода, осмысления...

Я задумал писать роман о железнодорожниках. Не осознавая, что этот мой замысел и его исполнение через пять лет бросят меня в другую жизнь, в другой, незнакомый мне, изменчивый, властный и жёсткий поток... Название которому — литература.

Через пять лет, когда вышел мой роман, меня приняли в Союз писателей. И я оказался в Москве в институте имени Горького на Высших литературных курсах.

Открывались новые горизонты.

Это завораживало. Не менее, чем когда поступил в аэроклуб и начал летать...

*г. Самара,
2012 г.*

**Наброски
к автобиографии**

Мне посчастливилось появиться на свет в благословенном лесостепном светоносном крае!

Село Утёвка, Заволжье, Красносамарский край — моя малая родина.

Родился я 20 февраля 1944 года.

Моя мама (Екатерина Ивановна Рябцева) и бабушка (Аграфена Фёдоровна Рябцева) рассказывали, как в тёмную метельную февральскую ночь они не могли на лошади добраться до местной больницы. Два раза возвращались домой с полдороги. В третий раз ехать не решились, боясь, что придётся рожать в санях.

Родился в бревенчатом доме деда моего Ивана Дмитриевича Рябцева. Этот дом стоит и сейчас на улице Комсомольской, 13 (тогда Центральной). Дед построил этот дом на деньги, которые он заработал, бежав в Сибирь от голода в Поволжье в 21-22 годах.

Мама моя, дед и бабушка — крестьяне. У каждого из них образование не более двух классов. У деда в трудовой книжке в графе «профессия» было отмечено: «шорник, конюх». Но был он, несомненно, профессором во многих сельских науках. Достаточно хотя бы отметить, что во время Второй мировой войны он работал мастером в местном Утёвском продкомбинате, где занимались выделкой овчин, пошивом полушубков и рукавиц для фронта. Был награждён за это медалью. Здание комбината они построили из сосняка, сплавленного из Борского района до Утёвки по реке Самаре. Я с детства это знал и гордился дедом.

Всё детство моё (жил я до школы в основном в доме деда) прошло в деревенских, крестьянских заботах. Всё определялось кругом забот деда и моего отчима Василия Фёдоровича Шадрина — инвалида 1-ой, потом 2-ой группы. Василий Фёдорович Шадрин, усыновив меня, стал мне настоящим надёжным отцом.

Дед после войны ушёл из продкомбината и работал больше конюхом. Обе семьи держали корову, другую скотину.

Как правило, большую часть лета я проводил со взрослыми на сенокосе, на заготовке дров на зиму. Рано научился косить и вообще работать наравне со взрослыми и дома, и в степи, и в лесу. Обычное сельское детство. И не совсем. Дед мой был ещё и охотником, и рыбаком. Это и кормило, и придавало особую прелесть детским годам. И ещё: мой дед любил петь песни! На особицу. Негромко. В степи, в дороге... Пел старинные русские песни, в том числе и те, которые привёз из Сибири!

Если запевал своим тихим тенором в компании, все невольно замолкали, слушали его. А он пел так, как будто никого рядом нет. Словно он один, где-то в степи. Пел протяжно. И грустно лилась его песня... Всегда грустно... И не было уже небольшой деревенской горницы с иконами в переднем углу, были степь, река, липа вековая, сибирская дальняя сторона и... Байкал!

Когда в моём детстве говорили про кого-то: «Он интеллигент», — я понимал, что говорят о человеке, похожем на моего деда. Немногословном, нешумном, много умеющем в жизни. Не рвущем постромки.

Бабушка Груня, в отличие от деда, была многоречива, порывиста.

Она была рассказчица.

Наши соседи приходили к нам послушать дедовы песни и рассказы моей бабушки. Бабушке моей не хватало красок и событий в повседневной жизни. Плавное течение быта было не для неё. Она была — Шекспир!

Росла она сиротой, была когда-то прислугой в Самаре. После её рассказов у многих слушателей глаза оказывались на мокром месте. Читали мы по вечерам вслух в кругу разные книжки... Помню, когда я уже поступил в институт, провожая меня, бабушка Груня, обжигая своим пронзительным взглядом, сказала:

— Шура, ты не думай, что вот поступил в институт и твоя жизнь сама по себе сразу стала распрекрасной. Всякое будет. Но упаси Бог тебя от того, чтобы ты ел украдкой. И не своё... Так нас воспитывали наши неграмотные родители.

Мама моя тоже любила рассказывать. Но как-то на ходу, между прочим. Не так «постановочно», что ли... Во время её рассказов если и были слёзы, то от смеха, так она умела грустное превратить в весёлое. В доме мамы часто звенел смех. Если

она приходила в «магазин» и становилась в конец очереди, многие оборачивались — ждали, что скажет Катерина Ивановна, чтоб не пропустить смешное...

Более волевого человека, чем мой отец Василий Шадрин, я не знал потом в своей жизни.

Изломанный войной (был около четырёх лет в плену, два раза бежал из плена), со сросшимся (4 звена) спинным позвоночником и прямой, совершенно не гнувшейся в колене ногой (последствия перенесённого туберкулёза костей), он имел непреклонный характер.

В любой артели (по заготовке сена, дров, деревенских помочах, когда рыли колодец, погреб) и молодые, и старые — все сразу подпадали под его начало.

Он многое знал как делать. И не отказывал никому в совете, в помощи. Такова в нём была жажда деятельности.

А ведь мы, ребятишки (у меня было две сестры и брат), либо мама по утрам помогали ему надевать брюки. Один он не мог с этим справиться.

Он пролежал с небольшими перерывами в военном госпитале в Самаре на улице Молодогвардейской более пяти лет. Вырвался оттуда в корсете на поясе и с гипсом на ноге. Раны на ноге у него гноились ещё. Мама его перевязывала, я зарывал гнойные бинты за сараем. Гипс с ноги мы срезали с мамой по его команде. Намучились. Я помню мамины глаза.

Когда позвонки в пояснице срослись в монолит, он перестал надевать из чудовищно толстой кожи, скрепленной металлическими пластинами, корсет. Я его забрал на чердак.

В нашем шеститысячном селе была хорошая библиотека. И не одна. Я много читал. Искал в книгах то, чего не могли дать мне окружающие. И в школе в том числе. Мне важно было знать многое. Вот полевой цветок! Растёт прямо около нашего сенокосного стана. Как он называется? Ни опытный мой дед, ни дядья не знают. Как же так? У каждого цветка, каждой травинки должно быть своё имя! Так я полагал. Прошу маму привозить мне в поле разные книги из библиотеки. В том числе и «Определитель растений». А приехав домой, читаю о Пржевальском. Читаю Мичурина...

Если убрать из моего детства дядьку моего Сергея и дядьку Алексея, которые жили, как и я, в семье деда, детство станет

бледным. Их разнообразные затеи манили к себе многих. Они были непохожие, дядья мои. Сергей порывистый, неутомонный — в бабушку. Основательный и уравновешенный Алексей — в деда. Среди них я вырос чем-то среднеарифметическим: и по характеру, и внешне. Неярким.

Также не представляю своё детство без огромного мерина Карего, который постоянно был у нас во дворе. Он был моим другом, может быть, самым верным...

Уже были в нашей школе и радиокружки, и многое другое. Друзья мастерили детекторные радиоприёмники, потом транзисторные. А дядья мои, кроме рыбалки и охоты, страстно были увлечены фотографией. Потому-то у нас (у моей родни) сохранилась целая фотолетопись тогдашнего быта. А ещё они рисовали масляными красками на клеёнках, на загрунтованными ими холстах огромные копии картин. Это были общеизвестные «Охотники на привале», «Три богатыря», «Запорожцы пищут письмо турецкому султану» и т.д.

Картины были порой длиной до трёх метров. Я рос среди этих картин. Одна, «Три богатыря», весьма внушительных размеров, висела в закутке над кроватью, где я спал.

...А ещё дядья играли на многих инструментах. Гармонь, балалайка, баян, аккордеон часто звучали по вечерам. Особенно меня завораживало умение дяди Алексея подбирать музыку на мандолине. Сходу, сразу. Стоило ему только услышать начало песни. Это его умение меня приводило в восторг. Оно меня растрояло в своей стихии.

Такой была крестьянская семья моего деда.

В доме моих мамы и отца было немного по-другому. Младшие сёстры Люба и Надя, младший брат Пётр красили жизнь по-своему. Все они в своей веселости походили на нашу маму, хотя жизнь была нелёгкая.

Мама около семнадцати лет работала уборщицей в сельском доме культуры, отец, когда ему дали вторую группу инвалидности, всеми правдами и неправдами устроился туда же сторожем. До войны мама работала в колхозе. Либо кашеварила на полевом стане, либо трудилась на общем дворе. Отец был трактористом.

Большая часть моего детства и юности была тесно связана с клубом, хором, драмкружком. Очень любил кино!

Когда я поступил в институт, моя стипендия в 37 рублей оказалась вдвое больше отцовской пенсии, оформленной ему как бывшему колхознику.

Всё это, конечно, сказывалось на образе жизни семьи. Уклад той нашей сельской жизни я потом попытался описать в своих ранних повестях.

До поступления в институт я всего два раза был в городе.

Первый, когда бабушка Груня, поехав в Куйбышев на Троицкий рынок торговать яичками, взяла и меня с собой.

Вторая поездка была связана с моим участием в областном фестивале самодеятельности.

Я должен был при выступлении своих товарищей по художественной самодеятельности вести концерт. Должен, но... конференсье из меня на областной сцене не получился. Мы с приятелем съели по несколько порций мороженого. И у меня пропал голос. Не было опыта у нас же в селе не продавали мороженое...

Когда приехал сдавать экзамены в институт, первое, что я сделал, — пошёл искать в Самаре музей Максима Горького. Много позже я неоднократно бывал за границей. Много ездил, много думал. Но Самара — мой первый город!

Он дорог мне тем, что у меня кружилась голова при мысли, что здесь где-то в нём ходили, жили Горький, Шалапин. Эти имена заставляли чаще биться моё сердце. Оно было молодым!

Когда уезжал в город уже учиться, поступив на химико-технологический факультет института, мама дала мне десять рублей (две пятёрки). Приехав, узнал, что в студенческой столовой можно питаться на один рубль в день. Значит, можно протянуть десять дней. Это меня ободрило.

У меня не было ни осенней одежды, ни обуви. Вернее было и то, и то... Но... не мог я ходить на занятия в фуфайке и в кирзовых сапогах.

Надо было где-то заработать деньги, чтобы кое-что купить. К этому времени я достаточно уже поработал в разных рабочих артелях. И на заготовке дров, в плотницких артелях. Одних колодцев и погребов вырыл артельно несколько штук. Имел права тракториста.

В первую же неделю я подрядился перестроить на улице Вилонова в Самаре одной хозяйке сени с заменой крыши

и крыльца. Она аккуратно со мной расплатилась деньгами, а в качестве премии выдала мне две книжки «Войны и мира» Л. Толстого.

Шаткое финансовое состояние не удручало. Оно мобилизовывало. Было заразительное, радостное ощущение начала пути, своей неизведанной самостоятельной дороги в новую жизнь. Это завораживало. Я был первый из всей своей многочисленной родни, кто поступил в высшее учебное заведение. Большая часть иногородних ребят в моей группе мало чем отличалась от меня. Время нам выпало такое. Оно и корёжило, и выпрямляло...

Мой родной отец Малиновский Станислав появился в селе в 1942 году. Поляк. Варшавянин. Он оказался в СССР вместе со многими поляками и нашими красноармейцами при отступлении войск во время войны. Он шил обувь в Утёвской сапожной мастерской, в том числе и женскую. Вскоре они с моей мамой познакомились. Стали жить как муж и жена в доме моего деда. В 1943 году, когда моя мама была на четвёртом месяце беременна мной, отца забрали в составе Войска Польского на фронт.

Расставаясь, отец просил маму (они не были расписаны), чтобы, если родится сын, назвали его Сашей и дали фамилию Малиновский. Обещал обязательно вернуться. Проявив немалую настойчивость, мама выполнила наказ Станислава. Так в Утёвке появилась необычная для наших мест фамилия.

Капрал Станислав Малиновский присылал четыре письма с фронта. Присылал детскую одежду. Сообщал, что получил мою фотографию, перед освобождением Варшавы.

Потом переписка прервалась. Около сорока лет я разыскивал родного отца. Он участвовал в освобождении родного города Варшавы; мама полагала, что он погиб. Только в 2000-ом году я нашёл его. Точнее — его могилу. В 1946 году по ранению он был демобилизован. Жил в Варшаве. В начале 60-х годов около собственного дома его сбила машина, управляемая пьяным водителем. Он получил переломы обеих ног, множественные раны. В одну ногу ему вставили металлический стержень, другую собрали, поставив двенадцать металлических скоб.

Он дожил до 80-ти лет. Ходил на костылях. Может, это обстоятельство и послужило одной из причин того, что отец не давал о себе знать...

Оба моих отца оказались инвалидами, оба ходили на костылях.

Когда пришла пора решать, куда идти учиться, выбрал химико-технологический факультет Индустриального (позже Политехнического, сейчас СамГТУ) института в Самаре. В то время мечтой каждого сельского парня было стать лётчиком или моряком... А у меня правый глаз слабо видел, левый — более-менее сносно, очевидно, как результат того, что в детстве я переболел корью. Тогда, в детстве, меня выписали из больницы незрячим. Мама долгое время мыкалась по окрестным деревням ко всевозможным лекарям и знахарям, пока я не стал видеть.

Окончание школы совпало с началом химизации страны, развитием добычи нефти в Поволжье («второе Баку»), её переработки. Появились в Утёвке, Кулешовке крепкие спортивные парни-буровики. Разворачивалось строительство будущего города Нефтегорска в голой степи, на ровном месте. Как испытание для себя я отчаянно выбрал Политехнический, где конкурс был шесть человек на одно место.

Возможности, которые открылись в институте, ошеломляли. Учёба давалась легко. Но была некая разбросанность. Занимался спортом (игровые виды: футбол, волейбол, теннис, тяжёлая атлетика); манили театр, цирк (особенно силовая эквилибристика, из-за которой чуть было не оставил институт, намереваясь поступить в цирковое училище).

Интересна была философия, занимался и ей как наукой, на кафедре, в студенческом научном обществе — нефтехимией с процессами и аппаратами. Сам не заметил, как переболел многим. И на четвёртом курсе проснулся аппетит к специальным наукам. И неудержимый! Последние семестры учился на отлично, совершенно не стремясь к этому. Диплом защитил на «отлично». От предложений остаться в институте отказался, найдя, как мне казалось, веский довод: «Пойду на завод зарабатывать деньги, надоело безденежье». Это было внешне. В душе творилось необычное. Я начал на последнем курсе, перед защитой диплома, писать стихи и прозу. Неожиданно для самого себя. Не давая себе отчёта: для чего это мне? По натуре достаточно скрытный, не торопился никому об этом говорить. Тем более печатать. Мне надо было разобраться в самом себе. Я попал в некотором роде в турбулентное движение. Догадываюсь,

что одной из причин было то, что, несмотря на мою энергичную, наполненную до краёв студенческую жизнь, было во мне ощущение некоторого «сиротства». Моя атлантида — тот сельский мир, частицей которого я был, тот мир, в котором оставались мой дед, бабушка, родители, заливные луга, поречье, Самарка, многоголосье моих молодых и покалеченных войной односельчан, — всё это уходило в прошлое. Оканчивая институт, я как бы оказывался на трамплине, который вот-вот выбросит — отбросит меня ещё дальше, чем я был прежде, от всего родного. Вот это «сиротство» в большом городе и предстоящий дальнейший разрыв и стали тому причиной. Я жил как бы с необрезанной пуповиной, соединявшей меня с породившей меня средой. И с чувством как бы предательства... Многое уходило в прошлое, в более страшное — в никуда. Шло укрупнение сёл, высасывание молодых сил из села в город, вымывание быта, ветшание его, а значит, оскудение языка, обычаев. Всё это я чувствовал остро.

Всё становилось неперспективным. Я спохватился, стал жалеть, что не поступил на нефтяной факультет, тогда бы можно было работать на земле, хотя бы так... Взлёт, связанный с химизацией моей малой родины, и подрыв её корневой основы — всё это было во мне двуедино. И рвало душу. Это я теперь так могу формулировать. Тогда шло через сердце, было на подсознании. Каким-то животным чутьём улавливал я трагизм завтрашнего дня. Несмотря на фанфары и литавры.

Я любил свою родину. Такою, какая она есть, была... Родилось жгучее желание писать. Но как? Нет никаких навыков... Первый из своего окружения в селе я вот-вот получу высшее образование! Мог бы что-то сделать?! Возникла мысль защитить диплом и поступить в Литературный институт. Я был один на один с этой своей затеей: догадываясь, что являюсь свидетелем, участником чего-то очень важного, чреватого в будущем неизвестно чем для всех нас, решил обучиться в Литературном институте и описать, что видел, что чувствовал... Наивно, конечно... Таким я приехал работать в г. Новокуйбышевск, на Куйбышевский завод синтетического спирта.

Об этом периоде моей жизни я позже писал в повести «Колки мои и перелесья» в главке «А избы горят и горят».

Несмотря на внешне непритязательное название, завод являлся большим нефтехимическим комплексом, дающим стра-

не спирт, фенол, ацетон, альфаметилстерол, полиэтилен и т.д. Таких заводов в стране было три. Это были первенцы нефтехимии в СССР (Куйбышевский завод — первенец в Поволжье). Народно-хозяйственное их значение огромно. Так, в начале 60-х годов на закупленном оборудовании в ФРГ они давали полиэтилена (тогда редкого ещё продукта) больше, чем производилось его в США. Выпускаемый этиловый синтетический спирт был длительное время единственным сырьём при производстве резины для автотракторной и прочей техники, по цепочке: «спирт-дивинил-каучук-шины».

По всей стране были расположены заводы синтетического каучука и производства шин. В голове этой цепочки — три производителя синтетического спирта методом прямой гидратации и плюс небольшие заводики производства спирта по сернокислотному методу.

Масштабы производства завода и его значимость поражали! Пришла, ворвалась неужённая страсть к химической технологии и связанной с ней накрепко науке. В которой порой факт и опыт оказываются фантастически значимыми.

Научная, техническая интеллигенция, по сути схожая в большинстве своём с крестьянством преданностью своему делу, трудолюбием, подлинностью и надёжностью, бескорыстием, покорила меня. Я и сейчас чувствую себя должником всех тех, с кем рос на селе, а затем учился и работал на производстве, в науке.

Это странное, на первый взгляд, соединение крестьянства и интеллигенции дало мне очень многое.

Да, наше крестьянство заслуживает индивидуального всероссийского памятника, как и наша техническая интеллигенция! В среде первой я родился и рос. Она меня воспитала. Техническая интеллигенция, насколько я был готов к этому, — обрзовала.

Проработал в цехах нефтехимического завода около семнадцати лет (начиная от рабочего, начальника смены, заместителя начальника цеха, начальника цеха, начальника производства, в структуре которого шесть цехов).

Наукоёмкая отрасль, интеллигентная техническая среда сильно повлияли на меня.

Будучи начальником цеха, начал работу над диссертацией «Селективное гидрирование ацетиленовых углеводородов в пи-

рогазе на комплексном катализаторе на основе палладия в растворе трифенилфосфина и диметилформамида». Эксперименты проводились на специально построенной в условиях действующего цеха опытно-промышленной установке. Был разработан запатентованный после катализатор. Разработана технология.

Защитил диссертацию в Москве во ВНИИ НП в 1984 году, без отрыва от производства.

Продолжил работать в науке. Получены были разработки, не имеющие на то время аналогов в нашей стране, в мировой практике.

Так получилось, что накопил материал для защиты докторской диссертации. Специальной работы не вёл, обобщил сделанное и в 1992-ом защитил её в Московском МИТХТ. Тема диссертации «Теоретические основы и технологические принципы совершенствования производства низших олефинов».

Область научных интересов: технология основного органического и нефтехимического синтеза (фенол, ацетон, пиролиз), конструкции пиролизных печей и горелочных устройств, закалочно-испарительные аппараты, ресурсосберегающие технологии.

За внедрение разработок более чем на 100 установках СССР в составе творческого коллектива награждён премией Совета Министров СССР (лауреат).

Автор более пятидесяти научных статей и изобретений. Более пятнадцати лет был генеральным директором вначале Куйбышевского завода синтетического спирта (ныне ЗАО «Нефтехимия»), потом Нефтехимкомбината (ныне ЗАО «Нефтехимическая компания»). Оба предприятия расположены в городе Новокуйбышевске. Нефтехимкомбинат — один из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов.

Приходилось изучать и науку управления (в ВУЗах СССР, России, за границей, в том числе в ФРГ). Параллельно с занятием наукой, производством преподавал длительное время (по настоящее) в Политехническом институте (ныне СамГТУ). Около 15 лет возглавлял ГЭК (председатель). Являюсь Почётным профессором университета, профессором кафедры «Общая химическая технология и экология». Член диссертационного учёного совета по присуждению кандидатских и докторских степеней в области нефтехимии.

С 1994 года живу в г. Самаре. Непрерывный стаж работы более 45 лет.

Присвоены звания:

Лауреат премии Совета Министров СССР (12.04.1990 г.);

Отличник химической и нефтехимической промышленности СССР (16.05.1991 г.);

Почётный нефтехимик (30.11.1992 г.);

Заслуженный изобретатель РФ (17.05.1994 г.);

Почётный химик (17.12.1999 г.);

Академик инженерной академии РФ (17.11.1998 г.).

За помощь в деле строительства Свято-Серафимовского храма в г. Новокуйбышевске награждён Патриархом Московским и всея Руси Алексием медалью русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского I степени.

Награждён медалью Серафима Саровского.

Награждён губернатором Самарским знаком «За труд во благо земли Самарской».

Страсть к производству, к научной деятельности удерживала меня до 80-х годов, пока не почувствовал, что желание писать неистребимо.

Первую мою повесть «Степной чай» Областное книжное издательство выпустило 25-тысячным тиражом в 1992 году.

С тех пор написал несколько повестей и циклов рассказов.

Я исполнил моё желание молодых лет — написал эпический цикл из повестей (пять) под общим названием «Под открытым небом», посвятив его судьбе моих соотечественников на изломе столетий.

Есть книги, отмеченные областными премиями, есть — Всероссийскими. Член Союза писателей РФ с 1994 года. Автор более 20 книг прозы и поэзии. Многократно издавался в Москве. Две книги изданы за рубежом (Франция, Польша).

Лауреат нескольких престижных Всероссийских премий:

«Русская повесть»;

Имени П.П. Ершова;

Имени А.Н. Толстого (международная);

Имени И.С. Шмелёва;

Имени Володарского;

Лауреат губернской премии в области культуры и искусства.

Есть среди моих книг одна, которая не только повлияла на моё дальнейшее творчество, но и на формирование моего мировоззрения, привела меня к православию, хотя крещён я был в самом раннем детстве, когда был слепым.

Речь идёт о небольшой моей документальной повести «Радостная встреча». В ней я рассказал, как смог, о жизни и творчестве дотоле неизвестного художника-иконописца, родившегося без рук и ног. Об утёвском изографе Григории Николаевиче Журавлёве. Работа по поиску материала о нём, написание книги продолжаются около сорока лет.

За это время я приблизился в своём творчестве к безыскусной манере письма, к душевной потребности идти от трагического к светлому.

Могу сказать, что писал как дышал.

Потом Российское издательство в Москве выпустило двухтомник избранной моей прозы, за этим в том же издательстве вышел мой четырёхтомник. Но повесть о моём земляке-художнике для меня в особом ряду.

Сколько всякого было за мои сорок лет работы в промышленности! Да и потом, когда работал в университете (работаю и сейчас)! Сколько лиц и имён! Сколько светлых и горестных, порой драматических событий в памяти.

Сколько и теперь голосов звучит во мне. Незабываемых и разных! И весь этот калейдоскоп — около моего рабочего письменного стола.

Могу ли я жаловаться на свою судьбу, давшую мне возможность быть полезным не только себе.

Во внешне спокойном (это спокойствие и уравновешенность я осознанно и настойчиво культивировал в себе лет с тринадцати) парне горело страстное восприятие жизни! Так хотелось наполненной смыслами деятельности.

На этом контрасте (на острой грани), противоборстве, очевидно, и налипли банальные для моего возраста болячки, с которыми, как водится, теперь борюсь с переменным успехом. Есть подозрение, что моя медицинская карта амбулаторного больного может стать похожей по своему объёму на один из толстенных томов «Войны и мира».

Работу в институте бросать не намереваюсь, понимая, что она, как перископ, расширяет кругозор, увеличивает обзор

окружающей жизни. Что, как ни это, самое важное для писателя!

Успеть бы сделать задуманное. Осмыслить увиденное и пережитое лично, страной.

Драматургия окружающего — вот что меня влечёт более всего сегодня.

Теперь, когда мне за семьдесят, рад знать, чувствовать, что гул индустрии, грохот больших дел, в которых мне пришлось участвовать и которыми горжусь, не заглушили, не заслонили во мне (и в написанном мной) тихие мои радости в детстве, светлую улыбку моих родителей, песни моего мудрого деда Ивана... Не придавили во мне желание, готовность мою негромко говорить с каждой отзывчивой душой... Слушать...

Теперь нет-нет да и увижу себя среди лугового разнотравья, под синим небом над головой. И — в сиреневой майке. Как в детстве! У реки!

И радость на душе от того, что было у меня в жизни такое...

Мысли на ходу

Из записных книжек

Вздумалось мне собрать мои заметки, которые я делал на ходу в блокнотах, тетрадях. Просто на подвернувшихся клочках бумаги. Они отрывистые, без дат написания.

Сгрёб в кучу на столе и попытался переписать в такие аккуратненькие небольшие блокнотики. Получилось нечто бессистемное, непоследовательное. Так мне показалось.

Когда делал эти заметки, они были в контексте моих размышлений, сомнений. А теперь не могу даже восстановить последовательность их возникновения.

Нужны ли они мне? Сегодня? Кажется, я уже писал об этом. И я решил их уничтожить. Сжѐг же я когда-то две общих тетрадки со своими стихами. В рабочем общезнании. Тогда мне было чуть больше двадцати лет. И я разуверился в себе... Вернее струсил. Несколько лет назад сжѐг кучку писем, ходил опустошённым. А теперь? Теперь не тороплюсь. И, более того, продолжаю делать записи в той же манере. Без дат, без привязки к конкретным событиям... На ходу...

Вошло в привычку. Как у некоторых курение.

В юности был решительнее. Запас многих будущих дел был впереди?.. Кто знает?..

...Но всё же соблазн уничтожения, разрушения, видимо, в человеке силён. Как и созидание, сохранение. Руки чешутся. Что возьмёт верх?

Эти исписанные блокнотики лежали стопкой на столе. Затаились. Ждали моего решения.

Они показались мне кучкой слепых ещё котят, которых могут разом всех отнести в пруд, а могут и оставить пока...

Тут вокруг меня столько котят на даче, куда ещё? И столько нынче пишущих. И столько понаписано... Что с этим со всем делать?..

Тетрадь № 1

* * *

Попытался, выгребая из карманов, дальних ящиков, с полей книг, старых записных книжек свои давние и совсем недавние записи, систематизировать их. Хотя бы по годам. И не смог. Сдался. Стал переписывать почти беспорядочно, по мере того, как они попадаются на глаза, крепко сомневаясь в необходимости того, что делаю...

А тут прочитал у А. Блока:

«Писать дневники или, по крайней мере, делать от времени до времени записки о самом существенном надо нам всем».

И успокоился, продолжил писать эти записки так же непроизвольно, как и прежде... Потом как-нибудь разберёмся...

* * *

В студенческие годы, когда пытался вести дневники, сколько раз приходили ко мне «великие» мысли.

Потом оказывалось, что их уже кто-то сказал. И они банальны. «Опоздал родиться, чтобы сказать первым!» — так решил. И забросил свои записи. Пока не понял: не в том дело, что сказал не первый... Как сказал! Это немаловажно. «Ибо от избытка сердца говорят уста» (из Евангелия от Матфея, 12:34). Но сердце сторяча часто подводит?..

* * *

С возрастом всё больше начинаешь уставать от засилья дураков. И раньше знал, что их немало, но чтобы столько!..

* * *

Сколько раз мог погибнуть под житейской магмой. Однако жив!.. Сам порой удивляюсь: с моей-то незащищённостью...

* * *

«...вымрут полудикие, глупые, тяжёлые люди русских сёл и деревень...» Так писал пронзительно М. Горький, кажется, в

памфлете «О русском крестьянстве». Но ведь он имел в виду постепенный процесс естественного прихода русского мужика к некоторому уровню, с сохранением всего достойного, так мне хочется думать, а не эту морилку, которую сотворила ему безжалостная перестройка...

* * *

Не обрезали мне пуповину, соединяющую меня с деревней, до конца — вот и маюсь... И сам не знаю теперь: неудача это? Или мне повезло так...

* * *

...И как же меня занесло в писатели, если я закрыт, всегда сопротивлялся тому, чтобы обо мне знали больше, чем я хочу? А ведь понимаю: писатель как раз и должен раскрывать человеческую душу. А я постоянно остерегаюсь быть нескромным. Как совместить?

* * *

Сколько их, художников, ходит с самодовольным лицом. И это когда народ в трясине. Принадлежат ли они народу. Идёт вырождение не только народа...

* * *

Я вижу, как это несовершенно, порой примитивно. Но оно — живое! Оно замечательно тем, что у него всё впереди! Сколько ещё предстоит пройти, чтобы преобразоваться в нечто, может, совсем неожиданно талантливое... а пока многое можно пропустить...

* * *

Многое из того, что раньше меня увлекало и радовало, теперь мне не интересно. Догадываюсь, что это признаки наступающей старости. Как-никак уже семьдесят. Энергии заблуждения поубавилось. Но появляются другие интересы... И порой неустойчивые...

* * *

Без острого чувства принадлежности к народу, из которого я вышел, без любви к живому, без сострадания не могу представить писателя.

* * *

Стихи у неё не плохие. Но когда она сказала: «...я приступила серьёзно к разработке этой темы...» Услышал такое и интерес мой к ней угас. Вернее родилось внутри какое-то подозрение, неверие... Что-то улетучилось...

* * *

Глубокая правда человеческого характера! Как хочется до неё добраться. И как порой берёт озноб от мерзости...

* * *

От людей, которым всё ясно, можно ждать только ремесло.

* * *

Великие наши классики копались в душах пройдох, подлецов и преступников, посвящали этому целые романы. (Я об этом как-то раньше не думал...) Отчего это?.. И надо ли это?.. Человечество приобретает что-то от этого или нищает?.. Вопрос! (Хлестаков, Чичиков, Раскольников...)

* * *

Ничто сейчас меня так не дисциплинирует, как одиночество и надвигающаяся старость. Для чего и кого писал В. Шукшин свой роман о Степане Разине? Нужна ли была такая воля от Разина России? Зачем Бондарчук снял после Герасимова свой «Тихий Дон»? Для кого?

...Толстой не стал писать романы о декабристах, о Петре I. Хотя и намеревался... собирал материал... Есть великие замыслы, но есть и великие смыслы...

Литература в наше ненастное время на мели...

* * *

Нашёл в своих старых записях фразу: «Озноб прозревающей души» — то ли где я это слышал, то ли родилось у меня, но как сказано!

* * *

Народ — это стихия. Ст. Разин — народный герой, часть этой стихии.

По той же причине и Есенин — народный поэт.

* * *

Выше всех искусств стоит музыка: она рождает чувство, а чувство исторгает слово.

* * *

Самое высшее чудо — это воскресение Христово. А к нему привыкли, о нём забываем, о нём не думаем, живём, не помня о чуде...

* * *

Да, человек, по Вернадскому, стал геологической силой, меняющей лицо планеты. Но как разрушительна эта сила! Не останавливаемая ничем, даже угрозой самоуничтожения... Понимает это большая половина человечества, но прячет голову в песок. На первом плане бытовое: куда сходить, что купить, как скоротать время (читай: жизнь). Что это? Смирение перед неизбежным?.. Если наша жизнь, жизнь каждого — это драма с написанным сценарием, то что такое тогда жизнь нашей планеты? Для неё жизнь пишется большими чёрными буквами?..

* * *

Никто не запретит мне думать, даже жена. Но что мне делать с ворохом моих мыслей? Пустое и неблагодарное занятие — привести их в порядок. Единственный выход — писать.

* * *

Кто там сказал, что самая большая роскошь в жизни — общение с людьми! Соглашаюсь, но и свидетельствую: самый до-

рогой подарок — одиночество (не затянувшееся и не по болезни). Чтоб не мешали близкие, но были где-то рядом...

* * *

— Видел дураков, сам дурак. Но чтоб такие были?.. — так часто говорил мой дальний родственник.

Теперь, когда невмочь от таковых, думаю: он чьи-то слова повторял? Или сам натерпелся, бедолага. Говорил-то без улыбки...

* * *

«Жить в вечности...» — легко сказать!

* * *

Нашим родителям жилось труднее, чем нам. Поэтому они были мудрее.

* * *

Писать с окружающей жизни! Ничего более притягательного я для себя сейчас не вижу. Не оттого ли, что пошёл мне восьмой десяток лет? Жизнь, окружающая меня на исходе, была для меня всего интересней...

* * *

Писатель с самодовольным лицом подозрителен... Сколько их сейчас вокруг...

* * *

Что я сделал — то я и есть.

* * *

Лариса так преданно и безоглядно любит меня, что мне за неё страшно. Раньше, когда был моложе, это удерживало от многого.

* * *

Теперь мне кажется, что я был порой в жизни слишком благоразумным. Многие сознательно «засушил» в себе. Так часто боялся быть нескромным, неискренним — этим боялся «пре-

дать» себя, быть не самим собой. Много комплексовал. Если учесть, через какие события мне пришлось пройти, теперь мой сахарный диабет и камни в желчном пузыре — цветочки. Лютики. Жалею лишь о том, что эти, будь они неладными, болячки не дают сколько хочется работать за письменным столом. Это плата за бурную биографию — сорок семь лет непрерывной работы, в основном на предприятиях нефтехимии... Сотни, тысячи человеческих судеб и характеров, а я о болячках?.. Люди живы, пока о них помнят. И я помню! Но надо оставить эту память идущим за нами. Чтобы знали!..

* * *

Много ли среди истинных тружеников пишущих — вот в чём вопрос? Всё проходит и порой бесследно.

* * *

Среди осенней дачи пытаюсь припомнить Державина.
У него кажется так:

*Река времён в своём теченье
Уносит все дела людей.
И тонет в пропасти забвенья
Эпохи, царства и царей.
А если что и остаётся
Под звуки лиры и трубы,
Всё вечностью покажется
И общей не уйдёт судьбы.*

Да, суров был старик.

* * *

Лариса ни разу в нашей совместной жизни не обмолвилась вслух о своей любви ко мне. Не произнесла этого слова. А я вот уже более сорока лет в плену у неё.

* * *

Всё более клонит меня в моём письме к исповеди. Не только моей. Голоса моих современников, любимых мной уже за одно то, что мы дышим одним воздухом, ходим вдоль одной реки, задыхаемся от одних и тех же мерзостей, верим в жизнь, не

дают мне успокоиться. Живу и слушаю их голоса... И не спеша записываю...

Александр Громов в «Русском эхе» уже напечатал две части этих моих неожиданных опытов («Голоса на обочине»).

* * *

Наше поколение время корёжило, но и выпрямляло. Кого как...

* * *

О чём бы не писал, мысли о человеческой душе. В ней бездна и вершина всего.

* * *

Лариса своей любовью то пеленает меня, как ребёнка, то стреноживает!

* * *

Я теперь только понимаю, что старики — это те же дети, только повзрослевшие...

* * *

Порой многое, к чему привыкли, что говорили уверенно, как-то не вяжется друг с другом. Пример: «быть как все»... и рядом: «у художника должны быть крылья».

* * *

Всё-таки соглашусь: при всей его поэтической гениальности у Маяковского много пошлого кривляния. Как, впрочем, и у Есенина...

Но это кривляние куда плодотворнее и оправданнее, чем, допустим, фальшь и поза Вознесенского.

* * *

На Университетском диссертационном совете молодой парень защищал кандидатскую диссертацию. Тема была связана с проведением исследований над мышами. Мне показалось, что эксперимента мало, опыты не закончены. Как член совета я

всё спрашивал: почему бы не продолжить вот это, повторить вот это...

Парень отвечал, но как-то уклончиво... Кончилось тем, что мне по цепочке сидевших за столом членов совета передали от руководителя работы, что не хватило у них денег на закупку мышей (это было в конце 80-х годов). Аспирант подрабатывал на стороне и на свои закупал на рынке мышей. Но и этих денег не хватило...

Меня тогда прострелило: над нами всеми тоже ведётся мировой эксперимент. И нас много. И мы доступны... Как эти мыши... более доступны... Ничего себе аналогия...

* * *

Всё-таки старость для писателя — подарок!

Уже и малоподвижен, и устойчивость нарушена (походка уже не упруга, не то что прежде), и корабль твой полузатонул...

Но можно вооружиться перископом (общественная работа, встречи с читателями, посильные поездки) и столько ещё увидеть!.. Понять!.. Горизонт, как и прежде, отступает...

* * *

Ясно многим, кто об этом задумывался: пропали великие цели в обществе — не стало и великого искусства. Но если в центре внимания будет живой человек, есть надежда на что-то стоящее...

* * *

Перестал, когда пишу, волноваться — сразу вижу скучающее лицо читателя. И встаю из-за стола... лучше дрова поколоть...

* * *

Сколько сказано до меня о художественной правде, без которой написанное гибнет!..

Но истина! Она волнует не меньше! Одной правды мало...

* * *

Плыву, отфыркиваясь, в житейской магме. Ухватиться бы за удобный поручень!.. Привычный... Привычное ищешь в старости. Новизна дискомфортна...

* * *

Не могу наделять равнозначным смыслом слова «любовь» и «цепь» либо «плен». Что-то во мне противится этому...

* * *

Похваливают мою прозу. А я ведь только начинаю, кажется, понимать, как надо писать... Я только на подступах к себе самому... Поздновато, правда...

* * *

Вера в то, что это могу сделать. И это... И недоумение, почему так делается, а не эдак? Это толкало меня к действию. Характер сформировался в заводской среде, на производстве. Конечно, иногда подводила завышенная самооценка. Но и в этом — бесценный опыт...

* * *

Я человек... «застрявший». Одной ногой — в селе, другой — в городе. Частью — в науке, частью — в художественной прозе. Любил лёгкую атлетику, а занимался тяжёлой (влияние Юрия Власова) и так далее. При всей определённости моего характера, интересы мои не сфокусированы. Они не укладываются в некое русло судьбы, они скорее круг, мной необъяснимо выбранный и вибрирующий...

* * *

Было время, когда я настойчиво искал своё дело. Незнание того, чем я должен заниматься в жизни, тяготило. Чтобы уйти от этого, готов был на многое... Но сознательно сторонился общественной работы, куда меня почему-то пытались вовлечь...

Спасло после института сначала завораживающее меня тогда нефтехимическое производство, потом встреча с Ларисой, затем наука и писательство... В этих координатах я, на моё счастье, и застрял. Сделано немного, можно было больше. Но жил и работал с постоянным радостным ощущением собственного пути. Это так важно в жизни.

* * *

Постарел. И сильно устал, чувствую, что живу около себя. Питаюсь теми делами, теми яркими впечатлениями, которые были у меня раньше. Теми запасами, которые выпали мне молодому. Собираю крошки со стола, получается так...

* * *

...Когда писал свои первые книжки, тонкие, как мамины блины (она называла их «блинцы»), во мне, в памяти моей, рожались, звенели, мерцали лица, голоса моей мамы, деда с бабушкой, отца, разноголосье моих непростых сельчан...

Они давали мне сюжеты, необходимые слова и тон. Теперь во мне сотни лиц, голосов тех, кого я слышу, готов слушать, читаю — столичные и не столичные писатели. Не могу сказать, чьи голоса для меня важнее. Без первых, принадлежащих моим сельчанам, я просто не могу. Без вторых как-то вроде нельзя... И те, и эти идут на убыль. Сельские мои читатели тают. Городские?

* * *

Вот не стало Семёна Ивановича Шуртакова. Замечательного писателя и стилиста. Он единственный читал мою прозу с карандашом в руках. В повести «Новое имя» (потом она стала называться «Сергеич и Сима») целые предложения перечёркнуты им красными чернилами. Как это делали учителя в школе. Пометки и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Не со всем я согласен. Но как они мне тогда были дороги! Внимание дорого! Кое-что я учёл при переиздании. В повести «Под открытым небом» он не сделал ни одной пометки со знаком минус. Но я-то знаю теперь: минусы эти есть. Семён Иванович при его жестковатом характере мог быть и великодушным...

* * *

Не приставая к читателю...

* * *

«Молитва писателя — это его слово». Да, это так.

* * *

Многие болезни и пороки теперешнего поколения от внутренней опустошённости и скуки. Наполненность сознания, уныние — вот результат потери ориентиров в жизни.

* * *

Конечно, книги сжигать — преступное дело. Но если вырыть глубокую могилу и бухнуть туда большинство постперестроечных изданий — идеологическое и экологическое оздоровление общества наступит бесспорно: так сказал старый учитель литературы на моей встрече с читателями.

* * *

Плакальщикам по России, хоронящим её прежде времени, нужно противопоставить созидательный тип людей. Они всегда были наперекор всему, они есть и сейчас у нас. Но их не видят многие пишущие. Или не хотят видеть.

* * *

Теперь у нас время такое: либо реформа, либо митинг на улице. (Из разговора у подъезда дома).

* * *

Какое это непосильное бремя для многих — видеть удачу или радость соседа. Соседа по даче? По работе, в науке, в бизнесе...

* * *

Всё-таки я всегда был крепко приросшим к конкретному делу. Был слишком деловит и настроен на зрелый позитивный результат. А в литературе не это главное... И притом она требует праздного образа жизни...

* * *

Сегодня приснилось мне, что кто-то мудрый и заботливый говорит мне, чтоб я не переживал так сильно за многое... разве можно осилить то, что неподъёмно... что я только за последние два года похудел на 12 килограмм... Куда это годится?.. А как быть безучастным к самому главному: к судьбе страны, жизни

и смерти родственников, одноклассников?.. Про это не сказал! А сам я не знаю...

«Недолёт, перелёт — и раненый в руку Чапаев плывёт...»
Живу теперь в таком режиме. Плыву на подручных средствах... по реке с горячей магмой...

* * *

На одной встрече с читателями в райцентре высокий ладный такой человек средних лет (я его про себя назвал Нагульновым из «Поднятой целины») предложил:

«Ведь есть у нас исторический опыт по раскулачиванию. Надо возродить, только с пользой. Взять посадить на большую телегу авторов щедро оплачиваемых толстенных книг, которые задавили хороших писателей, любящих Россию, и отправить всех разом на так любимый ими Запад. Пусть поживут там. Непременно вместе со своими книгами!»

Жива классика!

* * *

Услышал на кафедре своего университета от одного из студентов: «Нельзя ждать милости от природы... после того, что мы с ней сделали».

* * *

Впервые я увидел Василия Ивановича Белова в Сызрани. Поразила похожесть внешняя с Михаилом Алексеевым, моим отцом Василием Шадриным. Все небольшого росточка, спокойные. Все ходят с палками. Сидим в столовой обедаем. За столом человек пять. Спиртного нет, но уха есть. Хорошая уха. Ел Василий Иванович сосредоточенно, глядя в тарелку. Покрестьянски, с уважением к вершимому действию. Как мой внук, деловито наклонив тарелку от себя. Уху похвалил, скупно обронив: «Хорошая уха». Немножко разговор растеплился за чаем. Чтобы как-то оживить людей (была молчаливая пауза), я рассказал, как мне показалось, к месту, забавный случай про рыбалку. Когда закончил рассказ, все засмеялись, Белов — вместе со всеми, но как-то сдержанно, на особицу. После, когда вышли из-за стола, он в сторонке сказал мне тихо:

«Забавный случай. Но, если хочешь стать крупным писателем, поменьше говори. Зачем расходоватьсь?..»

* * *

Мы знали, что его душит безденежье. Живёт в своей Тимохине перебиваясь. Родилась мысль сброситься сколько кто может и вручить деньги Василию Ивановичу. Охладил нас Анатолий Заболоцкий:

— Да вы что? С его-то нравом? И не думайте.

Он (Белов) приехал в Сызрань на вручение премии им. Алексея Толстого. Из москвичей были ещё Петелин Виктор Васильевич и, кажется, поэт Олег Шестинский. Вручение премии проходило в Сызранском драматическом театре. Я сидел в зале с Василием Ивановичем.

Он сидел насупившись, молча.

Догадывался, что премия организована, чтобы хоть как-то помочь писателям. Была-то она по 25 тысяч. Не ахти какая, но организаторы старались от чистой души.

Глядя на меня колючим взглядом, полным невыразимой тоски, Василий Иванович проговорил:

— Стыдно ведь как!

Я не успел отреагировать: назвали его фамилию.

Я испугался, думал, что он откажется идти на сцену к микрофону. Что будет?

Но зал заплодировал. Он встал и пошёл, опираясь на палку. Шёл медленно, будто один по деревенской улице. В микрофон сказал что-то невнятное, я даже не расслышал — что. И спустился в зал. И пока шёл: невысокого роста, с опущенной головой — всё это время зал рукоплескал одному из любимых своих писателей. Классику.

* * *

«Глупость заразителна» — то ли сам придумал, то ли где читал? Так теперь со мной бывает... Хорошо сказано!

А может лучше так: глупость бывает намного заразительней, когда говорят её с умным видом. Но этому давно есть название — благоглупость.

* * *

...а у меня лучшая пора написания прозы наступила после шестидесяти, когда и опыт, и знание жизни, и рука — всё в согласии, всё — единое целое. Долго ли это будет?..

* * *

В теперешнем неудержимом потоке информации тонут мои годами накопленные знания. И начинает казаться, что так мало знаешь... А пишешь!! Но есть чувства, рождённые моим прежним знанием жизни, они заставляют братья за перо...

* * *

Написать «подподушечную книгу», мне кажется, мечта каждого истинного писателя.

* * *

Каким бы было наше государство и общество, если бы наши мэры, главы, губернаторы походили на нашего самарского главу Петра Владимировича Алабина? Риторический вопрос! Другое время?.. Одно утешает. То, что и тогда, во времена алабинские, были «...легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях — пирог с казённой начинкою».

* * *

Военная карьера Петра Алабина сложилась так, что он был участником четырёх войн. И не только участником — летописцем этих войн. Только опубликованных отдельными изданиями у него около тридцати трудов. И множество корреспонденций в местной и центральной прессе. И при этом: голова города Самары, губернатор Софии; и при этом ещё: ботаник, археолог, этнограф, краевед. Просветитель! Благодетель! Люди, помните своих заступников и учителей! Не ленитесь!

* * *

В 2015 году сразу три знаменательные даты: 55 лет основания г. Нефтегорска (пос. Ветлянный), 50 лет Нефтегорскому району и 155 лет со дня рождения иконописца из Утёвки Гри-

гория Журавлёва, историей жизни которого я занимаюсь не первый десяток лет.

Попытки мои создать музей Журавлёва в Утёвке и музей села Утёвка ещё не прекращаю. Кое-что сделано. Экспозиции есть в Нефтегорске (удалось-таки) и в Утёвке. Но всё не очень основательно, как-то на птичьих правах: и помещения, и содержание...

Может, юбилейные даты помогут?

Понимание того, что Григорий Журавлёв — народное достоинство, символ мужества в православной вере, символ этой веры на Самарской земле, ещё окончательно не сформировалось. Несмотря на то, что посчастливилось отыскать знаковые иконы безрукого и безногого художника, несмотря на то, что уже вышло пятое издание моей книги «Радостная встреча», положено столько сил...

Туристов, созерцателей, паломников — таких немало вокруг Г. Журавлёва, Храма св. Троицы. Но необходимо созидательное участие, содружество, конкретные дела. С этим туговато пока...

* * *

Вчера, 29 ноября, прошло в областной универсальной научной библиотеке собрание, посвящённое 80-летию Самарской писательской организации.

Ни от Союза писателей РФ (Москва), ни от администрации области никто не присутствовал. Сами в своём собственном соку... И это накануне 2015 года — года литературы?..

Поговорили около часа и... разошлись. Правда часть присутствующих направилась в дом литераторов, поговорить за столом. Всё натужно, с желанием выглядеть бодро и неунывающе... Но суть? Заброшенные...

Остаётся одно плодотворное — писать! А как иначе? Вопросы издания из другой повестки дня... Писать!..

* * *

Кажется, сможем создать «Культурно-просветительский центр имени Г. Журавлёва». Если получится как хочется, кое-что можно будет сделать по созданию полноценного музея в с. Утёвка. Дай-то Бог!

* * *

Выдвинули мою персону в номинации «Рождённые в сердце России» в проводимом в Самарском крае форуме «Народное признание». Решил, если стану лауреатом, то денежную премию всю отдам в фонд образования музея в с. Утёвка. Может, это подтолкнёт благотворителей на стоящее дело. До сих пор — молчание.

* * *

Большущий круг вокруг меня учёных и местных писателей не даёт мне столько пищи для размышлений, сколько разговоры с коровьим пастухом Володей. На косе у посёлка Гранный между Волгой и Двубратным.

Эти разговоры меня прожигают. Они дали мне толчок к работе над моей повестью «Голоса на обочине». Как-то у меня с ней сложится? Пребываю в необычном состоянии, стал то ли подпаском у Володи, то ли младшим братом? Шумни он мне, чтоб я отбивающуюся коровёнку прибил к стаду, схвачу хвостину и побегу... А я старше его на пять лет...

* * *

Протягивая мне подписанную свою книгу с повестью «Тяжесть креста», посвящённую Василию Шукшину, с которым он, как известно, дружил, Василий Иванович Белов сказал бесстрастно:

— Не суди сурово. Повесть слабовата. Торопился. Нужны были деньги.

Я был ошеломлён и сутью сказанного, и неожиданной доверительностью, которую ничем, по-моему, не заслужил...

* * *

Когда подъехали в Сызрани с Василием Ивановичем Беловым к Дому культуры, он попросил оставить его одного.

Буркнул, кажется, себе самому:

— Что увидишь из окна машины? Я похожу, посмотрю. Не надолго.

И пошёл, не спеша. Опираясь на сухонькую палочку да с сумкой, скорее похожей на котомку за плечом. Как старичок-

лесовичок, с седенькой бородкой — вдоль порядка с бревенчатыми избами.

Когда вернулся, сказал односложно:

— У нас на Севере дома из сосен покрепче, поматерее...

— Так Сызрань не раз горела. Чуть не полностью. С нуля восстанавливали. Может, потому... — нашёлся кто-то из нас.

Он посмотрел колочу на говорящего и сказал что-то, чего я не расслышал. Да и другие тоже. И его это, кажется, не заботило. Говорил скорее самому себе...

* * *

Жил и жил я на дачке около пос. Гранного вблизи Волги. Заезжал в посёлок только за продуктами, да и то изредка.

А тут местные историки нашли сведения, будто посёлок Гранный был первым поселением, положившим основание городу Самаре. Оттого и Гранный, что когда-то стоял на границе, на страже от степных кочевников. Уже два раза обошёл его пешком. Интересно. Хотя всё теперь уже почти заполнили местные коттеджами...

* * *

...Похожее случилось и в наших отношениях с местным пастиухом Володей. Говорили мы с ним на косе у Волги о многом. О жизни прошлой, о теперешней жизни... Он помнит рассказы не только своего отца. Рассказы деда своего — участника Первой мировой помнит.

Упомянул я вскользь о Карамзине. Оказалось, что Володя прочёл его «Историю государства Российского» всю. Некоторые места не один раз. Называл имена, даты. Всё будто было при нём! Необычно это звучало на берегу Двубратного, недалеко совсем от Волги. Под столетними кряжистыми дубами...

И по-другому я стал на него смотреть.

И потянулся к толстеному тому Карамзина...

* * *

Как можно больше увидеть и понять! Быть в центре большого, значительного для общества дела. Это было во мне с дет-

ства. И только много позже понял, как это важно будет для меня. Как это удачно совпадёт с тем, чем я начал заниматься, причалив к «берегу письменного стола».

* * *

У замечательного охотника Михаила Пришвина ружьё было всего лишь 24 калибра. И одноствольное! Какие ныне ружья у наших охотников? И что они ими вершат? Ради забавы...

* * *

«Мочь, хотеть — действовать». С годами этот лозунг не устаревает, совсем наоборот!..

* * *

Моя повесть «Радостная встреча» помогла мне расти. И радоваться жизни!

* * *

Как мало сегодня осталось тех, кто отдаёт себе отчёт в том, что этическое всегда для пишущего должно быть важнее, главнее эстетического. Я говорю не о тех, кто кривляется, обидно за тех, кто пока не понимает этого...

* * *

Жёны усердно пилят своих мужей. От того дубы валятся до срока.

* * *

Санкции показали, как мы зависим от других. Но ведь мы безумно подставляем, желая торговать, а не производить. Было, было всё это...

Ещё папа Иннокентий III в самом начале XIII века запрещал Норвегии, Польше, Швеции продавать России железо.

А какое в то время государство без железа?

И тогда, и сейчас Русь, Россия не нужна была западу сильной. Теперешняя ситуация напоминает 20-е года XX века. Что делать? А то, что и было нами сделано в те времена, — становиться самодостаточными.

Надо вернуть утерянные национальные позиции, национальное достоинство. Надо начать трудиться! В поле, на заводе, в море, в небе... Хватит жить Чичиковыми и прочими бесами. Торговля без производства — тупик. Куда же столько охранников, консьержек?..

...И душа чтобы трудилась! Мы ушли от Пушкина, Гоголя, Чехова... Сбились в гиблую сторону...

* * *

«Что это значит — быть поэтом?

А это значит — быть никем...»

* * *

Сергей Есенин — неожиданно выпавший из народной толщи кристалл, засверкавший в начале XX века. И осветивший прошлое и настоящее русской души как никто до него. Оттого-то он истинно русский национальный поэт. И более, чем кто иной...

* * *

«Наибольшая тайна в творчестве — это самовоскрешение в завершенности формы». (М. Пришвин)

* * *

Возвращаться к самому себе, как к своему первоисточнику!.. Человек сам для себя загадка...

* * *

Любить прекрасное не разумом, а сердцем — это подарок судьбы.

* * *

Желание понять, что стоит за словами, — вот двигатель умного читающего.

И никакого кокетства со словом — вот что должно быть у неглупого пишущего.

* * *

Едва сев в машину, жена начинает подсказывать мне, как я должен ехать: как поворачивать, когда включать поворотник

и т.д. Вынужден терпеть. Это повторяется из раза в раз. Причём она сама не умеет ездить даже на велосипеде.

Такая же морока с критиками в литературе. Разница только в том, что критиков много, а жена у меня — одна.

* * *

Мысль и жизнь у Пришвина на равных.

* * *

После того как узнал, что в юности Пришвин играл на мандолине, он мне стал ещё ближе. В семье деда в моём детстве все мужчины играли на мандолине. С тех пор я очарован ею.

* * *

Не представляю Пришвина, играющего на балалайке... А Есенина — на гитаре...

* * *

Все истинно большие люди — просты и человечны. Это не ново.

Что если в моём «Реваншисте» попытаться Новосельцева показать именно таким. Неимоверно трудно будет, а заманчиво! Надоели герои со сложными (чаще придуманными) характерами). Нужен цельный, деятельный человек. Чаще ведь, чтобы не называть вещи своими именами, говорят о сволочуге: он человек со сложным характером.

* * *

«Работа везде одна, что печку топить, что стихи написать». Это слова великого Александра Блока. И они многое объясняют в его творчестве. Он более всего шёл от мысли к чувству, а не наоборот. И жить пытался как писал.

* * *

Александр Блок отмечал, что прошёл свой жизненный и творческий путь среди революций. Пророчил гибель капиталистического мира. Только сверхверой в будущее, верой в то, что «великая гроза» народной революции навсегда сметёт «старый

мир» и откроет свободу, чрезмерной энергией заблуждения и сверхпристальным взглядом на действительность (часто искажающим предмет) можно отчасти объяснить то, что во главе отряда Красногвардейцев (скорее похожих на вольницу анархистов) он в поэме «Двенадцать» поставил образ Христа. И сказал после этого: «Сегодня я — гений?»

Но были и другие в то время! Чувствовавшие и видевшие по-иному!

Навскидку, если говорить только о художниках: Пяст Владимир Алексеевич — поэт-символист, бывший друг Блока. Порвал дружбу с ним после появления поэмы «Двенадцать».

Леонид Андреев — не принявший большевизм и Ленина. Порвавший из-за своих убеждений дружбу с Горьким.

Наконец, злой, беспощадный, пластичный, бескомпромиссный И. Бунин со своими «Окаянными днями».

Кто они тогда?

* * *

Иногда на встречах с читателями, отвечая на вопросы, чувствуешь себя посредственностью, помехой написанному тобой.

* * *

Не рассказывать, не объяснять, а — показывать! Творить мир! Задача из задач — одним вдохновением её не решить.

* * *

*Как обидно — чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.
И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но ещё к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.*

Георгий Иванов писал эти строки давно, в эмиграции. Знал бы он, как всё изменится. И как всё повторится, с какими искажениями.

* * *

Ветшает плоть — крепчает нравственность. Так сегодня сказал пастух Владимир, с которым у нас возник разговор о вечном и сиюминутном. Может, это у него из вычитанного. А может, сам сформулировал. За ним такое водится. У него всё в общем котле.

* * *

Попробуйте мирно договориться с тараканами и клопами?.. То-то же...

* * *

Работа на производстве, в науке была для меня убежищем всю жизнь... отгораживала от многого... Теперь моё убежище — писательство. А для него нужно всё. Весь мир...

* * *

Ко многому, кажется, теперь поостыл, многое уже было в жизни. Но вот посадить дерево: липу, берёзу, рябину — всегда готов. Это во мне неизбывное.

* * *

Когда спрашивают, почему начал писать, отделяюсь фразой Умберто Эко: «Человек от рождения — животное рассказывающее». Я не исключение.

* * *

Опять попались на глаза эти жёсткие, пророческие, будто не русским человеком сказанные слова: «Вымрут полудикие, глупые, тяжёлые люди русских сёл и деревень...» Это Горький, тот самый, который плакал, слушая стихи Сергея Есенина о собаке («Песнь о собаке»).

* * *

Задумал написать целую книгу коротких рассказов от первого лица — «Голоса на обочине». И начал писать. И написал уже около трёх десятков. Прочитал и вижу: сюжета нет, диалогов нет... одни монологи... Как исповедь! Как выплак... Писал,

забыв о жанре, о читателе... Писал — как слышал. Или порой нечаянно подслушал. Могут ли? Имеют ли такие вещи право на целую книгу? Но ведь сам хотел записать, что слышал, что видел, что говорили вокруг... С минимальным вторжением в разговорную стихию... Мучился, пока не нашёл себе оправдание, определив всё написанное как свидетельство моей жизни, моих окружающих, моего поколения. Свидетельство человеческих жизней: жалких, успешных, праздных, трагических. Серых, но по моему разумению, но в каждом конкретном случае выше любых придуманных за письменным столом судеб...

* * *

Большая часть того, что я написал, по сути моё сильное свидетельство того, что было со мной, с людьми, окружавшими меня, что стало со страной, которую я любил и продолжаю любить, что бы ни случилось далее в результате грандиозного тектонического разлома в её судьбе, свидетелем которого мне довелось быть.

* * *

Писать я начал скорее всего от того, что не с кем из окружающих меня было говорить...

* * *

У солнечного, ясного, жизнелюбивого Льва Ландау любимым поэтом был М.Ю. Лермонтов. Кажется странным. Но по сути своей Ландау был революционером.

* * *

«Во имя правды человек должен быть беспощаден к самому себе», — так говорил Лев Ландау. А был учёным, казалось бы, на первом месте у него должна была быть «истина»?

* * *

Член государственной Думы, донской казак Фёдор Крюков, желая действовать, а не говорить, осознанно ушёл с потерпевшей поражение Белой армией и сгинул в степи при отступлении. Александр Колчак — одна из самых спорных и трагиче-

ских личностей нашей отечественной истории, пытался повернуть ход истории вспять. Не получилось. Был арестован. Ему предлагали бежать из плена. Он ответил отказом: «Я разделю судьбу своей армии». Его расстреляли. Есть ли сейчас в России такие люди?!

* * *

Объяснять, что ты хотел сказать своей повестью или рассказом, равносильно оскоплению и самого себя, и написанного.

* * *

Всегда жалко было тратить время на никчёмные дела, а теперь, в старости, страшно досадно изводить его на укрощение собственных болезней. При такой-то помощи врачей наших...

* * *

Будем ли мы, научимся ли быть довольными настоящим, чтоб не бояться будущего?

* * *

Дела наши и поступки нередко крепко зависят от нашей энергии заблуждения. Ни энергии такой, ни заблуждений, как прежде, у меня уже нет... И радости большой нет...

* * *

Часто люди не хотят слушать, они хотят говорить. И я дал такую возможность своим персонажам в повести «Голоса на обочине». Построил её на прямой речи персонажей. И читатель услышал эти голоса. Стали писать, говорить, как здорово получилось. Похоже, читатели узнали в говорящих в повести себя. И порадовались за говорящих, которых наконец-то услышали...

* * *

Странно, есть такие: совсем не бесталанные люди, которые собственную жизнь, наполненную уникальными событиями, не могут превратить в достойную повесть. Им это не интересно.

* * *

Культура даёт надежду разбудить божественное в человеке. Об этом надо помнить.

* * *

При активном участии Пушкина Тараса Шевченко выкупили за картину Брюллова и великий kobзарь получил свободу. Антикрепостник И. Тургенев выкупил дворовую девицу и сделал её своей наложницей... Каждому своё...

* * *

Не писать воспоминания, а переплавить свою собственную жизнь в грандиозный роман — вот задача задач. Но дело за «малым»: хватит ли сил пережить всё заново?

* * *

Когда писал свои пять книг, теперь сведённые под одно название «Под открытым небом», многое определяла энергия повествования. Тогда мне было пятьдесят лет. Теперь за семьдесят... Устоял на ветру! Но ведь многое в душе то время выстудило...

* * *

Язык русский медленный, неспешный, мелодичный... Таков и русский человек по природе своей. А что сейчас происходит? Нас что-то будто подгоняет, торопимся говорить. Не в своей манере, ритме говорим, общаемся... «Вздёрнуло, сорвало с ритма, присутщего когда-то нашей жизни. И от того сумятица, с давних уже времён утратили мы свой отечественный уклад жизни.

* * *

Многое было в жизни, а самое... самое — это те моменты, когда наконец-то садился за стол с чистым листом бумаги...

* * *

Раз раскрученное, мелькающее перед глазами, значит — посредственное. И это сплошь и рядом, не только в литературе.

Тетрадь № 2

* * *

После обсуждения в Союзе писателей РФ моей прозы, подошёл М.П. — мной очень уважаемый писатель, в котором я давно чувствую масштабного художника и жду, несмотря на его молодость, очень значительного, и проговорил просто и заинтересованно: «Не бойтесь давать волю воображению, пусть работает фантазия, вы от этого только выиграете». Я согласно кивал головой, соглашался, а сам думал: «Какой выиграешь? У кого? Зачем? У меня давно в этом направлении поставлена некая заслонка. И не знаю — кем, чем? Читаю его вещи и вижу, где он нафантазировал. И принимаю это. И нельзя без этого... А у меня события, факты, люди из моей реальной жизни, не придуманной, толпятся около моего стола, будто нету для них другого места...»

Определиться бы надо давно, а я всё барахтаюсь поученически... И отодвигаю многое на потом, для мемуаров.

* * *

Умом понимаю одно, а в сердце другое, независимое ни от моего опыта, ни от других рассуждений. Шевелятся противоречия, пока пишу: почему же я всю жизнь со студенческих лет помню это имя? Оля Мещерская. Более полувека! Почему вижу до сих пор ком синего, именно синего чернозёма на лопате одного из мужиков И.А. Бунина. И название не помню этого рассказа уже, и не найду теперь, где это... а вижу окружающее глазами автора... Ищу оправдание этому.

* * *

Всё-таки И. Бунин чрезмерно, мне кажется, превозносил чувственное и не допускал духовное во многие свои вещи. Особенно в последних рассказах. В «Лёгком дыхании» тем более. И образ Оли Мещерской от этого для меня неприятен, отталкивающий из-за её жестокости и в отношении к своему любовнику, изуверски превращённому ею в игрушку...

И не прощается автору это тем, что неудачно всё придумал (это классик-то). Да, это всё-таки слишком придуманное. Но для чего это было надо И. Алексеевичу Бунину? Сколько юных

душ и не юных прочтут этот циничный рассказ о циничном. И эта, после столь жёсткой придумки, метафизическая концовка рассказа? Будто написал её (приспособил к тексту) для украшения начинающий автор... Просквозило душу...

* * *

Замерцал в памяти давно читанный рассказ Горького «Двадцать шесть и одна». Нашёл, прочитал. Всё сурово, даже дико. Но почему после него такая признательность в душе автору? Тоже ведь скорее «насочинял». Но как! Читаешь и озираешься...

* * *

Письма маме, родным! Как мне хотелось их писать. И получать ответы! Меня рвало на стороне на части без связи со всем мне близким с детства. Сиротство в большом городе.

...Но... как писать? Отец и мать читали по слогам. Если я присылал им письмо, читали его по просьбе родителей те, кого попросят, а меня это тяготило в силу моей некоторой стеснительности... Писать приходилось мне в надежде, что прочтут сами родители, большими печатными буквами...

От мамы я получил, написанные её рукой, всего два письма. Но какие... Читая, уединившись в красном уголке студенческого общежития, я молча плакал.

* * *

Мне думается, зря Твардовский так жёстко упрекал Паустовского в письме 26.11.56 г., что тот в своём творчестве прошёл мимо жизни: «...И, главное, во всём, так сказать, пафос безответственности, в сущности, глубокого эгоистического «существовательства», обывательской, простите, гордыни, коей плевать на «мировую историю» с высоты созерцательного «подзвёздного» единения с вечностью» (Приведено Лихоносовым («Голоса в тишине»)).

Так можно упрекать и Пришвина. И это будет теперь, после переосмысления нами той жизни, в которой им пришлось жить, неверно. Но это взгляд наш. Из нашей жизни. По каким меркам теперь судить? И вправе ли мы это делать?

Книги Твардовского и Паустовского у меня стоят на одной полке. А книжка В. Пришвиной «Наш дом» прописалась на всё лето на моей прикроватной тумбочке на даче.

* * *

Кажется мне теперь, что писатель, не способный писать для детей, не умеющий писать о животных, — подозрителен...

* * *

Чтобы писать для детей, надо сохранить детскость души. Или быть артистичным! Первое — достойнее и надёжнее...

* * *

Надо бы жить, вернее доживать, там, где родился, где прошло детство. Это, думаю, для писателя плодотворно. Но не могу. Хватает сил только, приехав, побыть несколько дней. Саднит в груди. Успокаиваюсь на сельском кладбище. Тут все свои...

* * *

Лермонтов и Толстой по мощи мысли — седые вершины!

Но Шолохов, его «Тихий Дон» — другая мощь! И не претендующая на сравнение. И совершенно особая!.. Неповторимая в своей гениальной художественности...

* * *

Писательство без тесной связи с той средой, из которой вышел, с людьми её — для меня неприемлемо.

* * *

Попытаться понять и отобразить своё время, людей его — эта ли воловья работа писателя не достойна самого высокого внимания! А писать о будущем, фантастику с потугой на пророчество, так же как писать исторические повести (тоже в своём роде фантастику), занятие явно не моё.

* * *

Хватало во мне порой, думаю, и хитрости, и лукавства, но всё как-то на передний план выходило простодушие. И полу-

чал за это своё. Но всё равно ценил в себе это. Теперь же, когда пишу книжки, простодушие в письме нужно как никогда... безоглядно... И личная скромность! Манящие ориентиры тому — «Повести Белкина» и сам их автор.

* * *

Мне теперь думается, что в настоящее писательство приходят те из нас, кто острее других чувствуют несовершенство мира, болеют от этого несовершенства... и его хрупкости.

* * *

«Мы изолгались» (В. Лихоносов «Судьба»).

* * *

«Ежедневная последовательность перемен...» — так сказано где-то у В. Лихоносова. Сегодня особенно остро почувствовал эти ежедневные спрессованные годами перемены, когда в разговоре со студентами коснулся имён Аксакова, Гарина-Михайловского, Неверова. И наткнулся на полное незнание их. Лишь некоторые смогли угадать, кто они. А ведь наше поколение знало своих писателей (тем более связанных с нашим краем) со школы! Речь уже не о последовательности перемен, а об обвале на наши головы реформ, новаций, модернизаций и всякого такого, что коверкает, рвёт наши корни...

* * *

Думаю теперь, когда мне идёт восьмой десяток, что всю корневую суть мою выразил когда-то двадцатипятилетний поэт: «Но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла!» Точнее не скажешь! С тем и уйду. А вернее сказать: возвращусь домой.

* * *

Я уехал после поступления в институт учиться в город с десятью рублями в кармане (отчётливо помню эти две пятёрки). Больше и не могло быть. Пенсия у отца была семнадцать рублей — семья из шестерых человек. Помню, не было у меня зимней шапки, пальто (была фуфайка), не было зимней обу-

ви... Всё это предстояло приобрести самому. Не было многого. Но было ощущение начинающегося собственного пути, собственной, едва начатой новой жизни... Это завораживало!..

* * *

У меня не было в школьные годы белой рубахи. Откуда ей взяться? А как она была нужна! Я пел в хоре районного дома культуры. Играл в драматическом кружке главные роли. Когда нужна была для выступления белая рубаха, мама брала её напрокат у кого-нибудь из знакомых. Ей давали, так как видели во мне настоящего артиста. Мама стирала взятую рубаху, гладила. Это был целый ритуал. Я стеснялся того, что на мне чужая рубаха. Но сразу забывал об этом, как только выходил на сцену. Замечательная наша руководительница и хора, и драмкружка Валентина Яковлевна Кузнецова говорила мне: «Не печалься, Александр, это временно всё: вот станешь народным артистом СССР, этих белых рубашек у тебя будет целый ворох. А ты будешь народным!..» И правда, рубах белых у меня потом было много. И теперь не мало. Успеть ли износить...

А артистом я не стал. Сам, намеренно и осознанно уклонился. Подхватила другая стихия (профессия), и кажется, что мне повезло... (Попробовать написать об этом небольшую повесть!)

* * *

«Время обниматься и время уклоняться от объятий», — эту мудрость из Священного Писания китайцы познали давно и ею руководствуются. Отсюда такие у русских и китайцев разные отношения с Западом. До нас с нашей суматошной перестройкой эта мудрость доходит так запоздало! Став осознанной для большинства лишь к 2014-ому году. Нам ли к лицу быть придушенными в объятиях... внешне дружественных...

* * *

Нужны лично далёкие от литературного тщеславия критики, редактора, издатели. Независимые! Раньше они были. Пример? Алексей Сергеевич Суворин, которого несправедливо числили и числят одним из вождей русской консервативной мысли.

* * *

Думается, одной из перспектив на ближайшие 30-50 лет было бы такое государственное устройство России, при постоянной корректировке:

1. Частная собственность должна быть равноправной формой в ряду с государственной, общественной, кооперативной.

2. Создаётся и действует социалистическая партия. Цель её, как и всего общества: создание крепкого государства, социально направленного. Эта партия действует при наличии 3-4-х других партий на условиях открытой конкуренции. В органах руководства страны могут быть лица из разных партий. Это должно быть записано в конституции.

Предприниматели, с учётом первого пункта, становятся участниками строительства социалистического общества, в котором активную роль играет и государственный, и частный капитал.

3. Стратегические отрасли экономики должны быть в руках государства (нефтяной, газовый сектор, энергетический, железнодорожный и так далее).

4. Постоянная эффективная борьба с коррупцией. На всех уровнях.

5. Рынку отводится решающая роль, но не безусловная. У государства остаётся роль корректирования ценовой политики в отдельных отраслях.

6. Никакой «шоковой терапии». Всё рассчитано на неспешные, обдуманые, обсуждаемые с экспертными советами решения. Планомерное строительство.

7. Продуманная государственная кадровая политика. Целенаправленная государственная подготовка кадров всех уровней.

8. Сменяемость главы государства не реже чем через три срока (три раза по пять лет).

* * *

«Будь с виду честен и подл внутри. Вот краткая программа для успеха» — этот девиз из прошлых веков нашей истории. А теперь: «Успех любой ценой!» — это в наше время. Раньше хоть упоминали о честности, а теперь и помина о ней нет!

* * *

Хочется писать просто и незатейливо свои вещи. Без лукавства.

* * *

Формальные поиски бледны в сравнении с поисками смыслов.

* * *

Мне кажется, что русский человек не может быть счастливым в одиночку. Ему нужно всеобщее счастье. Так заложено в его душу. Иное дело — теперешнее время. Оно мне видится помутившим сознание людей, иные говорят, что это наоборот: прозрение...

* * *

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную...» Это слова Чехова о своих современниках! Что можно возразить применительно к интеллигенции нашего времени? Разве только добавить... ужасно то, что содеяно ею за последнее столетие... Знал бы Чехов...

* * *

Говорят: «Россия сейчас на перекрёстке мировой истории». Мы давно уже топчемся на этом перекрёстке. Необходимо движение. Неужто нам суждено двигаться с этого перекрёстка такими же зигзагами, как последние 25 лет?

* * *

Он часто падал? Значит, часто и поднимался! Вдруг научится летать?!

* * *

В старости обычно круг личного общения сужается. И по объективным причинам, и субъективным. У меня же — наоборот. Мне нужны люди! Мне окружающее интереснее, чем я сам, до сих пор!

* * *

Эрнест Хемингуэй однажды сказал: «Настоящее творчество — это когда сочинишь, придумываешь». Он не совсем прав. А как быть с творческим осмыслением реального, того, что было с тобой, с окружающим? Постигание смысла происходящего, творческое его воплощение? Тут гораздо всё сложнее. Придуманное и реальное — как чаши весов. И колебание их в ту или иную сторону даёт свой творческий результат, у каждого писателя — свой.

* * *

Я достаточно долго руководил большими коллективами людей. Параллельно умудрялся заниматься наукой. И то, и другое лишало порой непосредственного контакта с конкретным человеком (так, как мне всегда хотелось). Конечно, всего было и всякого много. Но я знал, понимал и жалел о том, что мог бы быть ближе, конкретнее... шире связан... с каждым в отдельности... Всегда тяготел и работать, и жить артельно, с детства... внутри артели... Может, моя неожиданная для меня книга «Голоса на обочине» — оправдание тому: в ней голоса тех, кого я слышал, но не успевал зафиксировать, а они всегда были со мной... Я родился среди них, рос. И хотел бы раствориться среди них...

* * *

«У Есенина талант пошлости и кощунства», — А. Блок. Попробуй спокойно спать после такой оценки. Эту фразу прочёл с утра. Весь день разбитый, теперь вот ночь впереди. Куда деться? «Аптека, улица, фонарь...»

* * *

Уже написал первую часть своей повести «Голоса на обочине», её напечатал А. Громов в журнале «Русское эхо». Начал вторую. И тут попала на глаза книга Виктора Лихоносова «Голоса в тишине». В названии — явная переключка. Стало не по себе. Я-то думал, что нашёл для себя своё, органичное для моего письма название. Ан нет! Есть что-то такое в природе, что определяет общее наше сознание, всех поколений. И это родовое сознание руководит нами независимо от нас. Название я решил оставить.

* * *

Из автобиографических заметок И. Бунина: «Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, потребляли миллионы человеческих жизней». Увы, такой «необыкновенной» жизни хватило последующим за Буниным поколениям предостаточно. Не обделила судьба...

* * *

«Я с народом был свой человек», — так Лесков мог сказать ещё и потому, что язык его не был празднословным и лукавым. И жил он, автор, красотой народной, как и его язык.

* * *

Откуда это повелось: если ведёт человек себя спокойно, разумно, пишет реалистичную прозу, отличающуюся здравием разума — тут же заговорят о нём: не достаёт темперамента, творческого размаха и т.п. и так далее... Но избыток «темперамента», эмоций в любом созидательном деле не самый главный помощник. На производстве, сверхопасном, где я проработал длительное время, люди с такой психикой просто опасны. А среди лётчиков, среди водителей любых транспортных средств? Так к чему же рвать на себе рубаху? Я наблюдал такие сцены ещё в детстве в деревне. И с тех пор для меня они недопустимы. Дики! И малодраматичны... Успокоиться бы пора уже многим поколениям. Сколько наломали в яростном запале, в том числе и творческом...

Литература в этом смысле много сделала пагубного, но она же и спасает человека... Осознанно ли были «скромными» С. Аксаков, Гарин-Михайловский, Арсеньев? Или они от природы были такими? И не попали в «первый ряд пишущих»? Но что делать с А.С. Пушкиным? Самый наш первый писатель и самый скромный?..

* * *

Выдавать желаемое за действительное — это странная наша национальная игра (или черта). Игроки меняются — суть нет.

* * *

Недавно прочитал где-то: китайцы считают, что политику нельзя быть слишком умным, иначе он не будет понят своим народом. А каким надо быть писателю?

* * *

Некоторые авторы плодовиты только потому, что они в восторге от самого себя.

* * *

Многим пишущим сегодня предстоит ещё дорасти до человека, соответствующего нашему времени...

* * *

Сколько политиков на наших глазах откровенно занимается не делом, а собственной придурью. И у всех на глазах! Как это остановить? А ведь надо!

* * *

Так называемых непосредственных жизненных впечатлений столько, что фантазировать просто ни к чему. С тем, что есть, справиться бы, придав художественную форму. Не вмещается...

* * *

Можно и метлу назвать оргтехникой.

* * *

Претендовать на постоянную собственную правоту равносильно желанию жить вечно.

* * *

Говорят, что критик — слепень искусства. Я знаю критиков, которые пишут, кроме критических статей, ещё эссе, рассказы, стихи, романы... Они кто? Мутанты?

* * *

Она сказала вчера о своих знакомых: «Оба они люди не плохие, но отношения между ними нечеловеческие...» Каково?!

* * *

Когда начинают кого-то настойчиво хвалить, тут же вспоминается присказка моего давнего приятеля: «У невесты нет изъянов, только чуть-чуть слепа, криворука и малость припадочная!»

* * *

Всё боролся с культом личности и культом власти! А культ, монополия либералов на литературном рынке? С этим есть смельчаки побороться?

* * *

Ноги стоптались, зубы поистёрлись, а всё ершусь — засел писать роман... Дело в одном — успею или нет?

* * *

Когда-то я начал делать зарубки для памяти, записки для задуманной повести. А вылилось это в «странную надобность» — писать дневник, причём бессистемный, но ставший неотъемлемой частью... не знаю сам пока чего...

* * *

Всё-таки я инженер. Три с лишним десятка лет работы на крупных заводах сделали своё дело. Язык мой больше чертёж, речь лаконична, никакого эпатажа. Может, я и родился кем-то другим, но это так заgroundовано, загромождено всей моей последующей жизнью, что осталось от первородного что-то наподобие проблесков родничка, ручейка меж валунами. Написал так, и стало неудобно за красоту.

* * *

Совсем неожиданно наткнулся на «Неизвестный друг» Бунина. Никогда не читал. Когда прочёл, стало досадно за свои претензии к Бунину, которые у меня накопились. И которые я всё не осмеливался доверить бумаге. И хорошо, что не сделал этого. Много перечитал заново. Такая чувственная и духовная глубина, что порой кажется, подобное непостижимо ни нынешними, ни будущими писателями. Мы что-то потеряли, утопили

в нашем техническом прогрессе, рационализме, практичности и так далее... скорее всего, очевидно, в огромный вред себе...

Бунин будто видит нас из далёкого прошлого. И дарит нам утерянные сокровища нашей души. Зная, какие мы без них будем, какими стали. Провидец! И вечный труженик, каторжник на галерах, порой жёсткий, злой, непримиримый (особенно к собратьям по перу), но такой нужный нам.

* * *

Твёрдо усвоил себе, что если бы я не родился в небольшом лесостепном селе, не жил бы в нём постоянно до 18 лет, не мог бы я так понять открывшийся потом передо мной огромный мир во всей его необъятности...

* * *

Айседора Дункан говорила о Есенине, указывая на грудь Сергея: «Здесь у него Христос». И, хлопнув по лбу, добавила: «Здесь у него дьявол» (С.Б. Борисов).

* * *

Сюжет! Как много он значит! Но драматургия, лиричность!.. Всегда желал соединить это всё вместе. И вот в повести «Запела флейта на мосту», которую только что закончил, кажется, кое-что удалось. Но полежит... Побудем с ней отдельно. Каждый сам по себе — потом посмотрим...

* * *

Правда дробится на осколки, а истина — призрачна...

* * *

Истинная простота и искренность сейчас так же редки, как в пустыне родник.

* * *

Для чего всё это? Вот вопрос во сто крат важнее, чем «Что делать?» и «Кто виноват?» Но он в тысячу раз неподъёмней, потому на него никто не берётся ответить...

* * *

В юности горел желанием стать артистом (и непременно драматическим), но однажды, поняв, что не смогу всю жизнь говорить чужие слова, жить не своей жизнью, отказался от такой судьбы. И, думаю, не зря... Теперь кажется, что мне кто-то подсказал вовремя... кто-то обо мне знал больше, чем я сам...

* * *

Про Николая Островского забыли, про Аркадия Гайдара забыли... Но если бы их не было, каким бы было поколение наших отцов перед войной?

* * *

Трагедийность обыденного, драматургия реальной жизни — вот что для меня важнее сейчас в прозе. Может, это объясняется моим возрастом?

* * *

Правда без любви — жестокость. Не на такой стороне правды должен быть писатель. Оставим это учёным на их пути к истине... или прокуратуре...

* * *

Как мне не хватало человека, которому бы я мог писать письма. У мамы и отца было по одному классу образования. Я никогда не видел, чтобы отец что-то писал. Мама за всю жизнь написала мне три письма. Ей это давалось с трудом. Только одно из них у меня и сохранилось. Я пытался писать родителям. Писал печатными буквами, но всё равно знал, что мама сама их не прочитает. Ей будет читать кто-то из соседей либо родственников. Порой читали в клубе, где она работала уборщицей. Это публичное чтение моих писем сдерживало меня, боялся о личном говорить в письмах... Не хотел доверять свою жизнь неизвестному кому-то...

* * *

...Первое время, когда начали выходить мои тоненькие книжки прозы, ждал того, что скажут о них моя мама, мои земляки... Был не в своей тарелке... Смешанное чувство. И рад

был, что смог сказать о них всех разом, печатным словом. И опасался чего-то, будто украл чужую жизнь... Писал-то о них, о нашей общей жизни... Так появился у меня самый дорогой мой читатель — сельский человек, частичка оставшейся четвертинки от общего населения России. Немало, если помнить, что и мегаполисы наши наполовину заселены сельским людом, сельчанами-горожанами...

* * *

Однажды решив, что я прозаик, а не поэт, уничтожил около двухсот своих ранних стихотворений. Были они в общих тетрадках, были написаны и на рулонах (лентах), диаграммах контрольно-измерительных приборов. Длинными такими рулонами-свитками. Когда вдруг на отдельном листке выпадет откуда-то стихотворение тех лет, поражаюсь тому, что не смогу написать теперь нечто подобное. Нет того непосредственного, безоглядного, чистого восприятия мира. Кажется, многое устоялось уже во мне, многое понял о себе, на многое смотрю, может, и светлее, и всепрощающе, а заветное слово не приходит, такое, каким было оно в ту раннюю мою пору...

* * *

Бунин о Есенине, Блок о Есенине, Маяковский о Есенине... Что бы сказали о Есенине Пушкин и Тургенев?..

* * *

Грандиозная речь Фёдора Достоевского на открытии памятника великому Пушкину... И страшный, надрывный эпизод в жизни Алексея Апухтина: его, с воодушевлением помогавшего собирать средства на этот монумент поэту, которого он боготворил, знал наизусть... забыли пригласить на открытие... В гордом и тоскливом одиночестве он декламировал сам себе стихи Пушкина... Поистине: каждому уготовано своё...

* * *

Выпал откуда-то из книг поздравительный адрес на моё 50-летие от работников университетской кафедры, где я был выпускником когда-то. Целая поэма строк в сорок. Читаю:

*С российской улыбкой неброской,
Оставив и лошадь, и кнут,
Пришёл Александр Малиновский
Учиться в родной институт...*

И далее всё с именами, регалиями преподавателей, ставшими теперь заслуженными деятелями науки и техники, докторами наук. Простодушно так всё и тепло.

Взял и послал вместе с книгами это поздравление землякам по почте. И посылка потерялась. На почте разводят руками. Так жалко, что не снял для себя копии. Будто частичка моей жизни улетела в никуда.

С возрастом всё острее чувствуем малейшее проявление человеческого тепла. Что с того, что до меня об этом уже сказано?..

* * *

Стихи — как головная боль. Неясно, откуда приходят и куда исчезают.

* * *

Раньше читал и знал, что с возрастом исчезает поэзия жизни. Теперь свидетельствую.

* * *

Чтобы писать хорошо, надо либо крепко трудиться, либо много страдать. Авторы, которые с лёту хватают в свою строку чужое, чаще ленивы. Либо черствы и неспособны глубоко самостоятельно чувствовать. И тех, и других стоит пожалеть...

* * *

Мистика это или что-то другое... Только чувствую я, когда прихожу к светлой её водице, что река Самара помнит меня постоянно.

Помнит, каким я был, когда сидели мы (более 70 лет назад) с мамой моей на её песчаном берегу около Утёвки, не зная, где ночевать, где жить нам придётся, помнит теперешнего, без мамы... Одна она верная и надёжная свидетельница моей жизни... Всё здесь сейчас на реке смотрит на меня.

Прислушивается, что я скажу, что думаю...

...И не себе я принадлежу, и принадлежать буду, а ей, таинственной и древней. У неё память на века... о всех нас, живших на её берегах...

* * *

В своё время гений Н. Лескова его современникам из-за спины Л.Н. Толстого увидеть было не дано. Толстой же прозорливо называл его писателем будущего. Прошло более ста лет. Мы не оправдали доверия Л.Н. Толстого.

* * *

Невысказанное отравляет нас.

* * *

Мелодия речи, мелодия письма чаще важнее смысла сказанного либо написанного.

Тетрадь № 3

* * *

Закон прогрессивного накопления: чем дольше бывает в отъезде жена, тем меньше чистой посуды в доме. Отсутствие чистой посуды — обратно пропорционально присутствию жены. Или: отсутствие чистой посуды = присутствию жены — 1. Своеобразный индекс чистоты. Можно это проиллюстрировать и построением графика. Причём цветного. Подобие некой науки.

...На некоторых учёных советах представляемые к защите диссертации имеют именно такой уровень научной новизны. Свидетельствую.

* * *

У человечества, может быть, есть одно (и то сомнительное) оправдание того, что оно так расточительно относится к окружающей его природе: оно таким родилось. Человек по природе хищник. И ещё какой!

* * *

Вчера был на подведении итогов конкурса имени журналиста и писателя Эдуарда Кондратова. Много говорили о самом Кондратове. Тепло говорили и с признанием. Но ничего не сказано было о важной для меня черте писателя — о его скромности и интеллигентности. А он был человек, который не рвал постромки, был чужд эпатажа. Не суетился. К чему суетиться, когда так много уже с нами всего было, многое пора бы уяснить... Он напоминал мне Бориса Васильева, хотя никакого отношения к офицерству не имел. Врождённый аристократизм и внутреннее достоинство были в нём. Говоря о скромности писателя, имею в виду то различие в этом, какое есть между Пушкиным и Достоевским. Наш гений Пушкин — самый скромный писатель.

* * *

Вспомнилось: приехал к нам в Самару Виктор Астафьев. Сидим в небольшой комнате в отделении Союза писателей. Неспешно разговариваем. Рядом с Виктором Петровичем — Кондратов. Между ними идёт диалог. Каждому из нас хочется задать свой вопрос живому классику, тем более мне, начинающему писателю. На какой-то миг я встречаю всё понимающий взгляд Эдуарда. И он мне тут же говорит вполголоса:

— Иди, я встану — ты садись. Тебе надо.

Просто так как-то по-житейски сказал. И я пересел под зорким взглядом в одно мгновение всё понявшего нашего именитого гостя.

* * *

Обнаружил написанную Г. Журавлёвым когда-то для взорванного потом Самарского Храма Спасителя икону Митрополита Московского и всея Руси, покровителя города Самары Алексия. Она оказалась в Храме Вознесения Христова села Кинель-Черкассы. 80 лет никто не знал, где она. По пути в Кинель-Черкассы под Кротовкой попал в аварию. Весь передний бампер оказался негодным. Самого не задело. Вернулся в Самару — отремонтировал, не говоря ничего жене. Когда узнала, ни слова в осуждение. Так все мои окружаю-

щие болеют и поощряют мои поиски материала о Г. Журавлёве. Жена вдохновила меня на поездку в Санкт-Петербург, где отыскалась икона св. Николая, написанная Журавлёвым. По сути икону «Спас Нерукотворный» она обнаружила в женском монастыре в Галиче (из разговора с о. Александром — настоятелем Каф. Собора в Галиче). Она же договорилась о поездке в Галич, поехала со мной. Мы были там 1,5 недели — в результате потом появилась об этой иконе глава в моей книге «Радостная встреча».

Всегда, где бы я ни намеревался упомянуть имя моей жены в текстах, она тихо протестует. Так было и в этот раз. У неё свой кодекс поведения. И я повинуюсь.

* * *

Пищу повесть о мерзостях, ужасах блокады в Ленинграде, а в памяти строчки Блока:

*Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету.*

Я, кажется, внесу их в текст, а может, сделаю эпитафией. Не отпускают...

«Незримая флейта» высокого искусства поэзии неразрывно связана с городом на Неве. Вопреки трагическим дням города-героя...

* * *

Китайцы считают, что политики не должны быть слишком умными, иначе народ не поймёт. Подобное можно сказать и о поэтах (впрочем Пушкин когда ещё по-своему обмолвился о глуповатости поэзии).

* * *

Вернуть веру в добротность жизни — вот что важнее для каждого из нас. Всякое было в детстве. Но вера в добротность жизни преобладала над многим... Теперь не так...

* * *

Что бы я хотел сохранить в своей прозе, так это искренность.

* * *

Бесстрашие искренности — это многого стоит. Без этого теряется уважение к себе.

* * *

«...Нации русской больше нет». Это слова Георгия Свиридова, сказанные им на склоне лет.

У меня не хватает духа говорить так о всех нас. Но нынешнее поколение наше либо рассеяно по городам и весям, лишилось своих берегов, либо его по большей части нет... Возник провал.

Но не готов я быть плакальщиком по собственной судьбе нашей... Не готов, и всё тут!

* * *

Всё чаще думаю о том, как похож был мой дед Иван Рябцев на Михаила Пришвина. И не только внешне. Оба они, каждый по-своему, были младенцами матери-природы... Вот ещё Дерсу Узала.

* * *

«Пишу как живу» — это М. Пришвин о себе.

«Пишу как дышу» — не помню кто.

«Жить как пишу» — это уже попытка Блока.

* * *

«Где пьёт толпа — источники отравлены». Не помню кто.

* * *

Работаю над рукописью «Голоса на обочине», поставив себе условие писать только то, что слышу и вижу. Предельно объективно. И уже предвижу усмешку: «Врёт — как очевидец!..» Никуда от этого не деться...

* * *

Напечатана моя повесть «Красносамарские родники». Сначала в журнале «Русское эхо» (№ 9, 2012 г.), теперь вот в книге «Дом над Волгой». Было уже несколько отзывов. Похваляют.

Позвонил о. Сергей, похвалил: «Чувствуется, с какой любовью писали. Где только такие слова берёте!..» И под конец сказал то, что я давно ждал:

— Только где взять читателя? Время не на нашей стороне. Не на стороне родников!

Я согласился: не на стороне родников. Потому и писал...

* * *

«Не придумывать, а додумывать» — верно сказано. И чтоб (по Л.Н. Толстому) было заразительно! Тогда это настоящая литература.

* * *

Критики, которых знаю, с такой лёгкостью и прытью берут на себя тяжёлый груз ответственности и приговоров, что приходится поражаться ... И некому спросить: а по какому праву? По праву того, что вы умнее и талантливее автора? Но кем это и чем подтверждается? Документик на это есть? Хотя в наше время много их, фальшивых документов...

* * *

Всё-таки если кто назовёт меня «пишущим» инженером, возражать мне нет смысла. Эта сторона моей жизни дала мне очень многое. Я говорю о работе в заводских коллективах. О заводской, технической интеллигенции. О ней не сказано в литературе так, как она того заслуживает! Я у неё в должниках.

* * *

Техническая и научная интеллигенция всегда привлекала особое внимание. Замечательно в ней её крепкое знание дела, которому служила, постоянное внимание к новинкам литературы, желание ближе и глубже знать и понимать музыку, историю.

Эта уважительная манера спокойно обсуждать проблему и уметь слушать собеседника, без ёрничества, эпатажа, чрезмерного честолюбия, свойственного литературной, актёрской и другим средам.

В рождении такой интеллигенции участвовала целостная и стройная система: сначала ВУЗ, потом НИИ, проектные ин-

ституты, заводская деятельность. И всё это с взаимопроникновением, взаимовлиянием, ротацией и... прикрепленностью к большому конкретному (коллективу) и значимому для общества делу: разработке процессов в лаборатории, проектированию, строительству, освоению и эксплуатации объектов, важных для народного хозяйства. Результативная работа — это многое значит!

Большое серьёзное дело и общепользньй (не только для себя) смысл её рождали яркие творческие достижения, крепившие отечество.

* * *

Всё чаще теперь думаю о гибельности для меня собственных моих побед... В том числе и над собой. Такое пришло моё время.

* * *

В литературе сейчас не распустье, а беспутье. В ней не стало героя, в котором живёт то лучшее, что есть ещё в народе нашем.

* * *

Приближение к Божественному предназначению о себе, хотя бы крошечное — сколько на этом пути необходимо труда, усилий, упорства... Но это единственное, что оправдывает жизнь человека.

* * *

Девочка в библиотеке на встрече по-детски непосредственно спросила меня:

— А что для вас ваши книги?

Вопрос вопросов. Я уже пытался для себя уяснить, и не один раз, для чего я пишу. С некоторой внутренней оглядкой сформулировал это так:

— Мои книги — оправдание моей жизни.

И успокоился наконец-то, до времени...

Нужен ли этой девочке такой мой ответ? Я замаялся с ответом. Она понимающе кивнула головой, сказала обезоруживающе:

— Я вот тоже пока не знаю: для чего я живу?

* * *

Христос сказал нам, как обрести свободу: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Многие ли сейчас рвутся к истине? К свободе — да!

* * *

«Ретивое сердце, большое, отзывчивое сердце. Непутёвое сердце. А ведь оно, сердце, всего лишь механическое устройство — насос?!» Нашёл эту запись я в давней своей тетрадке студенческой поры, когда искал ответы на многие свои вопросы. Теперь вопросов не меньше, а с ответами не тороплюсь...

* * *

О чём шолоховский великий роман «Тихий Дон»? Он о том, что каждый человек имеет право на счастье. И ещё о том, что семья должна быть опорой человека, опорой морального порядка в мире. Мир гибнет, если близкие люди (отец и сын, братья) разделены враждой, замешенной на крови.

...Теперь атака на семью (читай: на мир) идёт ещё и с другой стороны. Поздние браки, культивируемый в открытую блуд, однополые браки — свидетельства тому. Сейчас это очевидно. Но в начале XX века так сказать об этом в художественной форме, имея за плечами чуть больше двух десятков лет жизни, мог только национальный гений.

Делаю эти записи, начав смотреть 14-серийный фильм Урсаляка «Тихий Дон». Посмотрел пока две серии. Много лубочного...

«...Русская история ещё не смолола той муки, из которой будет со временем испечён пшеничный пирог социализма...» Так в своё время сказал Г.В. Плеханов. Сколько же намолото муки с того времени, перемолото человеческих жизней? И всё в прах?.. «Тихий Дон» Шолохова и об этом.

* * *

Прежде чем начать смотреть 14-тисерийный фильм Урсаляка «Тихий Дон», посмотрел начала двух предыдущих: Герасимова и С. Бондарчука. О фильме Бондарчука не хочется говорить, вернее, восхищаясь талантом Бондарчука, не хочется видеть этих тщетных попыток актёров играть главных героев

(Аксинью и Григория). Первая носит на коромысле пустые вёдра (слаба для казачки), Григорий — голубой, куда уж больше. Фальшь, не присущая прежнему С. Бондарчуку.

У Герасимова с первых кадров покоряет крупность образа Григория. И ничего тут не поделать! И видно, что по возрасту Глебов не совсем соответствует Гришке в 1-ой серии. Не мог такого сына отец Пантелей гонять дрыном от плетня по двору. Герасимов понимал это и не дал в фильме этой сцены. Но в последующих сценах Григорий — Пётр Глебов — точное, гениальное попадание в цель. И это искупает всё. Велик образ, велик актёр! Велика Трагедия человека. В неё не то что веришь, в ней живёшь.

* * *

Невыдуманность происходящего, обыденность увиденного, пережитое чутким, ранимым, любящим сердцем, отразившееся в незамутнённом слове, не может оставить читателя равнодушным. Какие бы лихие ветры не дули в лицо.

* * *

Ум и талант — хорошо! Но что они без любви и сострадания? Чаще всего жестокость!

* * *

Писателю всё человеческое должно быть близко и понятно.

* * *

Компьютеру можно простить многое. Хотя бы за то, что он даёт возможность сесть за стол и тут же после нескольких нехитрых движений оказаться в гуще, стихии народной жизни «Тихого Дона», экранизированного Герасимовым, вновь обмереть сердцем, услышав волшебный голос Ф. Шаляпина, раствориться в бессмертной светоносной музыке к фильму В. Басова «Метель», написанной Г. Свиридовым... И долго ещё потом неотрывно думать о судьбе России, о русском духе, о нас, русских...

* * *

Высказать негромко своё сокровенное так, чтобы тебя услышали...

В наше время, когда издать книгу тиражом около 2-х тысяч — несбыточное дело! Возможно ли это? Но надо пытаться сделать это.

* * *

Ведь ясно же, куда надо двигаться всем нам: надо вернуть утерянное национальное достоинство. Надо начать трудиться. В поле, на заводе, в море, в небе. Хватит жить Чичиковыми и прочими бесами... И чтобы при этом трудилась душа... Мы ушли от Пушкина, Гоголя, Чехова... Сбились в гиблую сторону...

* * *

Сергей Есенин — счастливо выпавший сверкающий кристалл в начале смутного, противоречивого века. Осветивший своими гранями прошлое и настоящее русской души. Оттого-то он истинный национальный поэт.

* * *

В школьные годы хотелось жить крупно, быть участником чего-то значительного, быть охваченным невероятными событиями. А пока приходилось терпеть в школе занудливых учителей, дома — таскать воду скотине, выгребать навоз из мазанки. На общем колхозном дворе — плести кошёлки из ивовых прутьев для скотины...

Оставалось верить, что всё впереди! Там, за околицей села, в больших городах...

...Жизнь казака Григория Мелехова из «Тихого Дона» — и притягивала, и пугала своим исходом.

Судьба графа Монте-Кристо казалась неповторимой в наше время, Пржевальского — недостижимой...

...Вот горе так горе было для горячей головушки...

* * *

Встретится человек, из души и глаз которого посмотрит вдруг на тебя весь наш народ. И прошлый, и настоящий... И ты в оцепенении. А человек такой мелькнул в толпе и пропал. Со всем не подозревая, кто он? И что он?

* * *

Росли мы, деревенские мальчишки, самостоятельно. Родителям было не до нас. Школа, библиотека, дом культуры с его кружками самодеятельности, лес, речка, луг — вот наши воспитатели. Но выросли мы самостоятельно.

* * *

— Писатели все врут, — сказал он.
— Не все, — пытаюсь я возразить.
— Согласен, — быстро реагирует он. — Фёдор Тютчев, например. Сказал же он: «Мысль изречённая — есть ложь». И не понять мне: дурит мой бывший одноклассник либо запутался...

Между тем как бьётся сердце и как пишется — прямая зависимость.

* * *

С возрастом меня во мне становится всё меньше и меньше. Столько наносного...

* * *

Что происходит? Раньше по молодости считал для себя многое понятным, оттого говорил кратко. Теперь же путаюсь в самых, казалось бы, простых вещах — многословец?..

* * *

И ещё заметил: если мне одиноко либо меня не услышали, начинаю писать длинными фразами.

* * *

Он сказал: неважно быть обязательно величиной с Михаила Шолохова, важно быть настоящим писателем.

* * *

В молодости, лет до 25, порой писал по 3-5 стихотворений в день. Искренне недоумевал: почему люди не пишут, просто живут и всё... Какая расточительность и легкомыслие!..

* * *

В юности однажды наступил момент, когда стал бояться драки. Силушка-то была. Ужаснулся, что могу убить человека.

* * *

Ещё Шукшин писал: «Не осталась бы от всей оппозиции — одна поза». Как в воду глядел.

* * *

Тотальное невежество и ложь: они изъедают нацию, как моль...

* * *

Она не сумела научиться врать, поэтому вынуждена была говорить правду.

Тетрадь № 4

* * *

Вчера услышал, как одна старушка сказала другой: «У него и в молодости-то морщин на лице было больше, чем извилин в мозгу. Что с него возмёмшь?»

* * *

«Каким счастьем является для меня не полное признание моего творчества, не премии, не большой орден, не даже полноценная статья, а вот такое медленное стекание моих читателей куда-то в большую воду вечности. Вот этот огонёк радостной надежды на будущее воскресение из мёртвых и приносит мне в душу каждый большой мой читатель, сокровище моего золотого фонда», — это М. Пришвин.

Под этими словами готов подписаться и я. Такое чувство у меня возникало не однажды.

* * *

Писатель всю жизнь мучается от отсутствия друга...

Лучше, надёжнее, вернее и бескорыстнее друга, чем моя жена Лариса, у меня нет. Она моя опора...

* * *

Припомнилось: в детстве, когда жил с родителями, часто плакал. Украдкой. На людях — ни разу. Окружающая жизнь была груба и несправедлива... Вышибала слезу...

В восемнадцать лет уехал из дома по сути в никуда и без ничего. Хлебнул всякого. А вот слёз не было. Брошенность и огромное желание выстоять что-то высекли в характере. Не ожесточили, но сцементировали...

* * *

Подумалось: угораздило меня быть почти до пятидесяти лет инженером. Так мало оставил своей жизни для литературы...

Любопытно: что было бы, если случилось наоборот? Есть подозрение, что ничего хорошего.

* * *

Когда придёт мой час вернуться домой, желал бы я лежать у стен храма св. Троицы в Утёвке. Пусть будет Самарский край и местом моего рождения, и местом упокоения. Я достаточно постранствовал по миру.

Если невозможно у Храма — то на Утёвском кладбище. Там лежат мой дед, бабушка Груня, мама, отец, дядька Алексей и многие другие дорогие мне люди.

...Рядом с могилой моей мамы, справа — в сторону Алексея. Там есть местечко.

* * *

Не раз слышал, что на фронте во время войны из трупов, облитых водой, намораживали баррикады... Неужели такое может когда-нибудь повториться?!

* * *

Мой теперешний повседневный режим — жизнь без здоровья.

* * *

Он умён, он мудр и в прежние века был бы пророком. Но в нынешнее время, когда живём мелкими перебежками, такие марафонцы никому не нужны.

* * *

У настоящего художника эстетика его произведений едина с его этикой.

* * *

Примета времени: не только засоряются и мельчают реки — человеческая природа становится мельче.

* * *

Самое радостное, восторженное в детстве (кроме рыбалки, охоты...) было связано с пением в хоре.

Единение с очищающим потоком хорового пения завораживало, как купание в речке Самарке. Радость, восторг, дрожь! Невозможность оторваться от захватывающей гармонии духа и тела!

* * *

«Не надо выпивать целую бочку вина, чтобы понять его вкус». Можно добавить: достаточно прочитать две-три страницы книги, чтобы понять уровень письма, а иногда хватает одного абзаца.

* * *

В наше время у народа уже нет восторга перед своими писателями, как было в своё время перед Пушкиным, Гоголем...

Что это? Деградация сознания народа, падение художественного уровня литературы? Или «художественное» становится не главным для нынешнего рационально мыслящего человека. Он уходит всё дальше и дальше от природы — идёт в тупик всепоглощающего технического прогресса.

Он вырос из мифов.

Мы не хотим признавать, что человек больше уже живёт головой, не сердцем — и это естественный природный момент его исторического развития? А что за этим?.. Сердце не справилось, насколько хватит головы?..

* * *

Когда ко мне на встрече с читателями подходит мама с ребёнком и начинает говорить о том, что её сын (дочь) хочет стать писателем, меня пробивает дрожь...

Быть русским, национальным писателем? Когда нации такой как бы уже и нет?!

Понимает ли она (мама), на какой развилке дорог она стоит со своим чадом?..

* * *

«Развиваясь, оставаться самим собой». Это требует и упорства невероятного, и мужества, порой редко кем замечаемого.

* * *

Не могу представить своего детства без родительской любви и без книг.

* * *

Мои книжки — кусочки моей жизни с её болячками, нервами и энергией заблуждения. Так, очевидно, бывает у каждого искреннего автора.

* * *

Вчера умер Валентин Распутин. Не стало истинно русского человека и писателя. Книги его я знал давно, а увидел автора на 10-ом съезде писателей. Познакомил нас председатель СП РФ Валерий Ганичев. Потом встречались несколько раз. Разговоров не вели. Обычные приветствия...

...Не перенёс утрат: потерял в авиакатастрофе дочь, потом жену, Родину — куда ещё больше?!.

* * *

Хорошие книги пишутся, когда есть что сказать людям. Когда жизнь полнокровна и питается она избыточной энергией, дарованной природой. И когда есть безусловная вера в жизнь!..

* * *

«...Быть многогранным, интересоваться разнообразным, проявлять себя во многом — лучшее средство сохранить свою неизвестность». Так сказал М. Волошин об Иннокентии Анненском.

Только ли о нём?

И что важнее: известность или наполненная разнообразием личных умений и интересов жизнь?

* * *

Слава — это солнце мёртвых (Бальзак). Стоит ли она самой жизни? Нет! И нет!

* * *

У Иннокентия Анненского и Гарина-Михайловского не выдержало сердце от раздвоенности, от невозможности служить одному делу — искусству. Так мне думается. И так понятна эта тяжесть, знакома... Но до сих пор не могу представить себя служащим одному чему-то. Всё-таки наука для меня в моей жизни — как первая любовь! Было её мало!.. Но она была...

* * *

Вчера на Троицком рынке услышал отрывки разговора двух мужчин:

— Пойми, — произнёс тот, что постарше, — женщины — они все одинаковые, как арбузы в воде. Не переберёшь всех... Не ухватишь...

Я невольно приостановился у ларька.

Все три дня после услышанного крутится эта фраза в голове. Не уходит.

Так порой и со строкой стихотворения, рассказа — и не точная она, и не чёткая, а не выбросишь...

* * *

Теперь в старости я уже не тоскую о счастье, как это было в молодости. И не от того, что не верю в него, а потому что знаю: оно неповторимо.

* * *

Всего дороже истина. Но факт часто не даёт представления о ней. И тут приходит художник...

* * *

Чехов и Толстой холодно относились к поэзии. Но ведь сами они, оба, были поэтами. В самом высоком смысле!.. Иначе не было бы написано ими ни одной строки!..

* * *

Истина, которая лежит на поверхности: пессимисты должны усвоить, что не мир наш плох, а мало делается, чтобы он был лучше. Но для этого надо трудиться, вот в чём вопрос!..

* * *

В 86 году к моему слабому зрению добавился диабет, потом камни в желчном пузыре, болезнь щитовидной железы... Дергался как мог... При одной из операций (были и другие болячки) побывал в состоянии клинической смерти...

Жалко, что огромная часть жизни уходила на сопротивление, а не на свершение задуманного. Не было бы болячек, сделал бы больше, в том числе и в литературе. Писал-то на ходу и урывками... Скрывал свои болезни как мог, ото всех. Родители не знали до определённого времени, дети тоже. Зачем? То же с коллегами по работе, моими читателями то же...

* * *

Неуёмное желание трудиться, трудиться до усталости — этому рад и теперь, когда мне скоро 72 года. Если дня не поработаю физически — не чувствую себя нормальным...

* * *

Весь день обрезал яблони в своём саду. Работа, похожая на ту, которую сейчас делаю — готовлю повесть «Запела флейта на мосту...» к печати. То есть убираю лишнее, спрямляю стволы, купирую, прислушиваюсь к шелесту листьев на дереве (голосов на страницах). И жалко удалять показавшееся лишним, и верится, что так надо... Весна покажет, верно ли брала рука...

* * *

...Стоял сегодня на Утёвском кладбище, на том месте, где решил, желал бы быть похороненным. Странное чувство. Вернее, кажется, их нет, чувств... Некая обречённость и тяга к покою, к уюту... Но к какому? Можно ли так говорить?.. Как детское желание лечь под одеяло...

* * *

Бродил на Утёвском кладбище меж могил своих одноклассников, сверстников, тех, кого помнил в детстве ещё, и молодых, и старых. Нет чужих — всё часть моей жизни, часть меня... чудаковатые, строгие, добродушные, взрывные, спокойные, умелые, праздные, утонувшие в труде и заботах. Неудобные, несговорчивые — каким часто бывал и я. Кажется, все они не успели предъявить себя миру, когда были живы, такими, какими были на самом деле... Оттого ли, что сами себя не знали, не понимали, потому ли, что не дано было?.. Всё как у меня... И ничто не меняет то, что я ещё хожу и мну траву, а они лежат... Я такой же слабый...

* * *

Толстой и Пришвин... Как огромное светило и мерцающая в ночи свеча. Несравнимые по величине... Но свеча горит... Горит своим притягательным, неповторимым светом...

* * *

Если бы Георгий Свиридов был не музыкантом, а писателем? Он бы и в литературе оказался неудобной многим монолитной несокрушимой глыбой, невзирая на то, сколько бы он написал. Дело ещё и в характере.

* * *

Пищу за столом. Жена на кухне пересыпает сухие ягоды шиповника в стеклянную банку. Шум этот мне как грохот надвигающегося поезда. Мысли в разные стороны... Она уже закончила своё занятие. А я собираю мысли, как рассыпанные ягоды по полу...

* * *

Ко многому, кажется, уже поостыл, многое уже со мной было... Но вот посадить дерево: липу, берёзу, рябину... всегда готов. Это во мне неизбывное.

* * *

Антон Чехов говорил, что его забудут лет через двадцать. Юрий Кузнецов считал, что его стихи оценят только лет через пятьдесят. Гении склонны часто к ошибкам.

* * *

Степь, дорога — вечная тема в русской литературе. Железная дорога (читай: технический прогресс) с известных пор то же самое.

* * *

Родителям было не до нас, деревенских мальчишек. Мы росли до поры под крылом школы, библиотеки, сельского дома культуры... Но выросли мы самостоятельно.

* * *

*Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.*

(М.Ю. Лермонтов).

Великий Чехов ворчал по поводу «кремнистый». Мол, коли дорога — так обязательно (путь) кремнистый. Штамп!

Но ведь Лермонтов говорил не о дороге как таковой, а о своём пути (судьбе), по которому ему предстоит пройти. О пути — как судьбе, дорога в нём — только начало этого пути. Гениальный поэт знал, каков ему уготован путь. Он кремнистый. И не иной.

* * *

С каждым годом, с каждым днём меня становится всё меньше. Ушли родители, не стало Нестеркина колодца — будто оторвалась часть меня... И наш с мамой колодец заилился. Воду берут с колонки, она стала годна только для полива. Старой нашей деревянной школы не стало. Появилась кирпичная. Дом

родителей моих племянник снёс бульдозером. Водрузил, как смог, новый дом. Всё вроде оправдано.

Что ещё впереди? Сверстников осталось раз-два и обчёлся...
Уменьшаюсь до исчезновения на собственных глазах.
Вот разве какая строка моя уцелеет?..

* * *

Начав писать, я начал открывать в себе себя.

Порой казалось, жилы не выдержат, воловье моё упорство сдаст... Когда же меня спрашивают:

— Как это вы сделали то-то, как успели это?

Улыбаюсь, отвечая:

— Откуда мне знать? Как-то так получается...

И слышу:

— Что скажешь, талант!

* * *

Сколько великих и не великих называли себя гениями. А он воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

* * *

Пели мы когда-то: «...важней всего погода в доме!» Теперь другая песня: «...важней всего здоровье в доме».

* * *

Мой коллега по работе на кафедре выдал такую формулировку: «Замечательный помощник и инструмент в работе — компьютер при чрезмерном использовании пожирает время и убивает память».

* * *

Правда у каждого своя. Поэтому трудно принять чужую. Истина одна на всех, но она труднодоступна.

* * *

Нынче мир таков, что яркое, звучное, шумное, а в итоге чаще всего поверхностное лезет из всех щелей. Хочется удалиться хотя бы на время в какую-то «дальнюю комнату»,

встряхнуться, отряхнуться, отмыться... Посидеть в тишине, подумать спокойно... Время-то летит!.. И его, моего, остаётся всё меньше...

* * *

«Слава Богу! Понемногу стал я разживаться: продал дом — купил ворота, стал я запираяться!» — эту насмешливую присказку я слышал часто у себя в деревне. Тогда, в 50-60 годах, жили бедновато, но замки на ворота и двери всё-таки не вешали: не от кого было хорониться. Теперь же эта присказка наполнена прямым смыслом: в наше время, при нынешнем воровстве и разбое, крепкие ворота — самое то! И желательно железные.

* * *

Всё меньше становится людей, которые обстоятельно думают, не торопясь говорят... Окружающая жизнь всё больше похожа на рынок, вернее на базар... А на базаре успешнее тот, кто бойчее и ловчей...

* * *

Сейчас люди, может быть, как никогда, хотят, чтобы их услышали... И... безмолвствуют...

* * *

Позвонил о. Александр — настоятель Кафедрального собора в Галиче Костромской области — и в разговоре сказал, что только что вышедшая моя повесть «Голоса на обочине» (в одноименном сборнике) сродни книге «Несвятые святые» о. Тихона (Шевкунова), которую я очень ценю.

* * *

Когда ещё Баратынский сказал:

*Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.*

Как будто посох дал в руку пищущему собрату. Не о себе только думал.

* * *

Как по роману «Война и мир» Л. Толстого люди узнавали, какими мы, русские, были в XIX веке, так именно по литературе нынешней наши потомки будут понимать, чем жили люди в начале нашего XXI века.

Тетрадь № 5

* * *

Постоянно живу (с детства, насколько себя помню), как бы сказать, с повышенной температурой. Отсюда мои и свойства характера, и поступки... противоречия, успехи в чём-то и внутренние терзания... и плата за это, с осложнениями...

(Написал об этом рассказ).

* * *

Что же всё-таки с нашей критикой? И есть ли она? Есть несколько гроссмейстеров от литературы, но они не профессиональные критики... Остальные — грохот, грохотанье порожняка... Один печатно путает, не знает (?) автора книги «Душа неизъяснимая» (В. Личутин), приписывая авторство Василию Белову.

Другой путает, когда и где умерли Байрон и Шелли, похоронив их в Женевском озере. Ладно б, если бы на пробку наступили, нет, не пьющие... А жалуемся, что молодёжь не читает. Сами-то...

(Материал для статьи, написать в 12 г.)

* * *

Спрашивают, как умудрился работать и на производстве, и в науке, и в литературе. Не знаю как. И на встречах с читателями мямлю. Отшучиваюсь. А ведь я заложник собственных замыслов. Откуда они берутся — вопрос. Но головка моя постоянно в работе, она, эта работа, заставляет действовать. Несделанное довлеет надо мной.

(До конца осмыслить. Материал для повести).

* * *

Прочитал у Шукшина: «...сужу-то я судом высоким, поднебесным — так называемый простой, средний, нормальный положительный человек меня не устраивает. Тошно. Скучно».

А куда же девать тогда Акакия Акакиевича, Герасима, Матрёну («Матрёнин двор» Солженицына)? Где-то он ещё писал, что надо, обязательно надо «заколачивать гвоздь в плаху истории»? Горячее желание. И возникает вопрос: кто дал право судить? Не по-христиански это. Да ещё судом высоким?.. И ради чего забивать гвоздь в «плаху» истории? Ради собственного тщеславия, ради того, чтобы остаться гвоздем в «плахе»?

«Литература есть правда» — его же слова. Но правда у каждого (и у писателя) своя. Так о чём речь? Да, правда необходима! Но этого недостаточно! Нужна истина — путь к ней, может быть, это и есть литература? Молчат все. Удобнее ссылаться на авторитеты? Но сколько вреда принесла и литература своим вымыслом и тщеславием авторов? Разобраться мне надо. Додумать.

* * *

Шукшина люблю, прозу его. Но не всего. Там же, где он начинает тужиться, желает быть философом, мыслителем: «надо писать, макая перо в правду» или «угнетай себя до гения» — он понятен, искренен, но... что-то мне мешает воспринимать эти строки как откровения. Скушен становится. Не похож сам на себя; так, может, и тут мне разобраться надо ещё!

* * *

(Тема, к которой надо как-то приблизиться). Когда стала рушиться в середине 90-х нефтехимическая промышленность. Рушились заводы, институты, не стало министерств. Не стало отраслевой науки (НИИ), заводской науки не стало — для меня это была большая потеря.

Без науки производство для меня было скучным. И тут мне пришла на помощь литература. Повести «Чёрный ящик», «Отклонение», «Колки мои и перелесья» и др. были для меня спа-

сением. Да, я боролся против разрухи, против катка, который безобразно всё мял и уничтожал. Держал на плаву, как мог, заводы. Но силы давали они, мои повести. Я был не только внутри вершившегося, но и над «схваткой».

Литература, сама попавшая в развал, спасла меня. Я начал системно писать.

...Инфаркт, инсульт, уход из жизни — обычные, страшные слова для руководителей промышленных предприятий. Ибо видеть, быть внутри того, что невозможно остановить, был не в силах...

Потом пришла волна новых руководителей — непрофессиональных, бездарных, без специального образования, но ушлых... И это надо было пережить...

* * *

Ещё один казус: ушел с производства. Премия Совета Министров (статус её приравнен к гос. премии) давала мне возможность, при условии, что не буду нигде работать, получать 330% от пенсии, которую оформили мне в 1994 году (в 50 лет по вредной сетке). Поразмыслив, я всё же официально устроился преподавать в ВУЗ (степень доктора наук и звание профессора у меня были). Так с 94 года и не получаю никаких возможных надбавок: не положено, если работаю. Забавная ситуация: если уволиться, буду минимум в два раза больше получать, чем профессор. Но вот уже 20 лет не иду на это. Без ВУЗа, без научного коллектива, без работы в коллективе — не мыслю себя. И ещё: работа даёт возможность наблюдать, чувствовать жизнь разнопланово: и вглубь, и вширь. А писателю — это и надо! У меня в руках некий перископ, многое вижу с его помощью. А всё чего-то не хватает...

...Кроме жены, никто об этой ситуации не знает, но она свой человек, молчит! Чтобы не считали родственники и друзья за чудака.

* * *

С годами всё любопытнее становлюсь, но как-то избирательно... рационально...

* * *

Странно отмечать: с годами всё больше отравляют жизнь родственники, а «не родственники» порой подают спасительную соломинку...

* * *

«Хочешь, чтобы клюнуло, — моргни, чтобы у тебя появился враг, — покорми». Что-то в этом есть истинное, но только часть...

* * *

Куда все подевались? Кажется порой, чтоб о тебе вспомнили как-то, надо помереть...

* * *

Моя раздвоенность (наука и литература) грозила мне потерями и там, и там, может, так и случилось, но в жизни эта раздвоенность добавила столько красок.

* * *

Часто чувствовал себя виновным в том, что не успел, не смог сделать то-то и то-то, потом это чувство поселилось во мне едва ли не постоянно.

Теперь же обрёл странную лёгкость, и это после того, когда сказал себе: что сделал, то и сделал, спасибо судьбе и за это. Будто кто вразумил меня в мои 70 лет.

* * *

Сколько раз горевал я, сколько раз было нетерпимо больно. Когда начал писать, всё это запросилось на бумагу, нашёл слушателя.

* * *

Ничему не верил на слово. И это отняло столько времени в жизни, и саму жизнь сделало особой. А по-другому не мог. Сидело во мне что-то. И принуждало.

* * *

Как порой непросто расставаться с правдой, которую ты добыл сам. С которой породнился, жил с ней... а она оказалась... только твоей...

* * *

Из всех моих книжек ранние и детские более всего сказали, помимо меня, обо мне, чем всё остальное, написанное гораздо позже... а ведь я, кажется, только совсем недавно начал понимать, как надо писать.

* * *

И всё-таки самая моя безыскусственная, прямодушная и дорогая для меня книжка — это «Радостная встреча». И не только потому, что она написана на материале, который я собирал более сорока лет...

* * *

Когда меня спрашивают, как я отношусь к мату, не могу однозначно ответить... Вырос в селе, где этого предостаточно. Знаю давно, что наши писатели (и классики) в жизни не избегали его... Я же, проработав на заводах около 40 лет, ни в курилке, ни в кабинете ни разу не произнёс подобного. Не поворачивается язык. Ненормальный... Курение и мат ко мне не пристали как-то с детства. Если знать ту среду, в которой я вырос, это покажется неправдоподобным. Но и дед мой Иван не курил и не матерился...

* * *

Сколько замыслов моих во мне же и умерло. И скорее всего от того, что были они слишком грандиозны, а я — малодушным для них.

Чем хуже человек, тем больше вокруг него (так он полагает) негодяев.

* * *

Отравившись в молодости стихами, позже, после пятидесяти, вновь стал их писать. Почему? Зачем? Мне не ведомо. Точно объяснить не могу. И печатать не намереваюсь.

* * *

Простая и ясная речь — свидетельство ясности мысли. Не плохо бы этим владеть. Но ведь и в косноязычии своя прелесть, ибо порой в нём более всего бесхитростности и непосредственности, а это так (!) много порой стоит...

* * *

Попадаешь под манеру, обаяние, умение привлекательно говорить и забываешь о главных мыслях, которые тебе необходимы. И движешься к пустоте...

* * *

Когда тебя хвалят прилюдно, чувствуешь себя болваном. Хочется начать ёрничать. Не раз на этом попадался и наживал нелюбовь.

* * *

Сколько раз я сталкивался с тем, что читатели находили в строчках, написанных мной, чего я и не мыслил...

* * *

Легко быть мудрым и талантливым среди глупцов и бездарей.

* * *

Ощущение пути, успешное преодоление намеченного — вот что движет человеком. Я, кажется, повторяю чьи-то слова. Но в них — истина, ибо проверено это и моей судьбой.

* * *

Он старый и учёный. А мне с ним порой так скучно. Много знает о науке. А в жизни — подросток.

* * *

«У Есенина талант пошлости и кощунства», — это Блок. Как это соединить, если Свиридов говорил: «Блок — это духовный проводник в истину».

* * *

Внезапное, гипнотическое проникновение в истину — такое случилось со мной. Но... это так редко бывает, если только ты не обманываешься...

* * *

Уязвлённый тем, что при встречах с ребяташками понял, как они (и городские, и сельские) удалены от природы, что не знают птиц, животных, сенокоса, хорошей рыбалки, разлива рек — не замечают этого богатства, питающего нас исподволь, взял и написал стихотворную книжку для детей «Даль без края».

Критики, пишущая братия — молчок. А дети приняли! Читают наизусть. Пишут сочинения, письма мне... Что это?

Слабая попытка в оправдание ситуации: кто пишет сейчас, сами очень уж далеки от природы? Не знают её? Так деформировано наше общество? Надежда на новые поколения.

* * *

Написанная книга для меня — заявка на открытие. Человек долго искал, долго думал и теперь, находясь в поиске, на полпути к цели, предлагает читателю идти вместе, ведь он открыл только часть, а далее круг единомышленников только умножит радость открытий... Это я испытал и в литературе, и в науке... Были и присвоения первооткрывательства, моего авторства, но это не лишало главного — однажды испытанной радости...

* * *

По мне немногословие и скромность так же ценны в литературе, как и в жизни.

* * *

Как часто бывают подозрительны те люди, которые торопятся с тобой согласиться.

* * *

Известно: человек чаще всего не знает, что ему нужно от жизни. Если представить мир как один большой общий супермаркет, где есть шанс выбрать желаемое, можно представить, какая там царит толкотня и неразбериха.

* * *

Жене моей только за то, что она с первых дней нашей супружеской жизни так заботливо кормит меня, надо поставить памятник! А я тут со своими болячками, причудами частыми и не к месту... И это при её такой любящей, отзывчивой душе... Не могу её представить злой. Так порой бывает стыдно перед ней...

* * *

«Литературу любить надо по-умному»? — не помню, кто это сказал, но так верно. Скольких она соблазнила, испортила, наворочала сколько в обществе! Но и сколько она спасла! И скольких!

* * *

У писателя только и есть один учитель — сами читатели. Так считал великий Гоголь. А мне как-то не хочется торопиться соглашаться с этим. Сдерживает категоричность его. Может, не «учитель», судья?

* * *

Поросла густым тёмным чапыжником в наше время нестыдливость. И мат, и окурки у парадного входа в институт, где читаю пока лекции. И голые животы с пупками в аудиториях у совсем юных девочек, неспособность ответить на вопрос, кто автор «Аленького цветочка», «Тёмы и жучки», «Детства Никиты». А ведь С. Аксаков и Гарин-Михайловский, Алексей Толстой — наши, самарские. И часто на слуху, часто их имена в местных газетах? Не читают, не слышат. Не стыдно от своего незнания.

Помню. В первый год (1962), когда приехал учиться в Куйбышев (теперь Самара), не мог спокойно ходить по улицам города. Так волновало то, что по этим же улицам, где брожу я, ходили Горький, Шалапин... Голова кружилась...

* * *

Так часто приходится играть в поддавки. Раньше терпел, теперь надоело оказываться часто вороной. Да ещё и белой.

* * *

Давно не был в селе. И не тянет, как раньше. Почему? Не осталось сверстников: выкосило лихолетье. Нет свидетелей общей жизни. Остались в живых одни деревья, да ещё река. К ним хожу в гости. Кладбище вот ещё...

* * *

В селе теперь на улицах не поют. А где поют в городах? Больше кривляются и не на улицах...

* * *

Не могу и дня провести без физической нагрузки. Без неё (чаще всего работы) и голова становится ленивой.

* * *

Заметил вдруг, что давно перестал громко смеяться. Что это — издержки интеллигентности? Или другое какое серьёзное заболевание?..

* * *

Доподлинно ли наше авторство, не крадём ли мы неосознанно его у Всевышнего? Не о себе только говорю.

* * *

Однажды в 60-е годы (тогда с этим было сложновато) купил очень симпатичную рубашку. Повезло мне. В ней и пошёл на работу. И оказалась такая же рубашка у нашего директора.

Я не стал носить её. Не мог.

Теперь, когда кто-то говорит, что я пишу как тот или этот известный писатель, я теряюсь, не знаю, что делать...

С рубашкой было проще.

* * *

Если литература — жизнь души человеческой, то чем же она была в период нашего воинствующего атеизма? Когда душа отрицалась. Какой-то несуразный вопрос.

* * *

Нечаянная радость тем и ошеломляет, что в первые моменты она как бы не твоя. Не верится, что досталась почему-то тебе.

* * *

Вспоминается тютчевское: «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать».

* * *

«Самые наблюдательные люди — дети». Я бы добавил ещё: и самые порой циничные и жестокие. Никуда от этого не деться.

* * *

Не странное ли дело: человека мнут, унижают, оскорбляют, убивают, а я пишу повесть о кошке? Но ведь она живёт среди людей?..

* * *

Дошёл до того, что кажущаяся неверно поставленная запятая в строке не даёт мне ночью спать.

* * *

«Надобно любить целомудрие». Это исповедовали ещё в древние века. А как нам в наше время? Кто будет слушать тебя? А раньше слушали?..

* * *

Придёт время, и душу человеческую, её жизнь, будет изучать, исследовать не только литература, но и наука?.. Уже изучает, что получится из этого? Скорее всего всё меньше останется читателей художественной литературы. Это как минимум.

* * *

Охота жить всё сильнее! Но... что делать мне с моими болячками. Устал.

* * *

Хвалит? Значит, что-то ему от тебя надо. Бывают и исключения...

* * *

Как много в жизни держится на энергии заблуждения. Иссякает она, и жизнь становится монотонной, серой.

* * *

Пляски вокруг ложных кумиров.

* * *

Многие нынешние поэты (которых знаю и лично) и не только нынешние, чтобы быть известными, занимаются и самопиаром, и мистификациями. Да ещё как! А вот Пушкину этого было не надо. Тут он самый скромный из всех.

* * *

Встану рано утром. Посмотрю на восходящее солнце, на просыпающуюся жизнь вокруг, пройду по покрытой туманом луговине на косе у Волги, вспомню песню дедову про липу вековую и особо остро почувствую, как повезло, что родился я в таком светоносном краю.

* * *

Если бы не было дедовых песен, особенно тех, что он привёз из Сибири, не было бы его протяжного, грустного, раздумчивого пения в степи под лёгкий мерный ход телеги или в затихшем застолье в передней светлой избе — не было бы и меня какой я есть.

Тоскую по русской песне дедовой.

* * *

Как там в песне: «Мне некуда больше спешить...» Для меня здесь ключевое слово «спешить». Оно трансформировалось у меня в слово «двигаться». Мишель Монтень говорил, что жизнь — это неровное, неправильное и разнообразное движение. Если всё же на финальной моей прямой попытаться привести в некий порядок (неровное и неправильное движение преобразовать в некое целенаправленное), то можно финишировать с достойным результатом. Силы пока есть.

* * *

Всю жизнь был избыток нехватки времени.

* * *

Рядится в провинциала, в почвенника. Так ему ловчее, под простачка. А сам не знает, чем отличается просо от пшена. Я спрашивал. Чудно.

* * *

Мне кажется, что, когда писатель крепко закомплексован чем-то, какой-то очень важной для него темой, он может свершить очень значительное. Сказал об этом Анатолию Заболоцкому, имея в виду Василия Шукшина и его Степана Разина («Я пришёл дать вам волю»), он лаконично, но резко запротестовал. Неужто я чего-то не понял?

* * *

Он запел, и когда мы подхватили песню, он решительным жестом дал знать, чтобы мы замолчали. Так один и допел. В своё удовольствие, горделиво. У меня свой голос. А мужик напротив за столом, внимательно глянув налево-направо, обнял своими ручищами соседей и затянул свою песню. И так-то слаженно она зазвучала, дружно в три голоса. Не громче прежней, задушевной. К концу песни начавший её уже только подпевал. Какие разные характеры.

* * *

Говорят, что надо быть над темой, над материалом, как актёру над ролью. А я не могу. Так и прорывается моё я.

Пробую бороться с собой. Затеял цикл «Голоса на обочине». Притапливаю себя в чужих монологах, диалогах и разноголо-сице...

* * *

Литература — какое это непосильное порой для многих авторов испытание на тщеславие. И не только на него... И как оно многим корёжит жизнь...

* * *

Сколько раз, отодвинув в сторону иных авторов (интересных и нужных), перечитывал «Записки Тургенева», «Детство Никиты» А. Толстого, другие замечательные, сопровождающие с детства книжки. И в последнее время стал замечать то, чего раньше не видел.

Перечитал на этой неделе очаровательные в своей простоте «Повести Белкина» Пушкина. И недоумевал, не решаясь ставить под сомнение, написанное рукой гения. Повесть «Выстрел»:

«Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки, которые долетали до меня». Но ведь в этом же абзаце сказано, что между дуэлянтами было двенадцать метров (таковы условия дуэли)? Неужели можно было на такое расстояние выплёвывать косточки черешни?

Или в повести «Барышня-крестьянка»: «Лиза час от часу более нравилась Алексею». «Час от часу» — какой-то чужой хронометраж, здесь, кажется, неподходящий. И потом: они же только встретились? Какой «час от часу»?

Ещё в повести «Метель»: «Соседи поминутно ездили к нему». Такое просто физически невозможно. Некая торопливость письма. Знаю, что слишком пристальный взгляд искажает действительность, но никак по-другому теперь не могу читать, смотреть... Знаю, а избавиться от этого не под силу.

* * *

Жить бы да радоваться...

* * *

В 70-х годах Василий Шукшин писал: «Народ довольно болезненно убрал человека из общественной жизни. Да и из жизни вообще» (по памяти).

Что бы он сказал сейчас, доживи до наших дней. Порадовался, да рановато. Чиновника и дустом не возьмёшь...

* * *

Сегодня пастух Володя, опершись подбородком о выжаренный солнцем сучковатый посох, сказал об одном своём

знакомом: «У него глаза пустые: глядишь как в ведро с водой».

А вчера о своей собаке Найде: «У неё глаза говорящие».

* * *

Какое множество существует толковых ответов на не интересующие меня вопросы.

* * *

Думая о школе, вспоминаю то, как часто приходилось играть в поддавки, рядиться в спасительную маску середнячка, чтобы избежать диктата. Быть как все. Хотелось бежать, но некуда было...

* * *

Общаясь со студентами, вижу: и не глупые, и способные, но нет хотения. Вынут из многих этот двигатель: «Хочу!»

* * *

Человек незавершён и непредсказуем! А как вы хотели? Иначе всё загнило бы давно...

* * *

Кастрированные герои.

* * *

Сопrotивление материала может быть сильнее давления любой власти.

* * *

Рассказ должен давать хотя бы небольшой толчок к размышлению.

* * *

Иногда значительные результаты являются итогом энергичных заблуждений. Их побочным всего-то продуктом...

* * *

Пряатель рассказывает: «Когда сын ходил в садик, воспитатели восхищались им: самый большой набор слов, живая речь, общителен. Вывешивали еженедельно диаграммы, там кривая, отмечающая рост его способностей, постоянно была выше всех. Талант растёт! А пришёл в школу и стал средненьким, как все в классе. И к десятому классу: молчун — молчуном оказался».

* * *

Ни вымысел, ни копание в себе, а драматургия реального, окружающего — это для меня самое важное сейчас.

* * *

Порой хочется стать абсолютно неизвестным, раствориться в той среде, из которой вышел...

* * *

«От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан погибающих за высокое дело любви», — Некрасов.

Родится ли когда-нибудь ещё такой поэт на Руси??? Сказать об этом в «Голоса на обочине».

* * *

«Как неизлечимый геморрой, вылезает вопрос: что делать?» Это я услышал на одной из встреч с читателями.

* * *

Ему бы только постоять около великих.

* * *

Не могу представить Есенина, поющего под гитару.

* * *

Знание жизни, кажется, зависит не от опыта, а от масштаба личности.

* * *

Есенин — обманутый революцией, скорее её жертва. Как всё крестьянство, из стихии которого он вышел. Любивший всё живое, он отблеск трагедии народа.

Маяковский — обманувшийся революцией. Часто фальшивый («Я люблю смотреть, как умирают дети»). Трагедия частной судьбы, частного лица с чрезмерным тщеславием (об этом уже говорено, но это важно, очень. Сейчас особенно).

И оба гении!..

* * *

Насколько масштабна личность, настолько значительными становятся подробности её жизни.

* * *

Получается, что у человека (и человечества) есть враги страшнее, чем власть фашистов или коммунистов. Это власть денег. Мой «Реваншист», кажется, больше будет об этом. Хотя уж сколько об этом написано.

* * *

«Ваши тексты мне глянулись, в них явная мастеровитость», — так сказал мне критик Л. Сказал, кажется, искренне. Но почему я сижу тогда как получивший незаслуженно плюху?

Слова «тексты» и «мастеровитость»стораживают. Неуютно как-то. Если бы сказал кто-то другой, то воспринял бы по-иному?

* * *

Слышу: «Проживание драм и ушибов, полученных обществом средствами искусства и кино, — вот путь нашего избавления от травм прошлого. Избавление движением от покаяния к действию». Но и искусство, и наука в тщедушном состоянии. И не до правды, какое движение? И какое действие при этом? Очень длительный процесс...

Жаль целые поколения.

* * *

Неловко порой за Бунина. И не потому, что зло говорит о Есенине, Маяковском, Хлебникове, Брюсове, Горьком... о многих, а за его собственную, порой чрезмерную, литературность, придуманность. Пример тому его рассказ «Лёгкое дыхание». Порой берёт оторопь от «придуманного» у любимых авторов, например, в «Уроки французского» В. Распутина. Сцены игры в деньги учительницы с учеником...

* * *

Порой легче разговаривать с людьми намного тебя умнее и образованнее, чем с дураками и невеждами. Не претендую на авторство этой мысли. Записал, чтобы легче стало. Давно заметил: помогает.

* * *

«У него ум весь в морщинах», — так сказал один мужик в автобусе.

* * *

Порой кажется, чтобы заниматься истинно художественной литературой, надо быть блаженным.

* * *

Посмотрите, как он болезненно переживает за всё, за всех нас. Как мучительно и трагично его лицо!

— А может, у него запоры?

* * *

Всегда хотелось больше действовать, а не писать или говорить. Как Монтеню. Пусть он простит меня за нескромность и невежество (я не знал его до 60 лет).

* * *

Теперь-то я понимаю, что моя бабушка Груня была — Шекспир! Ей мало было обычного, обыденного! Нужны были страсти! И она их находила... Понимаю, как много мы получали от её терзаний и прозрений... Но ведь многие её сторонились.

И не только дети... «К чему лишний раз рвать душу», — говорил мой дед Иван.

* * *

Сколько человеческих судеб прошло, казалось бы, одной и той же дорогой. И сколько невообразимо разнообразного у каждого из нас на этой дороге. Сколько душ окрепло и сколько погибло (погубили). Об этом надо писать.

* * *

Сколько я видел невежественных, но невероятно способных людей. Всё моё детство и юность прошли среди них. Я и теперь чувствую перед ними неловкость. Я так многого не умею и знаю лишь кое-что кое о чём...

* * *

Но мне истина нужна, свободная от всяческих «правд».

* * *

Он сказал: «Александр, ты про меня написал в своей повести «Под открытым небом», только меня звали не Шуркой, а Санькой.

* * *

Когда решил проплыть по реке моего детства Самаре от истока до устья (около 500 км), жена охала, врачи делали круглые глаза: с вашими-то болячками! И сахарный диабет, и камни в желчном пузыре! И друзья не советовали. Случись что: где и как делать операцию? Если начнутся приступы? (Сотовой связи тогда на территории Оренбургской области не было). А в результате: получилось самое замечательное в моей жизни путешествие (23 дня на воде на резиновых одноместных лодках), и плюс написалась, кажется, неплохая повесть! «В плену светосном». Так-то вот, друзья мои. И эскулапы. Каждому своё!

...Без этого путешествия моя жизнь была бы «неполной»...

* * *

Мне теперь кажется, что страсть моя к писательству от моей бабушки Груни: она постоянно что-то вспоминала, рассказы-

вала, соединяла одно с другим, сама же охала от проникновения в суть чего-то... Около неё часто были собеседники и слушатели... Она не умела писать, а я умею — мне и передалось. А характер мой — от моего немногословного деда Ивана... Как всё это соединилось? Не пойму.

* * *

Какой я профессор? Вот мой полуграмотный дед Иван был профессором! Он столько знал и умел в своей крестьянской жизни! А я только специалист в узенькой, не всем известной области знания. Такой узенькой! Как в нашем селе Зубарев переулочек, который даже жители Утёвки не все знают. Мы там на крохотных санках катались.

* * *

Если деревня русская на краю могилы, русская наука размывается, русская жизнь скукоживается, то каков при этом удел русского писателя?

* * *

Моя раздвоенность: художественное (литература) и академичное (наука) — никогда меня не тяготила. Да и не раздвоенность это.

* * *

Критики сейчас нет. Есть реклама. И самореклама...

* * *

— Зачем торопиться?
— Чтоб не было стыдно.

* * *

Человек самоопасен.

* * *

Его сторонились. Он был умный...

* * *

Его лицо ему не подходило.

* * *

Забыл, где это слышал: «Такое лицо лучше носить в штанах».

* * *

Нынешние критерии.

Диалог:

- Сам ушёл? Или его убрали?
- Скажем так: поспособствовали.
- Слаб как руководитель или заболел?
- Нет. Просто ни вашим, ни нашим.

Собака на сене.

* * *

Путь человека конечен, а сам он, миллиарды раз рождаясь, не завершён.

* * *

Безличная жизнь, когда человеку хватает приказов и распоряжений сверху.

* * *

Успех порой обусловлен не твоими способностями, а безоглядной верой в то, что они есть у тебя.

* * *

Не боялся бы, если б не совесть.

* * *

Влюбился и отупел. Бывает и такое. И часто!

* * *

Он уезжал не в путешествия, он убегал от самого себя.

* * *

Есть слова и звуки, услышав которые, подпадаешь под некое брожение. Они как закваска.

* * *

Наш заводской механик много не говорил. А если говорил, то так:

— Не было, не было и вдруг опять... (это по поводу очередной неполадки в цехе).

Если кто-то командовал сделать явно невыполнимое, он реагировал невозмутимо:

— Конечно, сделать можно и самолёт. Только взлетит ли он?

Хотелось бы за ним записывать. Но вот по молодости не догадался.

Праздновали его юбилей — 60 лет. Гостей много. Говорили тосты. Хвалили за многие качества, за мудрость. В конце юбилейного вечера он сказал своё заключительное слово:

— Спасибо! Спасибо, добрые друзья, за все хорошие слова. И особенно за то, что отметили мою мудрость. То, что я пригласил на свой юбилей свою жену, в этом тоже моя мудрость. Одно дело — я всю нашу совместную жизнь доказывал ей, что я самый лучший. А другое дело услышать — ей это от вас, да неоднократно. Спасибо, дорогие друзья, за помощь!

* * *

Искусство как способ самоустранения от действия?

* * *

Каждое утро (день) огромное скопище людей в городах и весях спешат на работу. И неисчислимая часть из них лишь только для того, чтобы заработать себе возможность поесть и поспать? Хочется возразить? Но почему тогда так мало великих мыслителей, созидателей, учёных?.. И они — как некая случайность, вывих среди огромнейшей массы. Выскерк! Надо суметь понять. В этом что-то заложено природой, а значит — разумно. (Переписал слово в слово из своей студенческой тетрадки).

* * *

Давно понял его, а простил, лишь когда прошло более двух десятков лет.

* * *

С детства чрезмерно сильно и остро чувствовал. Рано это осознал как большую опасность для себя и помеху для взрослых. Не зная, что делать, научился, как мог, прятать переживания в себе. Непосредственность стала для меня роскошью. Оттого, думаю, многие мои комплексы, а теперь в старости — болячки. Увы, взрослым было не до нас.

* * *

Многое из того, что было заложено во мне природой, реализовано, думаю, мной лишь частично. В детстве — некому было помочь (росли как трава, лишь бы покормить. Не до сытости.). Во взрослой жизни — некогда (работа и работа, только в ней что-то и проявлялось).

Часто чувствовал себя волом, которому необходимо тянуть лишь тяжёлое и зримое... Потому, может, так и притягивали к себе люди, занимающиеся творчеством. Наука для меня оказалась своеобразным, может, мостиком между тем и другим. Точнее не могу сформулировать... Или додумать до истинного.

* * *

Постоянно боюсь ошибиться в определении истинного. Знаю, что ошибаюсь. И... буду ошибаться... Какая-то обречённость, недозволенность приближаться к нему... Так задумано Создателем?

* * *

Тем, кто проник, дотронулся до истинного, сокровенного — им позволено было такое? Или они прорвались сами и... поплатились за это? Обрели опустошение, если не больше.

* * *

Тема для рассказа:

Неприязненное отношение к привилегиям с самого детства. Около двух десятков лет отец (отчим) работал ночным сторожем в клубе, мама — уборщицей.

По установленному порядку детей работающих в клубе родители пропускали в кино без билетов. Этим многие пользо-

вались. Я же никак не мог переступить этот барьер — попадать в зал не как все, а по благу. Было очень неловко перед моими друзьями-товарищами. Получалось, что я предавал наше стихийное сообщество. Я брал билет. Тётка Чугуниха, стоявшая на входе контролёром, доносила на меня родителям. Мама моя только вздыхала по этому поводу. А бабушка Груня жалела меня и изредка давала медяки. Гораздо легче мне было летом. Мы слетались с ребятами стайкой на летнюю киноплощадку и смотрели фильмы через дырки от сучков в деревянном заборе или в щели. Иногда нас прогоняли. Но это случалось редко.

Чувство единения с друзьями, ощущение, что ты со всеми, было важнее всего прочего. Хотя кино я любил безгранично.

* * *

Сын моей, пронзительной в своих повествованиях о жизни, бабушки Груни, после рассказа которой я в детстве часто забивался куда-нибудь в угол с глаз долой и плакал, кажется, как никто из нас унаследовал эту её способность переживания жизни. Я часто замечал и удивлялся, и завидовал его искромётности и заразительности в наших разговорах. И потихоньку начал подталкивать его попробовать писать. Он брался за это дело несколько раз, уступив мне, и быстро бросал эту затею. Получалось у него на бумаге и блекло, и скучно. Говорил: «Написать о том, что чувствую, — это неподъёмная для меня, воловьья работа». Сказал ещё как-то мне: «Это ты вот четьрётхтомник накатыл. Как можно столько? Придумываешь?!» Я чувствовал себя виноватым перед ним.

* * *

Прорваться живой душе, закатанной под асфальт, на свет, донести голоса оказавшихся на обочине!..

Успею ли я что-нибудь тут сделать? Вот вопрос!

* * *

«Как всё-таки мы усердно раскачивали нашу общую лодку! Как усердствовала наша шибко кающаяся теперь интеллигенция. И что же? Так прыгали, что проломили днище лодки... Теперь потихоньку погружаемся, теряя устойчивость», — он

говорил так. И я кивал согласно головой, а внутри было сопротивление: и про беду-то нашу общую уже находятся новые говоруны, не хуже перестроечных, начинают смаковать ради красноречия, чтобы выделиться из ряда.

Но по сути-то он прав!

* * *

«Нации русской больше нет». Эти трагические слова прочёл я в летучих записях Георгия Свиридова, сделанных им на склоне лет. Он смог так сказать. А я не решаюсь, в душе от пережитого — пепел.

* * *

Отказаться от себя, слушать вечное, народное...

* * *

Не успеваю за своими замыслами. Так было и раньше, и сейчас. Только с небольшой разницей: прежде это было от их избытка, теперь — от нехватки сил. Увы.

* * *

Замечаю, что появилась во мне некая суетливость (и не только внешняя). Это не характерно было для меня прежнего. Независимо от сознания идёт перерождение характера. И не в лучшую сторону. Хватило бы мне и того, что становится массивнее нос, неприлично оттопыриваются уши... А верх головы, когда-то покрытый кучерявой «Канадкой» (правда сие было так давно), превратился в ровное и голое полушарие... (осталось о многом только красиво говорить — себе в утешение?)

* * *

Раньше относился к известности настороженно, теперь чаще как к бесполезной ноше.

* * *

Чувство глубины люди обычно приобретают, проживая жизнь. К некоторым она приходит в детстве. Из таких часто получаются истинные писатели и поэты.

Разбер

Во взрослой жизни моя дотошность и постоянное стремление к системности (не только в знаниях) нередко приводили к курьёзам. Хотя бы взять такой эпизод. При рассмотрении моей кандидатуры на назначение директором завода (мне было тогда 38 лет) был вынесен вердикт: «Слишком академичен!» Назначение не состоялось. Стремление и умение работать с большими коллективами в тесной связке с наукой и заводской, и отраслевой, академической, без окрика, грубости, без мата — оказались оценены таким странным образом. И тогда, и сейчас допускаю, что была какая-то и другая причина. Но названная вслух показалась вполне убедительной... для принимавших решение. К слову, тогда я и не рвался на такую должность. Даже с опаской относился к назначению. Не готов был лишиться возможности заниматься наукой. А отказываться было нельзя...

«Всего знать нельзя», — сказал мне недавно вполне серьёзно заметивший мою склонность сверять всё по первоисточнику один известный поэт. Он как бы уже причислен к живым классикам. Из тех, кто, по выражению Гёте, похож на медведя, сосущего всю жизнь собственную лапу. И который поверил, что он и есть классик. Произнёс он эту, безусловно, истину менторским, учительским тоном. Он мог бы меня прищипить, как бабочку, одной лишь фразой из Мишеля Монтеня. Но, как я понял, он Монтеня не читал, и жёсткая усмешка мудреца из пятнадцатого века: «Очень многих я видел на своём веку, которые были доведены до совершенной глупости неумеренной жаждой знаний» — до поэта не дошла.

Когда я ответил поэту, что знаю и эту сказанную им мне истину, он неожиданно весело и непринуждённо засмеялся, забыв про свою монументальность...

...Работал на заводах, в науке, а постоянно тянуло к художественной литературе, к истории литературы.

И, так же как в детстве, постоянно делал в этом для себя открытия, которые чаще всего вовсе не интересовали окружающих меня. Что не знаешь, того не любишь...

...Откуда это и как возникло, не знаю, но всё пристальнее начал смотреть я на окружающие события, на людей, как бы ещё и со стороны... Возрастала жажда быть участником чего-то дельного, важного не только для себя... Где-то в сознании, на втором, на третьем плане, стало мерцать: «И это я знаю, и это! И это когда-нибудь опишу. Я знаю это изнутри! Я свидетель происходящего, его участник. Знаю из первых рук! Это прошло через меня».

Я определил в себе это теперь, задним числом, как некий разбег, прежде чем начать писать.

...Писать начал поздно. Если вычесть из послевузовской моей жизни более трёх десятков лет, в течение которых я работал на заводах, то на занятие литературной работой выпадает немного лет. А если учесть непрекращающуюся и сейчас работу в техническом университете, то всего ничего...

«Разбег» мой оказался слишком длинным и, если можно так говорить, неоправданно... широкозахватным. События, которые он вместил в себя... кажется, растворили меня... Память моя перегружена...

...Почти все мои повести и рассказы проросли из моей биографии. Так или иначе...

...Память с годами начинает странно себя вести. Некоторые подробности прошлого, истончившись в ней, как старая, дырявая жёсть, ломаются, превращаясь в ломкую труху. Другие, чаще всего из раннего детства, становятся как бы всё отчётливее и красочнее. Являются порой в своих очертаниях то предельно чёткими и зримыми, то, не теряя своей целостности, вдруг расплываются, как в тумане, в мокром и насыщенном влагой воздухе.

...И возникают они, вырастают физически ощутимо близко в своих очертаниях, огромных до изумления. Достигают размера символа, порой неожиданного... толкающего к попытке невольно осмыслить глубинное его значение...

Такой теперь у меня поводырь — моя память...¹

¹ Полный текст «Мыслей на ходу» публикуется впервые, в авторской редакции.

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.С. МАЛИНОВСКОГО НА ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ В ДОМЕ АКТЁРА 18 ФЕВРАЛЯ 2000 г.

Поговаривают, что Самара не литературный город. Неправда всё это. К такому выводу я пришёл давно.

И театральный, и литературный наш город. И сегодняшней вечер тому подтверждение. Сегодня на вечере так много любителей художественной литературы.

В зале: и заводчане нефтехимики и нефтяники, учёные, представители властных структур города и области, предприниматели, бизнесмены, художники, музыканты, духовенство, врачи и учителя.

Мои дорогие утёвцы и нефтегорцы. Мои сельчане. О таком читателе книг можно только мечтать.

Спасибо вам за тёплую встречу, за хорошие отзывы о книжках.

Есть ещё одна особенность у нашего вечера, касающаяся меня: в зале присутствуют и те, которые первыми пошли когда-то мне навстречу.

1. Антонина Дмитриевна Бердникова — редактор Нефтегорской газеты «Луч».

Это она более 2-х десятков лет назад методически присылала мне гонорары за мои тексты — 2 рубля. Два с половиной.

Я просил этого не делать. Но она, объясняя, что это ей надо для отчёта, продолжала слать.

Теперь-то я понимаю ее хитрость: она уже тогда заставляла понимать серьёзность литературного труда. Что его надо ценить. Может, вернуться те времена, и каждый труд будет оплачиваться достойно.

2. В зале находится Семичев Евгений Николаевич — один из самых заметных российских поэтов среднего поколения. Поэт милостью Божьей. Он был самым первым моим редактором

моей первой поэтической книги «Светлый берег». Все мои песни выросли вот из этой книжечки.

3. Открыв однажды купленную в киоске на Самарской площади «Волжскую коммуно», я обнаружил в ней целый разворот материала о Григории Журавлёве. Так четыре номера подряд газета печатала мою документальную повесть.

Инициатором этого был наш Иван Ефимович Никульшин. Глубокий, истинно народный российский писатель.

4. Умнова Елена Викторовна: она первая поехала со мной в Утёвку, сделала фильм по моим книжкам. В её фильме я обнаружил, что не такой уж я и красивый, как думал о себе раньше.

И рост не тот. И нос не тот. И руками размахиваю где не надо...

5. Старейший журналист Самары, без неё невозможно представить наш город: Михайлова Наталья Ивановна. Она первая из журналистов вообще приехала ко мне в Утёвку, и моя живая ещё мама дала ей в дорогу банку сметаны. Она первая сделала передачу о моих опытах на радио.

6. Теперь о самом первом читателе и критике. Животрепещущая тема!

Вот говорят: нет у нас позитивной конструктивной критики. Не знаю, как у кого, у меня есть: жена моя, Лариса Петровна, в минуту моих авторских сомнений сделала вполне определённую установку: «Пиши как пишется. Никого не слушай!» Я человек дисциплинированный: как было сказано — так и делаю! Никого не слушаю. Более того: и жену порой перестаю слушаться. Чем всё это кончается? Вопрос!

7. Я бы на этом мог и закончить.

Но есть один человек, который отсутствует, но имя которого в памяти. Любовь Николаевна Нефёдова — первая моя учительница. Это она научила меня писать вообще. Ручку держать в руках! Пока она жива — я ученик, я молод.

Спасибо вам всем.

Наш энергичный ведущий Геннадий Дмитриевич обязал меня прочитать пять стихотворений.

Я не придаю своей персоне международного значения, поэтому согласился на четыре.

Я сейчас буду хвастаться. Что поделаешь? Имею право.

Дело в том, что этот красивый человек — Сергей Николаевич, мой земляк. Мы родились и выросли на одной улице. Он и моя сестра учились в одном классе.

И ещё скажу: Маша Курганова, которая исполнила песни только что, Красивая Маша — она тоже наша. Её дед, как и мой, утёвский.

Лучший экспромт — как известно — домашняя заготовка.

...Я прочитаю одно стихотворение. Оно может быть к месту:

Сестре Любе

*Опомнюсь, стряхну суету и приеду.
Всё отложив, все дела на потом:
Так не хватает мне тихой беседы
С мамою нашей за круглым столом.
Тыквенных семечек прелесть домашняя
И молока запах, в печке топлённого.
Сельский мальчишка, я в детстве вынашивал
Мысль о карьере большого учёного...
...Стал я профессором и академиком,
Не ожидая совсем, что однажды
Я отряхну в сенцах стареньким веником
Вместе со снегом всю свою важность.
Я ведь и домик-то маленький ставлю
Около баньки, что стала темнеть,
Чтоб у голубеньких светленьких ставень
Мог я с любимым вечерком посидеть.
Чтобы, как мама, сумел между делом
Гостю любому в ответ улыбнуться.
Как ведь желала она и хотела,
Чтоб я домой решился вернуться.
...К маме схожу на могилку и к деду,
Вроде б себя ни за что не виня...
Там посижу, помолчу и уеду,
Вот ведь какие дела у меня.*

* * *

*Ах, вот он, комочек отчизны —
Поющая в зелени птаха!
Я знаю: умру не на плахе,
Умру от любви к этой жизни!
С рожденья дано нам так много.
Я чувствую сердцем такое,
Что нету мне в жизни покоя.
Во мне постоянно тревога.
За всё, что живёт и ликует,
За всё, что страдает и плачет.
Не знаю, как жить мне иначе...
За что же мне долю такую
Немыслимо щедро вручили?
Душа моя, слабое тело
Не выдержат! Экое дело:
...Будто бы совестью облучили.*

Родное

*В синеющие дали песня
Над равниной степной летит.
Умри сто раз — сто раз воскресни:
От светлой грусти не уйти.
Как не уйти от чувства родины.
На большаке, где пыль клубится,
В кустах разросшейся смородины
Мелькнул платок твой синей птицей.
Мелькнул. Пропал. Вновь появился,
У леса дальнего исчез,
На горизонте зыбком слился
С трепещущим платком небес.*

Одиночество

*Осенний лес и холоден, и пуст.
Ноябрь настал. Такая тишь кругом!
И только гулко раздаётся хруст
Валежника под мокрым сапогом.*

*Один лишь дуб хранит свою листву —
Как лета дар и как о нём печаль.
Глаза мои всё ищут синеву,
Но нет её. Есть лишь седая даль...
Я не могу не думать о тебе.
И что мне делать с таким собой?
...В моей такой изменчивой судьбе
Ты словно летний лучик золотой.*

Утренний свет

*Колки мои и моё перелесье,
Лики моих земляков в поднебесье,
Лица живых земляков! И поныне
В сердце любовь к вам моём не остынет.
Зной над равниной и тень чернолесья —
Всё уместилось в сердечную песню.
Русичи, где мы?! Какими мы стали,
Колки мои и равнины устали
Ждать возвращения бывшего усердья,
Вялость душевная хуже ведь смерти.
Дух наш восстанет, я верую свято:
Будут поля и просёлки опрятны.
Будет в душе не раздрай, не смятенье,
Снова придут и покой, и уменье.
Радость придёт. Без неё не бывает
Жизни цветущей. И тень побеждает
Утренний свет. Над моею равниной
Сумрак уходит. И разум быллинный
Крепнет и крепнет. На подвиг великий
Благословляют нас светлые лики.*

Друзья мои! Я буду рад, если после этого вечера, после песен, красивых артистов мы все стали чуточку добрее и увереннее в себе и друг в друге!

Спасибо всем!

**О творчестве
Александра
Малиновского**

ПУТИ ЖИЗНИ И СМЫСЛЫ ИСКУССТВА

Признанный классик отечественного словесного искусства Константин Паустовский однажды заметил: «Если бы был жив волшебник Ганс Христиан Андерсен, то он мог бы написать суровую сказку о старом мужественном писателе, который пронёс в своих ладонях культуру, как несут драгоценную живую воду, через обвалы времени, сквозь годы войн и неслыханных страданий, стараясь не расплескать ни капли».

Именно таким путём шёл Александр Станиславович Малиновский. А незадолго до кончины в октябре 2017 года он завершил работу над первым вариантом «Мыслей на ходу».

Это — предельно свободная по форме проза прямого высказывания, эмоциональные и интеллектуальные раздумья автора о времени и о себе. При этом они не абстрактны, а словно «обрастают» ярким материалом, воспоминаниями о собственной жизни, о судьбах других людей. В «Мыслях на ходу» привлекает высокая гражданская и нравственная позиция значительного художника, гибкая структура повествования, допускающая смещение временных пластов, постоянно ощущаемый глубокий подтекст, беспощадная исповедальность, подвергаемая строгой проверке комическим и трагическим, ностальгией и самоиронией, зрелая и какая-то обнажённая выстраданность обобщений. Это — «работа души», почти запротоколированная, кажется, чудом попавшая на страницы блокнотов и тетрадей.

«Мысли на ходу» — яркое воплощение того типа художника слова, который апеллирует прежде всего к реальной действительности, выражая своё к ней отношение и при любых условиях в ней находя один из смыслов существования. Сама непосредственная динамика жизни для А. Малиновского — и предмет изучения, и цель преображённого воспроизведения в творчестве. Но вместе с тем писатель постоянно перебрасывает мосты и мостики между мирами физическими, так сказать, вещественными и духовными, настойчиво приглашая читателя ступить на них. При этом налицо гармония объективного и субъективного начал, эстетическая гармония, которая остаётся непоколебленной, несмотря на осознание всей глубины жизненного трагизма.

Это достояние классических стадий развития искусства с присущими им внутренней уравновешенности. В «Мыслях на ходу» ощущается не-

кий «здоровый», так сказать, тонус творческой деятельности, который всё труднее и труднее сохранять в начале XXI века.

Тогда начинают преобладать две крайности, к осмыслению и оценке которых так или иначе обращается А. Малиновский: с одной стороны, реальность при взгляде на неё художника теряет ясность очертаний и определений. Её рациональный смысл разрушается, нет его и в восприятии творческой личности. Мысли и ощущения, хаос чувств и инстинктов, кажимостей и предположений, ассоциаций и сравнений образуют «водоворот» сознания, говорящий о невозможности художника нащупать почву под ногами, встроиться в какую-либо систему координат, более общезначимую, чем его сугубо субъективная восприимчивость. Вместо ясного и всеобъемлющего, всюду проникающего авторского взгляда проявляется позиция человека, переставшего быть конструктивной основой собственного творения, готового словно раствориться в нём без остатка.

Это принципиально отличается от «диалектики», «текучести» жизни и человека в понимании Малиновского: у него таковы свойства изображаемого, но не субъекта творчества. Личная, неповторимо окрашенная интонация писателя пронизана пафосом всеобщих ценностей; у многих авторов раздробленность, мерцание, мигание эстетических и философских подходов приводит иногда к так называемому «симптому монолога», к волюнтаристскому, подчас виртуозному манипулированию разными точками зрения по отношению к одному и тому же явлению и т.п.

С другой стороны, нынче художник слишком уж остро ощущает наличие огромного культурного опыта, силу предшествовавших свершений, давление традиций. Воспринимать окружающий мир напрямую, в его непреложной, не зависимой от нашего взгляда объективности оказывается, в сущности, невозможно. Искусство теперь постоянно нуждается в диалоге с предшествующей культурой, её восприятием и трактовкой реальности. Разворачивается бесконечная саморефлексия культуры, чуть ли не «загерметизировавшейся» в собственном пространстве традиций, канонов, лейтмотивов, приёмов, содержательных лишь в активном сопоставлении, трансформации, переосмыслении. Отмеченная этими особенностями культурная ситуация позволяет создавать яркие произведения в разных видах искусства, в том числе и в художественной литературе. Но принадлежат они особой, не близкой А. Малиновскому эстетической реальности, для которой характерна особая степень внутренней деструктивности и дисгармонии. В «Мыслях на ходу» мы находим и отражение объективного опыта развенчания гуманистической системы ценностей, когда сама жизнь зримо являет жестокое отрицание

значимости человеческого существа, его воли и индивидуальности. Писатель отнюдь не отрицает возможность и целесообразность работы над обновлением своей системы ценностей, будучи готовым скорректировать, а, может быть, в чём-то и переосмыслить её перед лицом глобальной ситуации, в которой объективный мир словно опережает художника, разрушая всё и вся, отказываясь от накопленного тысячелетиями духовного богатства или объявляя это богатство «не актуальным».

А. Малиновский видит несовершенство и несправедливость общественного устройства, двойственность человека, когда сама действительность нет-нет да демонстрирует, сколь жалкой может быть роль, сколь он бессилен, зависим подчас от внеположных ему обстоятельств. Сам писатель, ощущая неразрешимость глобальных конфликтов, нагнетание раздора между людьми, оставался хозяином собственной судьбы, своей системы нравственных ориентиров, всеми силами стремясь реализовать тот модус бытия, который представляется должным и правильным, что и зафиксировано в «Мыслях на ходу».

Трагизм человеческой судьбы и драма истории выражены там с пронзительной внятностью.

Исторический процесс приносит неожиданности и парадоксы, в нём трудно усмотреть только разумно детерминированное чередование этапов. И эти алогизмы, и «зигзаги» чреваты духовными падениями не только отдельных личностей, но и целых народов. Писатель постигает это не отвлечённым образом, а на собственном богатом опыте учёного, изобретателя, промышленника, прозаика и поэта, близкого свидетеля и участника многих событий второй половины прошлого века и начала нынешнего, судьбоносных не только для России, но для всего мира.

Бестрепетное открытие противоречий, на которые многие предпочитают закрывать глаза, постановка вопросов, на которые ответом становится горькая усмешка или стоическая максима, — вот что мы находим у Малиновского.

Ему ясна несостоятельность воззрения на историю только как на необратимое восхождение цивилизации ко всё более разумному и счастливому существованию.

А. Малиновский пристально вглядывается в происходящее без предубеждений и доктринерства. В этом плане «Мысли на ходу» перекликаются с известными герценовскими суждениями о том, что «факты развиваются редко по простой логической линии, а идут, лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным», что в истории нередки даже «растрёпанные импровизации». Но это, по Малиновскому, отнюдь не полностью обесмысливает человеческое участие в ней. Простор твор-

честву велик, возможностей — бездна, надо только не забывать, что процесс этот далеко не всегда ведёт к заранее рассчитанному результату, а подразумевает открытый финал.

Многие размышления А. Малиновского посвящены литературному творчеству, его природе и специфике. Их объединяет чёткая идея серьёзной ответственности писателя за своё дарование перед собой и перед людьми, экзистенциональная направленность, извечный российский поиск простоты и правды в их предельном выражении, без лукавых подмигиваний и умолчаний, желание «докопаться» до правды, сколь бы разрушительной для житейского спокойствия она ни была.

При этом А. Малиновский отнюдь не претендует на исчерпывающие трактовки тех или иных явлений художественной культуры, вполне допуская возможность других оценок и суждений. Он отнюдь не провозглашает готовые истины, а утверждает мысль ищущую, несовместимую с бестрепетно-тотальной централизацией и абсолютизацией смыслов. Проза А. Малиновского открыта сложностям и противоречиям мира, его подчас пугающей, но неизменно завораживающей многомерности, она представляется сомневающейся, живой и горячей. «Мысли на ходу» волнуют и своим взыскующим пафосом, с позиций которого автор сурово судит себя и других. Не оставляет равнодушным и внятно звучащий, подчас требовательный публицистический призыв к современнику не растерять на трудных дорогах жизни того, что отпущено природой и завещано предками, быть достойным представителем своего времени перед судом поколений...

Да, «Мысли на ходу» сфокусировали многое. Но всё-таки, пожалуй, главное — это отражение духовных усилий писателя, направленных на сохранение, сбережение заветных первооснов жизни, в ряду которых — и мир культуры.

Алексей Молько,
*кандидат филологических наук, доцент Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии*

ПОРТРЕТ РОССИИ

Читал и не мог оторваться от цикла рассказов «Голоса на обочине». Давно не испытываемое чувство боязни, что чтение скоро закончится, а я ещё не вполне насытился им, посетило меня при чтении новых трудов Александра Малиновского. А, казалось бы, что особенного: маленькие рассказы, истории из своей жизни и из жизни встреченных людей.

А ещё до этого читал его совершенно замечательную повесть «За тучами чистое небо», она о том, как Россия после страшных потрясений первой трети двадцатого века не просто выжила, но и смогла победить главную чуму земного шара — фашизм. И теперь, когда вновь непрерывно идут нападки на Россию, хочется напомнить всем не любящим её: Россия никогда и никем не была побеждена. Россия не Советский Союз, не Российская федерация — это наша Родина, Отечество, Русская Держава, Дом Пресвятой Богородицы, Иерусалим Нового Завета.

И это чувство сродни мистическому, оно живёт в тех, кто любит Россию на генном уровне, оно уже составная часть нашей души. Сколько было всего несправедливого по отношению к народу, сколько погибало безвинных людей, а любовь к России не уменьшалась. У меня оба деда — и по отцу, и по маме — пострадали в 30-е годы, но разве они хоть раз что-то плохое сказали о нашей Родине? Да, тосковали по царскому времени, но как-то переживали времена и большевиков, и коммунистов, как мы сейчас переживаем время демократов, но Россия как была, так и остаётся единственной и любимой. Это оттого, что в ней есть великая инерция тех жизненных установок, по которым жили многие поколения, оставившие нам и свои могилы, и свои, во многом нами забытые, имена.

И лучше всего это понимается не при чтении общих рассуждений, а при показе конкретных человеческих судеб.

Малиновский начинал с обычных очерков, но уже в них проглядывало его стремление — видеть в отдельной судьбе вписанность в историю России. Много раз переиздавалась его книга о художнике-иконописце из крестьян Григории Журавлёве. Благодаря писателю известность о нём сейчас повсеместна. Вот образец служения Богу, Царю и Отечеству: безрукий человек пишет духоносные иконы. Да, безрукий, движимый желанием оправдать данный от Бога талант.

Чем для меня дорог этот автор — тем, что о самых тяжёлых страданиях людей он пишет предельно правдиво и при этом старается всех оправдать, всех как-то пожалеть. Это христианское чувство высветляет даже самые грустные страницы его прозы.

Привёл отец на ночлег случайного человека, а тот их обокрал подчистую. И пошёл мальчишка босиком в училище. Но и учительница, и одноклассники помогли его горю, собрали кто сколько мог и купили ему ботинки. И как он потом старается всем отдать деньги, как ему не хочется, чтобы его считали нищим. Человек стремится в небо, рвётся в армию, но для страны нужно, чтобы он работал на железной дороге. И он не просто работает, но он любит свою работу. Но небо уже навсегда живёт в его душе, в его памяти. И замирает сердце, когда его друга — укладчика парашютов — заставляют прыгать с парашютом, который только что не раскрылся. Жестокая проверка! Нет, не виноват укладчик. Парашютист погиб ещё до выброса из самолёта.

С какой болью и страданием помнит автор о друзьях детства, юности, армии, как трогательно описывает деточек. Голод, холод, сиротство, бараки, коммуналки — всё описывается с таким мастерством, что кажется, ты входишь в эти жилища, знакомишься с описанными людьми, и они становятся родными тебе. Кратко, но выразительно показаны врач Екатерина Михайловна, учительница Вера Михайловна, учлёт Коля Рябов и всех объединяющий герой, от имени которого идёт повествование. Фактически повесть «За тучами чистое небо» охватывает историю страны с начала века по настоящее время. Да, пунктиром, да, кажется, что схематично, но читатель видит нашу любимую Россию от востока да запада, проходит вместе с автором огромный путь тяжелейших испытаний тридцатых годов, войны, послевоенной нищеты и голода, трясушки перестройки и... и проникается ещё большей любовью к Отечеству, в которое мы, несмотря ни на что, верим, которому остаёмся верны.

И нигде не найдёшь у Малиновского того, чтобы люди упрекали в своих бедах свою страну. Более того, они безропотно переносят испытания: если тяжело стране, почему должно быть хорошо мне?

Моё поколение обязательно найдёт в книгах Малиновского отклики своей судьбы, когда мы могли планировать свою судьбу только по призыванию и одновременно по потребностям своего Отечества. Хотелось быть моряком, а тебя посылают в артиллерию. И ты не рассуждаешь, ибо это назначение становится и твоим выбором. Молодёжи нынешней нас трудно понять: они выбирают профессию выгодную, денежную, а девушки, страшно молвить, могут выходить замуж не по любви, а по расчёту. Какие неумные, не понимают, что готовят себе несчастье всей жизни.

И особые страницы рассказов А. Малиновского о страшных ударах по России в конце двадцатого века. Смело можно сказать, что никакое бы государство не выжило после такого нашествия на оборону, на школу, на культуру, на народное хозяйство, после такого бандитского ограбления российских богатств, после вывоза их за границу. Именно трагедия России спасла Соединённые Штаты от окончательного кризиса. Да и Бог с ними, с этими Штатами, нам самим для себя важно, что конец двадцатого и начало двадцать первого века показал, что Россия по-прежнему единственная и последняя страна в этом мире, хранящая Веру Православную. Книги Александра Малиновского показывают огромные запасы духовных сил и душевной щедрости нашего народа.

Может, кому покажется, что громко сказано о трудах писателя, что они живописуют портрет России, но, думаю, тут нет ни претензии, ни преувеличения. Именно портрет души. Его трудно нарисовать, но почувствовать можно.

Владимир Крупин,
секретарь Правления Союза писателей России

КОРНИ И КРОНА

Александр Малиновский одним махом разрушил образ писателя, который часами бродит в тенистых аллеях, обдумывая сюжеты своих повестей, а потом затворником сидит за письменным столом в тихом кабинете, передавая чистому листу посетившие его озарения.

Заслуженный изобретатель, доктор технических наук, директор крупнейших предприятий, Александр Малиновский над чистым листом склоняется после напряженного, насыщенного событиями дня. И то, — если его рабочий день заканчивается хотя бы под вечер, а не за полночь. Было время, когда писателей посылали в творческие командировки на заводы, стройки, в колхозы, чтоб они своими глазами увидели трудовые подвиги, беды и победы. Александр Малиновский уже из когорты качественно новых литераторов. Ему нет нужды погружаться в гущу событий, он из неё и не выходил...

Это не открытие, что у любого горожанина корни — деревенские. Пусть хоть в двадцатом поколении горожанин, а корень, он все равно уходит туда, домой, в деревню. И душа человека питается соками, идущими по этому корню из той далекой, может быть, уже и забытой самим человеком родной земли, — его родины. В деревне связь человека с природой настолько сильна, что он и сам себя ощущает частью этой природы. В деревне все естественней: смех, и слезы, и свадьбы, и похороны и песни. Душой человеческой эта родина не забывается никогда. Услышит какой-нибудь, уже в десятом поколении горожанин:

*Степь да степь кругом,
Путь далек лежит... —*

и затуманит слеза очи его. Вот она, связь...

А у Александра Малиновского его родная Утёвка так свежо перед глазами стоит, он ещё слышит, как бьют в подойник струи молока — мама корову Жданку доит. Земля. Небо. А журавли? А жаворонки? Сперва из теста, а потом и настоящие. Жизни-то городской — всего несколько десятилетий. А деревенской — там века и века, поколения и поколения. И память будоражит душу. И сердце разрывается от нежных чувств к родной земле, близким людям. И приходит осознание того, что все люди на земле — близкие. Особенно выразительны эти чувства в повести «Под открытым небом», которой нет в этом сборнике, но которую так хорошо принял читатель. В 2001 году автор получил за неё всероссийскую премию «Русская повесть».

Читая Александра Малиновского, понимаешь, что общаешься с человеком не только участливым, чутким, сердечным и готовым щедро поделиться своей сердечностью, но и с человеком, пылливо вглядывающимся в происходящее вокруг.

Автор — наш современник. На его глазах рушилась наша великая держава, проходил парад суверенитетов, на его глазах останавливались крупнейшие предприятия страны. Лучшие отечественные кадры остались не у дел. Что происходит? Почему так происходит? Александр Малиновский не только не обходит эти вопросы, он ставит их и отвечает на них со всей прямоотой человека-практика. И в творчестве своём он во главу угла ставит нравственность. Только то, что нравственно, то и хорошо. То и во благо. Во благо огромной стране и каждому человеку.

Мы читаем с вами повесть «Отклонение», вглядываемся в образ Кирилла Касторгина, в его судьбу и понимаем, что такая же участь в этой жизни постигла и кого-то из наших близких, или друзей, или знакомых. А. может быть, и нас самих. Видим, что этот образ как бы вырван писателем из самой жизни. И говорим себе: «Это правда. Да, правда». За писательской нравственностью всегда только правда. И ещё примечательно: автор никогда не прерывает своё повествование на безысходной ноте. Он всегда оставляет место надежде. И это тоже так по-человечески, так по-Божески...

Есть в Троице-Сергиевой Лавре икона художника Григория Журавлева. Многим ли это имя о чем-то говорит? Нет, не многим. И судьбе было угодно, чтоб спустя почти столетие после смерти художника, на его родной самарской земле поднялся писатель Александр Малиновский и в своей небольшой по объёму книжице поведал миру о замечательном иконописце-самоучке, который писал «держа кисть в зубах», поскольку с рождения был безрук и без ног. Не могу удержаться, чтоб не привести здесь слова, которыми Епископ Самарский и Сызранский Сергей благословил этот литературный труд. «Слава Богу, что в наше время восстанавливается историческая действительность и воздается должное таким талантам, как иконописец Григорий Журавлев. Рожденный с недугом, но имевший глубокую Веру и Силу Духа, он творил во имя Бога и для людей. Его иконы несли Божественный свет, помогая людям. Призываю Божье благословение на автора и на его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде». Очень высокая оценка. Не сомневаюсь, что даже взыскательный читатель, перевернув последнюю страницу этой книги, подумает о писателе Александре Малиновском — с благодарностью.

Игорь Ляпин,

поэт

СЕРДЕЧНЫЕ ЛЮДИ

«Российский писатель» выпустил в свет новую повесть замечательного самарского прозаика Александра Малиновского «Дом над Волгой». Книгу можно купить в московском издательстве «Аквилегия-М» (akvil_sb@mail.ru) В 2012 году это произведение получило награду Четвёртого международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А.Н. Толстого.

Повесть адресована подросткам и рассказывает о судьбе простой русской семьи Смирновых. Автор ничего не придумал. Марья Петровна, чьи истории он смог записать столь выразительно, — родственница его жены. Казалось бы, что может наказать писателю и академику женщина с восьмью классами образования? Что открыть нового? Да так, чтобы он схватился за перо и захотел донести её историю до каждого из нас?

«Мне давно хотелось написать историю разных поколений волжан, — говорит Александр Малиновский в одном из своих интервью. — И когда я встретился с прототипом моей будущей героини, меня поразило сходство жизненных ситуаций, которые были в наших семьях. Я же тоже коренной волжанин, как и она. ... В повести я пытался передать дух того времени... Марья Петровна представляет собой целое поколение — тех, кому сейчас около восьмидесяти. Мы не замечаем, какое оно драгоценное! А оно многое аккумулировало в себе».

И правда, на долю этого поколения чего только не выпало! Оно познало и голод тридцатых, и военное детство, и потерю близких, и — «малой родины»; и всё же, как говорила Марья Петровна: «Много было плохого, но были и светлые дни. В темноте и гнилушки светят». Всю свою жизнь она оставалась счастливым и благодарным человеком.

Но помимо судьбы самой Марьи Петровны и судеб её близких, интересно отслеживать в повести и отношение к ним ещё одного персонажа, который присутствует среди них незримо, Бога. Разве не в познании Его Воли, Его промысла о нас заключается, может быть, главный смысл нашей жизни? А мы, люди, то приближаемся к Нему, то удаляемся от Него...

Читаешь, например, главу «Я изменяю вам», и поначалу кажется, что человек сам движет своей судьбой. Ну, может быть, ещё распоряжается им Его Величество Случай. Но так ли это? «... Все мужики в роду моего папы, Смирнова Петра Андреевич, и деда, Андрея Петровича, издавна

были извозчики. Своих лошадей имели», — рассказывает Марья Петровна. А её, молоденький тогда, отец решил в самом начале буйного XX века изменить этой традиции, пойти работать в паровозное депо: любил он «железки». Поспособствовать ему обещался и «немалый чин» с железной дороги.

Но доходишь до конца этой главы, читаешь следующие и понимаешь, почему наши предки говорили: «Бог противится гордым». Не помог Петру на этом отрезке судьбы Всевышний, не стал Пётр путейным инженером. А причина, может быть, самая простая: не получил парень благословения старших. «Маялся он со своим характером, — рассказывает его дочь. — ... Уж очень папа с детства стремился к машинам. Вот машины его и ухайдакали».

В первые годы советской власти добросовестность Петра помешала тем, кого наши учебники истории называли «вредителями». Они яму для Петра и уготовили, где паровозы ставят на ремонт. «Яма эта глубокая», «в помещении всё время пар, плохо видно». Зажигали красный свет — значит, яма открыта, а если горит зелёный, значит, закрыта яма. Зелёный свет дали, а яму решёткой не закрыли. «Папа и ещё один молодой парень упали в эту яму ... Около двух часов они провалялись... Когда их нашли, парень был мёртвый, а папа без сознания. Потом оказалось, что у него в двух местах перелом позвоночника. Вот тебе и рай на земле!»

Но это случится позже, а пока юный, не женатый Пётр тяжело переживает свою неудачу. Стал он «нервным», не смирился с судьбой. Но «прошло некоторое время, он словно переродился. В церковь зачастил. Просветлел весь ... Сама доброта. Начал соблюдать посты. Со своим другом Никитушкой в хоре церковном пел». И — запросился в монахи. Вы скажете: а вот это Богу угодно. Ан нет. Ведь не от смирения Пётр в монастырь захотел идти, опять «стоит на своём: «Я так решил!» А какой монах без послушания, без кротости? Потому не получился из самонадеянного Петра и монах.

Отец его, правда, был набожным человеком: «часто приносил домой церковные книги и читал вслух в большой комнате по вечерам. Все занимались своим делом: кто шил, кто вязал, — и слушали». Но сын его Пётр оказался в родительской семье между двух огней. Своеволием и некоторой дерзостью он пошёл в мать. Прасковья «не любила в церковь ходить. В их проулке в Сызрани, напротив, поп жил. Он сквернословил, бил попадью, ел мясо, когда ни попало. Через забор всё видно было. С неохотой поэтому она в церковь с детства шла, только с матерью. Та чуть зазевается — она на улицу из церкви, и — домой. Мать ей: «Поп — одно, а церковь — другое, не гневи Бога!» А она своё, хоть бы хны...» А упряма

мать — упрям и сынок. Хотя, если подумать трезво, через забор за попом подглядывать — в этом ли церковная Истина?

Интересен и старинный обычай выбора будущей жены: «Доня показала нашу будущую маму папе сначала в храме». «Потом они встретились на Крымзе», «...как раз Крещение. На Крымзе крестный ход был. Сейчас Крымза не та совсем. А тогда нормальная речка была. Вырубали на ней крест во льду и окунались. Народу сходилось — чуть не вся Сызрань».

Но — будущая мама Марьи Петровны, Рая, была из зажиточной семьи, потому её мать, Агафья, отказала Петру: тот из бедняков. Агафья выдала своего единственного сына Фёдора за богатую Устину Захарьеву, вот и дочери прочила жениха со средствами. Но не было молодым, Фёдору и Устинье, счастья без любви: «Фёдор не полюбил её, оказалась она гулящей. И выпивала, и покуривала». А жизнь без любви — обесмысливает само наше существование: живёшь ведь не с человеком, а с его деньгами. Удивительно ли, что «скоротечная чахотка» вскоре убила Фёдора? И получилось, что и в этом случае Бог гордой матери воспротивился: забрал к себе кроткого, послушливого Фёдора, видя, что Агафья его на «деньгах женила». Не по-божески это — без любви людям детей заводить.

Но всё правильно поняла Агафья, и поспешно дала своё согласие на брак дочери Раи и бедняка Петра. Они-то друг друга полюбили так, что всю тяжесть XX века на своих плечах вынесли! А где любовь, там и Божья благодать, помощь Свыше. Когда оказался Пётр на Первой мировой, буквально чудом спасся от неминуемой смерти. Пётр не был на своём корабле, когда его эсминец «Летучий» погиб во время шторма в Финском заливе. Из всей команды только он и остался в живых. А ещё — боцман, который, когда один среди волн бушующих оказался, да в холодной воде, сошёл с ума.

В февральскую 1917 года Пётр, как и большинство простых людей, мало что понимал. Придут одни агитаторы на его корабль, другие... Кого слушать? Только чувствовал, что творится не Божье дело. А что тут может быть Божьего, если командир «Быстрого», и хороший был человек, а пришли люди, начали команду смущать — «зимой это было. Крейсеры высокие такие. Подхватили матросики командира и выбросили за борт. На лёд. Разбился насмерть... Много командиров погибло. Двоих офицеров на другом корабле, он рассказывал, свои же матросы убили кувалдой. По голове, сзади». Бандитски, погромно.

Может быть, и поэтому за такой «революцией» последовала кровопролитная Гражданская. Погибли миллионы. «Была эпидемия тифа». А Петра Бог всё хранил. «Очнулся папа в больнице. Без документов, без вещей: всё пропало... Когда поправился ... после больницы пошёл в депо,

рассказал. Ему поверили там. Дали какое-то пособие, чтоб смог доехать до дома. На товарных добрался до Сызрани. Не сразу приняли его на работу». Но приняли же! Опять — Бог в помощь!

И стал Пётр работать машинистом на поезде. И хотя смутили его большевики рассказами о рае на земле, и в партию он вступил, но когда

Пётр и Рая Смирновы обрели собственный деревянный дом на окраине Сызрани, они уже понимали, Кто — всему Голова. Потому в избе у них была «в переднем углу — икона», в заднем — печь, «так и зажили». Печь не давала замёрзнуть телу, а икона — душе.

Отец уже и не вспоминал, что когда-то хотел водить паровозы. После той ямы страшной остался инвалидом на всю жизнь. Но «папа — мастер был по железу», — вспоминает Марья Петровна. Это и спасло жизнь его детям в страшные годы Великой Отечественной войны. Именно из-за инвалидности не попал он на фронт. И тут надо семье помолоть рожь — папа сделал своими руками домашнюю мельницу. «Спичек нет, а огонь нужен»? «Папа смастерил малюсенькую коптюшку, размером с палец». Нет картошки? И папа отправляется в соседние сёла на заработки, паять кастрюли и чугунки. «Этого не было, того не было. Многие страдали, не выживали. Но у нас был наш папа. А у других отцы — на фронте. Вот в чём беда-то: без отца жить!» — делает вывод Марья Петровна. А мы, следя за семьёй Смирновых, понимаем, что там, где дьявол пытается сотворить свои злые дела, Бог трансформирует его козни в нечто благое. Отец стал инвалидом, да, но это позволило его семье выжить в самые трудные, военные годы.

В главе «Качели» — речь о семье, глава которой погиб на фронте. Потом старший сын ушёл воевать. «Продукты у нас кой-какие ещё были, — рассказывала уже после войны Нюра, знакомая Марьи Петровны, — и скотина была. Но нет дров, а надо отапливать избу. Мужиков своих нет, да и чужих: раз, два и — обчёлся. Дали маме колхозных быков, она поехала в лес, за дровами, одна. В лесу быки распряглись. Вернулась с отмороженными пальцами на руках. Они у неё потом почернели и отвалились. На левой руке — два, на правой — три. Пролежала в больнице сколько-то дней. В эти дни нас обокрали. Вывернули скобу у запертой двери мазанки и вытащили все запасы провизии. Унесли одежду отца. По отцовской фуфайке мама определила, кто совершил кражу, но не заявила. Боялась: сожгут дом. Тогда уж совсем конец. Пришёл день, когда козу и курей съели. Всё, что можно, съели. Наступил голод.

Мать долго не решалась пойти просить милостыню. Но сломалась. Взяла Надю и Лизу, они были постарше нас, и пошла в соседние деревни, где их не знали. Нас с Сергеем оставила дома, как совсем ещё маленьких.

Два дня мы ничего не ели. И тут я вспомнила, что мать хранит на шкафу мешочек с мукой», — продолжала свой рассказ Нюра. Бедные дети полезли на табуретку, чтобы поесть хотя бы муки, которую мать, когда варила суп, добавляла в него, добрались до мешочка, девочка стала горстями засовывать муку в рот, мука и просыпалась! И дети так напугались, и такие были совестливые, что решили сами себя за эту беду ... наказать. Повеситься. Не дожидаясь матери. Видимо, смерть казалась им менее страшной, чем муки совести.

Но так как они были ещё маленькими, то надумали сначала покататься в сарае на верёвке. Тут мать и прибежала. «... Вся в слезах, гласит: «Живы! Господи! Живы! А мне в голову втемяшилось: беда с вами! Бежала спотыкошки». Своим сердцем учуяла. Пришла с хлебом, с гостинцами. Но как тут не сказать и того, что привёл её Бог? «Это такое чудо: я жива осталась, мать не гневается. И еда есть. Сплошное счастье!» — свидетельствует Нюра и радуется. Действительно, счастье — единство, покоящееся на любви, — «цивилизационные коды» нашего многострадального народа.

И когда этот закон нарушается, приходит беда. Не со стороны врага уже, а от «своих». Когда, после кровопролитной войны, братья Марьи Петровны выросли и обзавелись семьями, задумал один из них, Слава, дом строить. Помогал ему в этом другой брат, Володя. Один только раз проявил эгоизм, на помощь не пришёл. Стал гордый Слава в одиночку поднимать «тяжеленную потолочную матку на стены», и — всё. «Не до строительства стало, не до учёбы... Надорвался. Всю потом жизнь страдал. И Володя мучился. Корил себя, что так вышло».

А если нет любви, то прояви хотя бы милосердие! В главе «Тили-тили тесто...» повести — речь о матери, которая в войну решила украсть из пекарни тесто. В середину буханки заложила она для веса гниль картофельную, следовательно, обокрала всё тех же Смирновых. Так Галя Краснова спасала от голодной смерти двух своих дочек-погодок, муж — на фронте. На Галю донесли. Не сами сердобольные сострадательные Смирновы, а некая тётя Паня. И попала Галя в это страшное время за решётку.

«Потом ей ещё за что-то срок «добавили, там уж, где сидела. Муж не вернулся с фронта, погиб. Девчата выросли одни. Обе больные. Паня всё корила себя, что побежала тогда в пекарню, когда картофелины в буханке обнаружили. Считала за собой вину... Девочек Галиных привечала и помогала им, чем могла. Потом они её, мать-то Галю, нашли. В Сибири где-то... Возвращаться домой Галя не захотела. Не ходячая уже была. Только мотнула еле послушной рукой: «На кой мне теперь это?..» Вся жизнь — коту под хвост. Сломлена жизнь, сломлен человек.

Как тут ни сделать вывод, что милосердие всё-таки должно быть выше справедливости? Что истинная справедливость — это всё-таки милосердие? Милосердие-то идёт от любви к человеку, а справедливость — от человеческого разума, от нашего представления о порядке и законе.

В главе «В карауле» как раз речь об этом. Ситуация похожая. «Помню, папа взялся в сорок седьмом караулить картошку на собесовских делянках», — рассказывает Марья Петровна. А картошку повадились воровать мальчишки-подростки, ремесленники. «На плотников учились. Все из окрестных деревень. Родители далеко. А есть хочется! Не похоже на хулиганов».

Сторожа вышли на них, схватили даже, напугали, но — отпустили: «На первый раз прощаем». «Они гуськом и побежали». «Я после уж снова вышла из шалаша, а они всей гурьбой копаются у дядьки Егора в огороде, — добродушно посмеиваясь, говорит Марья Петровна, которая была тогда ровесницей этих мальчишек. — Пошла к ним. А он им разрешил картошки у себя накопать. Они уже, как свои: «Дядя Егор, дядя Егор...» И потом, когда убрали картошку, трое приходили помочь. Дружба у нас завязалась с ними. Один, белобрысый такой, Митей звать. Из Кануевки оказался, где дядька Егор родился. Земляки!» Люди остались людьми. А ведь и здесь можно было поломать чью-то жизнь.

Есть в повести «Дом над Волгой» и глава о лебединой верности супругов, она называется «Ржаные пышки». И глава о жалости к побеждённому врагу — «Когда война окончилась...» И глава о глупом, поспешном выборе своей «второй половины», сделанном самонадеянно, как бы не всерьёз, назло судьбе и людям, и потому — удивительно несчастливо, бездарно, — «Как замуж вышла...» И главы о сытой, но бездуховной жизни советской интеллигенции, когда вместе с потерей веры в Бога был потерян и высокий смысл её — «Скучная, когда не поёшь!..», «Калькулятор ходячий», «Широко шагнули»...

Но есть тут главы и о возвращении простого народа к вере отцов — «Зачем на Север едут?»... Это было в начале девяностых. Арестовали сына знакомой Марьи Петровны, Виктора, по подозрению в убийстве, а он не виноват. «...Пока ждал суда, дал себе зарок: если отпустят, уйдёт в монахи». Тут ему Бог и помог — неожиданно отпустили. И что же? Разыскал Виктор мужской монастырь где-то в Калужской области и поступил в послушники или трудники, сдержал слово.

«Мать, Люся, ездила к нему следующей весной. Место, говорила, — райский уголок. Дубовая роща рядом. Монахи всё вокруг в такой чистоте содержат. И столько кругом ландышей цветущих! Как в другой мир

попала. Воздух! Хоть пей его. В монастыре коровы, куры. Целую ферму монахи содержат». Ну, если только тут истинный «рай на земле»...

Но и семейная жизнь Петра и Раи Смирновых была, хоть и трудной, но счастливой, ибо в любви она шла, до старости в любви. Пятьдесят лет прожили они в браке. И хотя здоровье Петра Андреевича было далеко от отличного, он дожил до восьмидесяти двух лет. Это был поистине образцовый отец, подобных ему в современной нам литературе не часто теперь встретишь.

«Всю жизнь папа трудился, нас кормил. Никого за всю жизнь пальцем не тронул, — говорит в конце повествования его дочь, Марья Петровна. — Андрей Сидоркин, одноклассник его, говорил на похоронах маме: «Счастливый какой Пётр-то. Жил незаметно, никому не мешал. И ушёл, никого не обременил старостью своей. Мне бы так...»

Позавидовал. А чему, собственно, позавидовал? Кто тебе, человек, мешает так жить? Светить людям своим сердцем, знать, что — главное, что — второстепенное, оставаться честным несмотря ни на что, правдивым, сострадающим, и в результате — снискать много любви? Не за богатством Пётр гнался, не за славой людской. Инвалидность его смирила, но не сломала. И стал Пётр Смирнов жить, как и ему положено, в смирении перед Господом, в согласии с Ним.

А вот пример другой жизни: Марья Петровна вышла за человека, у которого в роду все были непутёвые, не послушалась советов старших. «Не любил работать и людей не любил» её «Мишка», любил выпить, но не любил даже собственного сына, что уж там жену! Бога не знал, а по жизни шёл бездумно, как кривая выведет, лишь бы весело было. И — не осчастливил никого, погиб рано, глупо, бездарно. И не идёт от его образа свет, тёмная душа — тёмная жизнь.

Иное дело — Пётр Андреевич. В конце повести Марья Петровна говорит автору, а, значит, и нам всем: «Теперь всё чаще папу вспоминаю. Раньше сильно не задумывалась о вере. Помолюсь, и ладно. А теперь книги духовные начала читать. Евангелие. Раньше бы надо. Папа-то! Он, бывало, перекрестится в нашем доме перед иконкой в переднем углу: «Святой Ангеле Божий, Хранитель мой, моли Бога о нас, грешных...» Обернётся на меня, лицо светится... С верой в душе жил. И дом наш на Волге, намоленный им. Оттого, может, и крепок ещё».

«Дом над Волгой» — название простое, не вычурное, но дом этот пережил своих прежних хозяев. А говорит оно о том, что над Волгой пять десятилетий жил, приподнимаясь над суетным житейским миром своими лучшими, высокими чувствами добрый русский человек Пётр, имя которого переводится как «камень». Основание нашего народа — в таких

сердечных и честных тружениках, способных и сады насадить, и дом поставить, и трёх сынов для Родины воспитать. Их любовью во все исторические эпохи Россия вскармливалась, защищала себя, святой была.

«Дом над Волгой» Александр Малиновский задумывал написать не для детей, но так случилось, что она стала интересна и юным читателям. Иногда говорят, что в сегодняшней жизни нет героя, поэтому и писать не о ком. Прозаик с этим не согласен. «Мне кажется, — говорит он в одном из интервью, — люди из старых поколений уходят незамеченными, так и не признанными до конца». Вот ему и захотелось поведать миру историю жизни простой русской женщины, и рассказать её пронзительно, по-житийному, не мудрствуя лукаво. Как свидетельствуют взрослые читатели, прочитавшие эту повесть, Александр Малиновский вернул в литературу переживание, сострадание. Мы же в последние десятилетия не столько живём чувствами, сколько разумом.

Если берёмся рассказать об ушедшей эпохе, сравнивая её с нынешней, то пишем романы. А «Дом над Волгой» лаконичен, он весь состоит из коротких историй. Но написаны они ёмкими, и — переживательными. Название повести простое, но писатель объясняет его так: «Вся Россия вышла из деревень и поселений — таких, как Сызран, Батраки, Обшаровка. И исчезновение деревенского быта, деревенских домов и уклада жизни таких поселений — трагедия для поколения. Моя героиня, как и многие её современники, в своё время уехала на Север, осваивать те места. Там корни не пустила и здесь потеряла. А, вернувшись, она как будто смотрит на всё происходящее и на всю свою жизнь со стороны, из окон того дома над Волгой, в которой росла в детстве, из которого с коромыслом бегала за водой...»

Если вы ищете для своих детей в современной литературе воспитательную, педагогическую «компоненту», то вам надо обязательно прочесть повесть «Дом над Волгой» вслух всей семье. Это объединит. А главное, привьёт вашим детям уважение к русскому человеку, простому, основательному, крепкому, сердечному, который много веков скрепляет Россию и своим трудолюбием, и своим любящим сердцем.

Вера Линькова,
критик

Содержание

ГОЛОСА НА ОБОЧИНЕ. <i>Повесть</i>	5
ДОМ НАД ВОЛГОЙ. <i>Повесть</i>	193
СВИРЕЛЬ ЗАПЕЛА НА МОСТУ. <i>Повесть</i>	289
ЗА ТУЧАМИ ЧИСТОЕ НЕБО. <i>Повесть</i>	389
НАБРОСКИ К АВТОБИОГРАФИИ	443
МЫСЛИ НА ХОДУ. <i>Из записных книжек</i>	457
ВЫСТУПЛЕНИЕ А.С. МАЛИНОВСКОГО на творческом вечере в Доме Актёра 18 февраля 2000 г.	545
<i>Алексей Молько. Пути жизни и смыслы искусства.</i>	552
<i>Владимир Крупин. Портрет России.</i>	556
<i>Капитолина Кокшенёва. Хлебная корка</i>	562
<i>Игорь Ляпин. Корни и крона</i>	568
<i>Вера Линькова. Сердечные люди.</i>	570

*Проект «Издание Собрания сочинений
Александра Малиновского в 7-ми томах»
реализован при грантовой поддержке
Правительства Самарской области
и грантовой поддержке Администрации г. Самара.*

*Финансовую поддержку изданию оказали
Администрация муниципального района Нефтегорский
(глава муниципального района
Александр Викторович Баландин),
ООО ГК «ИНФОПРО» (генеральный директор
Павел Владимирович Сергиенко),
Сергей Анатольевич Тишин, Леонид Иванович Пешков,
Дмитрий Владимирович Сергиенко,
Василий Владиславович Никонов,
Евгения Сергеевна Попова, Владимир Иванович Петрушин,
Алла Николаевна Горборукова, Борис Фёдорович Ремезенцев,
Юрий Михайлович Тулупников, Юрий Минович Ример,
Дмитрий Сергеевич Колмыков, Андрей Евгеньевич Дорфман,
Дмитрий Владимирович Кошаев,
Владимир Александрович Тыщенко.*

*Подписались на один экземпляр издания:
Виктор Алексеевич Бесперстов, Татьяна Николаевна Иоффе,
Галина Васильевна Плотникова, Людмила Петровна Горюхина,
Василий Алексеевич Серебряков, Ольга Кузьминична Говорухина,
Владимир Дмитриевич Самсонов, Людмила Васильевна Чернецова,
Дмитрий Александрович Кузнецов и другие.*

**Малиновский
Александр Станиславович**

**Собрание сочинений в 7-ми томах
том 6**

Вёрстка — *А.В. Громов*
Дизайн обложки — *В.А. Лисина*
Автор фото на обложке — *К.М. Байгузин*

Издание подготовлено
Издательским домом «Российский писатель» (г. Москва),
Центром поддержки и развития творческих инициатив
им. А.С. Малиновского Самарского государственного
технического университета
и творческим объединением «РУССКОЕ ЭХО» (г. Самара)
443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон: (846) 333-48-01
www.litsamara.com
e-mail: litsamara@yandex.ru

Подписано в печать 10.06.2019 г. Формат 60х90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура Exselsior.
Печать офсетная. Печ. л. 35,75.
Тираж 350 экз. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ООО «Слово»
443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1;
тел.: (846) 267-36-82
e-mail: izdatkniga@yandex.ru